

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

МАРТ

МОСКВА
1938

Уполн. Главлита Б—39709.
Объем 18 печ. л. по 84.000 знаков.
Сдано в набор 15/II—38 г. Подписано к печати 17/III—38 г
Тираж 80.000. Зак. 503.
Технический редактор А. И. Гессен.
Тип. «Известий» им. И. И. Скворцова-Степанова.
Москва, Пушкинская площадь, 5.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗГРОМ АНТИСОВЕТСКОЙ ПРАВО-ТРОЦКИСТСКОЙ БАНДЫ	5
С. ГАЛКИН. Стихотворение	15
» Стекло, стихотворение	16
ЛЕОНИД ЛЕОНОВ — Половчанские сады, пьеса	17
МИХ. ШОЛОХОВ — Тихий Дон, роман, окончание 7-й части	61
М. ИСАКОВСКИЙ — Девушка, песня	71
ВЕРА ЗВЯГИНЦЕВА — Про песню, стихотворение	72
Р. ГИНЦБУРГ — Сын, стихотворение	73
В. ШУЛЬЧЕВ — На покосе, стихотворение	74
ВЛ. ЛИДИН — Ваня, рассказ	75
АЛЕКСАНДР СМОЛЯН — Тезка, рассказ	81
» » — Лишние люди, рассказ	86
ПАВЕЛ НИЛИН — Знаменитый Павлюк, рассказ	93
Г. ЛИТВАК — Песня, стихотворение	102
М. КОЧНЕВ — Дождь, стихотворение	103
АРКАДИЙ СИТКОВСКИЙ — Три стихотворения	104
КСЕНИЯ ЛЬВОВА — На станции, рассказ	105
ПАВЕЛ КУСТОВ — Изба, стихотворение	133
НИКОЛАЙ СИДОРЕНКО — Восточная песенка, стихотворение	134
МАКС ЗИНГЕР — Настоячивость, рассказ	135
СТЕПАН ЩИПАЧЕВ — Зависть, стихотворение	140
ДАВИД ХАИТ — Дом с садом, рассказ	141
ИГОРЬ ШПАРРО — Дед Чучков, рассказ	153
МАНАС, киргизский народный эпос, перев. Л. Пеньковского	157
ЛЮДИ И ФАКТЫ	
ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ — Мои первые шаги в Арктике	177
ВАЛЕНТИНА ХЕТАГУРОВА — На Дальний Восток	189
ЗА РУБЕЖОМ	
С. ФОУЛЕР-РАЙТ — Англо-германская война	205
НАУКА И ТЕХНИКА	
Проф. А. В. ЧАПЛЫГИН — «Большая Волга»	229
Проф. Ю. ФРОЛОВ — Наблюдательность, внимание и память	245
ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО	
А. ГУРШТЕЙН — Повесть о хлебе («Хлеб» Ал. Толстого)	257
ДМ. СЕМЕНОВСКИЙ — А. М. Горький. Письма и встречи	263
БИБЛИОГРАФИЯ	
В. ЖДАНОВ — А. Полежаев. Стихотворения	280
С. СЕВАСТЬЯНОВ — В. В. Стасов. Обзоры. Выставки. Полемика.	284
ОТ РЕДАКЦИИ	287

РАЗГРОМ АНТИСОВЕТСКОЙ ПРАВО-ТРОЦКИСТСКОЙ БАНДЫ

Одиннадцать дней вся Советская страна с неослабным вниманием следила за процессом антисоветского «право-троцкистского блока». Безмерные преступления троцкистско-бухаринско-рыковских шпионов, диверсантов, вредителей и провокаторов, с исчерпывающей ясностью выявившиеся во время судебного следствия, вызвали негодование всего советского народа. Нет такого злодейства, на которое не решились эти лютые враги народа для достижения поставленных перед собой целей. Через горы трупов и море народной крови они готовились притти к власти для того, чтобы уничтожить социалистический строй и восстановить капитализм в нашей стране.

«Произведенным органами НКВД расследованием установлено, что по заданию разведок враждебных к СССР иностранных государств, обвиняемые по настоящему делу организовали заговорщическую группу под названием «право-троцкистский блок», поставившую своей целью свержение существующего в СССР социалистического общественного и государственного строя, восстановление в СССР капитализма и власти буржуазии, расчленение СССР и отторжение от него в пользу указанных выше государств Украины, Белоруссии, Средне-Азиатских республик, Грузии, Армении, Азербайджана и Приморья.»

Следствием установлено, что «право-троцкистский блок» объединял в своих рядах подпольные антисоветские группы троцкистов, правых, зиновьевцев, меньшевиков, эсеров, буржуазных националистов Украины, Белоруссии, Грузии, Армении, Азербайджана, Средне-Азиатских республик...»

Так начиналось обвинительное заключение по делу кровавых и лютых врагов советского народа, гнусных изменников родины, чьи неслыханные злодеяния были разоблачены доблестной разведкой страны социализма.

Подлые заговорщики из «право-троцкистского блока» являли собой столь же отвратительное зрелище, как клубок змей. Вокруг обер-бандитов Бухарина, Рыкова, Ягоды, Крестинского группировались более мелкие, но не менее ядовитые гады. Шпион национал-фа-

пист Гринько, предатели узбекского народа, буржуазные националисты Икрамов и Ходжаев, польский шпион и белорусский национал-фашист Шарангович, старые провокаторы царской охранки Иванов, Зубарев, Зеленский, шпионы и вредители Розенгольц и Чернов, матери троцкисты Раковский и Бессонов, гнусные убийцы Буланов, Максимов-Диковский и Крючков, подлейшие отравители Левин, Плетнев и Казаков.

На протяжении многих лет троцкистско-бухаринско-рыковские заговорщики предавали нашу родину, занимались шпионажем, совершали диверсионные и террористические акты, выдавали военные тайны иностранным государствам, замыслили убийства сотен тысяч рабочих и крестьян, готовили реставрацию капитализма в стране счастливого и свободного советского народа. Об'единенный бешеной звериной злобой к социализму, к партии большевиков, к советскому народу, этот блок убийц и шпионов стягивал в свои ряды всю мразь, все «осколки разбитого вдребезги», все смрадное отребье, все политические отбросы.

Троцкистско-бухаринская шайка несла народу неисчислимы бедствия. Каждый из заговорщиков по мере возможности вредил, пакостил, старался подорвать благосостояние трудящихся, старался подорвать мощь советского государства. Шпион Чернов и его компания уничтожали скот, организовывали вредительства на колхозных и совхозных полях, всемерно стремились к тому, чтобы обездолить колхозников, снизить стоимость трудодня. Шпион Гринько и его присные вели подрывную работу в области финансовой политики, старались ослабить советский рубль, задерживали выдачу заработной платы рабочим и служащим, дезорганизовали деятельность сберегательных касс. Шпион и старый провокатор царской охранки Зеленский и его банда, оперировавшая в кооперации, умышленно задерживали продвижение ходовых товаров в деревню, расхищали государственные средства. Шпион Розенгольц вредил в области внешней торговли, заключал сделки с иностранными фирмами, наносившие прямой ущерб государству. Он же занимался тем, что перекачивал советские деньги в карман Иуды-Троцкого для его кровавой предательской и провокаторской деятельности.

На суде с исчерпывающей ясностью доказано, что по прямому заданию Троцкого, Бухарина, Рыкова и Ягоды был убит товарищ Киров и умерщвлены товарищи Менжинский и Куйбышев. Гнусные преступники с помощью врачей-отравителей отняли у советского народа великого русского писателя Максима Горького. Организовывая террористические группы, злодеи стремились убить Сталина, Молотова, Кагановича, Ворошилова.

Когда Сталинский Центральный Комитет и Советское правительство поставили руководителем НКВД Николая Ивановича Ежова, враги, прятавшиеся в своих змеиных норах, сразу почувствовали, что

близок их конец. Они знали, что железная рука посланца Сталинского Центрального Комитета настигнет их, как бы они ни маскировались. Желая спасти свои подлые шкуры, они пытались, как это установлено судебным следствием, убить и Николая Ивановича Ежова.

Доблестная советская разведка, разоблачив заговорщиков, остановила предательский нож, занесенный над нашей родиной. Чудовищный замысел право-троцкистской банды не был осуществлен. Пойманные с поличным, они оказались на скамье подсудимых и своими головами заплатили за все, что ими было совершено.

Историческое значение процесса, прежде всего, в том и заключается, что он с исключительной тщательностью и точностью показал, доказал и установил, что «право-троцкистский блок» является безыдейной, беспринципной бандой преступников, продавшихся вражеским разведкам, бандой шпионов, диверсантов, вредителей и убийц, объединившихся для распродажи своей родины фашистским варварам.

В своей блестящей, полной сокрушительной силы и гнева, обвинительной речи государственный обвинитель, прокурор Союза ССР тов. А. Я. Вышинский дал точный анализ преступной деятельности анти-советского блока. Он сказал:

«Блок — это агентура иностранных разведок. Члены блока и его руководители вроде Троцкого, который не сидит здесь на скамье подсудимых, Бухарина, Рыкова, Ягоды, Крестинского, Розенгольца и рядовые его члены вроде Зубарева, Максимова-Диковского и других — это рабы этих разведок, это невольники своих хозяев.

Какая же здесь может быть идеология, какая «проблематика» или «прогностика», теория или философия?

Философия, за дымовой завесой которой пытался здесь укрыться Бухарин, — это лишь маска для прикрытия шпионажа, измены.

Литературно-философические упражнения Бухарина — это ширма, за которой Бухарин пытается укрыться от своего окончательного разоблачения.

Философия и шпионаж, философия и вредительство, философия и диверсии, философия и убийства — как гений и злодейство — две вещи несовместные!

Я не знаю других примеров, — это первый в истории пример того, как шпион и убийца орудует философией, как толченым стеклом, чтобы запорошить своей жертве глаза перед тем, как разможжить ей голову разбойничьим кистенем!»

На процессе полностью и неопровержимо доказано, что «право-троцкистский блок» являлся передовым отрядом международного фашизма. Пытаясь развязать силы всеобщей войны, они не останавливались ни перед чем. Все свои усилия троцкистско-бухаринско-рыковские бандиты направляли к тому, чтобы организовать поражение СССР в ближайшей схватке с мировым фашизмом. Следуя указке своих фашистских хозяев, они направо и налево продавали родину, рассматривая цветущую советскую республику как разменную монету для своих сношений с фашистскими генеральными штабами.

Разоблачение троцкистско-бухаринско-рыковской банды является блестящей победой советской разведки и серьезнейшим поражением разведок иностранных государств. Троцкистско-бухаринско-рыковские бандиты являлись лакеями фашистских агрессоров, готовыми выполнить любое задание, направленное против советского народа, против нашей социалистической родины. Разгром змеиного гнезда шпионов, провокаторов и убийц — это удар по поджигателям войны, удар, равный по своему значению выигранной битве в войне с фашизмом.

Подобно гигантскому, несокрушимо утесу высится Советский Союз — социалистическое государство рабочих и крестьян — над окружающими его капиталистическими странами. Двадцать лет СССР, как ослепительной силы маяк, освещает путь всем трудящимся, обездоленным, эксплуатируемым, закованным цепями фашизма, цепями нищеты и страданий.

Он показывает трудящимся всего мира, как, по какому пути должны идти поработанные капитализмом народные массы к своему счастью, благополучию, освобождению.

Капитализм с бешеной ненавистью предпринимает против юной, расцветшей страны социализма тысячи козней. Он всячески стремится задержать развитие нашего общества, сорвать мирную творческую работу многочисленных народов, объединившихся в братский Союз Советских Социалистических Республик, построенный гением вождей социалистической революции Ленина и Сталина.

И с первых же дней Великой Октябрьской Социалистической революции Советская страна ведет неослабную борьбу с эксплуататорами и их подлейшей бандитской агентурой — троцкистами, меньшевиками, эсерами, бухаринцами, зиновьевцами, муссаватистами, дашнаками, черносотенцами, белогвардейцами, кадетами, попами, кулаками и прочей нечистью.

Процесс антисоветского «право-троцкистского блока» еще раз напомнил всей нашей стране, что два мира стоят друг перед другом, как непримиримые и смертельные враги, — мир капитализма и мир социализма.

Не раз капитализм пытался подорвать социалистический строй. Об этом свидетельствуют иностранная интервенция в годы гражданской войны, известное «шахтинское дело», дело так называемой «Промпартии», судебные процессы 1936—1937 годов, разоблачившие чудовищные преступления шпионско-террористических банд троцкистов, зиновьевцев и других антисоветских элементов, ставших на службу иностранных полицейских охранок и разведок: процесс Зиновьева—Каменева, процесс Пятакова—Радека, процесс группы военных изменников Тухачевского — Якира и, наконец, процесс антисоветского «право-троцкистского блока».

Все это с неопровержимой наглядностью показало, что враги используют самые коварные, самые крайние, самые жестокие меры борьбы.

« — Вот почему значение настоящего процесса далеко выходит, — сказал тов. Вышинский в обвинительной речи, — за обычные, так сказать, криминальные рамки и приобретает поистине огромное историческое значение.

Этот процесс подводит итог борьбы против Советского государства и партии Ленина—Сталина людей, которые, как это с исключительной яркостью и убедительностью доказало судебное следствие, всю свою жизнь ходили под маской, которые начали эту борьбу задолго до нынешнего времени, которые, под прикрытием громких провокаторских фраз, служили не революции и пролетариату, а контрреволюции и буржуазии, которые обманывали партию, Советскую власть, чтобы удобнее делать свое черное дело измены, чтобы дольше оставаться неразоблаченными.

Презренная предательская бандитская деятельность Бухарина, Рыкова и прочих право-троцкистов разоблачена теперь перед всем миром. Предатели и изменники схвачены и уничтожены. Но за рубежом действуют те же бухарины, рыковы, те же крестинские и раковские под другими только именами, но под тем же подлым руководством фашистского атамана Троцкого. Они помогают фашистским аггессорам мучить и пытать героический испанский народ. Они по заданиям фашистской разведки стараются разложить оборону, организуют пятые колонны, оголтело клеветуют, вносят смуту в тыл. Они выполняют ту именно работу, которую собирались делать у нас в случае, если бы совершилось с их помощью нападение фашистов на нашу страну. В Китае те же бухарины и рыковы, те же крестинские и раковские, под тем же руководством Иуды-Троцкого продают китайский народ, торгуют его кровью, торгуют так же, как пытались торговать кровью нашего народа троцкистско-бухаринско-рыковские бандиты, завершившие круг своих злодеяний на скамье подсудимых.

Процесс «право-троцкистского блока» наглядно показал всему миру, какую опасность для всех стран и народов, не желающих войны, представляют фашистские поджигатели, находящиеся на службе у фашистской разведки.

Процесс с исчерпывающей ясностью выявил также и то, что цепь злодеяний, совершенных правыми и троцкистами, уходит далеко в историю. Установлено и доказано, что еще в 1918 году Бухарин в союзе с троцкистами, зиновьевцами и левыми эсерами организовывал заговор против Ленина, Сталина и Свердлова. Установлено также, что Бухарин превосходно знал о заговоре эсеров и всячески их поощрял. Установлено также, что эсерка Каплан, стрелявшая в Ленина, действовала не только по указанию партии эсеров, но и по указанию Бухарина.

Предательством и вероломством сопровождалась вся политическая деятельность прожженного двурушника, фарисея и иезуита Бухарина!

На суде бандиты держались так же подло, как подлы были их дела. Заплечных дел мастер фашист Бухарин увертывался, никак не хотел признать себя шпионом, организатором гнусных преступлений. Он, видите ли, «теоретик»: Его специальность — общие проблемы и методология. Факты, документы, неопровержимые свидетельства, показания других обвиняемых, собственные признания, данные на предварительном следствии, — все это отвергалось Бухариным, тщательно старавшимся уйти от прямого ответа на ясно поставленный вопрос. Подобно змее, которой наступили на хвост, бандит запирался, изворачивался, извивался, лгал.

Право-троцкистские заговорщики об'единились с контрреволюционерами всех мастей. Бухаринские молодчики по заданию своего агамана установили «деловую связь» с белогвардейцами. Это вполне естественно. Чем в самом деле дроздовцы и шкуровцы хуже бухаринско-рыковских шпионов и террористов?! Они с полным правом могут пожать друг другу руки. Но когда Бухарину задали прямой вопрос о связи с зарубежными белоэмигрантскими организациями, он пытался рядиться в тогу невинности. Нет, помилуйте, он не связывал себя с эмигрантами. Сподвижники и соратники, действительно, могли связываться, это допустимо, а что касается самого Бухарина, то его специальность — «общие проблемы»!

Право-троцкистские заговорщики торговали нашей родиной! За помощь и содействие они обещали отдать фашистским агрессорам Украину, Белоруссию, Азербайджан и все, что угодно, только бы притти к власти, опрокинуть социалистический строй, только бы задушить революционную свободу и советский народ. Никакая цена не представлялась подлецам слишком большой для этих столь сладостных их сердцу целей!

Обер-бандит Бухарин под напором неопровержимых фактов принимал на себя общую ответственность, но когда речь заходила о деталях, о шпионских переговорах, о купле и продаже, то с неимоверной легкостью этот фарисей сваливал свою вину на своих подручных.

Наглое запирательство и увертки Бухарина вызывали недоумение даже у других подсудимых, которых, казалось бы, трудно чем-нибудь удивить.

Прокурор Вышинский спросил шпиона и диверсанта Шаранговича относительно Бухарина и Рыкова:

- Значит, они, по вашему мнению, шпионы?
- Совершенно верно.
- Так же, как и вы?
- Так же, как и я.

Свидетели Яковлева, Манцев, Осинский, бывшие члены ЦК левых эсеров Камков и Карелин показали на суде о деятельности Бухарина в 1918 году, направленной против Ленина, Сталина и Свердлова. Вся-

чески пытался Бухарин увильнуть от ответственности, изворачивался изо всех сил, но факты были неопровержимы. И все же этот иезуит упрямо продолжал твердить:

— Нет.

Он всего лишь замышлял арестовать Ленина, Сталина и Свердлова, — всего лишь! Об убийстве он даже не думал. Правда, это могли бы свершить его подручные. Но при чем здесь Бухарин — теоретик и идеолог?

Вполне уместен был вопрос прокурора, обращенный к обер-бандиту Бухарину, — когда и какой разведкой был он завербован?

Ведь, так мог и должен был поступать шпион, наемный убийца, провокатор, и так именно поступал шеф-бандит, палач, авантюрист, лгун Бухарин.

Не отставали от своего лидера и другие заговорщики, соперничая с ним в фарисействе и иезуитстве, изворотливости. Крестинский — двурушник, лжец до мозга костей — метался, как пойманная крыса, из угла в угол. Вначале он отрекся от всего, заявив, что он невинен, как новорожденный младенец. Потом начал признавать, опровергая свое отрицание. Рыков, следуя по стопам Бухарина, также стремился обелить себя, сваливал наиболее грязные дела на своих подручных, оставляя за собой лишь ответственность за общее направление деятельности «право-троцкистского блока». Некоторые из заговорщиков, вроде Шаранговича и Зеленского, бравировали грубой, циничной откровенностью. Другие, вроде Ягоды и Буланова, изображали из себя демонических личностей с трагическими переживаниями. Подлейшие отравители — Левин, Казаков и Плетнев — старались всю вину свалить на Ягodu.

Находясь у края могилы, гнусные преступники, изолгавшиеся до последнего предела, потерявшие всякое подобие морального облика, соперничали друг с другом в подлости.

В блестящей речи государственного обвинителя, прокурора СССР тов. Вышинского была нарисована картина чудовищных злодеяний, совершенных участниками «право-троцкистского блока». Слова государственного обвинителя пригвоздили преступников к столбу позора. Характеристики прокурора были метки и уничтожающи. Неопровержимыми документами он разоблачал гнусных изменников. Государственный обвинитель был во всеоружии фактов, от которых некуда было уйти. Логика его была ясна и чиста, ибо это была логика большевистской правды.

Преступники предстали перед народом во всей своей невыразимо растленной мерзости.

Все присутствовавшие в зале слушали речь прокурора с волнением, с замиранием сердца. Каждый думал: да, это и мои мысли, и мои слова, и моя ненависть, и мое отвращение, и мое презрение. Да, речь

государственного обвинителя—это та речь, которую готов произнести и я. Заключительные слова государственного обвинителя были ярки и пламенны:

«Вся наша страна, от малого до старого, ждет и требует одного: изменников и шпионов, продававших врагу нашу родину, расстрелять, как поганых псов!»

Требует наш народ одного: раздавите проклятую гадину!

Пройдет время. Могилы ненавистных изменников зарастут бурьяном и чертополохом, покрытые вечным презрением честных советских людей, всего советского народа.

А над нами, над нашей счастливой страной, попрежнему ясно и радостно будет сверкать своими светлыми лучами наше солнце. Мы, наш народ, будем попрежнему шагать по очищенной от последней нечисти и мерзости прошлого дороге, во главе с нашим любимым вождем и учителем — великим Сталиным — вперед и вперед, к коммунизму!».

В прекрасных словах представителя государственного обвинения были выражены чувства всего советского народа.

Процесс антисоветского «право-троцкистского блока» еще и еще раз мобилизует бдительность советского народа.

В своем докладе на пленуме ЦК ВКП(б) в марте 1937 г. товарищ Сталин говорил:

«У нас принято болтать о капиталистическом окружении, но не хотят вдуматься, что это за штука — капиталистическое окружение. Капиталистическое окружение — это не пустая фраза, это очень реальное и неприятное явление. Капиталистическое окружение — это значит, что имеется одна страна, Советский Союз, которая установила у себя социалистические порядки, и имеется, кроме того, много стран — буржуазные страны, которые продолжают вести капиталистический образ жизни и которые окружают Советский Союз, выжидая случая для того, чтобы напасть на него, разбить его или, во всяком случае — подорвать его мощь и ослабить его...»

... Не ясно ли, что пока существует капиталистическое окружение, будут существовать у нас вредители, шпионы, диверсанты и убийцы, засылаемые в наши тылы агентами иностранных государств?»

До тех пор, пока СССР находится в капиталистическом окружении, мы должны быть постоянно на-чеку для того, чтобы обеспечить себя от неожиданных нападений.

Антисоветский «право-троцкистский блок» разгромлен и уничтожен, но из этого не следует, что можно ослабить бдительность. Бесспорно, что где-нибудь в самых потаенных закоулках остались еще троцкистско-бухаринско-рыжковские недобитки, которые попытаются при случае показать свое ядовитое жало.

Однако не может быть никакого сомнения в том, что советская разведка, опирающаяся на поддержку всего советского народа, справится беспощадно со всеми врагами родины, со всеми, кто покушается на социалистический строй, на народное счастье.

Приговор Верховного Суда СССР был встречен всем советским народом с громадным удовлетворением.

— Изменникам родины нет и не может быть места на нашей священной земле!

По всей стране прокатилась волна грандиозных всенародных митингов и собраний. Всюду народ одобрял приговор, приветствовал советский суд, приветствовал боевую советскую разведку.

Сормовские рабочие послали Николаю Ивановичу Ежову взволнованную телеграмму:

«Горячо приветствуем Вас, дорогой наш депутат Николай Иванович, и в Вашем лице всю советскую разведку, разгромившую банду псов из «право-троцкистского блока».

Эта победа заслуженно признана равной выигрышу большого сражения с капиталистическим миром.

Мы, как и весь советский народ, всегда поддерживали и будем поддерживать нашу славную советскую разведку. Громите и беспощадно уничтожайте заклятых врагов советского народа—право-троцкистских шпионов и диверсантов.

Никакой пощады врагам народа! Смерть предателям родины!»

Моряки крейсера «Красный Кавказ» в своей резолюции записали:

«Личный состав крейсера «Красный Кавказ» единодушно одобряет приговор Военной Коллегии Верховного Суда СССР над участниками «право-троцкистского блока». Советский суд вскрыл все чудовищные злодеяния право-троцкистской банды шпионов, изменников, провокаторов, вредителей, убийц.

Сорвана маска с контрреволюционного смрадного подполья. Вскрыт зловонно-мерзкий клубок преступлений. Уничтожена банда фашистских шпионов, стремившаяся навязать свободному народу рабство, неволю, гнет. Советский народ силен, велич, непобедим.

Нет в мире силы, способной помешать нашему великому движению к коммунизму. За кровь лучших сынов народа — Кирова, Куйбышева, Менжинского, Горького — враги заплатят своей жизнью.

Вместе со всем советским народом мы прокляли злодеев, но их кровавых преступлений не забудем никогда.

В ответ на происки врагов мы еще больше усилим мощь нашей страны, а если понадобится, отдадим жизнь за социалистическую родину».

Донские казаки и казачки, колхозники сельскохозяйственной артели «Знамя колхозников», Мигулинского района, Ростовской области, написали после процесса горячее письмо товарищу Сталину:

«Волна великого гнева прокатилась по всему Дону, когда мы узнали, что эти подлые продажные псы фашизма в своих гнусных кровавых целях рассчитывали на нас, донских и кубанских казаков, пытаясь вновь превратить казачество в слепую силу против Советской власти, против нашей большевистской партии и всего трудового народа, подсылая к нам своих агентов презренных Слепковых, Пивоваровых, Лариных. Но подлые предатели родины, фашистские бандиты просчитались. Они забыли, что уже давно нет старого Дона, который выполнял роль палача над угнетенным народом.

Советское казачество с величайшей горечью и стыдом вспоминает свое прошлое. Оно никогда к нему не вернется. Не бывать тому, что было и о чем мечтают злейшие враги народа. До последней капли свою горячую кровь мы готовы отдать за нашу счастливую родину, за счастье трудового народа. Будем крепкой стеной, несокрушимой крепостью стоять на защите интересов трудящихся всего мира...

... Все эти рыковы, бухарины, ягоды и прочие бешеные фашистские псы будут уничтожены. Мы даем свое крепкое казачье слово с помощью наших славных наркомвнудельцев быстро справиться с остатками неразоблаченных врагов, очистить от них наши колхозные станицы и хутора.

Посылаем тебе, дорогой друг и учитель Иосиф Виссарионович, наш колхозный казачий привет и просим тебя передать наше пламенное желание Николаю Ивановичу Ежову, чтобы он также и в дальнейшем беспощадно громил злейших врагов народа».

Великим гневом об'ят советский народ, узнавший о подлых злодеяниях троцкистско-бухаринско-рыковских заговорщиков. На своих знаменах народ пишет призывы к бдительности и зоркости, к беспощадному уничтожению всех врагов социализма!

Великий пролетарский писатель Горький писал:

«В нашей среде, оказывается, прячутся мерзавцы, способные предавать, продавать, убивать. Существование таких мерзавцев недопустимо... Нужно истреблять врага безжалостно и беспощадно».

Эти слова великого Горького, павшего от руки подлых убийц из «право-троцкистского блока», стучат в сердце советского народа.

Великая советская страна смело смотрит в будущее. Мужественный и героический советский народ находится в состоянии мобилизационной готовности перед лицом опасности военного нападения. Никакие фокусы наших внешних врагов не застанут нас врасплох. Несокрушимое морально-политическое единство нашего народа представляет собой гранит, о который разобьется вдребезги любая провокация, любая авантюра врага.

Сила и непобедимость советского строя состоит в том, что весь наш народ готов защищать завоевания социализма от всех и всяческих врагов, защищать до последней капли крови!



С. ГАЛКИН

★

★ ★ ★

Цепляясь за траву клешнями рук и ног,
На самый верх горы пигмей ползком взобрался...
И только потому, что глянуть вниз боялся,
Он крикнул небесам: — Гляди, как я высок!

И он поверил сам, об'ятый жалкой спесью,
Что вовсе не гора позволила ему
Подняться к облакам по склону своему,
А это он гора — с земли до поднебесья.

Повеял ветерок — и сдул, как горсть золы,
Ничтожество души, рожденной бездной черной...
Спокойно, как всегда, вокруг вершины горной
Толпились облака и реяли орлы.

★

Навек погибнет тот, кто жизнь народа продал,
Иль путь к нему забыл, живя собой одним!

Страшнее нет судьбы,
чем вызвать гнев народа,
Нет счастья большего,
чем быть любимым им.

*Перевел с еврейского
А. БЕЗЫМЕНСКИЙ.*

★

Стекло

С. ГАЛКИН

★

Прозрачное стекло блестит в руке твоей.
Ты видишь сквозь него и землю, и людей.
Весь мир перед тобой отчетлив и открыт:
Кто радостен, кто зол, кто весел, кто скорбит...

Но если у стекла любую из сторон
Покроешь хоть слегка грошовым серебром,
То исчезает с глаз все то, что в мир влекло,
И зеркалом простым становится стекло.

Пусть зеркало чисто, пусть гладь его ясна
И нет на нем нигде малейшего пятна,
Но, радуясь и злясь, ликуя иль скорбя,
Ты сможешь видеть в нем лишь самого себя.

*Перевел с еврейского
А. БЕЗЫМЕНСКИЙ.*

★

Половчанские сады

ПЬЕСА В 4 ДЕЙСТВИЯХ

Литературный вариант

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

★

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Маккавеев, Адриан Тимофеевич, директор совхоза, 57 лет.

Александра Ивановна, его жена, 39 лет.

Дети Маккавеева от первого брака:

Юрий, врач, 34 лет.

Виктор, инженер, 32 лет.

Сергей, красный командир, 29 лет.

Василий.

Анатолий, боксер, 24 лет.

Дети Маккавеева от второго брака:

Маша, 19 лет.

Исайка, 18 лет.

Отшельников, Алексей Дмитриевич, военнослужащий, 28 лет.

Унус, Ирод Антонович, научный сотрудник, 45 лет.

Ручкина, Софья Николаевна, учительница, 35 лет.

Стрекопытов, Платон Платонович, заведующий хозяйством,
52 лет.

Дуся, его жена, 23 лет.

Пыляев, Матвей Фомич, 50 лет.

Жабро, Каспер Касперович, гость Маккавеева.

Письмоносец.

Лейтенант для связи.

Другие гости Маккавеева.

Действие происходит в плодовом совхозе, в наши дни.

★

Право первой постановки в Москве принадлежит
Московскому ордена Ленина Художественному
академическому театру СССР им. Горького.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Помещичий когда-то дом, и в нем большая, с остатками бывших роскошеств, комната Маккавеева; одна из стен целиком новая. В трех некрашенных шкафах — восковые плоды, ботанические препараты, лабораторный инвентарь. Направо — лестница в верхний этаж; на площадке ее первого марша — чучело ночной желтовато-серой птицы. Под лестницей, рядом с дверцей в пристроенный чуланчик, — конторка. Над нею часы-ходики и сельскохозяйственные плакаты по сторонам. За дверью с цветными стеклами — прозрачное, подкрашенное осенью пространство сада. Слева — отгороженная занавеской койка Исайки и столик с его инструментами; разобранный граммофон на полу. Вечер и жара, все приходящие обмахиваются чем придется. Александра Ивановна штопает пиджак мужа, Маккавеев в кресле; из-под халата торчат его большие грубые сапоги.

1

Маккавеев (*взял крынку, заглянул*). И тут скисло. Хлопья какие-то плавают. (*Сплеснул на пол, пьет.*)

Алекс. Иван. Не пей столько. Опять припадок будет. Дай сюда.

Маккавеев. Поезд давно пришел. Что ж дети-то не едут?

Алекс. Иван. Твердила, лошадей бы послать. Много ли за вечер воды навозишь.

Маккавеев. Нельзя, Саша. Сгорят мои сады.

2

Стрекопытов (*заглядывая за дверь*). Есть кто-нибудь дома-то?

Маккавеев. Заходи, в самый раз.

Стрекопытов. Отвернитесь, Александра Ивановна. У меня вид окаянный. (*И верно, рубаха на нем надета задом наперед. Он что-то высматривает.*) Не приехали еще, ребятки-то? (*Маккавеев пальцем зовет его к себе.*) Ну пошто, пошто заманиваете?

Маккавеев. Чего, на аркане тебя тянуть. Что я, дракон?

Стрекопытов (*усмехаясь*). Ну, опять вы, такая вещь, задумали!

Маккавеев. Вы же сами, как это говорится, местный самородок ума. И

рапорт тоже... (*И такая уж у него привычка: в волнении утрачивать связь между словами и сопровождать их необыкновенными жестами.*) Па-адалица везде! Слива-то венгерская...

Стрекопытов. Вы уж как-нибудь появственней, Адриан Тимофеевич.

Алекс. Иван. Адриан говорит, поливка у нас плохая. Молодь пожелтела, лист сыпется, как в ноябре.

Стрекопытов. Неустройство вселенной. (*Он неторопливо набивает трубочку.*) Как снег сошел, два дождя всего. Из них один неполноценный. Вы окиньте легким глазиком, что деется-то: петухи петь перестали.

Маккавеев. Воды, воды... бочках возить, копать.

Алекс. Иван. Тише, Адриан, спят у нас. Сойдитесь вы поближе. Кричат, что на покосе.

Стрекопытов (*шопотом*). И это я благоразумно понимаю, что вода. Что же я ее загонопотизирую, что ли? Пруды вчистую выхлебали, уж головастики в трубы пошли. Один наемни топор в колодезь уронил. Он туда влезает. И что же он там видит? Не угадаете. (*Закурил, пыхнул дымком.*) Ложит его топор, а вокруг сухое, прохладное помещение. Такая вещь.

(*Молчание.*)

Я так полагаю, нынче их ждать не приходится, ребяток-то.

Маккавеев (*тихонько забирая в кулак его плечо*). Рапорт-то писали, Платон Платонович?

Стрекопытов. Кто ж за язык-то нас тянул. Эка, рапорт надо писать с поправками: на стихийство, на немощь людскую, на встречное обстоятельство. Да пустите вы мое плечо. Возьмите вон скамеечку, что ли, и ломайте. (*Вырвался и отошел*). Вы, я вижу, выздоравливаете.

Маккавеев. Со мной осторожно, я нынче под током. Я, эвон, припадочный стал. (*Снова срываясь с шопота*). И ежели завтра же, завтра... сколь глаза хватит... я не погляну, что самородок!

(*Стрекопытов вопросительно смотрит на Александру Ивановну.*)

Алекс. Иван. Адриан говорит, что если завтра все полито не будет, то... (*Мужу*). То что тогда, Адриан?

Маккавеев. Переведи, переведи ему... я сам, сам с ведрами выйду, я...

(*Стрекопытов уходит.*)

Он опять свой перхун пил. Вкруг него посидишь — пьяный станешь.

Стрекопытов (*вернувшись*). У же лекарства от вина не отличаете, просвещенный человек. Раз'ясните ему потом, Александра Ивановна.

3

Маккавеев. Вот, и он то же говорит. Васька все свои моря побросает, прискачет, а я здоров... и даже в сапогах. Нельзя, Саша, телеграммами шутить.

Алекс. Иван. За три года можно три дня подарить больному отцу.

Маккавеев. Чем я болен, чем? Припадки сердца у всех бывают. У меня один ребенок знакомый был, и тот... э! (*Махнул рукой*). А ты Ваську с работы сорвала. Часовой на посту, он караулит морскую границу, а ты... А может, в эту-то полминуту они и полезут!

Алекс. Иван. Что ж ты все про Василья одного? К тебе и другие дети придут.

Маккавеев. Тем паче. У Юрья глаз на эти штуки специальный. Эх, не поверит. Дай хоть пузырьков сюда из чулана. Пыль сотри и долей, где нехватает. (*Ерошит голову*). Больные все лохматые бывают. Что ж ты меня ровню в шкатунке содержишь. Побалууй, дай сквознячку!

(*Александра Ивановна пошла открыть окна.*)

Саша, а может, на голову тряпочку мокрую положить? Я видал, больные кладут на голову тряпочку.

Алекс. Иван. Адриан, я с тобой поговорить хотела.

Маккавеев. Давно заметил. Ну, порадууй.

Алекс. Иван. (*у исайкиной койки*). Исай, ты спишь? (*Она отдернула занавеску, там нет никого*). Опять уполз куда-то. Задал бы ты ему хоть раз: расшибется где-нибудь.

Маккавеев. Вернется, я ему подкручу пружину. Ну, давай, радость-то.

Алекс. Иван. (*тихо и сзади*). Адриан... Матвей-то жив, оказывается. (*Маккавеев взволнован, он пытается встать. Она его удерживает.*)

Сиди уж, сиди. Он письмо прислал. Я тебе не показала, не хотела волновать, ты лежал. На!

Маккавеев (*отстраняя ее руку*). Значит, они его не убили? Это хорошо, Саша, хорошо. Что же он тебе пишет, Матвей?

Алекс. Иван. Пишет, в тресте устроился, по поручениям. Вот, описывает, как рыбу закупал. Смешно очень, в стихках, прочтешь тебе?

(*Маккавеев молчит.*)

Он хочет сюда приехать. Я сама понимаю, что не во-время: и дети придут, и он... Да ведь адреса-то его мы не знаем, упредить.

(*Маккавееву душно, он распахивает халат.*)

Надо бы койку-то исайкину в чуланчик перенести. Все почище, поаккуратнее будет при гостях.

Маккавеев. Не похоже, чтоб Матвей на рыбе успокоился. Злых кровей мужик. Значит, турнули его с высоты-то?

Алекс. Иван. Ты сам прочти, оно недлинное...

(И опять Маккавеев не взял письма.)

Помиритесь вы с ним, Адриан. Вы теперь оба старики.

Маккавеев *(притянув ее к себе за рукав)*. Присядь, Саша. Все сбирался спросить, да минута не подходила. Как же это случилось-то промеж вас... знакомство-то ваше?

(Она молчит.)

Какая ты все еще молодая у меня!

Алекс. Иван. Смотри, как расплылось мое лицо и как глаза мои потухли.

(Он гладит ее руку.)

Просто, Адриан, проще самых слов. Я за тебя девчонкой вышла. А ведь я с твоими детьми росла. Настенька, сестра, когда умирала, велела мне не покидать детей. Потом ты ушел на фронт. А Матвей тут и подвернулся. Утром началось, я думала — к вечеру и кончится. Шла по дороге, а он случайно попался мне навстречу. Он остановил копя и все глядел мне вслед.

Маккавеев. Значит, оглядывалась.

Алекс. Иван. Нет.

Маккавеев. Так откуда же ты знаешь, что он вослед тебе смотрел?

Алекс. Иван. Должно быть, сердце подсказало.

Маккавеев. Приставал он к тебе?

Алекс. Иван. Нет. Молчал и только улыбался при встречах. Он веселый был, и всегда ветерок от него шел. Потом, через полгода... уже немцы пришли, и ты ушел в окопы... Матвей ворвался ко мне. Мокрый, вот здесь кровь, черная. Ночь была, и дождик с ним ворвался. Мне почудилось, все наши убитые, товарищи наши, теснятся сзади. Куда же я нитки-то задевала?.. Я его пустила.

(Молчание.)

Потом его взяли немцы. Все прошло, Адриан. Я его оплакала.

Маккавеев. А он взял да и открылся через осьмнадцать лет.

Алекс. Иван. Не думай об этом. Ничего у нас и не было, погляделись и разошлись. Первая-то любовь никогда не бывает главная. *(С новой силой.)* Но когда подумаю, что то же самое случится когда-нибудь и с Машей... Тот же возраст, тот же запах яблочный!..

Маккавеев. Ну, за Машенькой-то мы последим. *(Слегка оттолкнув ее от себя.)* Мне и самому интересно, чем он стал теперь, Матвей Пыляев.стой, кажется, приехали.

4

(Шум из сада. Александра Ивановна едва успела распахнуть дверь. Влетели, запыхавшись, Ручкина и Дуся. Они разодеты, в пределах местных возможностей и вкуса. Дуся хромает, оторвавшийся каблук она завернула в платок.)

Ручкина. Дуська, я за тобой не поспеваю. Ты словно на колесиках.

Дуся. Миленькие, значит, все наврали нам? Мавра плела — у Маккавеевых полон дом сыновей, играет музыка, все кричат «ура». А у вас тишина и даже лекарством пахнет.

Алекс. Иван. Музыку-то, вон она, еще не собирал Исайка. Нету. Наверно, поезд опоздал.

Ручкина. Сейчас урожай в первую очередь. Как здоровье, Адриан Тимофеевич?

Маккавеев. Здоровье мое подтачивает неизвестный червь... старость, Софья Николаевна! А я ему не поддаюсь. *(Жене.)* Дай-ка мне папку с конторки.

Дуся. Мы сюда шли, за бурнашевскими стогами — войска, танки стоят. Даже воздух — какой-то железом пронизанный!

Ручкина. Ну да, сегодня же маневры начинаются.

(Александра Ивановна подала папку.)

Маккавеев. Опять у вас, барышня, в ведомостях ералаш. Нельзя эдак, круглый год в голове весна... Семью девять сколько, восемьдесят один?

Д у с я. Ой, дайте, я поправлю. Та-кой переполох, все ждут гостей. Мы так спешили...

Р у ч к и н а (*перебивая*). Мы так сюда спешили. Дуська все бегом, напрямки. Даже каблук в канаве сломала.

Д у с я. И вовсе не бегом. Он у меня давно шатался. Взгляните, Адриан Тимофеевич... просто как специалист взгляните: все гвозди ржавые. Мне-то незачем бегать, я замужем.

Р у ч к и н а (*вспыхнув*). Ну, меня тоже добиваются. Только я на первого встречного не кидаюсь.

Д у с я. Кто про что, она про Унуса. Нашла хвастаться. Цифра какая-то в бумажных брюках. На этого лунатика только в погреб, ночью, с завязанными глазами и любоваться. Одна фамилия: Унус! Унус в гумус сунул прунус... Господи, какая пучеха!

А л е к с. И в а н. Опять повздорили подружки. В который раз сегодня?

Д у с я. Тре... да, третий. Ну, будет дуться. Поцелуй меня. (*Она обняла Ручкину, которой это неприятно.*) Мой Платон тоже клад, прятать некуда. Ребята еще и не приехали, а он уж... ну, как его звали, негра, который жену-то задушил. (*Шепчет что-то Ручкиной на ухо.*) Ты подразумеваешь, что это за фрукт!

Р у ч к и н а. Пусти, жарко же.
Д у с я. Мавра плела, будто у Мосея курица вареное яйцо снесла. По-моему, это в высшей степени не научно. Как вы думаете, Адриан Тимофеевич? Просто как специалист скажите... Тс-с, голоса! (*Выглянула наружу.*) Не-ет, это Исаея ведут. С утра так волнуюсь, что новые люди приедут...

Р у ч к и н а. ...и молодые люди, главное дело.

Д у с я. Ты что, мстить мне собираешься?

5

У н у с. Обопирайтесь на меня хорошенько. Тут еще приступочка. (*Держит один костыль, вводит смущенного Исайку.*) Добрый вечер, всем добрый

вечер. Барометр шагает вниз. (*Меланхолично.*) Ура, ура.

И с а й к а. Теперь пустите, я один могу.

А л е к с. И в а н. Вот, посмотрите на гуляку. Он и полежать дома не может.

И с а й к а. Братья не приехали еще?.. Ну, принимайте меня, прячьте за занавеску.

У н у с (*поочередно здороваясь со всеми*). Иду, а он лежит под яблоней, подобно тому, как птенец из гнезда. Больные должны лежать; напротив, здоровые должны ходить. (*Передавая сверток Маккавееву.*) Ваша почта. Тут записочка, на мотоцикле привез один. Маневры начинаются. Уже заметно движение войск. (*Ручкиной.*) Вы красивы сегодня.

Р у ч к и н а. Всегда вы берете руку, как в тиски. Ложитесь, Исай, не стесняйтесь.

И с а й к а. Вот, еще музыку надо к приезду починить.

М а к к а в е е в (*тоном выговора, который ему не удастся*). Ты уже, братец, экскурсии какие-то затеваешь. Нельзя быть таким гордецом.

И с а й к а. Брани, брани меня. Маккавеев. Мама, дай мне керосин. Он там, на окне, в баночке.

Р у ч к и н а. Делайте свое дело, я ему подам. У вас целая мастерская. Я вам зонтик принесу, защелка отскочила. Можно?

И с а й к а. Вот, граммофон, потом медогонка у Мосея. Строгая очередь. Несите.

Р у ч к и н а. Как делается жизнь, Исай?

И с а й к а. Подержите тут, я просверлю. (*Положил пружину на стол.*) Какую мне дрель-то Васька прислал. Обо всем помнит. (*Он сверлит отверстие для заклепок.*) Жизнь моя покончилась, наступило житие.

Р у ч к и н а. А вы держитесь. Посмотрите, какие все Маккавеевы крепкие, стойкие. Каркас в них какой!

И с а й к а. Э, разве я Маккавеев... разве Маккавеевы такие?

(*Молчание.*)

Это Мосей сказал про житие, а я ему не верю. Мне нельзя в это верить.

Д у с я. Вы еще наделаете дел, Исай. У меня предчувствие.

И с а й к а. Хочется. *(Со сдержанной завистью.)* Бурнашевские ребята в Красную Армию пошли, с песнями. Они песни поют. Ну, еще одну, не устали? Вы нарядная нынче.

Р у ч к и н а. Последние дни каникул отгуливаю. Опять шум, ребята... Я люблю после лета ребячьи новости.

(Скатилось одно колесико, она его подняла.)

Не гнитесь, не гнитесь, я подниму.

И с а й к а. Руки дрожат. Юрка в письме обещал посмотреть меня. Он вроде профессора теперь. Его все болезни, как чорта, боятся.

Д у с я. Адриан Тимофеевич, вы нам все про Василья рассказываете, а у вас, оказывается, и врачи есть в семье?

М а к к а в е е в *(прерывая разговор с Унусом)*. О, спросите, кого у меня нет. На любой выбор. Вот, еще Исайку будем ремонтировать. Эй, знаменитый ходок, лови газеты. *(Кинул ему сверток.)* Читай, потом доложишь. А сыновей у меня множество: сад.

Д у с я. Когда вы успели столько, Александра Ивановна? Не скажешь ни по годам, ни по лицу.

Р у ч к и н а. Это все от первого брака Адриана Тимофеевича. *(Алекса́ндре Ивановне.)* Я еще девчонкой помню вашу сестру.

А л е к с. И в а н. Моих только двое, остальные от Настеньки. Заждались, три года дома не были.

М а к к а в е е в. А чего, чего товаро-пассажирское движение без толку загружать!

У н у с *(пуская длиннейшую струю дыма)*. Есть такая поговорка: отцы не должны терзани́ть своих детей.

Р у ч к и н а *(терпеливо)*. Нету такого слова, Ирод. И поговорки нету. И потом что вы такое курите?

У н у с. Это есть опыт табака. Новый сорт.

Р у ч к и н а. Пополам с крошеными мухами, наверно. *(Она закашлялась и отошла в сторону. Унус спрятал трубу.)*

ку.) Дети и не узнают теперь, так все здесь переменялось. А если все то время взять...

А л е к с. И в а н. Уж двадцать лет, а как вчера. Дусенька, там я уже вытирала. Кажется, закрыть глаза, и снова будут вечер и песня, и молодость, и тачанки гремят в степи, и этот дом расстрелянный, точно на колено припал...

(Отдаленный стук пулемета. Все слушают.)

Д у с я. Началось.

А л е к с. И в а н. Когда нас сюда привели и сказали: «Стройте!» — здесь голое место было и две десятины порубленного сада. Вот эта стена на земле валялась, и на ней ночная птица. Адриан ее убил.

У н у с *(глядя на чучело)*. Это есть по-латыни бубо максимус. Есть еще и другой вид, бубо аскалафус, с крапинками на груди, но он у нас не живет.

Р у ч к и н а. Какой вы смешной, Ирод. Это есть пугач, по-русски — филин.

А л е к с. И в а н. *(улыбнувшись)*. Спали вповалку на полу, снег забивался в щели. Ночью раз чайник наклонилась напиться, а не течет, замерзло. Тишина, Адриан на фронте, дети спят.. Начало мира.

Д у с я. Вы прямо поэт, Александра Ивановна, поэт на все сто. Да что же они не едут-то?

(Все посмотрели на часы.)

Дайте, дайте мне еще что-нибудь вытирать!

6

С т р е к о п ы т о в *(уже приодетый)*. Благоверная, кто станет ужином кормить? Собирайся домой, матушка.

Д у с я. Слыхали, все слыхали? Но никто не обращайтесь внимания. Ну, дальше, дальше!

А л е к с. И в а н. Может, пирожок скушаете, Платон Платонович? Я для детей напекла.

С т р е к о п ы т о в. Да ведь я пирожков просто так не ем. Пирожок есть такая вещь, сухая.

Дуся. Не давайте, не давайте ему водки. Он намажет себе лицо чернилами и задушит меня на конторке.

Унус. Одолжите вашего табачного состава, товарищ Стрекопытов, и покурите трубочку, как я.

(Стрекопытов со вздохом опускается рядом и закуривает одновременно с Унусом свою коротенькую носогрейку.)

Маккавеев. И вот, Витька без штанов бегал, дроздов из рогатки стрелял. И вдруг он уже что-то на радио. М-м, консультации дает. Но Ваську ему, конечно, не перешибить.

Дуся. Я так и вижу: он сидит в железной башне, ветер шевелит на нем волосы, на макушке. Мя-ягкие! И голос такой мелодичный, смахивает на баритон.

Ручкина. Дуся, ты же не слышала его в жизни ни разу.

Дуся. Я замечаю, Сонюшка, что из высших переживаний тебе ничего не доступно.

Маккавеев. Или Юрий, например. Отчаянный малый был, полна голова репья, ящериц таскал за пазухой...

(Дуся содрогнулась от отвращения.)

Как вдруг в газетах пишут, он что-то себе привил, для науки. Все ученые даже за голову схватились, а он отвил назад, и никаких последствий. Вроде Васьки сынок-то, решительный!

Дуся. Он не психиатр? Безумно люблю психиатров. В них всегда что-то есть.

Стрекопытов. Дуся, не смехи людей, пойдем домой.

Дуся. Вот бы тебе у него гипнозом от водки полечиться. Ну, третий теперь!

Маккавеев. Третий мой — чемпион пяти городов. Бьет налево и бьет направо. Этого Анатолием зовут. Извиняюсь, но боксер.

Ручкина. За силу не надо извиняться. Сила — это хорошо.

Унус. Зачем вам сила, Софья Николаевна?

Ручкина. А хотя бы охранить старость матери, честь сестры. Вы кроткий, Ирод. Вы гусеницу с закрытыми гла-

зами давите, чтоб не видеть. А в мире еще мерзость есть, с ней драться надо.

Алекс. Иван. Вот, двое у нас в войну пошли. Сергей-то здесь, танком теперь командует. Скоро увидите.

Маккавеев. Он записку прислал, прочти.

Алекс. Иван. *(прочтя записку)*. Пишет, зайдет только после учений. Жалко, в сбор не попадет.

(Молчание.)

А Василий в подлодке ходит, под водой. Под тяжелой морской водой. Скажи сам что-нибудь про своего Василья, Адриан!

Исайка. Василья папа больше всех хвалит.

Маккавеев. Чего ж мне его хвалить. У нас зря орденов не дают. Приедет, сами увидите.

Ручкина. А Машу-то, если не сын, и забыли?

Алекс. Иван. На рассвете приехала. Спит. *(И показала вверх)*. Исай, что ты все стучишь?

Исайка. Пружину надо переклепать.

Алекс. Иван. Так ты как-нибудь шопотом стучи... Это и есть самое дорогое у нас. Нонешние-то, знаете как, пиво пьют, с аэропланов кувыркаются. И думать-то дух замирает. А эта тихая, как свет вечерний: ходит, и тени от ней нет.

Стрекопытов. Погодите, придет и за ней какой-нибудь. Мордастый, с усищами, папироску жует... И уведет он вашу Машу.

(Отдаленный расплывчатый гул.)

7

Алекс. Иван. Никак гроза? Ребята в самый дождь попадут. Когда же ее надуло?

(Один очень сильный удар. Дуся выбежала и вернулась.)

Исайка. Война стучится в половчанские сады.

Дуся. Из-за сада стреляют. Бой начался. Кто со мной туда, на поле? Ракеты пускают, и кажется, что ябло-

ни бегут от сграха. Сонюшка, айда... может, оркестры пойдут.

Стрекопытов. Куда, куда! Оркестры на войне раненых таскают.

Исайка. Мама, можно мне из-за занавески выйти?

Алекс. Иван. Дуся, проводите его до беседки. Оттуда все, как на ладони. Подайте ему, Сонюшка, отцовский бинокль из конторки. Но будешь сидеть тихо.

Исайка. Да, мама.

Дуся (*уходя под руку с Исайкой*). Не ревнуешь, Стрекопытов?

8

(*Новый удар.*)

Маккавеев. Здорово, сынок!

Унус. Товарищ Стрекопытов, молодые посадки у нас еще не загорожены?

Стрекопытов. У меня там колышки стоят и ямки накопаны.

Маккавеев. Так ведь ночь, и на картах они не обозначены. Надо бы хоть людей с фонарями поставить.

Стрекопытов (*привстав*). Люди, такая вещь, в баню пошли. Выходной завтра, Адриан Тимофеевич.

Маккавеев (*сердясь*). Э, опять он... в глазах... моросит. Саша, рукав подшила? Давай сюда, как есть!

Алекс. Иван. Адриан, тебе лежать надо.

Стрекопытов. Вам бы теперь себя, Адриан Тимофеевич, в аккуратности соблюдать.

(*Маккавеев скинул халат, вскидывает на себя эту старую, с разными пуговицами, куртку. Какие-то пузырьки падают вокруг него.*)

Дракон, дракон и есть.

Маккавеев. Наложимся еще, милые. Айда, Ирод Антонович. (*Обернувшись с порога.*) Дети приедут... э, покорми!

(*Они ушли.*)

Стрекопытов. Ему бы рук-то четверо. И в саду-то идет — яблони от ветра клонятся. Дуську-то гоните, гоните от себя. Она надоедная.

(*Бежит следом за ними.*)

Алекс. Иван. (*вдогонку*). Адриан, что же ты делаешь с собою... Адриан!

9

Алекс. Иван. Вот так и упадет где-нибудь лицом в землю.

Ручкина. Сколько я его ни помню, всегда он такой. Куда ни войдет, и сразу там тесно становится.

Алекс. Иван. После припадка я к нему подошла, а он один глаз надурил, мокрый, и подмигивает. «Вот, — хрипит, — нехватает меня на мир-то, Саша. Так я сыновей на него напущу...».

Ручкина. И он свою угрозу сдержит.

(*Гул самолета и еще одна далекая бесшумная ракета. Тени скользят. Ручкина поднялась.*)

Ручкина. Светло будет домой идти. Надо подготовиться, заняться скоро.

Алекс. Иван. Не оставляйте меня одну, Сонюшка.

Ручкина. Всегда вы ровная, тихая, как ясный день осенний. А нынче вас и не узнать. Глаза без солнышка и все движение другое. Что с вами, Саша?

Алекс. Иван. Духота какая стоит. Грозу бы хорошую опрокинуть на эту печку.

Ручкина (*настойчивее*). Так что же с вами, Саша?

Алекс. Иван. Страшно, Сонюшка.

(*Молчание.*)

Давно, девчонкой была... помните, я вам рассказывала? Так вот, этот человек придет, и этого нельзя остановить. Я думала, его убили, в застенке, а он... Мне кажется, я даже слышу его шаги. Вот, сейчас он мостик переходит. И я не вижу его лица: какой он теперь?

Ручкина. Саша, Саша... ведь вы же всегда любили Маккавеева!

Алекс. Иван. Должно быть, девчонка забыла, что она любит только Маккавеева.

(*Она делает жест молчания. По лестнице, потягиваясь и протирая кулачками глаза, спускается Маша.*)

10

Маша. Что же это, утро или все еще ночь? Никак не разберу. Тишина, и где-то звенело. *(Перед чуелом.)* А, это вы! Приветствую вас, хранитель ночи. *(Зевнула.)* Мама, сколько молн в нем. А братцы... моются, спят?

Алекс. Иван. Задержались где-то. Кушать хочешь?

Маша *(отрицательно качнув головой)*. Как я распалась. Туман какой-то... Что же мне снилось? Розовое, и много-много... Забыла.

Алекс. Иван. В твои годы это всем снится, Воробей.

Маша. ...И все звенит. Не-ет, не мошкара. А потом все рухнуло и разбилось. *(Она трясет головой.)*

Ручкина. Что, застряло и не вываливается?

(Маша увидела Ручкину. Склонив голову, та смотрит на нее из-за конторки.)

Маша. Софья Николавна... Сонюшка!

Ручкина. Это стекла зазвенели, как из пушек ударили. Маневры начались. Большущая вы какая!

(Держась за руки, они кружатся.)

Какая вы стали, Маша! Голову можно потерять.

Маша *(трогая щеки)*. Красная? Это спросонок. Мама, куда ты?

Алекс. Иван. Я за Исайкой схожу. Затащит его Дуся куда-нибудь.

(Она ушла.)

11

Ручкина. Кто же вы теперь, Воробей?

Маша. Агроном. Ездил много, на хлопке была. Сколько повидала людей и городов. Широко в мире, Сонюшка!

Ручкина. У вас вся жизнь впереди, весь ее разлив. И мне приятно, что когда-то вы сидели у меня на школьной скамье. И глаза у вас были такие же, непроснувшиеся. По зимам вас увозили в Половчанск, и, помню, вы спро-

сили однажды: «Почему в Половчанске всегда зима, а у папы всегда лето?».

(Обе смеются.)

Чего вы погрустнели, Маша?

Маша. Можно мне вас поцеловать, Софья Николаевна?

Ручкина. Маша, за что?

Маша. Просто так. У меня нехватило денег на подарок вам. Стипендия маленькая, вы понимаете.

Ручкина. Как вам не совестно, Воробей!

Маша. А ведь это вы научили меня любить науку, работу, жизнь. И, главное, видеть то, что спрятано от неумелых глаз.

Ручкина. Мне дорого, что меня не забыли. Целуйте, можно.

Маша. Вот, честнее не умею. Очень хочу, чтобы ваши ученики поднялись высоко-высоко, откуда видно все, города и люди. И пусть они вспомнят тогда, кто же первый обучал их этой честной жизни... Вас Василий часто вспоминает.

Ручкина. Довольно, а то разрешусь... Перестаньте, Воробей.

Маша. Все еще не поженились с Унусом? Как мне стыдно, что девчонками мы издевались над этим... ну, что у вас ничего не получается.

Ручкина. Вот видите, мошка какая-то в глаз попала.

(Молчание.)

Он добрый ко мне, но тихий. очень. Нет, не выходит у нас. Да и неловко, Маша. Знаете, сколько мне? Не говорите ничего, не надо, Воробей. Ко-му я нужна! Разве цыган ночью по ошибке со двора сведет.

Маша. Стыдно, стыдно, Сонюшка.

Ручкина. А у вас, Воробей, никого нет? Признавайтесь старухе, я никому не скажу.

Маша. Хитрая, подзадорить хочет. А мне и не в чем признаваться. Тут чисто... И, кроме того, все это баловство ужасно отвлекает от работы.

(Легкая, неслышная, она проходит по комнате. Ручкина провожает ее взглядом.)

Только теперь начинаю узнавать все: дом и сад. Вот, электричество у вас, новость.

Ручкина. Первый год еще, Воробей.

Маша. Завтра с утра побегу здороваться. Мосей жив? О, какие он мне дудки вырезал. Я ставила их в поле, и они сами пели на ветру. И прежде всего в пруд, купаться. Я забегу за вами, Сонюшка. *(У раскрытого окна.)* Безмолвие... и воздух-то! Стойте, что это?

Ручкина. Соловей. Мслодое поколение, ишь, трелей не досказывает. Начнет, начнет, и не умеет.

Маша. Странно. Вот соловьев не помню совсем. А хорошо как...

Ручкина. Так никого у вас нету? Ну, значит, это вор был. Днем нынче, когда вы спали... и никого у вас дома не было... человек приходил под окно, вас спрашивал.

Маша *(резко захлопывая раму)*. Кто?

Ручкина. Он называл фамилию, я забыла. Машенька, что с вами? Воробей!

(Шум из сада.)

Маша. Молчите... ничего не было.

Ручкина *(принимая, как уговор)*. Ничего не было.

12

(Александра Ивановна вернулась.)

Ручкина. Что, не нашли Исяя?

Алекс. Иван. Нет, я по саду прошлась. Ты что окном хлопнула, Маша? Ну, взгляни мне в глаза, что тебя напугало?

Маша *(растерянно)*. Там... в саду.

Ручкина. Маше кто-то в саду привиделся.

Алекс. Иван. Я шла, там никого не было. Да и про разбой не слышать в нашем краю, все сытые.

Ручкина. Маша, простите меня.

Маша. Нет, нет. *(Прижав руки к щекам.)* Как щеки горят. Мама, что же это со мной? Я, кажется, заболеваю.

13

(Маккавеев вернулся. Веселый, кинул куртку в кресло, болезни нет и следа. Закусывает, стоя у стола.)

Маккавеев. Кто же на сады попрется. Чай, грамотные. Ну и конница, Саша, прошла! Вспомнил, как и мы когда-то в клинки ходили... и разволновался. Пылищу подняли. Вы, что, мышей ловите, затихли?

Алекс. Иван. Маша заболела с дороги. Порошки бы найти. Были у меня где-то порошки.

Маккавеев. От жары! По дороге идешь, как по горячей золе. *(Пьет из крынки, отплюнулся.)* Кисейкой надо закрывать, хозяйка! *(Поставил на место, подошел ближе.)* На что жалуетесь, Воробей?

Ручкина. Маше кто-то в саду привиделся.

Алекс. Иван. Вот и пожалеешь, что Анатолия-то нет. Он бы освидетельствовал, что за зверь бродит. Верно, за яблоками полезли.

Маккавеев. Что же, у самого дома-то слаще, что ли?

(Молчание.)

А может, покойник? Его ведь только с одной стороны видать, а с другой не видать. В третьем годе в Бурнашевке повадилось привиденье кур воровать. Дали два года с изоляцией. Теперь сторожем при клубе служит, ничего... *(За подбородок поднимая голову дочери.)* Загуляли твои братья, Воробей!

Маша. Они приедут.

Маккавеев. Нет-ет, разлетелись из гнезда. Вот и ты полетишь когда-нибудь от меня, Воробей.

Маша. Я уже сговорила в наркомате. Весной приеду к тебе работать уже навсегда. Кро-овь! Что у тебя с рукой, порезался?

Маккавеев. Так, от земли потрескались. Салом смазать. Ну-ка, мать, что тут случилось?

Алекс. Иван. Я ушла, меня тут не было.

Маккавеев. Софья Николаевна, ну-ка!

(Молчание.)

Софья Николаевна, в этом доме не лгут.

Ручкина (*смушенно*). Днем, Маша спала, к ней сюда человек приходил. Я случайно за выкройкой прибежала...

Маккавеев. А-а!.. Человек-то молодой или старый?

Ручкина. А я вниманья не обра- тила... Молодой.

Алекс. Иван. Оставь их, Адриан. Это у нее пройдет. Щеки... это у нее с дороги.

Маккавеев. Саша, дочка-то последняя у меня. Зашей пока рукав, на плетне порвал. Ты его знаешь, Воробей, человека-то?

Маша. Да.

Маккавеев. И давно ты его зна- ешь?

Маша. Совсем нет. (*С внезапной смелостью*.) Конечно, давно знаю.

Маккавеев. Год, два знаешь... сколько? Смелей, Воробейнок!

Маша. Месяц... Да, месяц.

Маккавеев. Она его знает дав- но: месяц. Темпы, мать, дыханье вре- мени!

Ручкина. Не дали девочке отдох- нуть с дороги...

Маккавеев. Кто же он, Воробей? Может, юрисконсульт какой или в ко- перативе служит.

Маша. Я не знаю. Я поднималась к Василью, брату. Мы встретились на лестнице. Он уступил мне дорогу. Он в форме, как у Василья... (*И жест о нашивках на рукаве*.) Он глядел мне вслед, пока я не захлопнула дверь.

Алекс. Иван. Так, значит, ты оглядывалась? Оглядывалась на него, Машенька?

Маша. Нет.

Маккавеев. Оно повторяется, Саша. Оно падает на нас из ясного не- ба... Тогда откуда ж тебе известно, доч- ка, что он вслед тебе глядел?

Ручкина (*пытаясь помешать до- просу*). Раз шаги его стихли, значит, сн на месте стоял. А если стоял, так что ему и делать иначе!

(*Испуганная совпадением происшествий и слов, Александра Ивановна потерянно трогает вещи кругом.*)

Маша (*подымаясь*). Я лучше к се- бе пойду. У меня вещи не разобраны.

Маккавеев. Машенька, не торо- пись. Мы никогда тебя больше не спро- сим. Ну, потом вы встретились еще. Нет, нет, как и мать твоя, совсем слу- чайно!

Маша. Да. Однажды ночью...

Маккавеев. Конечно, кто ж это делает утром!

Маша (*резко*). Нет. Я из акаде- мии шла, бюро выбирали. А там шос- се глухое. Трое пристали. Я побежала от них и упала, руками. А этот чело- век...

(*Молчание.*)

Он шел случайно сзади.

Алекс. Иван. Ну, и что же, Ма- шенька?

Маша. Эти трое плакали.

(*Молчание.*)

Я даже и не говорила с ним ни разу.

Маккавеев. А разве при этом говорят? Не говорят, молчат и улыба- ются. Что ж, Воробей, ты звала его сюда?

Маша. Нет.

Алекс. Иван. Но хочется тебе, чтоб он пришел сюда... случайно?

Маша. Совсем нет, что ты, папа! Пусти меня, мне больно руки.

Маккавеев. Саша, она не хочет. Она знает, что первая-то не самая главная. Она приносит горе, первая-то. Не пугайся, мы так и сделаем, Воро- бей. Мы его не пустим.

Ручкина. Пойдемте, Маша, на верхнюю террасу... ну!

Алекс. Иван. (*смятенно*). Ступай, Воробей, ступай. Там у нас хорошо, са- мый аромат.

(*Ручкина и Маша медленно уходят к лестнице.*)

Маккавеев (*вслед*). Ты улетишь от меня, Воробей, как разлетелись твои братья.

(*Маша вздрогнула, остановилась и, не обернувшись, пошла дальше.*)

14

Алекс. Иван. Почернела вся, точно молнией обожгло. И голос с хрипотцой, ты заметил?

Маккавеев. Вспомнила себя, Саша? *(Перебирая свои лекарства на столике.)* Тут уж не помогут твои порошки.

(Потом он проходит по комнате, трогает исайкины инструменты. Александра Ивановна следит за ним от двери.) Сколько раз говорил, собак не держать на цепи.

Алекс. Иван. Адриан, этого собаками не устроишь. Да и время не то: они выходят замуж сами.

Маккавеев. Времена-то новые, да я-то уж не прежний! *(Услышав движение Александры Ивановны.)* Ну, что еще там?

Алекс. Иван. *(мечась).* Что делать, что делать... Кто ж думал, что он так скоро. Матвей идет!

(На ней легкое летнее платье. Вторых она накинула на голые плечи старый вязаный платок. Маккавеев нехотя садится на прежнее место в кресло.) В последний раз... когда-то он был твоим другом. В последний раз: не гони его, Адриан!

15

(Они ждут в молчании. Появляется Пыляев, в черном пальто, с некрашеной и длинной палкой. Полуседая прядь налипла во впадину виска. Он снял фуражку. Так, закусив ус и держа за спиной скобку двери, он стоит на пороге.)

Пыляев. Собак в доме нет?

Алекс. Иван. Они на цепи. Входи, не бойся.

Пыляев. Они меня не любят.

Алекс. Иван. Собаки!.. Адриан, а к нам гость. Ты заснул, что ли? У него позапрошлой ночью с сердцем было нехорошо.

Пыляев. А, знакомо. Что это у вас, половики? *(Коснулся палкой.)* Половики в доме хорошо. Для ног. Хорошо у вас. Здравствуй, Адриан!

(Маккавеев недвижим.)

Что смотришь, постарел?

Маккавеев. Входи, будь гость. Сымай свою хламиду.

Алекс. Иван. Мы и не слышали, как ты под'ехал. Или ты пешком?

Пыляев. А я не спешил. Идешь с палочкой. Луга в росе, птицы шебаршат. Хорошо. *(Он бережно вешает свое пальтишко на спинку стула, а палку относит в угол.)* Что ж ты не спросишь, Адриан, зачем я приехал.

Маккавеев. А я знаю, зачем. *(Пыляев, который собрался сесть, выпрямился.)*

Пыляев. Что, что ты знаешь?

Маккавеев. А вот, зачем приехал-то, знаю. Чай, отдохнуть приехал.

Пыляев *(Александр Ивановне, с облегчением).* Все знает, ничего не утаишь. Потянуло на прежние места. Все думал, сойду со станции и след своего коня увижу. Ан нет. Приходит вечерний ветер, он сметает дневные следы.

Маккавеев *(жене).* Его в поэзию потянуло. Это с голоду. Зарядика его, Саша, похлопочи.

(Александра Ивановна рада занять чем-нибудь свои беспокойные руки.) Чего жмешься, озяб? Там, в буфетике есть. Погрейся.

(Пыляев идет к шкафу, наливает, пьет.) Дверь-то открой, Саша.

Пыляев. Дуплет в середину, хоп!.. Комик я стал, Адриан. Я, пожалуй, еще стаканчик позаимствую. *(Он выжидательно смотрит на хозяев, они молчат, он поспешно закрывает шкаф.)*

Алекс. Иван. Мы детей сегодня ждем. Уж летят со всех сторон в отцовское гнездо. Ты не запиваешь, не испортишь нам встречи?

Пыляев. Нет, что ты! Я совсем другой стал. Меня люди не узнают на улице. *(Присаживается к краешку стола.)* Вот, потеплее стало, и пальцы гнутса. А ты, я вижу, все тот же, деревянный доктор: лечишь деревья, беседуешь с мотыльками... Премудрость. С мясом пирожки-то!

(Он ест. Молчание.)

Сколько же у тебя всего сынов-то?

Маккавеев. Семеро.

Пыляев. Сколько накопил. Кто же это, седьмой-то?

Алекс. Иван. Исайка, ты его не знаешь. Он уж после тебя родился. Ты ешь, ешь селедку-то!

Пыляев. Большое хозяйство. Вот тоже, я шел, яблоч у тебя много. На деревьях-то не помещаются. Богатство. И моль летает, живая. Я люблю, когда моль. Сколько ж мы не видались-то?

Маккавеев. Осьмнадцать.

Пыляев. Много.

Алекс. Иван. Расскажи нам, что же было-то в твоей жизни.

Пыляев. А все было. Сольцы в доме нет?

(Александра Ивановна подала ему солонку.)

Я сейчас хорошо живу.хлопотно хотя, хочу уходить. Ты меня не пристройшь куда-нибудь к обиходу? Что-нибудь такое, огород сторожить. Меня вороны очень боятся. *(Посмеялся.)* Я шучу, у меня место хорошее. Начальство меня тоже любит.

Маккавеев. Саша, дай ему тряпочку. Чего он руки-то все о стол вытирает. Да ты не беги от него, Саша. Ты поближе сядь.

Алекс. Иван. Ему, наверно, с дороги умыться надо. *(Пыляеву.)* Вещи-то подвой, что ли, едут?

Пыляев. А меня обокрали в поезде. Я спал, они стенку над головой прорезали... И ловко так, только дырочка осталась.

Маккавеев. Ты дай ему потом переодеться, Саша. Рубаху свежую дай, мою. Зашила пиджак-то? Ну-ка, прикинь пиджак.

Пыляев *(стыдясь Александры Ивановны)*. Это я потом, Адриан, потом. *(Он складывает пиджак у себя на коленях.)*

Алекс. Иван. Адриан, я пойду пока, кровать ему постелю. *(Молчание мужа она принимает за позволение уйти.)*

16

Пыляев. Чего ж она бежит-то от меня?

Маккавеев. Карболкой от тебя несет, Матвей Фомич. Болел, что ли?

Пыляев. А я принял, не замечая. Я, Адриан, как Иов, стал!

Маккавеев. Чем болел-то?

Пыляев. Да всем понемножку, по совокупности. Саша-то какая все еще молодая!

Маккавеев. А что! Жизнь ровная, власть советская, работы вдоволь, на воздухе целый день.

Пыляев. Плечики-то у ней как играют.

(Маккавеев берет его за руку, они пристально смотрят в глаза друг другу.)

(Пыляев опускает голову.)

Совладал, совладал, пусти.

Маккавеев. Так зачем же ты приехал-то?

(Молчание.)

А я знаю: ты на сына своего приехал взглянуть.

17

Алекс. Иван. *(сбегая вниз по лестнице)*. Адриан, там подводы какие-то гремели... Адриан!

(Она пробегает в сад.)

Маккавеев. Ну, допивай свое. При детях не дам. Дети у меня строгие.

Пыляев. Что ты! Я запрешь в каморочку, меня и нету.

(Маккавеев садится в кресло, старым байковым одеялом прикрывает ноги. Пыляев отходит в сторону. Из сада слышны смех и молодые голоса.)

18

Алекс. Иван. Вещи все наверх. Несите все сразу наверх. Складывайте пока в угловую. Они, оказывается, на станцию дальше проехали. Василья только не раньше утра ждать... Адриан, дети приехали!

(Рослый возница, на цыпочках и косясь на Маккавеева, поднимается с чемоданами по лестнице.)

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Верхняя просторная терраса у Маккавеева. Покосившуюся балюстраду заплело диким виноградом; на балюстраде графин с кваском. Узенькая лестница налево сводит по стене дома вниз. Видны желтеющие верхушки яблонь. Стол, табуретки, дощатый диван, почерневшие от времени. На столбике висят две пары боксерских перчаток. На столе в углу весы, микроскоп, два сортовых яблока. Время за полдень, полтеррасы в тени. Пишут рапорт. Маккавеев ходит и диктует. Стрекопытов за бумагой. Унос у весов.

1

Маккавеев. Стоимость капиталовложений подсчитаете потом и вставите в рапорт, Ирод Антонович. (*Стрекопытову.*) Пишите дальше. Совхоз обещает, кроме того, увеличить площадь посадок до четырехсот га.

Стрекопытов (*иронически*). Вы уж пообещайте, такая вещь, сплошной сад до самого Черного моря.

Унос. Ничего. Что человек задумал, значит, можно вдвое. Я хочу этим сказать, что можно сделать вдвое против того, что задумал человек.

Маккавеев. Написали? Точка с запятой. И, наконец, позысить урожайность до сорока восьми тонн с гектара, а выход меда на пасеке до восьмидесяти килограммов с улья.

Стрекопытов (*вскочив*). Это ж чистая брехня, Адриан Тимофеевич. Миленькие, ведь это же все выполнять придется. Я и сам, такая вещь, слава богу, тридцать два года в крымских садоводствах, а там все коренные сады...

Маккавеев (*показывая ему вниз на балюстраду*). Эва, полюбуйте на вашу гвардию. С кого это они пример берут?

Стрекопытов (*вниз*). Эй, эй... в платке, в платке. Разве я так тебе наказывал? Не на хозяина работаешь. Ты вольготней, на штык, на полный штык бери!.. Что же это с головой моей делается. Вы пощупайте... Нет, я прошу вас, как директора совхоза, пощупайте мне лоб.

Унос. Это солнце, оно напекает гладкие поверхности. Перебирайтесь на эту сторону. Здесь хорошо. (*Вдвоем с Маккавеевым они переносят стол в тень.*) Говорят, градусник на солнце лопнул. Я не видал.

Стрекопытов (*держа в руках бумагу и чернильницу*). Вы хоть про суховей-то помяните, Адриан Тимофеевич. С самых, дескать, жен-мироносиц не было дождя... И, все-таки, как бы это сказать, что ли, вопреки стихийству...

Унос. В райкоме, товарищ Стрекопытов, широко известно про суховей. Надо писать, чего они не знают. (*Дружественно.*) И не надо думать о жене. Она молода. Вникайте в закон природы.

Стрекопытов. Во все законы природы вникать, это с души сорвет. (*Александра Ивановна внесла посуду, поставила на стол и ушла.*)

2

Маккавеев. Не прерывайте ход мысли, сейчас завтракать сюда придут. (*Диктует.*) Таким образом, запятая, совхоз, основанный в октябрьский год на мертвой половчанской глине, волею народа и советской власти...

Унос. Имеете глубокое право упомянуть и себя, товарищ Маккавеев.

Маккавеев. Э, я тоже и народ, и советская власть. Не мешайте! (*Голос Маши внизу: «Мама, лови мыло!».*)

Ну, вот!.. Тут, Ирод Антонович, вы подберите подходящую цитатку, что-нибудь насчет всемирного сада. Так. Нам еще остался помологический паспорт. Ну-ка, дайте сюда яблоко. И неплохое, милые товарищи мои!

Стрекопытов. А говорят, Адриан Тимофеевич, вы людей убивали в гражданскую-то войну.

Маккавеев. Это вы меня ежедневно убиваете, Платон Платонович. Итак, внимание, товарищи: новый сорт.

Название Родина оставляем. (*Высоко поднимая плод.*) Начали. Ну, что мы видим? Форма плода.

У н у с (*сурово пряча свою длинную трубку в самодельный чехольчик.*) Кальвилевая, ребристая.

Стрекопытов. Тут у меня прибавлено: слегка сплюснутая по оси.

Ма к к а в е е в. Отставить, незначительно. Окраска! Скажем так: смуглая...

Стрекопытов (*искоса взглянув, привычно пишет.*) Сму-углая. У плодоножки, на солнечной стороне нежный размытый румянец. «Нежный» я подчеркну: неловко, ведь это в газеты пойдет...

Ма к к а в е е в. Подчеркните два раза слово «нежный»!.. Вес прикидывали?

У н у с. Не верится. Дайте, еще раз. (*Он бросает яблоко на весы. Все собираются рядом.*)

Гирьку десять грамм Маша потеряла еще шесть лет назад. Но мы возьмем пятьдесят и вычтем два раза по двадцать. Дайте ей остановиться. Смотрите, четыреста тридцать грамм. Это — чудесная плотность. «Первенец Джеффри» посинеет и сгниет от зависти, ха-ха...

Стрекопытов (*похлопывая его сзади по плечу*). Не зазнавайтесь, Ирод Антонович!

Ма к к а в е е в. Теперь вкус. Внимание!

(*Кривым садовым ножом, предварительно вытерев лезвие о виноградный лист, он режет яблоко на три дольки. Каждый жует свою.*)

Не торопитесь, вы делаете историю. Как там у вас записано?

Стрекопытов. Не дойдет, несерьезно как-то: мускатно-винный, переходящий в гамму лимона.

У н у с. Припишите еще: с острым ледяным... Нет, подчеркните! Пишите так: с прозрачно-ледяным ароматом. Это есть так.

Стрекопытов. Какой же это такой аромат: прозрачно-ледяной. Такого аромата, извините, не бывает.

У н у с. Внюхайтесь, если еще не все органы у вас утратили свое предназна-

чение. От него нестерпимый холод идет, на нем роса лежит, глядите!

3

(*Снизу голоса и быстрые шаги по лестнице.*)

Ручкина. Маша, что вы еще там придумали?

(*Обе с полотенцами вбегают на террасу. Легкий халатик Маши, пронизанный сзади солнцем, не скрывает формы ее отличных ног.*)

Ма ш а. Простите, мы не знали...

Ма к к а в е е в. Входи, входи, мы почти закончили.

Ма ш а (*целуя отца*). Какое утро было! И везде побывала: и на ключе, и на пчельнике.

Ручкина. Бросилась Мосея целовать. Сперва растерялся, потом принялся мед ломать. Гудит и ломает, гудит в бороду и ломает.

Ма ш а. До сих пор голова кружится и пальцы, понюхай, медом пахнут. Что ты жуешь, так вкусно... Дай кусочек!

У н у с. Маша, когда вы успели... такая!

Ма ш а (*махнув рукой подруге*). Все такой же. Сейчас будет речь.

(*Унус взял оставшееся яблоко. Он колеблется, кому из двух женщин отдать его. Ручкина отходит в сторону.*)

У н у с. Возьмите, товарищ Маша.

(*Она уже протянула руку, но он еще не отдаст яблока.*)

Скоро юбилей нашей молодой родины. Потом ей будет и сорок, и сто, но двадцать не повторяются в жизни никогда.

Ручкина. Ирод, это все знают и без вас.

У н у с. Всякий несет ей свои плоды и дары. Один — паровозы молниеносных скоростей, другие — рекорды угледобычи или, скажем так, перелет через неизвестность. (*Ручкиной.*) Можно так сказать, Софья Николаевна: неизвестность?.. Мы, маленькие люди, — новое яблоко. (*И опять он не торопится отдать его Маше.*) Оно прекрасно и лежит дольше всех. Великий зоркий друг,

кто видит все, пусть возьмет его на руку и похвалит его мудрую тяжесть.

Маккавеев. Это яблоко, Маша, мы делали втихомолку семь лет. Возьми!

Маша. Это почтенно и это нарядно. Но этого мало... Нас двое!

Ручкина. Кушайте, кушайте, Воробей, вам в новинку.

Стрекопытов. В этом году выпускаем первые две тонны.

(Маша смотрит на него и не узнает.) Это я, Платон Платонович.

Маша. Черномор! Я и не узнала вас сразу. Где густейшая борода?

Унус. Хо-хо, время переменяет облик человека, как говорят некоторые старики.

Маккавеев. Ты про женитьбу-то его расспроси.

Стрекопытов (закрывая ладонью голый подбородок). Проспал полвека, сосал водочку-перхун. И вдруг разглядел и лунный свет, и женский след на талом-то снежку. Тут мне бороды и урезали. Эх-ма, пародия в общей сложности. Двинулись, что ли? Софья Николаевна, Дуську там мою не видели?

Маша (вдогонку). Черномор, Черномор, где твоя густейшая борода!

4

(Александра Ивановна вошла со скатертью.)

Алекс. Иван. Завтракать станем, не расходитесь. Задержи их, Адриан.

Маккавеев. Погоди, мать. Вижу, купался, Воробей?

Маша. Всю дорогу мечтала — сразбегу в воду. А ты все пруды на свои яблони вылил, Маккавеев. Пришлось за пчельник тащиться. Ряской затянуло... но у самого дна, если нырнуть, вода отличная, с хрусталинкой. И вылезли обе, как русалки, в зеленой чешуе!

Ручкина. Русалка была одна, Воробей. Не надо быть умнее правды.

Алекс. Иван. Умней не надо, а добрее будь.

Маккавеев. И выпался, вижу, отлично.

Маша (про яблоко). Это его собственный запах?

Маккавеев (отводя ее руку). И щеки больше не горят?

Маша. Нет, прошло. А братцы все дрыхнут? Какая гадость. Сонюшка, айда ребят будить.

Ручкина. Они меня, наверно, и не помнят.

Маша. Какие пустяки. Вы увидите, это всемирные ребята!

Алекс. Иван. Уж поднялись. Анатолий, вон, все утро тень свою на стенке колотил. В саду гуляют.

5

Исайка (поднимаясь по лестнице). Папа, тебя ждут в конторе.

Маккавеев. Иду, иду. Кликни к завтраку.

Алекс. Иван. Я у тебя костыли отберу, Исайка. Юрий разрешил тебе по ровному месту ходить, час в день.

Исайка. Мне уж восемнадцать. Мне пора учиться ходить по лестницам.

Алекс. Иван. Слова не даст сказать. На вечер костылей у тебя не будет.

Маша. Исай, машину свою починил? Значит, мы устраиваем фестиваль танца. Сонюшка!

Ручкина. С утра минутки свободной не дала. (Маше.) Нет, нет... я молдою с вами.

Алекс. Иван. Бедовая.

6

(Вошел Пыляев, сразу наступило молчание.)

Пыляев. Нигде Адриана не найду.

Алекс. Иван. Они рапорт пишут.

Пыляев (Маше). Красоте вашей поклоняюсь. Познакомь нас, Александра Ивановна. Пылаев!

(Сдержанный поклон Маши и Ручкиной.)

А когда-то в шорохе этого имени людям чудились горные обвалы. И я

знал вас совсем маленькой. Вас еще и не было, а было предчувствие одно... в мимолетности взгляда, в лепестках той весны...

(Молчание.)

Девушки-то уж и не смотрят. И пожалеешь горько об этих обвисших плюшевых шеках.

Исайка. Мама, кто этот пыльный человек в папином пиджаке?

Ручкина. Пойдемте, Исай. Это старая дружба.

Маша. И, кажется, слишком старая, чтоб ее стоило подновлять.

(Ушли.)

7

Пылаев. Жестких деток вырастили. Занятный сад, где каждое яблоко с шипами.

Алекс. Иван. (не желая поддерживать разговора). Ты далеко ходил гулять сегодня?

Пылаев. Да, обошел ваше хозяйство и должен заметить, что в сравнении... Кстати, эти громадные чаны и пресса...?

Алекс. Иван. Это опытные. Адриан пробует делать сидр. Все изобретает.

Пылаев. Я так и догадался. Он и в молодости беспокойный был мужик. Хо, мир замер и не дышит: все ждут маккавевского сидра!

Алекс. Иван. Ты покури пока, я спущусь. Скоро завтракать будем.

Пылаев. Не беги от меня, больше не буду. Ну, пойдешь ко мне, скорее. Шкуру я сменил, больше не пахнет.

Алекс. Иван. Ты уже старый. Тебе стыдно, Матвей!

Пылаев. Усы, что ль, не нравятся? Я за усы не держусь. Сброем.

Алекс. Иван. Не говори, не подумав. Мне это причиняет боль.

Пылаев. Спасибо. В самые черные минуты Пылаева поддерживала мысль, что здесь его встретит старая ласка... хотя бы в половинном пайке. Хотя жалость-то осталась....

Алекс. Иван. ...и я не хочу, чтобы она перешла в отвращение к тебе.

Пылаев. А скажи, шопотком скажи... нищим не лгут. Если бы я снова позвал тебя с собою...

(Александра Ивановна сделала непривольный жест испуга.)

Ну-ну, я пошутил. Ты прочно встала на этот якорь, да и Пылаев не тот. Сам под маккавевским диваном пристроился из милости. В жизни-то, как в женском сердце: смыли Пылаев, написали — Маккавеев, и никто не заметил.

Алекс. Иван. Как можешь ты сравнивать Адриана с собою!

Пылаев. Ему не повредит. Он идет, и все цветет вокруг: сад, сыновья, самые камни, по которым он ступает. Так вот она, обитель, куда я полз осьмнадцать лет. (Подергав себя за ворот.) Тесна, тесна мне маккавевская риза!

Алекс. Иван. С такими мыслями трудно тебе будет у нас.

Пылаев. Я уйду. Отпустишь?

(Она молчит. Он отвернулся к балюстраде, лицом в пространства полей и сада.)

Там, за лесом, синее на горизонте... это и есть граница? (Неожиданно обернувшись.) Да, я уйду. Я, собственно, по дороге и забрел. Но вот что: ты не дашь мне что-нибудь... на память?

Алекс. Иван. Ты карточку хочешь? Я давно не снималась.

Пылаев. Нет, нет, я не то имел в виду. Нечто другое, не столь выцветающее. Ты... не устроишь мне некоторую скромную сумму? Я потом почтой верну... или попрошу одного паренька завезти. Милейшая личность. Кстати, он и отдохнет у вас малость.

Алекс. Иван. (с готовностью). Хорошо, Матвей. Я все собиралась Исайку на курорт везти, на грязи. Все лежать — какое уж на койке лечение. Кроме исайкиных, нет у нас денег. Но я возьму немножко, украдкой. Сколько тебе надо?

Пылаев. Одному римскому папе пожелаю прожить сто лет. Он сказал: зачем ограничивать милость божию. Так и я. Бери больше. (Взял микроскоп в руки.) Это ведь тоже ценность

в наше время, а ценности любят пропадать. Во что ты ценишь эту вещь?

Алекс. Иван. Поставь, уронишь. (Недобро.) Куда ж тебе больше-то?

Пыляев. Ну, как сказать! Расходы по жизни. При социализме люди тоже любят получать. Там у тебя в графине сидр? Будь друг, протяни!

(Александра Ивановна почти конвульсивно stalkивает графин за баллюстраду.)

Смотри, убьешь кого-нибудь!

Алекс. Иван. Какого зверя ты в себе содержишь, ежеминутно, ежечасно!

Пыляев. И раненого зверя, прибавь.

8

(Юрий с осколком графина.)

Юрий. Кто тут кидается режущими предметами?

Алекс. Иван. Он упал.

Юрий (Пыляеву). Я не признал вас вчера, в суматохе. Я — Юрий Маккавеев. Помните, во времена оккупации, мальчика, который таскал обеды вам на чердак. Это был я.

Пыляев. Как же, как же. Выросли. Кажется, директор клиники? Время, время...

Юрий. Что было! Немцы, завоеватели... они превратили нашу Украину в сплошную братскую яму.

Пыляев. Да, да...

Юрий. А вот голос у вас стал совсем другой.

Алекс. Иван. Только ли голос?

Пыляев. Да-да, и голос.

Юрий. Из всех ребят только я один знал, что вы прячетесь у нас на чердаке. И эта тайна делала меня взрослым. Курите?.. Я даже отчетливо помню ночь, когда вас взяли. Еще у двери усатый, рыжий такой, в бескозырке, и штык у пояса...

Пыляев. Я не люблю вспоминать: еще не зажило. Я внизу погуляю, Александра Ивановна. (Он ушел.)

9

Юрий. Кажется, я задел больное место у старика.

Алекс. Иван. Не бойся. Оно зарубцевалось и черной шерстью поросло. (Юрий посмотрел на нее, удивленный ее тоном.)

Что же завтрак-то... Плохая я хозяйка. Ты, говорят, утром отца смотрел. Ну, что?

Юрий. Признаться, по телеграмме я думал, дело хуже.

Алекс. Иван. Уж он бранил меня за телеграммы. Но ему так хотелось повидать вас, я хорошо знаю Адриана. Это еще с весны у него началось.

Юрий. Ты весной болела, кажется, ма?

Алекс. Иван. Да. Так получилось: все разехались, в шашки ему играть не с кем. Исайка читал нам вслух по вечерам. И помню, строка попала. Пустынная... но как же это было? (На память.) «Когда настигала его ночь, он встал во весь рост лицом к закату и припомнил свой пройденный день...». Вскочил мой Адриан и убежал в сад. Я бросилась за ним с курткой, как была — раздетая. А еще снег лежал...

Юрий. Ну, до ночи-то ему далеко. Этот человек надолго сделан.

Алекс. Иван. Ты втолкуй ему беречь себя.

Юрий. Славная ты женщина, ма! Помню, болел, мальчишкой. Открою глаза — потолок с обитой штукатуркой, в глазах все какой-то черный мотылек лорхаает... ты топишь печь рядом. Потом опять бред, ночь, иней на окнах, маленькая Маша плачет. И опять, как ни очнусь — ты рядом, сгорбилась у печки. Нас пятеро, отец за советскую власть где-то бьется... а ты совсем девочкой была. Дай руку, мать.

(Она протянула, он ее целует.)

Алекс. Иван. Юрий, Юрий! (Где-то далеко четкая, буйного ритма песня. Оба слушают.)

Конница идет. Хорошо у нас песни петь научились.

Юрий. Можно задать тебе вопрос?

Алекс. Иван. Давай поговорим о тебе, о твоей работе.

Юрий. Вот, при мне твоя телеграмма. «Выезжай немедленно». Она без подписи. Я прочел ее сто раз. В сто первый она показалась мне похожей на крик.

Алекс. Иван. Да, я припадка испугалась.

Юрий. Я так и понял. Когда припадок-то случился?

Алекс. Иван. Ты со мной, как с маленькой. Тринадцатого вечером.

Юрий. Точнее, время, ма!

Алекс. Иван. Ну, в семь. В четверть восьмого Унус уже помчался за врачом.

Юрий. Припадок в семь. Телеграмма послана в восемь. Но ехать до станции два часа. Значит, телеграмма была написана в шесть. Ну, смелее, ма. Что же случилось за час до припадка?

(Молчание.)

Алекс. Иван. *(волнуясь)*. Дай и мне папироску... Зачем ты хитришь со мною! Ты же все знаешь, тебе было тогда уже шестнадцать лет.

(Юрий терпеливо ждет ответа.)

В шесть пришло письмо от Пылаева. *(Кашляя от дыма.)* Адриана не было, его принесли потом. Мне стало страшно...

Юрий. Вот это мне и нужно. Чего же ты напугалась, мать?

Алекс. Иван. Я не знаю... Но ты же помнишь, его увели тогда в такое место, откуда никто не возвращался живым. Ты же помнишь Гришу Одинцова, Гарковенку Илью. А ведь они знали, кого они берут! И мне стало страшно, что придет человек, который умер.

Юрий. Ну, мертвые не ходят. Они спят в хорошо закрытом помещении.

Алекс. Иван. О, сколько ходит их между нас. Оттого порой живым и плохо. И вот он уже денег у меня просил.

Юрий. Что ж, дай ему рублика три. Эти трубокуры любят подымить.

Алекс. Иван. Нет, я не дам. Это только начало. Или уж заплатить ему, чтоб ушел? Не знаю... А все-таки, как же он выбрался-то оттуда, Юра?

Юрий. Ну, наши бегали и не из таких застенков.

Алекс. Иван. Ты прав, мне и самой смешно теперь. Но вернулся он уже не наш... мне кажется, даже не свой. Все ходит вокруг дома, кого-то ждет... забудыгу вроде себя. Мне все чудится, вот двери рухнут, и целое кладбище ворвется за ним...

Юрий *(помолчав)*. Ну, кто же может войти в дом если ты сама этого не захочешь.

Алекс. Иван. Мальчики, не пугайте их сюда!

(Музыка в глубине дома.)

Вот, Исайка музыку свою починил.

Юрий. Смотри в жизнь весело, ма, и она станет веселой. И, кроме того, ты не одна.

10

(Из внутренних комнат открывается шествие. Виктор и Анатолий, который в длинном и пестром халате, несут на самодельных носилках граммофон Исая. Из помятой, оклеенной сукном трубы грохочет полька. Сзади Маша и Ручкина.)

Виктор. Халло, халло. Танцевальный фестиваль объявляю открытым. Маша, Софья Николаевна! *(Кричит вниз, в сад.)* Папа, Платон Платонович, вас записать? На вальс? *(Всем.)* Они желают танцевать марш.

Маша. У нас марша нет в запасе.

Анатолий. У меня в чемодане есть, я привез.

(Ручкина меняет пластинку. Старинный дребезжащий вальс. С молчаливой изысканностью Виктор предлагает руку Александре Ивановне, Анатолий — Маше. Юрий остается сидеть. Кружатся две пары. Первая пара — Виктор и Александра Ивановна.)

Виктор. Не сопротивляйся, ма, я в танце зверею.

Алекс. Иван. Не надо, Виктор, я совсем разучилась.

Виктор. А ты делай, как я. Теперь поворот, два шага влево. Что с тобой? У тебя губы трясутся.

Алекс. Иван. Жара, осы летают. Ужалила одна.

Виктор. Куда она тебя ужалила?

Алекс. Иван. В сердце, Виктор.
(Вторая пара — Анатолий и Маша.)

Анатолий. С тобой и пройтись лестно. Ты фартовая девочка стала.

Маша. Хорошо, а билет на матч с Воскобойниковым не прислал.

Анатолий. А почему не позвонил? Я сбил его на втором раунде. Если бы не барьер, он летел бы у меня шесть трамвайных остановок. В декабре еду за границу на рабочую спартакиаду. Что тебе привезти?

(Темп вальса замедляется, музыка хрипнет.)

Маша. Крутите, крутите!

Анатолий. Там Исайка пружину переклепал, нехватает на полный завод.

(Ручкина поворачивает ручку один раз. Что-то щелкает, и все замолкает. Все бросаются к граммофону.)

Виктор. Халло, халло. Фестиваль объявляю закрытым. (Отцу, который поднялся вверх.) Папа, ты опоздал. Мог получить первый приз.

11

Дуся (вбегая по лестнице). Уже отстанцовали? Всегда в жизни опаздываю. (Ищет глазами свободного партнера, видит Юрия.) А вы почему не танцуете?

Юрий. Ботинок жалко, новые.

Дуся. Скрипеть перестанут... Вы — Юрий Адрианович, я вас знаю. (Она присела возле.) Вы не обидитесь на вопрос?.. вы не психиатр? Немножко да? Ну, расскажите тогда, как специалист, что-нибудь про сумасшедших. Я так интересуюсь на научную тему. У меня у самой иногда мурашки по спине и голова, как отрубленная...

Юрий. И часто это у вас бывает?

Дуся. Не-ет, когда с мужем поссорюсь. А отгадайте, почему? Ай-ай, вам же надо хорошо знать человеческую душу, правда?

Юрий. Конечно. Как же нашему брату без этого.

Дуся. Я не знаю, есть ли душа, но, что болей она может, это я знаю.

(Молчание.)

Женская душа, наверно, труднее остальных?

Юрий. Я бы не сказал. Устройство и наружный вид почти одинаковые.

(Их окружили. Собираются к завтраку.)

Дуся. А можете вы меня загипнотизировать и внушить что-нибудь такое? Только не вредное.

Юрий. Это запрещено. Милиция не велит.

Виктор. Гипнотизер — так это я. Сорокалетний стаж и семь медалей. (Скороговоркой.) Гипнотизирую лиц обо-его пола, домашних животных, сельскохозяйственный инвентарь, а также мелкие серебряные вещи!

Дуся (в восхищении). А можете вы... Хотя лучше начнем с мужа. Он у меня уже созревших лет, и мне так хочется... Что вы головой трясете?

Виктор. Насчет мужа не выйдет. Тут гипнотизм пропадает.

Дуся. А вы попробуйте. Если что и случится, ничего. Это такой мировой водочник и, кроме того... О, Сонюшка, ну как его звали, этого негра, который... ну! Стойте, я его сейчас приведу. Платон, Платон! (Она бежит вниз искать мужа.)

12

Алекс. Иван. Дуся, оставайтесь завтракать. Садитесь же к столу, простынет.

Маккавеев. В такую погоду не простынет. (Весело.) Ну, баяны, знакомьтесь промеж собою. А это старый приятель Александры Ивановны...

Алекс. Иван. И твой!

Маккавеев. Она ему крепко нравилась, но я ее покорила. Это теперь у меня на голове сто восемьдесят шесть волосков, а тогда я был завлекательный мужчина.

Алекс. Иван. Адриан, уймись.

Пылаев. Уж вряд ли кто помнит меня. Пылаев!

(Братья молчат, несколько смущенные этим именем.)

Маккавеев. Вот и славно. Ну, становитесь в ряд, сынишки. День-то какой благоприятный!

(Сыновья становятся в шеренгу с пропуском в одно место. Отец обходит их поочередно.)

Маккавеев. Здорово, Юрий! (Про его рост.) В общем я бы запретил такие длинные предметы на земле. Ну, обними меня. Крепче, еще крепче. (Высвобождаясь.) Ну, хватит. Мысль мне скажи... какую-нибудь мысль, свою.

Юрий. Хорошо жить, отец, зная, что люди нуждаются в тебе. Хорошо идти в бой, отец, и локтем чувствовать соседа.

Маккавеев (задумавшись на миг). Кругло, кругло. Ничего не скажешь. Ну, и выходит это у тебя?

Юрий. Об этом родину спроси, отец.

Маккавеев. То-то. Лечишь нашего брата, припадочных?.. и взрезаешь?

Юрий. И взрезаю.

Маккавеев. Аспирин с касторкой не путаешь? Мотри-и!

Юрий. А ты отличный старикан, отец. (Ручкиной.) Сколько таких прошло через мой московский кабинет. Иного разденешь — все тело в иероглифах гражданской войны. А прочтешь по складам — выходит песня.

Маккавеев. Э-эх, про раздетых при девушках!.. Виктор, дай грудь. Ну, скажи мне тоже что-нибудь такое... ну!

Виктор. Страна моя прекрасна, отец, но я волью в нее себя, и она станет еще лучше.

Маккавеев. Похвальное намерение. Что это, братец, ремешки какие-то на тебе, штучки разные. И штаны неправославные.

Анатолий. Это кинамка на нем висит. Хорошая вещь, папаша. Кино сымать. Он вас сымет, а через сто лет покажет.

Юрий. Это он из-за границы привез. Ездил радиостанцию консультировать.

Виктор. Вот, в строители затесался.

Маккавеев (всем). Слыхали? Черт-и! Гляди с башни-то, сынок. Японцы, немцы лезут... все ползут, ползут. Их хватают, а они опять. В оба гляди!

Виктор. Слово! По буквам, отец: Савелий, Лука, Ольга, Василий... Ты что, ты что, отец?

Маккавеев. Василий... На этом бы месте ему стоять. Обманул Васька. (Анатолию.) Здорово, душегуб!

Анатолий. Боксерский салют, папаша. Что, тоже мысль сказать?

Маккавеев. Скажи, Толенька... если можешь.

Анатолий. Ты сказал сейчас: врага у нас развелось густо. Так вот, раньше говорили: око за око, зуб за зуб. А я так скажу: два ока за око и челюсть за зуб. Подошло, папаша?

Маккавеев. Крутовато, но ничего. Нам и это сгодится. Чего смеешься? А ну, давай, как Бульба, на кулаки. Разойдись! Счас я его прочкну.

Анатолий (слегка отталкивая.) Не играй, папаша, проиграешь.

Маккавеев. Да, стар стал Маккавеев. Я уж как бы на вокзале, перед отъездом. Не провожайте меня, не машите картузами...

Анатолий. Шути, тебя хоть на ринг ставить.

Юрий. Ложись ко мне на стол, старик. Я из тебя трех комсомольцев выкрою.

Маккавеев. Не-ет, погнулось мое железо. Но я сделал все, на что хватило разума и рук. Я гордый и важный. Сады видишь под солнцем? Мои. Дodelывайте, детки...

Алекс. Иван. Да уж налюбовались, голодом всех заморил. Садитесь, садитесь.

(Все, кроме Маши и Маккавеева, садятся за стол.)

Маша (пальцами касаясь маккавеевского лица). Ты грустный сегодня, Маккавеев. И брови сухие, как осенняя трава.

Маккавеев. Вот, Васьки нет. Неполон, неполон наш сбор. (Подшел к столу, про место рядом с собою.) Пусть это место нынче свободно будет. Ну, налили? (Встал.) Позвольте, близкие мне люди, секретно представить сей первый опыт отечественного сидра. Он молод и ясен, время прибавит ему силы и крепости. И пускай потомки вы-

пьют тогда за наше здоровье, как мы сейчас выпьем за ихнее.

Алекс. Иван. Матвей, ты выпьешь с нами? Ты хочешь говорить, Матвей?

Пыляев (*поднявшись*). Я остерегаюсь формулировать... (*Какая-то дрожь мешает ему говорить.*) Это есть дело других, вдохновенных пророков. А насчет того, выпьют ли они за нас, не будем навязывать этого потомкам...

(*Все вскочили.*)

Виктор (*закусив губу и протирая очки, как всегда это делает в волнении*). Я не очень понял ваше вещание, но тон и смысл его мне показались злыми. Мне думается, вам теперь пойти за занавесочку и поспать часок.

Маша. Он забыл, что в этом доме можно нарваться на неприятности.

Пыляев (*выходя из-за стола*). Я прошу прощения. Что-то тут сломалось у меня. (*Он задыхается, держится за грудь, табуретка его упала.*) Воздуху, еще воздуху. А-а, не идет...

Ручкина. Ему дурно.

Маккавеев. Отведите его, помогите ему. Матвей, возьми мою руку... Матвей!

Анатолий. Папаша, дозвожь, я чутко проведу гражданина до кровати.

Пыляев. Я сам, я сам. Прошу прощения. Я сам доберусь до койки.

(*Он уходит. Молчание.*)

13

Виктор. Что это, астма?

Юрий. Нет, это деменция завистиана, браток, по-русски — бешенство зависти. И ненависть.

Маккавеев. Не судите, детки. Надо расспросить его сперва, какая на нем тяжесть лежит...

Алекс. Иван. Нехорошо как вышло. Сметаны-то, сметаны-то накладывайте!

Юрий. Васька не похвалил бы тебя, отец, за это гостеприимство.

Ручкина (*стараясь переменить тему разговора*). Кстати, я так и не поняла... Василий Адрианович завтра придет?

Алекс. Иван. Видно, завтра.

Маша. Стойте, я никак не припомню. Разве я не говорила вам? Василий вряд ли скоро придет.

(*Общее движение удивления и досады.*)

Юрий. Позволь, у него же отпуск!

Алекс. Иван. Телеграмму-то он получил?

Маша. Получил. Но его послали в поход на подлодке. Он сказал, если успеет вернуться до зимы, придет на герняка. Зимой у него какие-то зачеты предполагались.

Маккавеев. Так ведь сам же он писал... (*Шаря в карманах.*) Да и письмо где-то здесь было...

Виктор (*стуча вилкой о тарелку*). Чего вы так растерялись, чудак! В нашу эпоху все в экспедиции ходят. Хозяевам полагается знать свое хозяйство.

Алекс. Иван. Погоди, Витенька. (*Маше.*) Ты толком-то расскажи.

Маша. Словом, я зашла к нему недели полторы назад. Он был подтянутый, сухой, но веселый. Он мне: «я, говорит, не смогу с тобой поехать, сестра, извини!». Мы с ним вместе собирались ехать. «Иду, говорит, в поход. Поцелуй за меня стариков». Я стала расспрашивать. «Это секретно, говорит, ничего не могу сказать». И сам смеется. «Но это опасно?» — спрашиваю. «Ну, говорит, я же не один иду. Но лестно, как никогда». Мне тогда очень понравилось в нем, что опасно, а он доволен. Я ему: «Топтыга, говорю, вы симпатичный!». Мы обнялись. Вот и все.

Ручкина. Но смысл-то какой, жизнью рисковать. Неясно, Воробей.

Анатолий. Куда поход-то?

Маша. Я же сказала, что не знаю. Никто не знает. Но билеты лежали на столе, он не успел убрать. (*Оглянувшись, тихо.*) Билеты были на север.

Алекс. Иван. Там же льды теперь. Что же, морей у нас потепле нет?

Юрий. Чудак вы, полозчанцы. Человеку разрешают подвиг, то-есть проверить себя на большем. Я понимаю подвиг, как цветение мужества и зрелости. И я ввел бы это обязательным для

каждого комсомольца страны. Покажи себя родине во весь рост, незнакомец!

Маккавеев. Как всегда правильно ты все освещаешь, Юра.

Анатолий. Какой же это подвиг, раз секретный... если о нем и не узнает никто. Я понимаю, портрет в газетах напечатает...

Виктор. Запомни, Толя, боксера украшает только молчание.

Анатолий. Что ты меня все учишь! Наддай перчатки и преподай мне урок раунда на четыре.

Алекс. Иван. Дети, дети, зачем же ссориться!

Ручкина (раздельно и в тишине). А я ставлю так: тот подвиг и есть настоящий, о котором никто и никогда не узнает.

Маша. Сонюшка, вы это про себя?

Ручкина. Вы меня мало знаете, Воробей. Но я назову вам десятки имен...

Маша. Но вы знаете их здесь, куда газеты на третий день приходят. Значит, вы неправы, Сонюшка!

Виктор. О чем спор! Неважно, громкий подвиг или неслышный. Для народа важно, чтобы его высокое порученье было исполнено до конца.

Юрий. Странные речи для кандидата партии и учительницы. Простите за прямоту, Софья Николаевна. Так чем же отличается ваш подвиг от подвига тех, которые утверждают его смертью, могилами неизвестных солдат? Мы утверждаем его жизнью. Назовите мне еще страну, где говорят о подвигах шахтеров, трактористов, доярок. Нет подвига безвестного. И только тогда это станет качеством действительно нового общества...

Виктор. Это следствие, а я говорю о причине.

Юрий. Ты сними очки, ты оглянись на массы, Витя.

Виктор. Очки тут не при чем. Врач, а споришь, как боксер.

Анатолий. Витька, дай мне постель спокойно!..

Маккавеев (внимательно выслушав всех). Ладно, уймись, петуха. Значит, к зиме будем ждать Ваську.

(Молчание. Виктор отошел к бюллюстраде.)

Маша. Вы обиделись на меня, Сонюшка?

Ручкина. Я имела в виду вашего брата, Исайку.

Алекс. Иван. Дети, что же вы про Исая-то забыли?

Маша. Мы его звали, но он сказал, что занят.

Ручкина. Я ему зонтик в починку принесла, Я виновата. Я пойду приведу его.

Алекс. Иван. На лестнице не споткнулся бы!

Маша. Пойдемте вместе, Сонюшка!

(Они ушли в дом через дверь.)

14

Виктор. Идет какой-то незнакомый человек. Юрий, это не тот?

Юрий (быстро). Где, покажи. Мама, мы больше никого не ждем?

Алекс. Иван. Нет.

Юрий. Пойди на минуточку. Ты знаешь этого человека... озирается за яблонями.

Алекс. Иван. Нет, Юра. Помнишь, я тебе говорила...

Юрий. Не волнуйся, ма. Все будет так, как тебе приятно. Поди сюда, Анатолий.

Маккавеев. Кто еще там, Юра?

Юрий (сухо). Пыляев несколько расширительно толкует маккавеевское гостеприимство. Он собирается устроить здесь клуб. Ты не возражаешь, чтобы мы вмешались в это дело?

(Маккавеев подходит к бюллюстраде, косится на дверь, куда ушла Маша, уходит на прежнее место, молчит.)

Юрий. Анатолий, после доешь.

Анатолий (подходя с тарелкой). В чем дело, начальник?

Юрий. Скажи ему, детка, что мы никого не ждем и чтоб он ушел отсюда.

Анатолий. Ага! Ну-ка, пустите меня.

Виктор. Он улыбается.

Анатолий (широко раздвигает виноград). Эй, скрипач... делай отсюда чап-чап со своей гитарой. Скоренько!

Виктор. Он улыбается.

Алекс. Иван. Ты не груби ему, Толенька. Скажи только, что никого дома нет.

Анатолий. Пустите, мамаш. Я имею аппетит на эти вещи. *(С сознанием своих преимуществ.)* Там, с серенадой!.. когда я говорю во второй раз, то я только половину говорю, а половину делаю.

Виктор. Он улыбается.

Анатолий. Подержите кто-нибудь тарелочку, я сейчас вернусь. Эй, лови, вздремни пока на подушках!

(Он сорвал с гвоздя перчатки и бросил вниз. Маккавеев украдкой прикрывает дверь в дом.)

Виктор. И довольно симпатичная улыбка, чорт возьми! *(Быстро вынимая из футляра кинамку.)* Давай, начали. Для семейной хроники это просто клад.

Анатолий. Хана!

(На-бегу развязывая пояс халата, он бегом спускается вниз. И снова, поглядывая на всех, Маккавеев подходит к баллюстраде. Трещит кинамка. С возрастающим любопытством Юрий реферирует поединок внизу.)

Юрий. Неплохая школа у парнишки. Брэк!.. Анатолий, первое замечание.

Виктор. Эх, свет-то какой. Только бы пленки хватило... Эге, ну это можно пропустить. Для широкого зрителя это не интересно. *(И он снимает всех, даже, кажется, самый раскаленный воздух полдня.)*

Юрий. Сочно. Bravo, Анатолий. Страхни песок с перчатки. Пыляевскому мальчику сегодня будет скучно.

15

Маша. Сбежала от нас Сонюшка. Расстроилась, такая жалость. Что у вас происходит?

Виктор. А, пустяки... Вот, стой так!

(И с колена он направляет на сестру объектив кинамки.)

Маша. Да объясните же.

Юрий. Брэк!

Виктор. Пыляев позвал гостя, а

мы движули на него Анатолия. Вот, все, благодарю.

Маша *(выглянула в сад)*. Юра, это же не тот... это другой, я его знаю! *(Бежит к отцу.)* Папа, останови это... тут ошибка!

Маккавеев *(удерживая ее за руку)*. Сядь со мной, дочка. Теперь уж поздно.

Алекс. Иван. Кто же это, Машенька? Адриан!

Маккавеев. Он за Машей сюда пришел, мать. Все в порядке. Держи себя в руках, Воробей. Ну, что же Исайка-то?

Маша *(сплетя пальцы)*. Он не может, у него паяльник разогрет. Он говорит, что вечером будет дождь, и зонтик потребуется... *(Сдержанность оставила ее.)* Юрий, прекрати это немедленно!

Юрий. Погоди, сестра. Брэк!.. Анатолий, второе замечание. Что ж, это бывает. Раз, два, три, четыре, пять... *(Дальше он отсчитывает время покаута только взмахами руки.)* Так, сеанс окончен. Где тут его тарелка-то?

Виктор *(перематывая ленту)*. Кстати и лента вся. Вот подвезло, Воробей!

Алекс. Иван. Кто кого, Юра, кто кого?

Юрий. Маккавеева бьют, Виктор.

Виктор. Значит, завелся кто-то на свете пошибче Маккавеева.

(Молчание. Маша все не может выбрать яблоко с тарелки. Пауза. По лестнице, с опущенными руками и расчесанной бровью, волоча за собой халат, поднимается Анатолий. Он дышит тяжело, плечи блестят от пота. Никто на него не смотрит.)

16

Анатолий. Ну... я его попробовал, значит. Парнишка, оказывается, в полутяжелом весе, и... *(почти с восхищением)* мировое кроше! Понимаешь, Воробей, я сперва погнался, и он стал виснуть...

Юрий. Не ври сестре. На брэки пошел ты.

Анатолий. Ты же ничего не понимаешь в боксе. Ты умеешь только

считать до десяти. *(Виктору.)* А ну, давай сюда ленту, что сымал.

Виктор. Не дам, урок тебе. Занался слишком, чемпион. А вот как продам ее в Союзхронику...

Маша *(подавая Анатолию графин с водой).* Как видно, это тебе не Воскобойников. Поди, умойся, Толя.

Анатолий. Какие люди у нас зря пропадают. Такого бы подучить, да на европейский ринг поставить...

(Он идет в угол террасы с графином, плеснул воды в ладонь.)

А вот все-таки уходит, с серенадой-то! *(Пауза, и всем жалко, что тот уходит, наверно уже навсегда.)*

Маккавеев. Что ж ты, невинница, стойшь, глаза опустила. Иди, пригласи его в дом, твоего!..

Алекс. Иван. Машенька, тут прибор лишний есть. Я на Василья расчитывала.

Юрий. Покажи нам его, сестра. Это становится занимательно.

(Маше стоит усилий не бежать вслед за уходящим, но она помнит, что все смотрят на нее.)

Маша *(широко раздвинув сетку винограда).* Слушайте, Отшельников. Я вам, вам. Поднимитесь сюда. Это все недоразумение. Вас зовет мой отец.

Голоса всех. Вернулся он?.. вернулся? Да ты сбеги вниз-то за ним, гордыня!

Анатолий. Он идет.

17

(Все, кроме Маккавеева, привстали от ожидания. В дом входит чужой и новый человек. Он в белой рубашке и военных сапогах. Свой пиджак он держит на руке. Бросается в глаза четкая и легкая подобранность его движений. Маша виновато делает два шага ему навстречу. Они разговаривают так, будто остальных не существует.)

Маша. Произошло ужасное недоразумение.

Отшельников. Я понял. И я собирался уйти сам, но мне не понравилась форма, в которой было высказано это пожелание.

Маша. Вы вели себя хорошо. Здесь возникло недоумение, как вы сюда проникли.

Отшельников. Ворота были открыты.

Маша. Почему не лаяли собаки? Для таких случаев вы носите сахар с собою?

Отшельников *(смеясь одними глазами).* Повидимому, собаки догадались, что здесь меня ждут.

(Маша кусает губы.)

В первый раз я вас увидел в Тушине восемнадцатого августа, когда вы прыгали с парашютом. Василий показал мне на вас.

(Общее движение. Маккавеев сокрушено шарит вокруг себя, Александра Ивановна шепчет: «Машенька, свет мой вечерний...» Братья с полной серьезностью переглянулись.)

Маша. Это была ошибка, меня легко спутать с другой. Василий жил только на восьмом, а и то мне бывало жутко глядеть с его балкона. Я просто ужасаюсь высоты.

Отшельников *(понял и улыбнулся).* Вы правы. В первый раз я видел вас тогда, на лестнице. Я не знал, что вы сестра Василья.

Маша. Вы могли справиться у него на другой день.

Отшельников. Я полагал неудобным спрашивать у друга о девушке, которая в поздний час поднимается к нему по лестнице.

Виктор. Да познакомь же нас, Воробей.

Маша. Это мои братья, отец и мать. Ступайте к ним.

Алекс. Иван. Будьте гостем, молодой человек. Не поранил он вас, медведь-то? Как его зовут-то, Машенька?

Отшельников. Моя фамилия — Отшельников. Меня зовут Алексей Дмитриевич.

(Он идет здороваться.)

Юрий. У вас первоклассная школа. Где вы учились спорту?

Отшельников. В армии.

Виктор. Очень выпукло, Алексей Дмитриевич. Умно и не назойливо.

Отшельников. Все это простая случайность. Ваш брат дрался лицом против солнца. (Анатолию.) Не сердитесь на меня, друг!

Анатолий. Вы меня ужасно сконфузили.

Отшельников. Нельсон советовал не презирать врага, чтоб не уменьшать бдительности к нему. (Он дружески поправил складку на его халате.) Со временем из вас выйдет мастер, если только не станете увлекаться. (Александр Иванович.) Ваша дочь — лучшая из девушек, ваши сыновья — славные ребята.

Александр Иванович. Матери в таких случаях не возражают. Извините нас, мы плохого человека ждали. Мы так рады, так рады, что все обошлось. А это папа ее, Адриан Тимофеевич. (Отшельников делает поклон. Маккавеев сидит недвижный и пристальный, не протягивая руки.)

Маккавеев. Хорош кавалер, силком в дом входишь.

Отшельников. Не совсем так. Василий приглашал меня ехать с ним, но его поездка расстроилась. Я друг Василья.

Маккавеев. Васька-то у меня осторожен в выборе друзей. Помнится, он даже к таблице умножения критически относился.

Маша. Васька отважный и наш человек. Он пройдет, и завтра миллионы ринутся по его следу.

Маккавеев. Куда он пойдет, ваш Васька!

Отшельников (Маше). Жму вам руку за друга. (Маккавееву.) Дружба Василья много стоит. И было бы ошибкой не поработать над этой дружбой.

Маккавеев (насмешливо). Я отец ему.

Отшельников. Это мало, друг больше.

(Из сада слышны голоса Ручкиной и Дуси: «Маккавеевы, на соревнованье... Маккавеевы!»)

Юрий. Нас зовут, отец. Мы пошли в сад.

Виктор. Отшельниковы, мы будем вас ждать на волейбольной площадке.

(Маша показала ему язык.)

Александр Иванович. Твой костюм я погладила, Толя. Ступай, оденься!

(Двое сыновей уходят в сад, Александра Ивановича и Анатолий — в дом.)

18

Отшельников. Кстати, я обедал сегодня с Сергеем Маккавеевым. Он просил передать привет всем, кто помнит его. Отличный командир и настоящий Маккавеев.

Маккавеев (польщенно, подмигивая дочери). Я вижу, нравятся тебе Маккавеевы-то. Чего глаза прячешь?

Отшельников. Я не понял, что вы имели в виду. Повидимому, я еще молод и неопытен.

(Старик сконфужен этой четкой и холодной простотой.)

Маша. Вы в волейбол играете, Отшельников? Тогда пойдемте. Приходи к нам, папа!

(Они уходят.)

Маккавеев (вслед). Стой!.. Кто же ты сам-то такой... статный, ловкий, без промаха весь?..

Отшельников. Я служащий. Военнослужащий. Я той же части, что и Василий. Но я в отпуску, и вот...

(Так он объясняет свой гражданский костюм. Они уходят.)

19

(Из дома выходит Исайка с зонтиком.)

Исайка. Софья Николаевна уже ушла? А я-то спешил... (Подожел, неслышно сложил костыли.) Ну, прочел я газеты. Доложить тебе?

(Пауза. Вступает глухой, далекий гул маневров.)

В Испании республиканцы продвинулись немного по железной дороге. Вот, посмотри на карту...

Маккавеев (отстранив его руку с газетой и глядя в ту сторону, куда Отшельников увел Машу). Не улетай Воробей!

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Нижняя, угловая, гораздо меньшая терраса у Маккавеева. Два спуска в сад. Яблоня, похожая на корзину с плодами, подступила слева. Ночь. Луна делит не поровну это пространство на свет и тень. В теневой стороне, на двух составленных скамейках, среди всякой хозяйственной тары, спит, прикрыт тулупчиком, Исайка. Из дома несутся всплески смеха и музыка. У Маккавеева гости по случаю приезда детей. Пробуют молодой сидр. Унус и Ручкина. Они не знают, что они не одни здесь.

1

(Гул нарастает и проходит. Ручкина тронула руку Унуса, приглашая слушать.)

Ручкина. Люблю, когда идет гроза. Когда все никнет и поклоняется дождю. И он приходит добрый, влажный, тучный...

Унус. Нет, это синие наступают. Сегодня ночью будет бой.

2

(Очень веселая, высунулась за дверь Александра Ивановна.)

Алекс. Иван. Софья Николаевна, где вы тут? Идите, ваша очередь, Соношка.

Ручкина. Я вышла из игры. И воздух здесь посвежее. Я потом вернусь.

(Дверь закрылась.)

3

Ручкина. Как помолодели Маккавеевы. Дети приехали. Какая страшная сила во всякой радости! Хотелось бы вам снова стать восемнадцатилетним, Унус?

Унус. Нет.

Ручкина.хлопотливо, что ли?

Унус. Мудрость яблони, я полагаю, в ее плодах.

Ручкина. Так. А кроме яблонь существует для вас что-нибудь на свете?

Унус. Да. Вы это знаете. Я люблю вас.

Ручкина *(оглянувшись)*. Не надо об этом!.. Яблони... Ну, если бы вы хоть финики на крапиве выращивали. Это хоть есть нельзя, но интересненько. А яблоко и без сладкое.

Унус. Яблоко от завтра должно быть слаще, чем от вчера.

Ручкина. Ничего не возразишь. Я читала вашу анкету. В гражданскую войну, когда все дралось за наше счастье, которое придет столько лет спустя, столько лет спустя... вы караулили ваши сады, чтоб не порубили на дрова. Стрекопытов сказал, вы даже лаяли по ночам, для остратки. Ну, покажите вполголоса, как!

Унус. Я думал, завтра начинается с сада.

(На мгновенье звук самолета и тотчас же четкий, не очень далекий пулеметный речитатив.)

Ручкина. И вот — Василий Маккавеев. Я не видала его взрослым ни разу, но я вижу отчетливее, чем ваше, его большое, грубоватое лицо с умными, хозяйскими глазами. Вот мы стоим. В освещенном доме пробуют первый сидр. А где-то в плотной тьме он идет, и ледяная вода шумит о стенки лодки. Маккавеев незримо проходит через океан, и сотни тысяч матерей, братьев и сестер, затая дыханье, слушают его шаги. А кто слышит мой?

Унус. Слышат те, кого вы выпустили в жизнь. Бригадиры, председатели сельсоветов, пограничники на рубежах нашей земли. А это и есть народ, Соношка.

Ручкина. Что же, я браню вас, а для меня тоже не существовало ничего, кроме детей. Чужих.

Унус. Надо, чтоб скорее родились наши дети. Я люблю вас.

Ручкина. Пустите, с серенадой... увидят. А скажите, Ирод, вы скандалили в жизни хоть раз?

Унус. О да!

Ручкина. Где, как это случилось?

Унус. Когда я был в институте, там был молодец, который очень обидно врал про женщин, чужих. Тогда одна-

жды я подошел к нему, посмотрел свысока... и потом сразу вышел вон. К сожалению, он не понял. Я никогда не изменял правилу: не бить людей.

Ручкина. Это похоже на вас. Какая пучеха, как Дуська говорит. *(Насмешливо протянула ему обрубок толстого сука с перил.)* На-те, сломайте.

(Он легко сломал его в вытянутых руках.)

Ну, значит, он был гнилой. Идут сюда. Бежимте, мой вечный жених!

4

(Дуся тянет за руку Виктора.)

Виктор. Дуся, я боюсь темноты. И чай недопит остался.

Дуся. Скорее, а то он за нами увяжется. Слушайте совет пожилой истрадавшей женщины: не связывайтесь со стариками!

Виктор. Дусенька, я там мед не доел, целое блюдо.

Дуся. Ни слов, ни речей. Вытрите губы, так. Теперь быстро целуйте тетю за добрый совет. Пойдите, что там?.. Ах, нет — это просто лунный свет играет. Ой, как я испугалась. Ночью я боюсь даже самой себя. Послушайте, что у меня с сердцем делается... дайте руку!

Виктор. Не дам.

Дуся. Да не бойтесь же вы! Оно маленькое, оно не кусается.

Виктор. И ногти у вас какие-то... электрические.

Дуся. Тихо. Молчание — разговор любви. *(Вдруг.)* Достаточно, вы забываетесь. Ой, кто еще тут? *(Погладила рукой в темноте.)* Мохнатое... Нет, это Исай спит. Тсс, не будите его.

(Дверь открывается.)

Тихо спускайтесь за мною в сад.

5

Анатолий. Дуся, куда вы завалялись? Идите, вам водить.

Виктор. Здесь спят, не буди. Кстати, шепни Стрекопытову, что мы пошли в сад. Из последних сил отбиваюсь.

Анатолий. Да пошли ты ее...

Виктор. Она тотчас в слезы. И грозит сказать мужу, что я ее соблазнил. А я, понимаешь...

Анатолий. Ладно, ступай, я понятливый.

(Анатолий скрывается.)

6

(Некоторое время никого нет. Музыка из дома и шорохи ночи. Кто-то прячется здесь и кого-то находят. Потом приходит Александра Ивановна и Пылаев. Он заметно под хмельком. Дверь осталась открытой.)

Пылаев. Зачем я тебе нужен? Ну, чаруй меня, деньги заплочены!

Алекс. Иван. Я таким тебя никогда не видала. *(Она старается говорить мягче.)* Ты, когда пьяненький, не очень похож на себя, на трезвенького. Я вижу, тебе понравился наш яблочный квасок.

Пылаев. Давай короче.

(Молчание. Кто-то внутри дома, во исполнение фанга, читает «Попрыгунью-стрекозу». Александра Ивановна прикрывает дверь.)

Алекс. Иван. Я принесла тебе деньги, на дорогу.

Пылаев. А, давай.

Алекс. Иван. Ты не развERTывай, бери прямо с платком. Он старый. Никто не знает... И возвращать не надо!

Пылаев. Сколько тут у тебя?

Алекс. Иван. Сто. Это из исайкиных. Он простит меня. Ну, прощай... *(И протянула руку.)*

Пылаев. Что ж ты мне... на полбаяна суешь! *(После минутного раздумья опустил в карман.)* Подешевел Пылаев. А помню раз, как в монастырьке под Балтой два монаха украли у меня из вагона десять цинок с патронами, а я их накрыл... Что ж, падают и горы! *(Берясь за скобку двери.)* Ну, все?

Алекс. Иван. Когда ты уйдешь?

Пылаев. Как тебе сказать... не знаю.

Алекс. Иван. Ты обещал. Пойми, все они смотрят на тебя и молчат. И ты сам какой-то нервный стал, все что-то слушаешь, бегаешь куда-то.

Пыляев. Шесть лет без отдышки бегу, Саша. Уж я прямо бегун стал. Да ведь и некуда мне.

(Молчание.)

Никто не приходил ко мне в эти дни?

Алекс. Иван. Вот, вот, ты кого-то ждешь. А я даже не знаю, кто ты теперь... беглый, прощенный. Я ночей не сплю. Уйди, Матвей, дай нам жить!

Пыляев. Ну, не плачь, не надо. (Подошел ближе.) Не толкай меня. Я уж и так на краешке стою.

Алекс. Иван. (шопотом). Умей уйти совсем, сам... если тебе не удалось. Чего, чего ты еще хочешь от жизни? Скажи.

Пыляев. Я бы, знаешь, и застрелился, но мне не хочется тебя расстраивать. (Коснулся ее плеча.) Пыляев слов назад не берет. Я уйду. Но я не могу уйти сейчас. Потерпи до завтра, Саша.

Алекс. Иван. Хорошо... но не доводи меня до последнего слова, Матвей.

Пыляев. Какое ж это слово?

Алекс. Иван. Я прогоню тебя... с собаками.

Пыляев. Пустяки, ты мягкая. И мужа побоишься.

(Молчание.)

Скажи, этот дерзкий мальчик на костылях... это он?

Алекс. Иван. Нет, что ты!.. Твой сын умер, еще маленький. Это от Адриана.

Пыляев. Врешь, Сашка. Это тебе никогда не удавалось. Техники нет...

7

(Она руками закрыла лицо. Исайка, который проснулся и слышал часть разговора, скинул на пол тулупчик.)

Алекс. Иван. Исайка!..

Исайка. Мамочка, дай ему в морду... мама! Ударь его, я не дотянусь. Мама, дай мне костыли, мамочка...

Алекс. Иван. (кидаясь к нему). Исай, тише, милый, старичок мой, молчи!

Исайка. Я же сильный... посмотри, какие руки у меня. У меня сильные руки. Помогите... да помогите же мне!

Пыляев. Голос из далекой провинции.

(Он повернулся и очень медленно ушел.)

8

Исайка. Не плачь, мама, не велю. Как же ты его упустила. Догони его, еще не поздно, догони!

Алекс. Иван. (глядя его руки). Исай, все это сон. Ты маленький, тебе приснилось. Все хорошо, Исай. (Шопотом.) У Маккавеева большое сердце. Утихни, утихни, милый...

Исайка. Мамочка, как же ты могла полюбить его такого!

9

Один из гостей. Александра Ивановна, вас ждут. Публика бунтуется.

Алекс. Иван. Я приду, приду... Ты лежи, я пойду, а то заметят. Юрий сказал, что, если можно тебя починить, он возьмет тебя с собою. Ты спи, а когда проснешься, сразу будут Москва и утро.

Исайка (ласкаясь). Вы все ко мне добрые.

Тот же гость. Александра Ивановна, там уже посуду бьют.

Алекс. Иван. (поднимаясь и разглаживая руками лицо). Я иду, иду. (Открыла дверь в комнату.) Ой, как вы тут накурили. Вы бы хоть на воздух шли!

10

(Отшельников из сада вглядывается в темноту.)

Исайка. Ее тут нету. Это я, ее брат, Исайка.

Отшельников. Я вижу. Что же вы один лежите?

Исайка. Юрий костыли отобрал, в наказание, как маленькому. А я обиделся. Эх, Отшельников!

Отшельников. Что Отшельников?

Исайка. Они все думают, что я не от мира сего. А я от мира, от мира. Я хочу много, хочу летать, драться. О, мне бы только ноги. Я бы всыпал койкому и за маму и за Испанию. Я дал себе срок: два года ждать, а там... Теперь этот срок истекает. Сказать вам тайну, Отшельников?

Отшельников. Если можно ее вслух сказать.

Исайка. Дайте ухо. Ваське завидую. Ему машины, честь народа доверили, а мне зонтик. Но я его починил.

Отшельников. Не надо этих слов, Исай. У нас подвига не ищут. Его делают из повседневной жизни. Чем они лечат-то вас?

Исайка. А чем придется. Мосей на-днях салом с тертым хреном натирал. А я лежу, мне смешно и щекотно. «Лавровый лист, говорю, забыли положить?» Уж скоро, очень скоро изобретут лекарство ото всего и такой силы, что в пузырьке уж нельзя его хранить, стекло расплавится. И я его выпью, и все во мне обуглится... И встану во весь рост, седьмой Маккавеев.

Отшельников. Осторожно, свалитесь, расшибетесь. Ну, а теперь... о чем тут плакала Александра Ивановна? Я видел ее глаза.

Исайка. Маккавеевы не плачут.

Отшельников. Так. Ну, а что Пыляев здесь делал?

Исайка. Я не видел. Я спал.
(Молчание. Отшельников поднялся уходить.)

Но я потом проснулся. Он ждет кого-то здесь...

Отшельников. Да, Юрий объяснял мне... почему меня встретили у вас так оригинально.

(Они сидят молча.)

11

(Струнный шелест гитары. Анатолий проходит мимо и поет.)

Анатолий. Мамаша спит, огонь горит, а сердце грустно... как-то даже слишком грустно говорит...

(Он остановился, заглянул, сказал тихонько Отшельникову:)

Пыляев опять к воротам бегал. Но там пока никого нет.

(И пошел дальше, напевая:)

Моей любезной милый прах, явись, явись мне впотьмах!

12

Отшельников (взглянув на часы). Все очень хорошо. А Василью не завидуйте, не надо.

Исайка. Я не ему, а его движенью. Когда идет человек... и воздух ледяной, с искорками, бьет ему в грудь.

Отшельников. Какой там с искорками! Мы подводники, Исай. Мы ходим по глубине, и воздух наш пахнет гретым маслом. Ну, я пойду, Машу поищу.

13

(Дверь открылась. Там все поднялись, двигаются стулья. Возгласы: «ан-тракт восемь минут!» — «чаю, кому чаю?» и наконец басовитое: «в виду переполнения атмосферы продолжение лекции переносится на открытый воздух». Первым выходит высокий старик с вислыми усами, в чусечевом френче и сапогах. Через минуту он назовет себя: Жабро.)

Жабро (прокашливаясь). У, заложило. Дам никаких нет? (Он расстигивает френч, за которым видно мочу его тело.) Здесь отрадно, как на дне морском. Ирод Антонович, поставим тут три кущи? Ну-те-с?

Унус (весь обвешанный табуретками). Там уже аудитория расходится.

Жабро. Ничего, они подойдут потом. Эй, Платон, тащи сюда наглядные пособия.

(В дверь деловито протискивается Стрекопытов с боченком, украшенным веночком, подмышкой. На пальцы наизаны стеклянные кружки. В темноте он натывается на Отшельникова.)

Стрекопытов. Каспер Касперович, тут уж занято.

Отшельников. А мы сейчас уходим. Исай, помогите нам найти Машу.

Жабро. Разрешите... Кандидат ветеринарных наук и старинный друг Маккавеева, Жабро! Это фамилия. (Громогласно прокашливается.) Ух, как заложило, чорт. Прибыл приветствовать молодое поколение. Ну-те-с?

Отшельников (дружественно). Мне всегда приятно видеть друзей Адриана Тимофеевича.

Жабро. Так. Изучаем загадочный напиток сидр и его последствия. Не щадя слабых сил.

Унус. С научно-медицинской точки зрения.

Стрекопытов. Погода бездыханна. Небо чисто. Слава творцам земли и леса!

(Они стоят перед Отшельниковым в ряд, все трое в разной степени навеселе.)

Жабро. Заметьте, с наглядной демонстрацией учебного материала. (И стукнул в дно боченка.) Ты расставляй пока!

(Стрекопытов снимает с Унуса табуретки, расставляет кружки на одной из них. Пыляев появляется на ступеньках из сада.)

Отшельников. К сожалению, мы запоздали к началу и не сможем соответствовать в полной мере. Берите мою руку, Исай.

Исайка. Юрий браниться станет.

Отшельников. Ничего, я беру вину на себя. (Шутливо он подает Жабро исайкин тулупчик.) Будьте добры поддержать некоторое время эту вещь.

(Он уходит с Исайкой.)

Жабро (смотря на полушубок). Ну-те-с?

14

Пыляев (прислонясь к столбу террасы). Держи крепче, а то оно уползет.

(Жабро молча укладывает тулупчик на койку. Группа молодежи, тесня друг друга, пробегает из дома в сад. Происходит диалог: Александра Ивановна: «Ребята, куда же вы от чая?»—«А мы купаться, Александра Ивановна!». Стрекопытов пристально всматривается в лица пробегających девушек.)

Не разыскивай жену, Менелай. Она занята сейчас с другим.

Стрекопытов. Третий раз вы меня нынче все против шерстки, Матвей Фомич. Я ведь прыгать на вас буду!

Жабро. Плюнь, пренебреги. Дурак. Сядем без него и утолим нашу жажду. (Прокашлялся так, что все на него посмотрели.) Что вы в меня уставились?

Стрекопытов. Этак из вас, такая вещь, позвонok вылетит, Каспер Касперович!

Жабро. Технически невозможно. Но продолжим наш семинар. Всем нали-то? На чем мы остановились?

15

(Александра Ивановна вышла на террасу.)

Жабро. Честь и место!

Алекс. Иван. Я на минутку. Я все на вас гляжу, как дети, забавляйтесь... Адриан куда-то пропал.

(Она идет к ступенькам, Пыляев посторонился.)

Пыляев (тихо). Там кто-то приходил, Александра Ивановна?

Алекс. Иван. Нет, это почту принесли. (Она кричит в сад.) Адриан!.. (Ответа нет. Она возвращается, делая жест, чтобы все оставались на прежних местах.)

16

Жабро (обращаясь к одному Стрекопытову). Товарищи студенты! В предварительной лекции мы рассмотрели с вами ботаническую и поэтическую часть нашего предмета. Мы гуляли по садам, видели урожай года и рассуждали, куда же все это девать, когда Адриан Тимофеевич сдержит свою угрозу и превратит весь район в сплошной сад. Так мы пришли к сидру. Нам надлежит теперь изучить общие симптомы болезненного состояния, называемого опьянением. Итак, яды суть лекарства, а лекарства суть яды...

Стрекопытов (монотонно). Как сказал Клод Бернар.

Жабро. Как сказал Клод Бернар. Слово имеет Ирод Антонович Унус.

Унус. Итак, мы обзрели таинственный процесс, где труд человека, яблони и мельчайшего грибка, сахармицета, образует эту дивную жид-

кость. Это уже не ваш гадкий перхун, товарищ Стрекопытов! Это сок половчанской земли, безгрешный, как юность. Сюда примешаны цветы и песни, здесь растворены закаты и ночи наши. Пусть все пьют его и видят в нем лицо того, кого любят! Подвергнем дополнительно рассмотрению, что это есть и как это происходит.

(Все выпили.)

Стрекопытов. Глоток скользит и ждет к себе другого.

(Пауза. Стрекопытов снова взялся за кружку.)

Вникнем еще раз!

Унус. Теперь обозреем механизм действия. Принятая вовнутрь через рот, жидкость эта собственным весом протекает по данной толстой трубе сюда и через посредство различного калибра трубочек и хоботков жадно... виноват, я хочу сказать: жадно всасывается в организм.

Жабро. Как сказал Клод Бернар. *(Хохоча.)* Похоже, похоже, вали дальше!

Унус. Болезни... например даже неизлечимый кашель товарища Жабро... проходят бесследно. Образуется прилив крови к оболочкам мозга, к печени и ряду... скажем условно, к ряду второстепенных органов. *(Стрекопытову.)* Ощущаете?

Жабро. Ирод, друг мой Ирод, печень не с той стороны!

Унус. Появляется теплота в желудке, пульс крепнет, хочется закусить... Умственная деятельность оживляется, как это представляется обзору ваших глаз на примере Матвея Фомича Пыляева.

(Точно пробудившись, Пыляев подходит и наливает себе кружку.)

Пыляев. Сколько у вас времени, Платон Платонович?

Стрекопытов. Ну, десять... Ну!

(Пыляев отошел.)

Унус. Но мы углубляем предпринятый опыт, чтоб проследить действие этого... как его некоторые ошибочно называют... яда, до конца.

17

(Когда кружки уже подняты, из сада приходит Маккавеев. Руки его висят вдоль тела, из кармана торчит смятая газета. Рукав белого праздничного пиджака в пыли. Он остановился и незрячим взглядом смотрит куда-то мимо гостей.)

Жабро. А, включайся, еще не поздно.

(Они заметили его состояние. Все замолкли, только музыка играет в доме.) Адриан, ты что, упал?... что-нибудь с сердцем? Сядь, сядь.

Стрекопытов. Адриан Тимофеевич, очнитесь. Выпейте глоточек!.. Александру Ивановну надо позвать.

Маккавеев *(слабо махнув рукой.)* Нет, не надо. Музыка не надо. *(Замешательство. Унус бежит в дом, вытаскивает лампу на длинном шнуре, ставит ее на пол. Музыка прекратилась.)*

Стрекопытов. Вот... говорил я вам, Адриан Тимофеевич... в аккуратности себя соблюдать.

Жабро. Он весь вечер как опоенный. Все «неполон, неполон наш сбор». А чем неполон? В четырнадцать рук на жизнь вышел. Ты оглянись: сыновей-то — целое человечество. И сыновья какие!

Стрекопытов. И семеро, как в библии.

(Маккавеев стоит безучастно.)

Пыляев *(ставя на балюстраду допитую кружку).* Он деятельный, трудолюбивый, Адриан-то. Даром времени с супругой не терял!

(Почти смятение. Стрекопытов закрыл лицо руками. Жабро отвернулся. Маккавеев медленно идет к Пыляеву, тот пугается его.)

Маккавеев. Кто это тут? Голос знакомый, а признать не могу. А, это ты, Матвей!

(И он уходит обратно в сад. Группа гостей, которая возвращается с кушанья, расступается перед ним.)

18

(Пауза. Гости вопросительно смотрят на Унуса. На что-то решась, тот поднимается.)

У н у с (*глухо*). Так, мы продолжаем нашу лекцию. Нам предстоит теперь рассмотреть обратный процесс вытрезвления.

(*Он движется к Пыляеву. Тот замечает его слишком поздно, чтоб бежать.*)

Пы л я е в. Не трожь меня... не задирай меня, деревянный доктор!

У н у с. Тихо, тихо. Ну, дай мне теперь твой нос. (*Почти наощупь он шарит по лицу Пыляева*). Ну, не срывай нам лекции. (*Поймал и сжал крепко*). Внимание. Я произвожу легкое сжатие...

Пы л я е в. Пусти меня, мне больно.

У н у с. И вот сознание просыпается, в стыде и горечи возвращается память, затемнение проходит. Я ускоряю действие. Обратите внимание...

Ж а б р о (*сбоку*). Как в лещетку взял. У вас исключительная сила в пальцах!

Стрекопытов. Ирод Антонович, у него кровь показалась. Софья Николаевна, Софья Николаевна, скажите ему!..

Ручкина (*пройдя сквозь толпу*). Что вы делаете?.. вы его избили?

У н у с. О нет, я никогда не бил людей. (*Брезгливо глядя себе на руки*). Теперь дайте мне платок.

(*Громыхая голосом, Жабро рассказывает о происшествии Александре Ивановне, Стрекопытов бежит в сад искать жену. Сцена поворачивается. Яблони, яблони без конца. «Дуся, Дусенька, я по тебе соскучился. Откликнись хоть разок!».* Но муж уклоняется в глубину сада, а те, кого он искал, оказываются прямо перед рампой. — *Две яблони у пруда сплелись ветвями. На скамейке под ними Виктор и Дуся.*)

19

Дуся (*прислушиваясь к воплям мужа*). О, даже ночью мне чудится этот скрипучий голос.

Виктор. Дайте же мне, гражданка, хоть словечко вставить.

Дуся. Какой вы говорливый, господин!

Виктор. Вы, конечно, сокровище...

Дуся (*скороговоркой*). О, не надо! Я замужем и люблю мужа. Он такой чуткий. Он даже во сне все слышит. Как собака! В день вашего приезда я даже еще не знала, что именно должно случиться, а он уже начал ревновать. Это просто припадки старости. Кстати, о припадках. Вы обещали мне сеанс. Имейте в виду, я очень легко поддаюсь внушению, в два счета. Мне один доктор говорил. Он, собственно, не доктор, а агроном, но у него двоюродный брат доктор. Вернее, аптекарь. Лы-ысенский! Он умер, когда я была совсем маленькая, вот такая! (*И двумя сложенными пальчиками коснулась губ оторопевшего Виктора*). Как же я могла его запомнить? Ну, и я не знаю. Начинайте же, берите мою руку.

(*Виктор оглянулся на далекий зов Стрекопытова.*)

Чего он все кричит? Только на мысли наталкивает. Ну, я готова.

Виктор. Смотрите только, это опасно для здоровья.

Дуся. Ничего, от этого не умирают. Наоборот!.. Я уже чувствую ксечто, щекотное такое электричество в коленах... это так и надо?

Виктор. Рано. И не прижимайтесь, у меня пиджак линяет, имейте в виду. Итак, вы чувствуете себя маленькой птичкой. Перышки на вас блестят. И вам хочется...

Дуся. У меня веки закрываются. Это так и надо?

Виктор. Не обрывайте тока!.. И вам хочется, бесценная птичка, полететь домой, выпить чаю с кулебякой, которую испекла Александра Ивановна, а потом храпануть до зорьки, чорт возьми!

Дуся (*кладя ему руки на плечи*). О, я разрешаю вам это только потому, что вы застigli меня врасплох. Это упоющий аромат, нельзя сидеть!

Виктор. Дуся, я вам этого не внушал. Я рассержусь, Дуся...

Дуся. Скажите, вы альтруист?

Виктор. Н-нет, я скорее радио-инженер.

Дуся. Ага. Тогда увезите меня куда-нибудь на громадном океанском па-

роходе. И чтоб трубы дымили, восемь штук, и чтоб никто не знал...

Виктор. Это невозможно. Таких пароходов нет.

Дуся. Но вы же сами называли меня сокровищем!

Виктор. Так вы же не давали мне досказать. Я хотел выразить, что вы есть сокровище для холостяков, а я... У меня невеста есть. Даже две. И одна, как увидит, так стреляет в меня. Резность. У меня четверо ребят на стороне... Ну, ей неприятно.

Дуся. Зачем же вы меня завлекли тогда? А я-то верила, что вы покажете мне и людей, и горы, и города. Уйду я от Стрекопытова, все равно уйду. Я замуж выходила — хотела отомстить одному человеку, который... Словом, я его еще больше, чем вас, ненавижу...

Виктор. И берегите в себе это ценное чувство, берегите!

Дуся. Слушайте, инженер башенный, ну хоть недалеко увезите.

Виктор. Нет. По буквам: Никодим, Елена, Тимофей. Нет!

Дуся. Хорош гусь, нечего сказать. Внушил бог знает что, а теперь напятный. Вон, опять муж зовет. Бежимте хоть, вон, до той скамейки!

(И снова она его тащит в глубину сада.)

20

Стрекопытов. Дуся!.. что у меня есть для тебя, Дуся. (Заглядывает везде, обминает каждый куст.) Виктор Адрианыч, она вас заманивает, а вы не поддавайтесь. Молчат, замолкли... Дуся, я уже простил тебя. Я все знаю, Дуся. (Вспоминая слова Маши.) «Черномор, где твоя густейшая борода?» Эй, там, вижу, вижу!

(Уже издали доносятся его печальные зовы. Потом сюда приходят Маша и Отшельников.)

21

Маша. Сядем. Девчонкой я бегала по дну этого пруда. Его при мне копали. Вы молчаливы сегодня, Алексей Дмитриевич.

Отшельников. Бывают часы, когда надо молчать.

Маша. Справедливое, но скучное наблюдение. Сорвите яблоко и дайте мне.

(Яблоко скатилось в пруд. Он сорвал другое)

У вас сегодня все падает из рук. Не узнаю Отшельникова.

Отшельников. Я тоже.

Маша. Вы больны?

Отшельников. Больных военных не бывает. Вам это известно.

Маша. Значит, еще одна загадка. Мне непонятно... Вы гнались за мною столько дней. И вот настигли здесь. И никого нет. И луна. И скамья еще теплая от предыдущей пары.

Отшельников. Вам смешно, что я искал этой встречи?

Маша. Тогда из'яснитесь. Читайте стихи. Скажите, что у меня красивый лоб. И руки хорошие, и затылок. И имя. Кажется, так полагается в подобных случаях. Я читала в довоенных романах.

Отшельников. Да, у вас красивый лоб. И руки ваши теплые, милые. И имя. Если все эти слова доставляют вам радость...

Маша. Ура, сдвинулись. Берите яблоко в награду. Я испортила его, надкусила. Но вишня, например, клеванная воробьями, всегда вкуснее. Так говорят. Берите же, я не Ева. Мне от вас ничего не надо.

(Он взял. Молчание.)

Мы еще с вами не настолько знакомы, чтоб молчать без передышки.

Отшельников. Вы дороги мне вдвойне. Ведь вы сестра Василья.

Маша. Этим и объясняется ваша привязанность ко мне?

Отшельников. Этим объясняется моя двойная привязанность к вам.

Маша. Ну, хорошо, давайте помолчим.

(Пауза.)

Мне нравится ваша дружба с Васильей. Жалко, что он не приехал. На ваш взгляд, это опасный поход?

Отшельников. Его опасность равна его почетности.

Маша. А если бы поход кончился неудачно, и Василий вернулся бы ни с чем... Это, разумеется, невозможно, но все-таки...?

Отшельников. Народ пошлет второго, третьего, пятого. Есть вещи, Маша, которые должны быть выполнены.

Маша. Понятно. И тогда, может статься, этим вторым, третьим, пятым окажетесь вы?

Отшельников. К сожалению, это зависит не от меня. Я только перо в крыле громадной птицы.

Маша. Вы хорошо сказали: перо в крыле громадной нашей птицы. У вас есть что-то общее с Васькой. Не в лице, нет...

Отшельников *(почти сухо)*. Василий был лучше меня. Иначе его не послали бы первым.

Маша. Но почему — был? Вот, опять замолк.

Отшельников *(поднимаясь)*. Случилось большое несчастье, Маша.

Маша. Я не поняла... скажите!

Отшельников. В газетах, я только-что получил, напечатано краткое извещение товарищей. Маша, спокойствие... Маша!

(Она догадалась, она зажала рот ладонью, чтоб не крикнуть.)

Маша. Нет, этого не могло произойти. Я же знаю Ваську!.. Но какой бы ни был он теперь... жив он по крайней мере?

22

(Исайка вышел из сада, он слышит окончание разговора.)

Маша. Исайка, милый Исайка...

Отшельников. Надо сообщить старику. И будет лучше, если это сделаете вы.

Маша. Дайте мне... дайте!

Отшельников. Там, на последней странице.

Маша *(комкая газетный лист, белло)*. На боевом посту... милый товарищ... погиб... дело живет... подписи. Все. Я пойду к Маккаеву. Алеша, будьте сегодня у нас!

Отшельников. И будет лучше, если вы вызовете его сюда. Не на людях!

(Она ушла.)

23

Отшельников. Хотите и теперь есильевой судьбы?

Исайка. Пополам ее поделить хотел бы. Я сяду, Отшельников. Я устал. *(Они сидят рядом. Отшельников чертит сучком по песку.)*

Он даже Мосея не забывал... В письмах всегда для него ласковое слово. Его на все хватало... Зарницы-то как полыхают. И гул, слышите?

Отшельников. Армия идет, Исай. Родина готовится к бою.

Исайка. Ну, на этот раз гроза. Воздух-то жесткий наощупь. *(Весь подаваясь вперед.)* Сережа, Сережка приехал!

24

Отшельников. Сидите, Исай. *(Он идет навстречу Сергею. Тот в серой гимнастерке танкиста.)* Это правильно, что ты собрался. Во-время.

Сергей. Был уверен, что встречу здесь Алешку. Ну, здравствуй.

Отшельников. Читал?

Сергей. Каких людей мы иногда теряем задолго до решительной схватки. *(Исайке)*. Не ходи, я подойду к тебе, Исай.

Исайка. Тебя, тебя одного не ждали, Сережа. Сядь со мной. Вижу, вижу, ты весь на-лету. *(Касаясь его командирских петлиц.)* Ого, какой у нас Сережка-то!.. и золото на рукаве.

Сергей. Отец уже знает?

Отшельников. Я послал за ним Машу. Там люди.

Сергей. Да, так умнее. Усы еще не пробиваются, Исай? Керосином мажь. Усы любят керосин. *(Отшельникову)*. Я прочел, знаешь, и растерялся.

Отшельников. Ты же знал, что он в плавани?

Сергей. Только из заметки. Как все это случилось-то? Просчет?

Отшельников. Не думаю, Василий не из таких. Возможно, снесло

течением. Ну, и пропорол брюхо. Это, разумеется, на лучший конец.

Сергей. Понимаю. К чорту ли тогда ваша хваленая гидрография!

Отшельников. Ну, жестким трапом все море не протралишь. Да еще какое море!

Исайка. Готовьтесь, отец идет.

25

Маша (несколько опередив отца). Я ничего не успела ему сказать. Не хватило мужества. А, Сережа!.. ну, после, после.

(Приходят Маккаев с Анатолием. Старик уже спокоен, газеты в кармане нет. Сергей обнял его за плечи.)

Сергей. Здорово, Маккаев. (Держит его в объятиях.) Добрый, теплый. Ну, как политико-моральное состояние?

Маккаев. Спасибо, я прочный. Надолго к нам?

Сергей. Мся колонна проходит мимо. Вот я и решил заскочить на... (смотрит под рукав, на часы) ровно на шесть минут. С половиной. Времени вечность, отец.

Маккаев. Скуповата твоя вечность, Сереженька.

Сергей. После тактических учений я приеду на целую неделю. Пеки пироги! А пока не сердчай. Сейчас все военные скупы на время. Вижу, дети здесь? Анатолий!.. Маша, не сердись, что семь лет назад я отломал нос у твоей куклы? Вот, жаль, отец, что Васька-то не приехал, а?

Маккаев. Ты что это имеешь в виду-то, Сереженька?

(Сергея выручает появление лейтенанта.)

26

Лейтенант. Товарищ комбриг.

Сергей (обернувшись). Да.

Лейтенант. Лейтенант ...нов. С пакетом от командира кавдивизии.

Сергей. Да. (Читает.) Так всегда бывает: ускорение причин вызывает ускорение следствий. Ты извини, отец. Видишь, какая быстрая наша жизнь.

(Он отошел с лейтенантом, который подал ему карту из своей полевой сумки. Сергей делает отметки, сломался карандаш. Лейтенант подал ему свой из кармана комбинезона)

Спасибо. Передайте начальнику штаба установить связь с дивизией.

Лейтенант. Приказано передать начальнику штаба установить связь с дивизией.

Сергей. Исполняйте.

Лейтенант. Есть. (Он ушел.)

27

Сергей. Вот и опять я с вами, отец. Мать здорова? Черевички я ей на Кавказе отыскал, век будет помнить. Привезу после отбоя.

Маккаев. Ты полторы минуты истратил на этот пакет. Тоже в счет идет, Сережа?

Сергей. В счет, Маккаев! Идем в бой. Эх, хорошо у вас тут, а мы гримим, птиц ваших пугаем. Что делать, Маккаев. Полмира хочет кидать в нас бомбы. И каких полмира! А у них еще кровь Абиссинии на руках не высохла!.. Может быть, я бы каналы знаменитые строил, а Алешка, скажем, сонаты писал, а Васька...

(Молчание. Про Отшельникова.)

Маша, ты уже познакомишься с этим пареньком? Наложу на него глаз покрепче. Сколко у тебя отпуска, орел?

Отшельников. С дорогой месяц. Еще много впереди.

Сергей. Тогда все в порядке. Ну— мне сворачиваться. Еще добратья до машины. Рад был слышать твой голос, отец. Скажи мне слово на прощанье, последнее. (Он снял фуражку.)

Маккаев. Хочу много, но ты спешишь. Хочу, чтобы никто не упрекнул Маккаева ни в трусости, ни в слабости, ни в лжи.

Сергей. Есть маккаевское слово. (Он делает прощальный жест.) Маша, пожми братьев. Здоровы? Ты, Анатолий, поучи паренька... (Про Отшельникова.) Он у нас тоже к боксу пристраствие имеет. Береги отца, Отшельников. (Он обернулся с полдороги.) Ой, орлы-ы!

Исайка. А мне-то, Сережа... Ну, потом, ладно, иди, иди!

28

Маккавеев (*сидясь на скамью*). Устал от гостей. Да один еще так и не приехал. Война.

(Анатолию, который сзади положил ему руку на плечо.)

Что ты делать станешь, Толенька, если война?

Анатолий. Кровь из носу, папаша. Первые лягим, как один.

Маккавеев. Лягим!.. Грамматика у тебя, сынок, плохая. А сады мои кто станет защищать?

Исайка. Эх, опять промахнулся, Толя.

Маккавеев. И пусть они разобьют головы о ваши груди. И пускай «яблочко» наше громыхнет под воротами ихней столицы. Поют нонче яблочко-то?.. А вот и забыл, как ее зовут, ихнюю столицу. (*Отшельникову*). Ну-ка, помоложе! Ай тоже память недолга?

Отшельников. Я внимательно слушаю вас, Адриан Тимофеевич.

Маккавеев (*усмехнувшись*). Форму надел? Ну, кончен бал. Будни начнутся. Спать пора.

(*Он уходит, и в ту же минуту вдалеке начинается шествие танков.*)

29

Маша. Догоните, скажите ему, Аляша. Я вбежала, он что-то матери говорил про Василья. Они обнялись. Я не посмела прервать его.

Анатолий. Что, что случилось?

Отшельников (*беря его за руку*). Завтра он все узнает сам. Сохраним ночь старику!

(*Колонна Сергея приблизилась. Грохот усиливается. Все стоят, обратясь лицом на звук. Исайка машет рукой. Луна ушла. Свет из дальнего окна гаснет. Тьма, и в ней раскат грома. Первый, суховатый всплеск дождя. В короткое мгновение молнии видно: Маша подняла руки навстречу ливню, раскрытыми ладонями вверх.*)

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Общая комната первого действия. Обед окончился, еще не убрана посуда со стола. Смеркается, и сад стоит мокрый. Дождь. Исайкиной койки уже нет. У стены выстроились в ряд чемоданы братьев. Склоняясь с табуретки, Анатолий укладывает вещи в свой. Юрий осматривает полуголого Исайку; рядом горит опиртовка.

1

Юрий. Твердо помнишь, не падал, не ушибался?

Исайка. Нет. Холод-то какой за-вернул.

Юрий. Ничего, потерпи. (*Анатолию.*) Ну, чего же замолк? Ну, выбегаешь на ринг... а дальше?

(*Молчание.*)

Ты что, сломался, что ли?

Анатолий. Вот, перчатки почему-то не влезают.

(*Удивленный его тоном, Юрий поднимается.*)

Юрий (*Исайке*). Погоди рубаху надевать.

(*Он подошел к Анатолию, поднял за подбородок опущенную голову. Тот слабо сопротивляется.*)

Анатолий. Отца жалко, Ваську жалко. Руку бы дал отрубить по плечо, по сердце, вот тут!

Юрий. Держись, Толя. Чемпион, а совсем как мальчик. И губы дрожат.

Анатолий. Пусты. Чего ты меня крутишь! Я тебе не велосипедный руль.

Исайка (*кротко*). Юра, у меня уже обледенение началось.

2

(*Юрий возвращается на место. Вошел Виктор. Не снимая мокрого пальто, с запотевшими очками, он молча стоит посреди.*)

Исайка. Ой!

Юрий. Больно?

Исайка. У тебя руки холодные. Ты коли где тебе надо, коли.

Юрий. Это хорошо, если больно. (Виктору.) Нашел отца?

Виктор. До самого Мосея доходил, нигде не видно. (Анатолию, который рвет какие-то бумаги.) Все укладываешься?

(Молчание.)

И Пыляев пропал. Куда он мог завалиться?

Юрий. Далеко не уйдет. (Исайке.) Теперь согни в колене, попытайся.

Виктор. Коснись, меня за нос бы взяли, я бы нагишом по снегу убежал. А этот ходит как ни в чем не бывало. Что Алексей-то говорит?

Юрий. Все идет хорошо, Витя.

Анатолий (вскакивая). Где мы живем, где!.. Прохвост обидел отца, и мы молчим. Он ждет кого-то, а ты велишь нам молчать. И мы молчим. Витька, мы молчим. У меня ногти ноют, когда я на него гляжу. Ты старший: сам медлишь и нам не даешь его за грудки взять...

Виктор. Тихо!

3

(Вошел Пыляев с вязанкой дров. Он идет к печке.)

Юрий. Закройте дверь, если это вас не утомит.

Пыляев (возвращаясь к двери). Виноват.

Виктор. Здравствуйте надо говорить, когдаходишь в чужой дом!

4

(Александра Ивановна внесла блюдо пирогов.)

Алекс. Иван. На дорогу вам, пускай простынут. Что, Юра, можно починить человека? Человек-то хороший.

Юрий. Одевайся. В герои годится. Поедет с нами в Москву.

Исайка. Мне тогда собираться надо. Братья, вы подождете меня? Мама, что, не яснеет там?

Алекс. Иван. Грязища, реки по дорогам идут. Как-то вы поедете? Подождали бы, может, разветреет.

Анатолий. Нельзя, ма. У Юрия клиника, у меня матч. (Про перчатки.) Вот, чорт, только теперь вспомнил: они ж у меня в отдельном свертке были. Постой, что-то мне сидеть высоко.

(Он идет к Пыляеву, который затапливает печку, пристроившись рядом на скамейке.)

Будь друг, слазь на минутку. (Взял его скамейку, унес с собой.)

Пыляев. Вступись за меня, Александра Ивановна!

(Молчание. В печке веселый огонь. Виктор предупредительно распахивает дверь. Входит Маккавеев с корзиной яблок. С них течет, как и с его плаща. Все встали.)

5

Алекс. Иван. А мы не знали, что и думать про тебя. Гляди, уж пообедали.

Маккавеев (про корзину). Пускай с нее стечет. Что ж вы все повскакали, я же архирей.

Анатолий. Сбираемся к отплытию, папаша.

(Маккавеев обводит комнату глазами, и, следуя за его взглядом, Юрий тушит спиртовку, Анатолий собирает с пола клочки бумаги.)

Это я, папаша, насорил.

Алекс. Иван. Ты Машу смотришь? Она промокла, сушится наверху. Сонюшку искала, запропала с утра. И Унуса нигде нету.

Исайка. Виктор, а мы не опоздаем?

Виктор. У нас в запасе два часа сорок минут. Но надо еще прикинуть на плохую дорогу.

Маккавеев. Вот и сору в доме не будет. (Жене.) На, расстели мой брезент, чтоб просох.

Пыляев. Ты его к огню, Адриан. Давай сюда. (Он замолкает от пристального маккавеевского взгляда.) Я пройду, тебе с сыновьями проститься надо.

Маккавеев. Пройдись, ступай, пройдись.

(Пыляев уходит.)

6

Маккавеев. Стемнело нынче быстро. *(Он включает свет.)* Ну, развяжите ваши сундуки. Саша, полотенце дай, мокрые. *(И, вот, стоя на коленях, он укладывает яблоки в чемоданы сыновей.)* Придвинь корзину, Толя. Прояви силу.

Алекс. Иван. Для пирогов-то место оставь, не жадничай. Да куда ж ты яблоки-то, прямо на чистое бельё!

Маккавеев. Сюда хватит, вяжи его. Следующий. Мешок приговорила бы, если не влезут.

Юрий *(вполголоса)*. Виктор, помоги отцу.

Виктор. Чего ж ты гнешься перед нами, отец. Давай я!

(Маккавеев уступает место. В молчании все работают. Между делом Виктор выдернул ленту из кинамки. Анатолию:)

Возьми картинку подвигов твоих и не задирай рога перед миром, чемпион.

(Анатолий уходит в сторону, на ходу разматывая ленту.)

Маккавеев. Под книги-то подсунь. За пустое место тоже платить.

Виктор. Ремешок лопнет, папаш. Вынуть бы, куда их столько.

Алекс. Иван. Пожуешь на своей башне, лишний раз вспомнишь старика.

Маккавеев. Затягивай, затягивай. Остатки на базаре продашь. Ну, лошади заказаны.

Виктор. Отец, мы тебе хотели сообщить одно известие...

Маккавеев. Ну, пронзи меня еще раз!

Алекс. Иван. Он уже все знает, мальчики.

(Маккавеев ушел к двери, смотрит через стекла.)

Маккавеев. Что на свете-то делается. Дождь идет. Колесо по ступицу уходит. *(Обернулся.)* Ну, дайте, я обниму вас напоследок, Маккавеевы.

Исайка. Анатолий!.. а то опоздаем.

Анатолий *(Виктору)*. Зря я за тобой ухаживал. Ничего на этой ленте, кроме дырочек, и нету.

Виктор. Помолчи.

Маккавеев. Какой-то еще будет ближний год. Может, и полезут!.. А мне уж, грешным делом, и подремать порой охота. Ничего, родина мне простит. Полетал, пора и заземляться.

Юрий. В будущем году пораньше приедем, весною.

Маккавеев. На том-то свете, сказывано, ни тревог, ни печалей. А я любил мои тревоги... одолевать и ломать их обожал. *(Глядит себе на руки.)* Какие! Темные, руки-то. В жилах.

Виктор. Что ж, ты закопал их в землю, и вырос сад. Хорошо.

Маккавеев. Мне неплохо, я сыт. *(Юрию.)* Ну, лечи там своих малахольников. *(Виктору.)* А ты строй. Людишки стóят, чтоб поработать для них в полную силу. *(Анатолию.)* Вот, опять смеется! Мотри, битого и на порог не пушу.

Исайка. Папа, я тоже еду, в починку.

Маккавеев *(целуя его одного)*. И ты, слабый мой, меньший мой. Мать, а волосы-то у него мя-ягкие, мои.

Юрий. Ну, время, Исай. Собирай свой багаж.

Алекс. Иван. У него и багажа-то бельишко да васькина дрель. Витя, проводи Исай!

(Братья уходят наверх. Виктор отводит Исай к каморке под лестницей.)

Исайка *(через всю комнату)*. Папа! Маккавеев. Чего тебе, ходок?

Исайка. Как же ты один-то здесь станешь?

Маккавеев *(басом)*. Буду на гитаре играть.

Алекс. Иван. Маша у нас остается, Алеша Отшельников побудет. Одевайся, иди!

7

Маккавеев. Обедать не накрывай, не стану. Кинь мне исайкин тулупчик. *(И, как в шутку когда-то, он закутывает себе ноги.)* Ну, что Матвей?.. нагляделась? Ты думала, он в кармане принесет тебе обратно молодость? Стыдно тебе?

Алекс. Иван. Горя не стыдятся. Его прячут.

Маккавеев. Позови его ко мне.

Алекс. Иван (за дверь). Матвей, иди. Зовут... Мне уйти или остаться?

Маккавеев. Поставь ему графинчик напоследок и уходи.

(Александра Ивановна ставит на стол последнюю трапезу Пыляева.)

Вот и ладно. Закрой дверь потуже.

(Она ушла. Из сада пришел Пыляев. Он трет руки.)

8

Пыляев. Ветер поднялся, глаза текут.

(Маккавеев молчит.)

Плакал я нынче, Адриан. Пришел черед и Пыляеву.

Маккавеев. Это плохо. С того глаза вянут. С чего ж ты так?

Пыляев. Подвел итоги.

Маккавеев. А это хорошо. Налей себе, погрейся. Что все на дверь оглядываешься?

Пыляев. Ливень. Плохо, кого на поле застало. (Наливает). Ишь, руко-то пляшет, как подстреленная. Не сердчай на меня, Адриан. Ты — как гора, а гору чем обидишь? У тебя (широкий жест) звона, а у меня только палка, да и та из чужого плетня. Отгромыхал Пыляев, и ни следа позади, как за мертвецом на воде. Как это вчера читали? Вот, затмилось. Стрекоза одна все прыгала, все резвилась, а на поверку... Горько сказать: ведь я даже горю твоему вчера позавидовал. Ничего, что я так длинно?

Маккавеев. Говори, говори! Как кончишь, так и выгоню.

Пыляев. И вот, все я отбыл: любовь, славу, бегство. Мне только пятьдесят, а уж руки коченеют по утрам. Пора на гроб доски воровать. А ведь было, было, Адриан! Как добивали скоропадчину, не другого, а меня послали к немцам в тыл, на секретную работу...

Маккавеев. И целую неделю ты вел эту секретную работу у меня на дому.

Пыляев. Ну, значит, все тебе из-

вестно. Выпьем тогда за солдатских жен, Маккавеев!

(Исай, уже одетый, вышел из своей каморки.)

9

Исай. Не пей с ним, папа. А вам пора уходить, Пыляев. Уж вечер.

Пыляев (догадываясь о чем-то и потому медля с уходом). Да, я пойду. Кажется, и ливень перестал. Ну, спасибо за хлеб, Адриан. Старых калош у тебя не найдется?

(Он надел пальто, взял палку из угла.)

Исай. Теперь можно и без калош. Торопитесь. Вас человек ждет у калитки.

Пыляев. Чушь, я один, во всем мире один... Кто?

Исайка. Которого вы ждали здесь два дня. Он пришел.

(Пыляева пугает чернота раскрытой двери.)

Пыляев. Я, пожалуй, задним ходом пройду.

(Ему навстречу вышла Александра Ивановна.)

Алекс. Иван. Той дорогой тебе ближе будет, Матвей.

Пыляев. Лужи там... натекло.

Отшельников (появляясь с террасы). Теперь уж не бойся насморка, Пыляев!

(Внезапно Пыляев ударяет палкой по лампе. Свет гухнет. Падение тела и звон стекла. Слабое мерцание угольного тлена из печки пресекается мельканием проходящих ног, — люди, которые пришли с Отшельниковым. В темноте происходит кратковременная схватка. Несколько реплик, и все тихо. Чирканье спички.)

Отшельников. У меня спички отсырели. Александра Ивановна, есть у вас спички?

Алекс. Иван. Я в соседней комнате свет зажгу.

10

(Квадратный сноп света падает из соседней комнаты. Видно, что, кроме Маккавеева, все переменяли свои места. Скакать на полу, стулья опрокинуты. Пыляева уже нет. Исайка сидит на полу.)

Алекс. Иван. Он ранил тебя, Исай?
Исайка. Нет. Я, когда бросил ему костыли под ноги, тоже равновесие потерял. Мама, все в порядке. Это нам только приснилось, мама. Помоги подняться.

Алекс. Иван. Ты дойдешь один?
(Отшельников зажег свечу, подбирает вещи с пола.)

Я вернусь, приберусь потом. Спасибо вам, Алеша, за все!

Отшельников. Я делал только то, что сделал бы на моем месте и Василий.

Алекс. Иван. (уходя). Дети наверху. Подымитесь к ним.

Отшельников. Потом. (Выглянув в раскрытую дверь:) Ну, увезли!

11

Отшельников. Теперь здравствуйте, Адриан Тимофеевич. Погода отличная для сада.

Маккавеев. Чисто ты работаешь в жизни, Алексей. Я как-то сразу и не понял.

Отшельников (прикрывая дверь). Знаете теперь, зачем он приходил сюда?

Маккавеев (шопотом). У него сын здесь, Исай. Все мы ищем опоры в старости.

Отшельников. Не угадали, Адриан Тимофеевич.

Маккавеев. Ты думаешь, он за Сашей притащился?

Отшельников. Проще, в жизни всегда проще. Однажды этот человек испугался смерти и продал себя за жизнь. Понятно? Вас здесь любят, верят вам. Вот он у вас и ждал хозяина своего... оттуда. И дождался.

Маккавеев. Мы простые люди, живем с открытым сердцем. А сын, а Саша, а ненависть его, Алеша? Чувству-то где-нибудь найдется местечко на этой свалке бесчестия и низости?

Отшельников. У них — все игра и маска, а в глубине злоба и расчет. Хватит о них. Их много, нас больше. Спички, вот, отсырели. (Он идет к печке закурить. С угольком в пальцах:) Их много, нас больше. Это Васяка сказал перед отъездом. Он брился,

когда я книги ему занес. Потом встал, и почему-то в тот раз он мне показался громадного роста.

Маккавеев. Он у меня роста хорошего. Грудница-то, помнишь?

Отшельников. В Сочи, помнится, мы с ним возились на песке. Он клал меня на второй минуте.

Маккавеев. Как же он, Алеша... врукопашную, с водой-то? Этак и Васьки нехватит, с океаном врукопашную. Дела-то своего он так и не выполнил?

Отшельников. Об этом позаботятся. Василий не один у нас на флоте.

12

Маша (с лестницы). Я слышала ваш голос, Алексей. Что у вас темно?

Отшельников. Лампочка упала и разбилась.

Маша. Я вверну потом новую. Идите, совет сыновей заседает перед отъездом, вас зовут.

Маккавеев. Завтра доскажешь. Ежедень давай мне его помаленьку. Ступай к ней, ступай!

13

(Он ушел. Маккавеев недвижим. Порыв ветра распахивает дверь. Листья с террасы скользят по полу. Вихряются бу маги, колеблется пламя свечи.)

Маккавеев (один). Ну, войди, ближе, ближе. Дай мне твою минутку. Какой ты новенький весь, хороший. Лицо твое поцарапанное, мокрая рука. Э, все торопишься, ветер!

14

(Порыв слабее. Сверху спускается шестие сыновей. Они одеты по-дорожному. Отшельников и Маша позади. Александра Ивановна приходит в самом конце явления.)

Юрий. Ты задремал, отец?

Виктор. Вертай, вертай назад. Он в саду возился, озб.

Исайка. Он спит. Адриан всегда сидя спит.

Юрий. Я пойду прикрою дверь.

Маша. На, вверни лампочку кстати. (Юрий спускается, ввинчивает лампу, заглянул в лицо отца.)

Юрий. Научная медицина, отец, рекомендует закрывать глаза во время сна. Давай сюда, ребята!

Анатолий (Исайке). Садись на меня, папашка.

Виктор. Кто станет говорить?

Юрий. Я. Становись, отъезжающие. Маша (Отшельникову). Становись и вы в ряд, седьмой сын!

Отшельников. Речь идет об отъезжающих, а я остаюсь, Воробей.

Юрий. Срочное сообщение, отец. В вечернем заседании совет сыновей постановил выразить тебе благодарность за гостеприимство. Туш!

(Они изображают туш.)

Виктор. Нет у тебя, братец, этого самого, информационного таланта. Пусти меня! (Подражая шипящему голосу радиодиктора.) И кроме того запятая если не встретится возражений запятая просить о разрешении остаться еще на три дня. Все, точка, точка.

Маккавеев. Мальчики мои!

Юрий. Теперь осторожно отнесем его в постель. Он еще не доболел.

Исайка. Больные должны лежать. Напротив, здоровые должны ходить.

Анатолий. Папаш, не сопротивляйся. Дай сюда ножку.

Маккавеев (легко обороняясь от протянутых к нему рук.) Спихнулись, нашли лекаря себе болванку. Разве можно на одном человеке все порошки, какие есть, испытывать. Душу надо иметь! (Жене.) Саша, что ж ты меня не покормишь? Сижу час, сижу два, намекаю...

Алекс. Иван. Пойдем, я там тебе соберу. Какой подарок вы ему сделали, мальчики!

Маккавеев. Погодите веселиться, я еще резолюцию не наложил. Сейчас совет родителей обсудит ваше постановление.

(Они ушли.)

15

Стрекопытов. Отъезжающим второй звонок. Везет молодым: погода чрепясняется, и звезды видать.

Маша. А Дусю где вы потеряли?

Дуся (врываясь в дверь, которую

Стрекопытов прижимал телом). Я тут, тут.

Стрекопытов. Дусенька, люди торопятся. Надо, Дусенька, приличия соблюдать. Лошади поданы. Ну, бэритесь там за нашу славу!

Дуся (вручая мужу сверток). Не урони... Виктор, я все простила. Я так боялась, что не застану вас. Слышали? Мир полон событий. Сонюшка с Иродом поженились. Виктор, вы не передумали?

Виктор. У меня слово твердое.

Стрекопытов. Не заманивай, не заманивай... все равно уж!

Дуся. Тогда вы будете мне писать и каждый раз не меньше четырех страниц и мелким почерком. Лучше на Александру Ивановну, а то лиса перехватит. (Мужу про сверток) Платон, дай сюда. Это варенье. Будете ехать в вагоне и кушать. Китайские яблочки, маюсенькие, вот такие! (И двумя сложенными пальчиками коснулась губ Виктора, прижатого в угол.) Не стоит. Ложечка завернута в записку, внутри. Записку прочтете на ночь.

Стрекопытов. Так жалеем, так жалеем, опять останемся одни. Представьте на минуточку, такая вещь: дремучий лес, и вдруг луч солнца!

Анатолий. Могу тебя порадовать, певучий старик. Данный луч солнца остается у вас еще на три дня!

(Дуся хлопает в ладоши, Стрекопытов роняет варенье.)

Дуся. Разиня, ты сердце мое урони. Не огорчайтесь, Виктор, я сварю другое.

Стрекопытов. А я-то им сенца свежего в подводу положил.

Юрий. Внимание! Молодая пара идет.

16

(Унус и Ручкина под одним зонтиком, разряженные, промокшие, торжественные. Букет размокших цветов. Все аплодируют.)

Ручкина. Товарищи, не надо, не надо... я убегу.

Маша. Мы еще утром догадались. Уехали! А куда уехали?... и не одна? Bravo, Сонюшка!

Ручкина. Перестаньте, Воробей. Смотрите, на что мы похожи...

(Унус почтительно подхватывает падающие из ее рук вещи: букет, перчатки, пальто.)

Дуся *(повисая на шею подруги)*. Прощаю, все прощаю. И что скрывала, и платье новое не показала мне... все! Сонюшка, у вас будут дети. И, по глазам вижу, много. Но, ради бога, не увлекайся, береги линии!

Ручкина. О таких вещах, вслух... Дуся! Надо же такт иметь.

Дуся. Ты хочешь сказать, что я бестактная?

Ручкина. Да скажите же им что-нибудь, Ирод!

Унус. Мы... мы постараемся оправдать доверие друзей.

Ручкина. Поддержите, Адриан Тимофеевич: со стыда горим!

17

Маккавеев. Занимаетесь разными пустяками, а... *(Стрекопытову)*. Яблоки бойцам на учения отправили?

Стрекопытов. Завтра утром отправляем, Адриан Тимофеевич.

Маккавеев. Вот, вот, карусель... Опять он у меня, Платон... снисхождение...

Голоса всех. Александра Ивановна, Александра Ивановна... Мама! Скорее, требуется срочный перевод!

Алекс. Иван. Перестань уж, в такой день. Садитесь, в этом доме нынче поят чаем. Витя, самоварчик с кухни!

(Он ушел, все рассаживаются за столом.)

18

Юрий. Интересно, чья ж теперь следующая свадьба?

Маша. Брось свои шуточки, Юрий. Скучно.

Анатолий. Поскольку я остаюсь, а к матчу мне готовиться не с кем... Может быть, ты со мною... Алексей?

Отшельников. Я к твоим услугам, Анатолий.

19

(Виктор с самоваром.)

Алекс. Иван. *(Ручкиной)*. Как же вы надумали-то? Столько лет тянули, и вдруг на, в одно утро.

Ручкина. Это ужасно... но он меня украл.

Дуся. Господи, как людям везет. Ну, расскажи скорее!

Ручкина. Ирод, скажите им, как вам это в голову пришло.

Голоса всех. Внимание!.. Просим... Рассказывайте ваши секреты!

Унус. Если начинать последовательно, то мысль об этом содержалась во мне уже давно. Но в позапрошлом году на совещании в районе я слушал доклад старшего агронома.

Маккавеев. Это Афанасия, что ли? Вот балда!

Унус. Да, это ужасно смешно. Вы помните, как он поставил раздел о гибридизации плодовых деревьев? Я еще сказал ему тогда: я прошу вашего великодушного извинения... не считайте, что я хочу оскорбить вас, но до некоторой степени я имею смелость считать вас чудачком. И напомним ему, ха-ха, как много лет назад, когда почтенный Шредер скрещивал свою крупноплодную китайку, пирус прунифолия, с обычными садовыми сортами...

Стрекопытов. Вы не в те ворота попали, Ирод Антонович!

(Все смеются.)

Унус. Что вы имеете в виду сказать?

Дуся *(мужу)*. Вот, перебиваешь, а сам всегда молчишь, такая вещь. Ну, скажи и ты, скажи что-нибудь выдающееся!

Ручкина *(Унусу)*. Сядьте уж, оратор здешних мест.

Алекс. Иван. *(жестом призывая всех к молчанию)*. Кого вам надо?

20

(Это деревенский письмоносец. Каплет вода с его бедного клеенчатого плаща. Он долго ищет в сумке.)

Письмоносец. Телеграмма - молонья. Тут она, в подкладке забилась. Ходил-ходил, мгла така стоит, прямо зимуха!

Отшельников (покидая стол). Простите, друзья. Это наверно мне.

Письмоносец. Эва, подмокла моя молонья-то. Не вижу на свету, как сова. Постой, вот: Отшольников Алексей!

Отшельников. Давайте. (Расписываясь в получении.) Чего же вы смеетесь, товарищ?

Письмоносец. А как же, куда ни приду, везде Алексеи. И сам я тоже Алексей.

Отшельников (протягивая ему папирасы). Ну, закуривай тогда, если Алексей.

Письмоносец. Мы уж свою. Не шшипает, поди, твой табак. Читай, может, я тебе плохого привез. Чего в этой сумке не бывает!

Отшельников (прочел и весь прямет при этом. В чем-то это уже совсем другой человек.) Нет, на этот раз хорошее. Маша, найдется у вас расписание поездов?

(Все выходят из-за стола. Маша роется в конторке, второпях выкидывая какие-то бумаги.)

Алекс. Иван. У вас же отпуск, Алешенька.

Отшельников. Видите, какой я: не могут без меня. Маша, поторопитесь. (Письмоносцу). Не заметили, лошади еще тут?

Стрекопытов. Про лошадей-то я и позабыл, такая вещь.

Письмоносец (заклеивая цыгарку). Фырчат там. Не видать, кто фырчит. Гражданы фырчат не станут.

(Маша подала, наконец, расписание.)

Отшельников. Где тут ваша ветка? Так, двадцать два сорок! (Справился с часами.) Маловато. А если не попаду? Час тридцать две. Нет, уж лучше буду спешить. (Он одевается.)

Алекс. Иван. Чай-то допейте, Алешенька.

Отшельников. Вы его не убирайте. В следующий раз допью. Вот подгребу к вам на будущий год...

Ручкина. Положите пирожков в карман, пожуете в дороге. (Кстати она протянула блюдо и письмоносцу.) Угощайся, дедушка!

Письмоносец (забирая кончиками пальцев четыре). Для деток!.. О прошлый месяц в одночасье и внук, и сын у меня родились. Во, какой я дедушка!

Отшельников. Ну, спасибо хожувам за ласку. Постараюсь заслужить.

Маккавеев. Значит, по васькину следу, Алеша?

(Маккавеев взял его голову в руки, и, пока смотрит ему в глаза, Юрий успевает сказать сестре:)

Юрий. Маша, не грызи ногтей.

Маккавеев (отпуская Отшельникова). Веселые.

Отшельников. Общий привет всем — инженерам, садоводам, врачам... (Анатолию.) Не забывайте о нижней защите пресса. Маша!

Маша (сдержанно). Я провожу вас до подводы.

Исайка (Отшельникову). Встретимся еще в мире-то, Алексей!

(Отшельников уходит. Маша бежит за ним, схватив тарелку и роняя яблоки по дороге.)

21

Алекс. Иван. Воробей, накинь что-нибудь на плечи-то. Простынешь, Маша!

Ручкина. Не трогайте уж вы ее теперь.

(Она прикрывает дверь и сама становится как бы на-страже).

Стрекопытов. Вот и все. Будто ничего и не было. Такая вещь.

Дуся (тихо). Как она любить его будет, когда он вернется. Какое солнце будет ей светить в эту ночь...

Унус (у окна). Кажется, луна восходит.

22

(Неслышно входит Маша. Туфли ее в грязь, волосы мокры, кофточка прилипла к плечам. Раскинув руки, держась за раму двери, она стоит с закрытыми глазами.)

Маша. Тума-ан какой!.. Что же вы все замолкли? Я хочу, чтоб было весело сегодня. Мой день, мой день. Мальчики... где же ваша музыка, мальчики!..

Тихий Дон

РОМАН

(Окончание 7-й части ¹)

МИХ. ШОЛОХОВ

★

ГЛАВА XXVIII

За всю дорогу, до самой станицы Абинской, Григорию запомнилось только одно: беспросветной темной ночью очнулся он от резкого, пронизывающего насквозь холода. По дороге в несколько рядов двигались подводы. Судя по голосам, по неумолчному, глухому говору колес, — обоз был огромный. Подвода, на которой ехал Григорий, находилась где-то в середине этого обоза. Лошади шли шагом. Прохор почмокивал губами, изредка, простуженным голосом хрипел: «Но-о-о, дружки!» — и взмахивал кнутом. Григорий слышал тонкий посвист ременного кнута, чувствовал, как, брякнув вальками, лошади сильнее влегали в постромки, повозка двигалась быстрее, иногда постукивая концом дышла в задок передней брички.

С трудом Григорий натянул на себя полу тулупа, лег на спину. По черному небу ветер гнал на юг сплошные клубящиеся тучи. Редко-редко в крохотном просвете желтой искрой вспыхивала на миг одинокая звезда, и снова непроглядная темень окутывала степь, уныло свистал в телеграфных проводах ветер, срывался и падал на землю редкий и мелкий, как бисер, дождь.

С правой стороны дороги надвинулась походная колонна конницы. Григорий услышал издавна знакомый, согласный, ритмический перезвяк подо-

гнанного казачьего снаряжения, глухое и тоже согласное чмокание по грязи множества конских копыт. Прошло не больше двух сотен, а топот все еще звучал; по обочине дороги шел, вероятно, полк. И вдруг, впереди, над притихшей степью, как птица, взлетел мужественный, грубоватый голос запевалы:

Ой, как на речке было, братцы,
на Камышинке,
На славных степях, на саратовских...

И многие сотни голосов мощно подняли старинную казачью песню, и выше всех всплеснулся изумительной силы и красоты тенор подголоска. Покрывая стихающие басы, еще трепетал где-то в темноте звенящий, хватающий за сердце тенор, а запевала уж выводил:

Там жили, проживали казаки — люди
вольные,
Все донские, гребенские, да яйцкие...

Словно что-то оборвалось внутри Григория... Внезапно нахлынувшие рыдания потрясли его тело, спазма перехватила горло. Глотая слезы, он жадно ждал, когда запевала начнет, и беззвучно шептал вслед за ним знакомые с отроческих лет слова:

Атаман у них — Ермак, сын Тимофеевич,
Есаул у них — Асташка, сын Лаврентьевич...

Как только зазвучала песня, — разом смолкли голоса разговаривавших на повозках казаков, утихли понукания, и тысячный обоз двигался в глубоком,

¹ См. «Новый мир», кн. кн. 11 и 12 за 1937 г. и 1 и 2 с. г.

тил его за поясной ремень, без труда приподнял, бережно положил на пол.

— Возьми у него бутылку! Выльется! — испуганно воскликнул Ермаков и с широкой пьяной улыбкой, обращаясь к Григорию, сказал: — Знаешь, с чего мы гуляем? Тут-таки от неудовольствия, а тут припало казачкам на чужбк поджиться... Винный склад разграбили, чтобы красным не достался... Что там было-о-о... И во сне такое не приснится! В цистерну начали бить из винтовок: пробьют — а из нее цевкой спирт льется. Всю изрешетили, и каждыйazole пробоины стоит, подставляет, кто шапку, кто ведро, кто фляжку, а иные прямо пригоршни держут, и тут же пьют... Двоих добровольцев зарубили, какие охраняли склад, ну, дорвались, и пошла потеха! Один казачишка при мне полез на цистерну, хотел конскую цыбарку зачерпнуть прямо из вольного, сорвался туда и утоп. Пол цементовый, враз натекло спирту по колено, бродют по нем, нагибаются, пьют, как кони в речке, прямо из-под ног и тут же ложатся... И смех и грех! Там не один захленется до смерти. Вот и мы там поджились. Нам много не надо: прикатили боченок ведер на пять, ну, нам и хватит. Гуляй, душа! Все одно пропадает тихий Дон! Платона там за малым не утопили. Повалили на пол, начали ногами толочь, он хлебнул раза два и готов. Уж я его насилиу вытянул оттедова...

Ото всех от них резко разило спиртом, луком, табаком. Григорий почувствовал легкий приступ тошноты, головокружение, — улыбаясь слабой, вымученной улыбкой, закрыл глаза.

Неделю он пролежал в Екатеринодаре, на квартире у знакомого Богатыреву врача, медленно поправляясь после болезни, потом, как говорил Прохор, — «пошел на поправку», и в станице Абинской в первый раз за время отступления сел на коня.

В Новороссийске шла эвакуация. Пароходы увозили в Турцию российских толстосумов, помещиков, семьи генералов и влиятельных политических деятелей. На пристанях день и ночь шла погрузка. Юнкера работали в артелях

грузчиков, заваливая трюмы пароходов военным имуществом, чемоданами и ящиками сиятельных беженцев.

Части Добровольческой армии, опередив в бегстве донцов и кубанцев, первыми докатились до Новороссийска, начали грузиться на транспортные суда. Штаб Добровольческой армии предусмотрительно перебрался на прибывший в порт английский дредноут «Император Индии». Бои шли около Тоннельной. Десятки тысяч беженцев заполняли улицы города. Воинские части продолжали прибывать. Около пристаней шла неопикуемая давка. Брошенные лошади тысячными табунами бродили по известняковым склонам гор, окружающих Новороссийск. На прилегающих к пристаням улицах завалами лежали казачьи седла, снаряжение, воинское имущество. Все это было уже никому не нужно. По городу ходили слухи о том, что на суда будет погружена только Добровольческая армия, а донцы и кубанцы походным порядком пойдут в Грузию.

Утром 25 марта Григорий и Платон Рябчиков пошли на пристань узнать, грузятся ли части второго Донского корпуса, так как накануне, среди казаков, распространился слух, будто генерал Деникин отдал приказ: вывести в Крым всех донцов, сохранивших вооружение и лошадей.

Пристань запрудили калмыки Сальского округа. Они пригнали с Маныча и Сала косяки лошадей и верблюдов, до самого моря довели свои деревянные жилые будки. Нанюхавшись в толпе пресных запахов бараньего сала, Григорий и Рябчиков подошли к самым: сходящим стоявшего у причала большого транспортного парохода. Сходни охранялись усиленным караулом офицеров Марковской дивизии. Около, ожидая погрузки, толпились донцы-артиллеристы. На корме парохода стояли орудия, накрытые брезентами защитного цвета. С трудом протискавшись вперед, Григорий спросил у молодцеватого черноусого вахмистра:

— Какая это батарея, станишник?

Вахмистр покосился на Григория, неохотно ответил:

— Тридцать шестая.

— Каргиновская?

— Так точно.

— Кто тут заведует погрузкой?

— А вот он стоит у перил, полковник какой-то.

Рябчиков тронул Григория за рукав, злобно сказал:

— Пойдем отседова, ну их к чорту! Разве у них тут толку добьешься? Когда воевали — нужны были, а зараз мы им ни к чему...

Вахмистр улыбнулся, подмигнул выстроившимся в очередь батареям:

— Усчастливились вы, артиллеристы! Господ-офицеров и то не берут.

Полковник, наблюдавший за погрузкой, проворно шел по сходням; следом за ним, спотыкаясь, спешил лысый чиновник в распахнутой дорогой шубе. Он умоляюще прижимал к груди котиковую шапку, что-то говорил, и на потном лице его и в близоруких глазах было такое просительное выражение, что полковник, ожесточаясь, отворачивался от него, грубо кричал:

— Я вам уже сказал раз! Не приставайте, иначе я прикажу свести вас на берег! Вы с ума сошли! Куда к чорту мы возьмем ваше барахло? Вы, что, ослепли? Не видите, что творится? А, да ну вас совсем! Да жалуйтесь, ради бога, хоть самому генералу Деникину! Сказал, не могу, — и не могу, вы русский язык понимаете?!

Когда он, отмахиваясь от назойливого чиновника, проходил мимо Григория, тот преградил ему путь и, приложив руку к козырьку фуражки, волнуясь, спросил:

— Офицеры могут рассчитывать на погрузку?

— На этот пароход — нет. Нет места.

— Тогда на какой же?

— Узнайте в эвакуункте.

— Мы там были, никто ничего не знает.

— Я тоже не знаю, пропустите меня!

— Но вы же грузите тридцать шестую батарею! Почему нам нет места?

— Про-пу-стите, я вам говорю! Я — не справочное бюро! — Полковник по-

пробовал легонько отстранить Григория, но тот стоял на ногах твердо. В глазах его вспыхивали и гасли голубоватые искорки.

— Теперь мы вам не нужны стали? А раньше были нужны? Примите руку, меня вы не спихнете!

Полковник посмотрел в глаза Григория, оглянулся: стоявшие на сходнях марковцы, скрестив винтовки, с трудом сдерживали напиравшую толпу. Глядя мимо Григория, полковник устало спросил:

— Вы какой части?

— Я — девятнадцатого донского, остальные разных полков.

— Сколько вас всего?

— Человек десять.

— Не могу. Нет места.

Рябчиков видел, как у Григория дрогнули ноздри, когда он вполголоса сказал:

— Что же ты мудруешь, гад?! Ваша тыловая! Сейчас же пропускай нас, а то...

«Зараз Гриша его резнет!» — со злобным удовольствием подумал Рябчиков, но, увидев, как двое марковцев, прикладами очищая дорогу сквозь толпу, спешат на выручку полковнику, предупреждающе тронул Григория за рукав:

— Не связывайся с ним, Пантелевич! Пойдем...

— Вы — идиот! И вы ответите за ваше поведение! — сказал побледневший полковник и, обращаясь к подошедшим марковцам, указал на Григория:

— Господа! Уймите вот этого эпилептика! Надо же навести здесь порядок! У меня срочное дело к коменданту, а тут извольте выслушивать всякие любезности от всяких... — и торопливо скользнул мимо Григория.

Высокий марковец с погонами поручика на синей бекеше, с аккуратно подбритыми английскими усиками, подошел к Григорию вплотную.

— Что вам угодно? Почему вы нарушаете порядок?

— Место на пароходе, вот что мне угодно!

— Где ваша часть?

— Не знаю.

— Ваш документ.

Второй из караула, молодой пухлогубый юноша в пенсне, ломающимся баском сказал:

— Его надо отвести в караульное помещение. Не тратьте времени, Высоцкий!

Поручик внимательно прочитал свидетельство Григория, вернул его.

— Разыщите вашу часть. Советую отсюда уйти и не мешать погрузке. У нас есть приказ: арестовывать всех, независимо от их звания, проявляющих недисциплинированность, мешающих погрузке. — Поручик твердо сжал губы, подождал несколько секунд и, косясь на Рябчикова, наклонился к Григорию, шепнул: — Могу вам посоветовать: поговорите с командиром тридцать шестой батареи, станьте в их очередь, и вы сядете на пароход.

Рябчиков, слышавший шепот поручика, обрадованно сказал:

— Иди к Каргину, а я живо смогаюсь за ребятами. Из твоего имущества, окромя вещевого мешка, что брать?

— Пойдем вместе, — равнодушно сказал Григорий.

По пути они встретили знакомого казака — уроженца хутора Семеновского. На огромной фурманке он вез к пристани ворох накрытого брезентом печеного хлеба. Рябчиков окликнул станичника.

— Федор, здорово! Куда везешь?

— А-а-а, Платон, Григорий Пантелевич, здравствуйте! На дорогу свой полк хлебом снабжаем. Насилу выпекли, а то пришлось бы в пути одну кутью жрать...

Григорий подошел к остановившейся фурманке, спросил:

— Хлеб у тебя важный на весах? Или считанный?

— Какой его чорт считал? А вам что, хлеба надо?

— Надо.

— Бери!

— Сколько можно?

— Сколько унесешь, его на нас хватит!

Рябчиков с удивлением смотрел, как Григорий снимает буханку за буханкой, — не утерпев, спросил:

— На чуму ты его столько берешь?

— Надо, — коротко ответил Григорий.

Он выпросил у возчика два мешка, сложил в них хлеб, поблагодарил за услугу и, распрощавшись, приказал Рябчикову:

— Бери, понесем.

— Ты не зимовать тут собрался? — насмешливо спросил Рябчиков, взвалив мешок на плечи.

— Это не мне.

— Тогда кому же?

— Коню.

Рябчиков проворно сбросил мешок на землю, растерянно спросил:

— Шутишь?

— Нет, всурьез.

— Значит, ты... ты чего же это надумал, Пантелевич? Хочешь остаться, так я понимаю?

— Правильно понимаешь. Ну, бери мешок, пойдем. Надо же коня кормить, а то он все ясли погрыз. Конь ишо содится, не пешему же служить...

До самой квартиры Рябчиков молчал, побряхтывал, подкидывая на плечах мешок; подойдя к калитке, спросил:

— Ребятам скажешь? — и, не дождавшись ответа, с легким оттенком обиды в голосе, сказал: — Это ты здорово удумал... А мы как же?

— А как хотите, — с деланным равнодушием ответил Григорий. — Не берут нас, не находится для всех места, — и не надо! На кой они ляд нам нужны, навязываться им! Останемся. Спробуем счастья. Да проходи же, чего ты застрял в калитке?

— Тут, с этим разговором, застрянешь... Я ее и калитки-то не вижу. Ну, и дела! Ты меня, Гриша, как обухом в темя вдарил. Прямо ум мне отшиб. А я-то думаю: «На чорта он этот хлеб выпрашивает?». Теперь ребята наши узнают, взволнуются...

— Ну, а ты как? Не останешься? — любопытствовал Григорий.

— Что ты! — испуганно воскликнул Рябчиков.

— Подумай.

— И думать нечего! Поеду без разговоров, пока вакап есть. Пристроюсь к Каргиновской батарее и поеду.

— Зря.

— Вот это — да! Мне, брат, своя голова дороже. Что-то нет охоты, чтобы красные на ней свои палаши пробовали.

— Ох, подумай, Платон! Дело такое...

— И не говори! Поеду зараз же.

— Ну, как хочешь. Не уговариваю,— с досадой сказал Григорий и первый шагнул на каменные ступеньки крыльца.

Ни Ермакова, ни Прохора, ни Богатырева на квартире не было. Хозяйка — пожилая, горбатая армянка — сказала, что казаки ушли и обещали скоро вернуться. Григорий, не раздеваясь, крупными ломтями порезал буханку хлеба, пошел в сарай к лошадям. Хлеб разделил поровну, всыпал своему коню и прохорову — и только что взял ведра и хотел итти, чтобы принести воды, как в дверях стал Рябчиков. В полах шинели он бережно держал наломанный крупными кусками хлеб. Конь Рябчикова, зачуйв хозяина, коротко заржал, а хозяин его молча прошел мимо сдержанно улыбавшегося Григория, ссыпал куски в ясли, не глядя на Григория, сказал:

— Не скалайся, пожалуйста! Раз так дело указывает — приходится и мне коня кормить... Ты думаешь, я-то с охотой бы поехал? Сам себя за шиворот взял бы и повел на этот растреклятый пароход, не иначе! Ить живой страх подгонял... голова-то одна на плечах? Не дай бог эту срубят — другая до Покрова не вырастет...

Прохор и остальные казаки вернулись только перед вечером. Ермаков принес огромную бутылку спирта, а Прохор — мешок герметически закупоренных банок с мутновато-желтой жидкостью.

— Вот подработали! На всю ночь хватит, — похваляясь, Ермаков указал на бутылку, пояснил: — Попался нам военный доктор, упросил помочь ему вывезти на пристань со склада медикаменты. Грузчики отказались работать, одни юнкерья со склада таскали, ну и мы к ним припряглись. Спиртом доктор рас-

платился за нашу помощь, а банки эти Прохор наворовал, накажи господь, не брешу!

— А что в них такое? — полюбоствовал Рябчиков.

— Это, братушка, почище спирту! — Прохор поболтал банку, посмотрел на свет, как под темным стеклом пузырится густая жидкость, самодовольно закончил: — Это — самое что ни на есть дорогое заграничное вино. Одним больным его дают, так мне сказал юнкоришка, какой английский язык понимает. Сядем на пароход, выпьем с горя, заведем «Разродимую мою сторонушку» и до самого Крыму будем пить, а банки в море кидать.

— Иди скорей, садись, а то через тебя пароход задерживают, не отправляют. «Где, говорят, Прохор Зыков — герой из героев, без него не можем плыть!» — насмешливо сказал Рябчиков и, помолчав, указал желтым, обкуренным пальцем на Григория. — Вот он раздумал ехать. И я тоже.

— Да ну? — ахнул Прохор, от изумления чуть не выронив банку из рук.

— Что такое? Что вы тут надумали? — хмурясь, пристально глядя на Григория, спросил Ермаков.

— Решили не ехать.

— Почему?

— Потому, что местов для нас нету.

— Нынче нету — завтра будут, — уверенно заявил Богатырев.

— А ты на пристанях был?

— Ну, дальше?

— Видал, что там делается?

— Ну, видал.

— Занукал! Коль видал, чего же и толковать. Нас с Рябчиковым только двоих брали, и то один доброволец сказал, чтобы пристраивались к Каргиновской батарее, иначе нельзя.

— Она ишо не погрузилась, эта батарея? — с живостью спросил Богатырев. Узнав, что батарейцы стояли в очереди, ожидая погрузки, он тотчас же стал собираться: сложил в вещевого мешок белье, запасные шаровары, гимнастерку, положил хлеба и попрощался.

— Оставайся, Петро! — посоветовал Ермаков. — Не к чему нам разбиваться.

Богатырев, не отвечая, протянул ему потную руку, с порога еще раз поклонился, сказал: — Бывайте здоровы! Приведет бог — ишо свидимся! — и выбежал.

После его ухода в комнате долго стояла нехорошая тишина. Ермаков сходил на кухню к хозяйке, принес четыре стакана, молча разлил в них спирт, поставил на стол большой медный чайник с холодной водой, нарезал сала и, все так же молча, присел к столу, облокотился на него, несколько минут тупо смотрел себе под ноги, потом прямо из горлышка чайника выпил воды, хриповато сказал:

— На Кубани везде вода керосином воняет, с чего бы это?

Ему никто не ответил. Рябчиков частой ветошкой протирал запотевшие дэлы шашки, Григорий рылся в своем сундучке, Прохор рассеянно смотрел в окно, на голые склоны гор, усеянные конскими табунами.

— Садитесь к столу, выпьем. — Ермаков, не дожидаясь, опрокинул в рот полстакана, запил водой и, разжевывая кусок розового сала, повеселевшими глазами глядя на Григория, спросил:

— Не наведут нам решку красные товарищи?

— Всех не перебьют. Народу останется тут большие тыщи, — ответил Григорий.

— Я обо всех и не печалуюсь, — рассмеялся Ермаков. — У меня об своей овчине забота...

После того как изрядно выпили, разговор пошел веселее. А немного погодя неожиданно явился посиневший от холода, нахмуренный, угрюмый Богатырев. Он у порога сбросил целый тюк новеньких английских шинелей, молча начал раздеваться.

— С прибытием вас! — кланяясь, язвительно поздравил Прохор.

Богатырев метнул в его сторону озлобленный взгляд, со вздохом сказал:

— Просить будут, все эти Деникины и другие б..., и то не поеду! Стоял в очереди, иззяб, как кобель на морозе, а все без толку. Отрезало как раз по

мне. Двое впереди меня стояли, одного пропустили, а другого нет. Половина батареи осталась, ну что это такое, а?

— Вот так вашего брата умывают! — захохотал Ермаков и, расплескивая из бутылки, налил Богатыреву полный стакан спирта. — На, запей свое горькое горе! Или ты будешь ждать, когда тебя просить придут? Глянь в окно, это не генерал Врангель за тобой идет?

Богатырев молча цедил спирт. Он все не расположен был к шуткам. А Ермаков и Рябчиков — сами вполпьяна — напояли до отказа старуху-хозяйку и уже поговаривали о том, чтобы пойти разыскать где-нибудь гармониста.

— Идите лучше на станцию, — посоветовал Богатырев, — там вагоны расчищают. Весь состав с обмундированием.

— На чорта оно нужно, твое обмундирование! — кричал Ермаков. — Нам этих шинелей хватит, какие ты приволок! А лишнее, все одно, заберут. Петро! Клеп собачий! Мы тут решаемся в красные иттить, понял? Ить мы казаки — или кто? Ежли оставят в живых нас красные — пойдем к ним служить! Мы — донские казаки! Чистых кровей, без подмеси! Наше дело — рубить. Знаешь, как я рублю? С кочерыжкой! Становись, на тебе попробую! То-то, ослабел? Нам все равно кого рубить, лишь бы рубить, так я говорю, Мелехов?

— Отвяжись! — устало отмахивался Григорий.

Кося налитыми кровью глазами, Ермаков пытался достать свою лежавшую на сундуке шашку. Богатырев беззлобно отталкивал его, просил:

— Ты не буров удюже, Аника-воин, а то я тебя враз усмирю. Пей степенно, ты же в офицерском чине.

— Я на этот чин кладу с прибором! Он мне зараз нужен, как колодка свинье. Не вспоминай! Сам такой. Дай я тебе погоны отрежу? Петя, жаль моя, погоди, погоди, я их зараз...

— Ишо не время, с эгим успеется, — посмеивался Богатырев, отстраняя расходившегося друга.

Пили до зари. Еще с вечера откуда-то появились незнакомые казаки, один

из них с двухрядкой. Ермаков танцевал «казачка» до тех пор, пока не свалился. Его оттащили к сундуку, и он тотчас же уснул на голом полу, широко разбросав ноги, неловко запрокинув голову. До утра продолжалась невеселая гулянка. «Я из Кумшатской!.. Из самой станицы! У нас были быки — рога не достанешь! Кони были — как львы! А сейчас что осталось в хозяйстве? Одна облезлая сучка! Да и она скоро сдохнет, кормить нечем...» — пьяно рыдая, говорил пожилой казак — один из случайных знакомых, пришедших на гульбище. Какой-то кубанец в изорванной черкеске заказывал гармонисту «наурскую» и, картинно раскинув руки, с такой поразительной легкостью скользил по комнате, что Григорию казалось, будто подошвы горских сапогов кубанца вовсе и не прикасаются к грязному, зашарпанному полу.

В полночь кто-то из казаков нивесть откуда притащил два высоких глиняных, узкогорлых кувшина; на боках их темнели полусгнившие этикетки, пробки были опечатаны сургучом, из-под вишнево-красных сургучных печатей свешивались массивные свинцовые пломбы. Прохор долго держал в руках ведерный кувшин, мучительно шевелил губами, стараясь разобрать иностранную надпись на этикетке. Недавно проснувшийся Ермаков взял у него из рук кувшин, поставил на пол, обнажил шашку. Прохор не успел ахнуть, как Ермаков косо замахнувшись, срезал шашкой горло кувшина на четверть, громко крикнул: «Подставляй посуду!».

Густое, диковинно ароматное и терпкое вино распили в несколько минут, и после долго Рябчиков в восхищении цокал языком, бормотал: «Это не вино, а святое причастие! Такое только перед смертью пить, да и то не всем, а таким, какие за всю жизнь в карты не играли, табак не нюхали, баб не трогали... Архирейский напиток, одним словом!». Тут Прохор вспомнил, что у него в мешке лежат банки с лечебным вином.

— Погоди, Платон, не хвали джоже! У меня винцо получше этого будет! Это — дерьмо, а вот я достал на скла-

де, так это винцо! Ладан с медом, а может, даже лучше! Это тебе, браток, не архирейское, а — прямо сказать — царское! Раньше цари пили, а зараз нам довелось.. — бахвалился он, открывая одну из банок.

Жадный на выпивку Рябчиков глотнул сразу полстакана мутножелтой густой жидкости, мгновенно побледнел и вытаращил глаза.

— Это не вино, а карболка! — прохрипел он и, в ярости выплеснув остатки из стакана Прохору на рубаху, пошел, покачиваясь, в коридор.

— Брешет он, гад! Вино — английское! Первый сорт! Не верьте ему, братцы! — стараясь перекричать гул пьяных голосов, заорал Прохор. Он выпил стакан залпом и тотчас стал блее Рябчикова.

— Ну, как? — допытывался Ермаков, раздувая ноздри, заглядывая Прохору в посоловевшие глаза. — Как царское вино? Крепкое? Сладкое? Говори же, чертяка, а то я эту банку об твою голову разобью!

Прохор покачивал головой, страдал молча, а потом икнул, проворно вскочил и выбежал вслед за Рябчиковым. Ермаков, давясь от смеха, заговорщически подмигнул Григорию, пошел во двор. Спустя минуту он вернулся в комнату. Раскатистый хохот его перекрыл все голоса.

— Ты чего это? — устало спросил Григорий. — Чего ржешь, глупой? Железку нашел?

— Ох, парень, пойди глянь, как они наизнанку выворачиваются! Ты знаешь, что они пили?

— Ну?

— Английскую мазь от вшей!

— Брешешь!

— Истинный бог! Я сам, как на складе был, думал сначала, что это вино, а потом спросил у доктора: «Что это такое, господин доктор?». — «Лекарство» — говорит. Я спрашиваю: «Оно, случаем, не от всех скорбей? Не на спирту?». — «Боже упаси, — говорит, — это союзники от вшей нам прислали смазку. Это — наружное лекарство, за воротник его никак нельзя употреблять!».

— Чего же ты, лиходей, не сказал им? — с досадой упрекнул Григорий.

— Нехай черти очищаются перед сдачей, небось не сдохнут! — Ермаков вытер проступившие от смеха слезы, не без злорадства добавил: — Да и пить будут полегше, а то за ними не успеешь и рюмки со стола взять. Жадных так надо обучать! Ну, что же, мы-то с тобой выпьем или повременим? Давай за нашу гибель выпьем?

Перед рассветом Григорий вышел на крыльцо, дрожащими руками свернул папироску, закурил, долго стоял, прислонившись спиной к влажной от тумана стене.

В доме не умолкая звучали пьяные вскрики, захлебывающиеся переборы гармошки, разудалый свист; сухую дробь безустально выбивали каблуки завязтых плясунов... А из бухты ветер нес густой, низкий рев паровозных сирен; на пристанях людские голоса сливались в сплошной гул, прорезываемый громкими возгласами команды, ржанием лошадей, гудками паровозов. Где-то в направлении станции Тоннельной шел бой. Глухо погромыхивали орудия, в интервалах между выстрелами чуть слышался жаркий треск пулеметов. За Мархотским перевалом высоко взметнулась брызжащая светом ракета. На несколько секунд стали видны озаренные зеленым призрачным сиянием горбатые вершины гор, а потом снова вязкая темень мартовской ночи покрыла горы, и еще отчетливее и чаще, почти сливаясь, загремели артиллерийские залпы.

ГЛАВА XXIX

Соленый, густой, холодный ветер дул с моря. Запах неведомых, чужих земель нес он к берегу. Но для донцов не только ветер, — все было чужое, неродное, в этом скучном, пронизанном сквозняками, приморском городе. Стояли они на молу сплошной сгрудившейся массой, ждали погрузки... У берегов скипали зеленые пенистые волны. Сквозь тучу глядело на землю негреющее солнце. На рейде дымили английские и французские миноносцы; серой грозной машиной высился над водой

дредноут. Над ним стлалось черное облако дыма. Зловещая тишина стояла на пристанях. Там, где недавно покачивался у причала последний транспорт, — плавали в воде офицерские седла, чемоданы, одеяла, шубы, обитые красным плюшем стулья, еще какая-то рухлядь, сброшенная второпях со схода...

Григорий с утра приехал на пристань; поручив коня Прохору, долго ходил в толпе, высматривал знакомых, прислушивался к отрывистым тревожным разговорам. На его глазах у схода «Святослава» застрелился пожилой отставной полковник, которому отказали в месте на пароходе.

За несколько минут до этого, маленький, суетливый полковник с седой щетиной на щеках, с заплаканными, пухлыми, сумчатыми глазами, хватал начальника караула за ремни портупей, что-то жалко шепелявил, сморкался и вытирал нечистым платком прокуренные усы, глаза и дрожащие губы, а потом вдруг как-то сразу решился... И тотчас же какой-то проворный казак вынул из теплой руки мертвого блестящий никелем браунинг, труп в светлосерой офицерской шинели ногами, как бревно, откатили к штабелю ящиков, и возле схода еще гуще закипел народ, еще яростнее вспыхнула драка в очереди, еще ожесточеннее залаяли хриплые, озлобленные голоса беженцев.

Когда последний пароход, покачиваясь, начал отходить от причала, в толпе послышались женские рыдания, истерические вскрики, ругань... Не успел еще утихнуть короткий басовитый рев паровой сирены, как молодой калмык в лисьем треухе прыгнул в воду, поплыл вслед за пароходом.

— Не вытерпел! — вздохнул кто-то из казаков.

— Значит, ему никак нельзя было оставаться, — проговорил стоявший возле Григория казак. — Значит, он красным дюже нашкодил...

Григорий, стиснув зубы, смотрел на плывущего калмыка. Все реже взмахивали руки пловца, все ниже оседали плечи. Намокший чекмень тянул книзу. Волною смыло с головы калмыка, отбросило назад рыжий лисий треух.

— Утопнет проклятый нехристь! — сожалеюще сказал какой-то старик в бешмете.

Григорий круто повернулся, пошел к коню. Прохор оживленно разговаривал с подскакавшими к нему Рябчиковым и Богатыревым. Завидев Григория, Рябчиков заерзал в седле, в нетерпении тронул коня каблуками, крикнул:

— Да поспедай же ты, Пантелевич!—И, не дождавшись, когда Григорий подойдет, еще издали закричал: — Пока не поздно, давай уходить. Тут собралось нас с полсотни казаков, думаем правиться на Геленджик, а оттудова в Грузию. Ты как?

Григорий подходил, глубоко засунув руки в карманы шинели, молча расталкивая плечами бесцельно толпившихся на пристани казаков.

— Поедешь, или нет? — настойчиво спрашивал Рябчиков, под'ехав вплотную.

— Нет, не поеду.

— С нами пристроился один войсковой старшина. Он дорогу тут насквозь знает, говорит: «зажмурки до самого Тифлису доведу!». Поедем, Гриша! А оттуда к туркам, а? Надо же как-то спастись! Край подходит, а ты какой-то, как рыба, снулый...

— Нет, не поеду, — Григорий взял из рук Прохора поводья, тяжело, по-стариковски сел в седло. — Не поеду. Не к чему. Да и поздновато трошки... Гляди!

Рябчиков оглянулся, в отчаянии и ярости скомкал, оторвал темляк на шашке: с гор текли цепи красноармейцев. Около цементных заводов лихорадочно застучали пулеметы. С бронепоездов ударили по цепям из орудий.

Возле мельницы Асланди разорвался первый снаряд.

— Поехали на квартиру, ребятки, держи за мной, — приказал повеселевший и как-то весь подобранный Григорий.

Но Рябчиков схватил григорьева коня за повод, испуганно воскликнул:

— Не надо! Давай тут останемся... На миру, знаешь, и смерть красна...

— Э, чорт, трогай! Какая там смерть? Чего ты мелешь? — Григорий в досаде хотел еще что-то сказать, но голос его заглушил громовый гул, донесшийся с моря. Английский дредноут «Император Индии», покидая берега союзной России, развернулся и послал из своих двенадцатидюймовых орудий пачку снарядов. Прикрывая выходящие из бухты пароходы, он обстреливал катившиеся к окраинам города цепи красно-зеленых, переносил огонь на гребень перевала, где показались красные батареи. С тяжким клекотом и воем летели через головы сбившихся на пристани казаков английские снаряды.

Туго натягивая поводья, удерживая приседающего коня, Богатырев сквозь гул стрельбы кричал:

— Ну, и резко же гавкают английские пушки! А зря они стервенят красных! Пользы от ихней стрельбы никакой, одного шуму много...

— Нехай стервенят! Нам зараз все равно, — улыбаясь, Григорий тронул коня, поехал по улице.

Навстречу ему из-за угла, пластаясь в бешеном намете, вылетели шесть конных с обнаженными клинками. У переднего всадника на груди кровянеп, как рана, кумачный бант.

Конец 7-й части

Девушка

ПЕСНЯ

М. ИСАКОВСКИЙ

★

1

Я глядела в озеро,
В голубой просвет.
В озере увидела
Свой живой портрет.

Мне сказало озеро,
Тростником шурша,
Что собою девушка
Очень хороша.

2

Я в полях работала, —
И шумела рожь,
Что нигде работницы
Лучшей не найдешь.

Что со мной не сгонишься,
Не уйдешь вперед...
Где ты только выросла? —
Спрашивал народ.

3

Как пойду по ягоды,
Песню запою, —
В роще делать нечего
Станет соловью.

А пройду по улице
На закате дня, —
Каждый добивается
Провожать меня.

4

Где ж росла ты, девушка,
Под какой зарей?
А росла я, выросла
За рекой Угрой.

А росла я, выросла
В стороне лесной,
Под зарей, что светится
Надо всей страной.

★

Про песню

ВЕРА ЗВЯГИНЦЕВА

★

Ты — в дремучем, пахучем бору
С губ суровых слетела когда-то, —
Барсучиха забила в нору,
На поляне притихли лисята.

Только музыку грома да птиц
И знавал человек первобытный, —
Отряхая росинку с ресниц,
Удивлялся нахлынувшим ритмам.

Пел про солнце и пел про огонь,
Про холодный, таинственный камень, —
И лады отбивала ладонь,
Шевеля невысокое пламя.

И пошла-побежала в молве
Эта песня водою проточной,
Колокольчиком синим в траве
Загляделась в прохладный источник.

Человек бушевал на земле —
Откликались холмы и долины.
Зрели песни, как зерна в тепле, —
Про героев слагались былины.

Песня! Песня! На свадьбах лихих
Ты шуршала по лентам упряжки,
Надрывалась и падала в стих
Причитаньем над участью тяжкой.

Каторжанин бежал по тайге,
На натертую ногу хромая, —
Возникла ты в мутной пурге,
Удаль в тесной груди подымая.

Вот подпольщики дружным кружком.
Над листьями сырых прокламаций,
Отдыхают: «А ну-ка споем —
Нашу самую лучшую, братцы!».

Ты — строительница баррикад,
Революций сестра и подруга,
Ты в жару освежала отряд,
Согревала в морозах и вьюгах...

И, тебя не успевши допеть
И дыханье тобой обрывая,
Жить умевший — умел умереть
За свободу любимого края.

Спелым «яблочком» ты налилась
И катилась тропой партизанской,
Волочаевской славой неслась
И шумела под небом испанским.

Песня! Песня! Тугою струной
«По долинам» звеня и «по взгорьям»,
Над чудесною нашей страной
Разливайся от моря до моря!

★

СЫН

Р. ГИНЦБУРГ

★

Ты в снах моих (а может, это было)...
Ты рос во мне, ты тяжелел во мне,
Моей любовью был, моею силой,
Бессмертием, дремавшим в глубине.

Влезал на круглый пень за веткой влажной,
Хватал ручонкой дождевую нить,
Вокруг стола с флажком шагал ты важно,
Скакал к ручью, чтоб солнцу палкой бить.

Я наше солнце показала сыну,
И землю всю до моря покажу —
Покатый пляж и длинную долину,
И синюю от васильков между...

Нет, все неправда! Ранен ты снарядом,
Осколком ранен, падаешь в дыму.
Не ты — испанский мальчик... Встану рядом,
Спасу его, как сына, обниму.

Он мой, его сейчас я потеряла
И, спотыкаясь, быстро уношу,
На койке поправляю одеяло,
На губы пересохшие дышу.

Для всех сирот мы стали матерями.
Я чувствую, мой сын бежит ко мне,
Сын плачет мой за ночью, за горами,
В такой же, как моя, родной стране.

★

На покосе

В. ШУЛЬЧЕВ

★

Она мертва. Она была
грозою стойбищ карасиных,
разбой вершила и спала
в зеленом полумраке тины;
ломаю светлую струю,
ходила плавно, будто в танце,
закованная в чешую,
несокрушимую, как панцырь.
Взгляни: в его руке тугой
теперь лежит оцепенело
пронизанное острогой
ее чешуйчатое тело.
А он стоял, чья речь остра,
силач, затейник и насмешник.
(Мы — полукругом у костра.
Река у ног, с боков орешник.
Мы сняли взмокшие до дыр
рубахи. Крепко пахло потом)
И он сказал, наш бригадир,
любивший шутки и работу:
«Мы все косили хорошо, —
оно, конечно, так и надо, —
но я отмечу: ты, Ершов,
примером был для всей бригады.
А я — хоть это не к лицу —
отстал, на что уж был привычен...

Тебе, как лучшему коосу, —
моя случайная добыча!..
С хвоста начнешь ли, с головы —
ухи четыре знатных сваришь...».
Но поднимается с травы
наш премированный товарищ.
Белесый дым в глаза ему
и семь приветственных улыбок.
«С какой же стати одному
дается мне такая рыба?..
Сядим компанией ее,
чтоб парни духом не ослабли!..
Она сверкала острием,
сняла наподобье сабли,
Ее швырнули в пасть котла,
и пар взыграл над нею густо.
И парни шутками дотла
сожгли непрошенную усталь.
И восемь ложек, восемь рук
за ней тянулись в пар косматый.
И восемь кос, как восемь щук,
в траве ныряли до заката.
И, вскинув косу на плечо,
товарищ мой, Кузьмин Василий,
заметил: «Щука — не при чем:
мы и без щуки б докосили!..».

★

В а н я

РАССКАЗ

ВЛ. ЛИДИН

★

Он спускался с Пекинской, с крутой улички, к центру. На правом плече, как обычно, он легко нес корзину с бельем. Курточка из синей застиранной дабы¹ как бы наглядно являла для всех чистоту и опрятность его работы. Ваня спускался с горы, — это значило, что во многих домах с бесшумной аккуратностью будут выложены им стопки свежего, дышащего чистотой и прохладой белья. Легкий, еще не улетучившийся запах утюга только усиливал ощущение опрятности. Прачечная была высоко, на горе, почти на самой вершине сопки. Две большие китайские прачечные, открывшиеся на Светланке, не могли оспорить ее работы.

Учитель владивостокской гимназии Лиров любил, когда с девической своей улыбкой, с акварельными кисточками бровей, легкий, бесшумный, сухощавый китаец выкладывал принесенное из стирки белье. Их называли обычно «ходя», этих проворных, педантически-точных, неутомимых, с женственными, красивыми руками китайцев, которые доставляли в дома овощи, хлеб, плотно укатанные тючки с чесучой и мануфактурой или приносили на длинных гнувшихся коромыслах воду в четырехугольных ведрах... Счет они вели на память, доверяли заказчику, не были назойливы, не домогались немедленной уплаты денег. Утренний туман еще

неутоленно бродил над Золотым Рогом, когда они уже начинали свой день. На шампунках, ящереподобно юля веслом, переправлялись они в военный поселок на Русском острове, взбирались на крутые улички города, всюду были во-время, в тот самый час, когда потребны хозяйкам свежий хлеб, овощи и молоко.

Прачку называли ласкательно Ваней. Это давало ему отличие от сотен таких же китайцев, обслуживавших чиновный, военный, служилый Владивосток. Белье отмечалось маленькими, почти незаметными значками, таинственными загогулинами, красною ниточкой, с неизменной аккуратностью вшитой в самый уголок отутюженной ткани. Он выкладывал припухлые, как бы сохранившие еще дыханье рубашки своими вкрадчивыми руками с длинными пальцами. Тогда даже самые старые и застиранные трогали своей чистотой, какой-то простодушной безгрешностью, приданной им трудолюбивым старанием прачки. И сама прачка располагала к себе — так она была опрятна, с блестящими от чистоты раковинами ушей, с коротко остриженной головой, прорастающей ровным синеватым волосом, со слабой, дремлющей улыбкой на губах, с тонкой смуглой шеей из стоячего воротничка синей вылинявшей от времени курточки. Брюки, как обычно, были стянуты внизу, на ногах шерстяные мягкие туфли. Вот он раскладывает

¹ Д а б а — грубая китайская материя.

эти воздушные свои творения. Чистейшие четырехугольнички платков, которые жаль развернуть. Воротнички, блистающие костяным блеском. Подштопанные ниткой в цвет, если они требовали этого, носки. И женское белье, легкое, как бы нетронутое рукой человека и чувственно осязаемое на расстоянии. Учитель был взыскателен, он требовал от учеников аккуратных полей тетрадей, уменьшал отметку за помарки и кляксы, — его радовал этот пример китайской чистоты. Разговор между ними был обычно несложен.

— Какая погода, Ваня? — спрашивал Лиров.

— Погода хорошая. — Или: — Погода немного плохая, — отвечал Ваня. Или — в благодушные утра — спрашивал Лиров:

— Ну, как дела, Ваня?

И Ваня отвечал:

— Владивосток много прачка стало... совсем работа мало-мало.

Но все это было без жалобы, с той же улыбкой, обозначающей, что никакой труд для него, Вани, не страшен, была бы работа. И Лиров направил его раз к сослуживцу, учителю физики Драгомирову, потом порекомендовал жене попечителя, крупного интендантского чиновника Лбищева. Жена интенданта похвалила китайца жене батареинного командира Мирощенко, и Ваня так же на шампунке стал переправляться раз в неделю на Русский остров. На Русском острове, где-то на сопках, стояли батареи, стерегущие Уссурийский залив, но в белых, прочно построенных домах, где жили военные, шла такая же жизнь, как в любом доме в городе. Жены военных так же любили, чтобы во-время утром были доставлены овощи, только-что снятые с китайских огородов и еще влажные от утренней росы, хорошо пропеченный хлеб, свеженадоенное молоко, стопки выглаженного до блеска белья. И Ваня стал бывать на Русском острове у жен военных, его трудолюбие и аккуратность побеждали размах новых открывшихся на главной улице прачечных. Хозяевам нравилось, когда он появлялся, вежливый, бесшумный, не-

требовательный, не напоминающий о деньгах. Он легонько постукивал в дверь костяшкой согнутого пальца: «Мадама... моя белье приноси». И его впускали.

Люди менялись во Владивостоке, Лиров был старожил. Сенаторская ре-визия судила за хищения интендантского чиновника Лбищева, был переведен в город Дальний батареинный командир Мирощенко, второе поколение учеников выпускала владивостокская гимназия, — летопись города не отличалась шумными и большими событиями. Китайцы-продавцы, краеведы, два поколения учеников знали учителя, его круглую черную шляпу интеллигента (в ветреные дни она пускала вниз росток черного шнурка), часы его прогулок по Светланке, по правой стороне, где внизу вдоль улицы тянутся пристани, суда на рейде, голубизна воды бухты. Японский консул, такой же холостяк, такой же старожил, живший во Владивостоке свыше пятнадцати лет, снимал, встречая учителя, шляпу. Консул был такой же принадлежностью города, как ресторан «Золотой Рог» или памятник адмиралу Невельскому. Корейцы-извозчики, дремавшие на козлах с двумя фонариками по бокам, знали, что в шесть часов консул спустится с Суйфунской, пройдет по Светланке, купит возле почты газету, потом сядет на скверике рядом с памятником адмиралу, как все прочие жители, ничем не отличный от них — ни манерами, ни даже одеждой. Консул давно обрусел, говорил по-русски, читал русские газеты, отдавал белье прачке, — только в торжественные дни официальных приемов он спускался с крутой своей улочки на старомодной машине, тоже похожей на старого и обрусевшего холостяка. Учитель снимал свою круглую шляпу, консул такую же, только промятую лодочкой, и они расходились.

Жизнь во Владивостоке текла неторопливо, — военные, пополнявшие его население, селились по-семейному, так же начинали их обслуживать «ходи», так же заходил в дома своих новых клиентов Ваня, и по вечерам гулко и

немного грустно играли военные оркестры. Даже мировая война прошла как бы на другом конце света, — дальше острова Аскольда суда не ходили, порт замер, — только консул господин Ивакура внимательнее обычного читал на бульваре «Приамурье». Потом он складывал газету, прятал ее аккуратно в карман и шел к дому, — он был представитель отдаленной державы, нетривожи́мо простертой в Тихом океане, и Лиров смотрел на старомодное, с бархатным воротничком, пальто, на сухую фигуру этого не полнеющего с годами человека и на старенькую фетровую шляпу, как-то особенно изобличавшую холостяцкое его житие. Все постарели за эти пятнадцать лет, он сам чувствовал, что не с прежней легкостью одолевает знакомую крутизну своей улочки, только Ваня ничего не утратил во времени. Та же самая или такая же вылинявшая аккуратная курточка из синей застиранной дабы, та же вежливая улыбочка, та же яблочная округлость гладко выбритых щек, с такой же тщательностью вымытое, выутюженное и сложенное белье в корзинке. Иногда впрочем, перегруженный событиями, Лиров склонен был поговорить сам с собой в присутствии этой отзывчивой прачки.

— До каких же пор люди будут воевать, Ваня... не знаешь? — спрашивал он, глядя из окна на Уссурийский залив, на молодую его голубизну с заплатой черного, как бы простеганного паруса кунгаса.

— Худо, худо... китайские люди совсем плохо стал. Чифу ничего нет... надо итти Владивосток, каули¹ быть. Бравидосток работа совсем мало-мало... пароход не приходи, ничего нет. Пампуша² дорого стал, все дорого стал...

И Лирову становилось жалко этого трудолюбивого, безропотно влачащего свою жизнь, как самый драгоценный дар, китайца.

— Ну, ничего, Ваня, — ободрил он его тотчас. — Не вечно же будут драться и убивать друг друга. Китайским людям еще шибко хорошо будет.

Он хотел, чтобы китайским людям, всем этим по-лошадиному влачащим тяжести «каули», стало хорошо, — этого требовала справедливость. Он был историком, знал историю края, историю переселения из бедных южных провинций Китая всех этих нищих рабочих, которые грузили суда, добывали уголь на Сучане, волочили тяжести по крутым улочкам Владивостока, — их непосильная жизнь унижала способности и права человека. Потом Ваня аккуратно прикрыл простыней оставшееся белье в корзине, — он нес сейчас консулу эти старомодные цветные рубашки с круглыми манжетами, полотняные кальсоны с тесемками внизу и тугие высокие воротнички с уголками. Маленькие красные значочки отмечали принадлежность белья именно консулу, — ни разу не была перепутана в сложном прачечном хозяйстве ни одна штука белья. И Ваня ушел, — потом Лиров увидел его через окно, он легко нес на правом плече корзину, походка у него была такая же, как и пятнадцать лет назад, и воротничок синей куртки свободно облегал тонкую смуглую его шею. Он был ему приятен, с ним была связана почти вся его учительская жизнь, он был как бы трудолюбивой и скромной душой далекого и некогда пугавшего своей отдаленностью города.

Годы, пришедшие вслед за войной, захватили, однако, и этот отдаленный от шумных дел город. Они в одну зиму расстроили налаженную жизнь, разворотили дома, заклеили их стены воззваниями и объявлениями, обострили отношения между людьми, сделали отдаленный Владивосток как бы центром, куда двигались теперь с запада целые армии. Революция была отделена еще фронтом, но множество новых и незнакомых людей подвозили каждый день поезда, в городе нехватало помещений, по ночам была слышна стрельба, и отдаленные улочки стали не безопасны для уединенных прогулок.

¹ «Каули» — испорченное «кули», — так называли во Владивостоке носильщиков тяжестей.

² Пампуша — китайский хлеб, сваренный на пару.

Но самым страшным для учителя было именно то, что в один серый апрельский денек на рейде этой изученной до каждой береговой сопки бухты возникли незнакомой конструкции, дымящие черным угольным дымом суда. Потом, когда на улицах города появились отряды морской пехоты в белых гетрах, с примкнутыми штыками винтовок, он понял, что это завоеванные города.

Как всякий, кто прожил много лет на этой граничащей с морем черте, он хорошо знал жестокость японцев, помнил коварство их сложных военных и политических ходов в тысяча девятьсот четвертом году, видел сотни корейских семейств, бежавших из завоеванной ими Кореи... Пехота выгружалась с военных судов и шла по улицам города с таким бесстрастным спокойствием, как будто это была очередная высадка в каком-нибудь японском порту. В тот же день, в обычный час, на Светланке, он увидел господина Ивакура. На этот раз не пешком, с газетой в руке, и даже не в кургузом своем автомобиле, предназначавшемся для торжественных дней, появился он на главной улице города. В длинной серой машине с японским флажком, рядом с маленьким военным в шинели полковника, сидел господин Ивакура. Он увидел учителя, но старомодная шляпа не приподнялась на этот раз для приветствия. Другой, необычайно важный и презрительный, сидел Ивакура на сидении штабного автомобиля.

Японцы заняли лучшие дома и гостиницы, жизнь в городе потекла в воспаленном предчувствии, с запада шли сюда тревожные вести, под виадуком Уссурийской дороги тяжело передвигались воинские составы, платформы с орудиями, пресованным сеном и длинными, узкими ящиками, заключавшими в себе части самолетов. Война была близко, теперь уже не на другом конце света, а возле Читы или даже Хабаровска. Один только Ваня спокойно, в назначенные дни, спускался со своей корзинкой на плече, белье дышало миром, уютом, продолжением жизни.

Его, Вани, дело было — трудиться, стирать белье, разносить его заказчикам, переправляться в ранние туманные утра на шампунке через залив, неутомимо взбираться на отвесные улочки.

К учителю Лирову из Таудеминской долины, сначала на шаланде, потом пешком через горы, пробрался бывший его ученик Степан Крымов. Он прямо пришел к нему и сказал, что состоит в партизанском отряде, что в Приморской тайге накапливаются партизанские силы, которые должны сбросить японцев в море, и что ему нужен на три дня приют. Лиров — человек благонадежный, в политике не замешан, его никто ни в чем не заподозрит. Сейчас ему, Крымову, поручено установить связь с железнодорожниками на Уссурийской дороге. Семейство Крымовых Лиров знал много лет, отец был помощником начальника станции, Степан Крымов хорошо отвечал на уроках истории. И учитель позволил бывшему ученику остаться у него на несколько дней. Крымов задвинул под диван чемоданчик с одной сменой белья и исчез. Теперь Лиров с тайным злорадством мог оглядеть японских часовых, отряды морской пехоты, корабли на рейде и консула Ивакура, который перестал узнавать учителя. Где-то в тайге, на сопках, в бухтах Находка и Ольга, готовилась сила, которая должна была напомнить японцам, что на русской земле хозяева — русские и что вся русская история богата примерами, как сбрасывал народ чужеземное иго и расправлялся с временными завоевателями.

— Ничего, господин Ивакура, — сказал он вслух, — мы еще посмотрим, кто первый из нас снимет шляпу.

Он в этот день преподавал в гимназии, чрезвычайно довольный, и в том же благодушии вернулся домой. Перед вечером китаец принес ему белье. Он открыл свою корзину, полную приятного и горьковатого запаха утюга, и стал выкладывать сорочки учителя. Манжеты и складки были сколоты булавками, чтобы вещь не утратила приданную ей благородную форму.

— Как, Ваня, — спросил Лиров, — долго ли китайских людей будут обижать другие люди? Если китайские люди будут спать, их скоро захватят и заставят работать на себя разные другие люди... например, японские люди.

— Китайские люди бедный мало-мало... ничего нет. Китайские люди драться не можно, — ответил Ваня печально и уклончиво, но вежливая улыбочка все же дремала на его губах. Потом он ушел так же бесшумно, как и появился. Ночью, во втором часу, пришел Крымов. Он выпил стакан молока, который ему приготовил учитель, есть ничего не стал, повалился на диван и заснул мертвым сном. Со спящего уже, жалея его, Лиров стянул сапоги. Было, вероятно, два часа ночи, потому что далеко на рейде, торопливо и как бы догоняя друг друга, упали стеклянные капли склянок. А еще через час или два — опять на этот раз били склянки — Лирова разбудил осторожный стук в дверь. Звонить в звонок не хотели, вероятно, чтобы не будить никого в доме. Он подошел в носках к двери и спросил, кто стучит. Ему сейчас же очень знакомый и вежливый голос ответил:

— Пустите, пожалуйста, господин Риров...

Лиров открыл дверь, и в переднюю вошло четыре человека, двое были в японской форме, один был в штатском, четвертый был в непромокаемом плаще — Ваня.

— Что такое, Ваня? — спросил Лиров, надевая очки.

Ему показалось, что китайца арестовали солдаты.

— Извините, пожалуйста, господин Риров, — сказал Ваня и тоненько и учтиво втянул воздух. — Но нам нужен один человек. Он спит сейчас у вас. Нам очень нужен этот человек.

— Ты с ума сошел, Ваня, — сказал Лиров, пятясь. Он даже приблизил к лицу китайца свечу, чтобы лучше разглядеть его в этом припадке безумия.

— Нет, я здоров, господин Риров, — сказал Ваня вежливо. — Только я

теперь майор Кабаяси... я был немножко прачка Врадивостоке, семнадцать лет. Разве моя плохо стирал, господин Риров?

Его непромокаемое пальто распахнулось, и Лиров увидел знакомую курточку из синей застиранной дабы. Четверть часа спустя Ваня сидел на том же диване, на котором спал только-что Крымов. Даже подушка сохранила еще впадину от его головы.

— Японскому командованию очень жаль, господин Риров, что вы давали преступным людям приют, — сказал он с той же мирной и жесткой улыбочкой, которая придавала нестарющему лицу Вани выражение некоей скрытой печали и готовности к любому труду. — Японское командование вынуждено арестовать вас, господин Риров, впредь до выяснения некоторых подробностей. Можете взять необходимые вещи.

Потом он достал самопишущую ручку и набросал несколько иероглифов на бумаге, — они напомнили Лирову те же таинственные маленькие значочки, которыми отмечал Ваня белье и которые в последний раз видел он на старомодных рубашках консула Ивакура. Значочки могли обозначать необходимые сведения, которые дополняли для консула скупые телеграммы в «Приамурье», — часовые на Русском острове знали Ваню, его корзину с бельем, его торопливую, худую фигуру... Ровко и приветливо улыбаясь, он постукивал костяшкой пальца в двери домов, входил, кланялся, был учтив и опрятен. Его знали семнадцать лет кряду жены военных, чиновников, банковских служащих, его знал семнадцать лет Лиров.

Утро едва поднималось над Уссурийским заливом, когда его вели по крутой улочке вниз. Сине и знакомо проступали в тумане на дальнем берегу сопки. Одинокий корейский кунгас возвращался с моря после ночного лова. Его четырехугольный широкий парус был едва надут ветром. Владивосток, слегка задымленный ночью, усталый после тревог, газетных телеграмм, всей страшной мути последних

месяцев, спал. Патрули японской морской пехоты проходили по городу, проверяя документы у редких прохожих.

Утренние облака еще низко, не открывая неба, лежали над заливом. Лиров шел между двух японских солдат, от шляпы его, как всегда, когда был он готов к непогоде, спускался черный шнурочек, утренняя сырость прохватывала его насквозь. Далеко, по ту сторону залива, все голубее и очевиднее проступали сопки. Ни Ваня, ставший в одну ночь майором, ни консул Ивакура не знали, что там накапливается грозная сила, которая сбросит очень скоро их в море. Они не знали примеров истории, которую преподавал ученикам он, учитель Лиров, примеров

великого героизма народа, никогда не терпевшего чужеземного ига.

Скоро его привели в дом на левой стороне Светланки, где помещалось управление японской разведки.

— Японское командование очень ценит интеригенцию, господин Риров, — сказал Ваня. — От ваших показаний зависит много успеха вашей судьбы.

Лиров сидел на скамейке и смотрел мимо знакомого лица прачки, через стены дома, по ту сторону залива, откуда пришел Крымов...

— Наши партизаны расстреляют тебя, Ваня, — сказал он почти задушевно, разглядывая этого спутника всей своей учительской жизни. — Жалко только, что я не смогу сделать это сам.

Ноябрь, 1937
Москва

Тезка

РАССКАЗ

АЛЕКСАНДР СМОЛЯН

★

Старенький заводской гудок пошипел немного, повздыхали, наконец, загудел протяжно и решительно. Медведь прислушался, слегка наклонив набок голову, и обрадованно заревел в ответ: он и сам уже чувствовал, что пора обедать.

По наклонной насыпи он легко вкатил на домну громадную, специально для него сколоченную тачку с шихтой. Здесь поджидал его Михаил Андреевич — седой, всегда хмурый мастер. Он помог медведю вывалить шихту в воронку засыпного аппарата и снял со страшных мохнатых лап наручники, к которым была прикована тачка. Освобожденный медведь сразу же опустился на четвереньки, в три прыжка сбежал с насыпи и, смешно переваливаясь, понесся к столовой.

Под навесом, рядом с умывальниками, уже стояло корыто жирных, вкусно пахнувших помоев. Повариха Фрося ничего не жалела для своего любимца: среди обильных, собранных со всех тарелок, остатков вчерашнего обеда плавали куски хлеба, овощей и обрезки мяса.

Полуденное солнце не давало теней. Ветра не было. Но даже знойный июльский полдень казался прохладным после работы на домне. Рабочие не спешили в столовую. Они открыли краны умывальников и стояли под навесом, слушая журчанье воды. Ждали, пока вода пойдет похолодней.

Подождал бригадир каталей Ваня Демиин. Он крикнул:

— Что, товарищ Топтыгин, припекает?

Он жаждал пальцем кран, струя ударила в сторону, облила медведя. Потом он растрепал медведю мокрую шерсть и спросил:

— На Усу пойдем после смены? Искупаемся?

Не отрывая морды от помоев, медведь для приличия заворчал и заслонил собою корыто.

— Ешь, ешь. Не отниму, — сказал Ваня, направляясь к столовой.

★

Уже много лет жил медведь в поселке Старая Уса. В восемнадцатом году, когда захватили Урал бело-чехи, староусинцы ушли в лес. Командиром выбрали Михаила Андреевича Крутых. Был он страстным охотником, дремучие уральские леса знал не хуже, чем литейный двор родного завода. Партизаныли месяцев семь, спустили под откос дутровский бронепоезд, заманили в лес и уничтожили карательную сотню. Как-то Михаил Андреевич выследил медведицу с выводком. Все семейство отправили в отрядную кухню, только одного медвежонка пожалели, выкормили. Так и прижился он в отряде, бегал за командиром, как собачонка.

К концу года пробились староусинцы в горы, влились в большой партизанский отряд сормовского слесаря Василия Блюхера. Прогнали с Урала бело-

чехов и пошли в Сибирь: с Колчаком драться.

Но Михаил Андреевич в Сибирь не пошел. Красной армии нужен был металл, нужно было восстановить оставленные, разрушенные заводы. С тремя товарищами вернулся мастер в Старую Усу. И медвежонка с собой привели.

Назвали его, конечно, Мишкой: это уж обычное медвежье имя. Но мастер называл его Тезкой, потому что самого его звали Михаилом. Так и привык медведь к этой кличке, на «Тезку» шел, а на «Мишку» нет. Пришлось и всем остальным называть его Тезкой.

Жил он у Михаила Андреевича в сарае. Сызмальства приучил его мастер к работе: сначала приспособил для него маленькую тачку, потом — большую, как у настоящего катая. А когда Тезка подрос, сделали для него в столярной новую тачку, — еще вчетверо бóльшую. Катал Тезка охотно: за каждую привезенную наверх тачку шихты он получал от мастера кусок постного сахара.

Когда под горой Магнитной строили металлургический завод, кто-то рассказал там про медведя-катая. Почти все приняли это за шутку, и сам рассказывавший предупреждал, что на Староусинском заводе он не был, а только слышал про медведя в тресте. Но двое журналистов поехали в Старую Усу, познакомились с Тезкой, покормили его конфетами, пощелкали «лейкой». Михаил Андреевич был горд за своего воспитанника, но по привычке хмурился и говорил:

— Чего люди на медведя удивляются? Не понимаю.

Журналисты уехали. Раза два писали о Тезке в газетках. Писали, собственно, не о нем, а о Магнитогорском заводе, — о нем только для сравнения упоминали, чтоб ярче подчеркнуть разницу между новым гигантом и «кустарными» заводиками, вроде Староусинского.

Медведь работал попрежнему. Он привык к домне. Он не пугался теперь зарева плавки, от которой прежде убегал, ломая свою тачку. Как заправский доменщик, он спокойно переступал через желоба, по которым текли ослепи-

тельно-белые, горячие ручейки металла. Как доменщик, прикрывающийся рукавицей, чтобы не захватывало дыхания, он прикрывал свой нос лапой. Его длинная бурая шерсть была кое-где сильно опалена. На передних лапах, в тех местах, куда надевались наручники тачки, шерсть совсем вытерлась.

★

Фрося дважды подливала в корыто густые, аппетитные помои. Потом Тезка получил почти полведра «чая». Это был тот сладчайший сироп, что остается на самом доньшке стаканов: подавальщицы всех трех смен сливали его в тезкино ведро.

Но, когда рабочие начали выходить из столовой, Тезка уже поджидал их у дверей. Он сидел на задних лапах, свесив левую переднюю вдоль туловища, а правой часто-часто обмахиваясь: так он просил есть. Сколько ни старался Михаил Андреевич отучить его попрошайничать, а не мог. Да и сами рабочие баловали обжору: знали, что он сыт, а всегда выносили ему что-нибудь из столовой.

После обеда Михаил Андреевич снова надел на него наручники, и он покати тачку на шихтовый двор. Ваня Демин до краев наполнил его тачку шихтой.

Он привез ее на домну и стал вываливать. Он смотрел, как в воронку засыпного аппарата сыплется матово-черный бархатистый древесный уголь. Потом посыпался известняк, искристый, похожий на сахар, но невкусный. Тезка еще круче наклонил тачку, и в домну посыпались красновато-бурые, будто покрытые глинистой пылью, куски железной руды.

Михаил Андреевич выбрал лопатой руду, застрявшую в углах тачки, и сказал:

— Вот, Тезка, какие дела. Последний день сегодня каталем работаешь.

★

На следующее утро, придя вслед за хозяином в цех, Тезка увидел, что дом-

на не работает. Ее остановили на капитальный ремонт.

Ее ремонтировали каждые три-четыре года. Привозили новый огнеупорный кирпич, старую, прогоревшую кладку ломали и перекладывали домну заново. Обычно это продолжалось около месяца.

Тезка в это время бездельничал. Спал до полудня, а потом бродил по поселку, по берегу Усы, пугал уток, разгребал муравейники. Он знал, что, когда домна не работает, в столовой не кормят. Поэтому питался дома. Жена Михаила Андреевича собирала для Тезки помои и об'едки у всех соседок. Впрочем, случалось ему подкармливаться и на огородах. Изредка уходил в лес, пропадал несколько дней и всегда возвращался бегом, с вз'ерошенной шерстью и испуганными глазами.

Так проводил он время и в этот раз. Только спал еще дольше обычного, потому, что допоздна засиживался на площадке возле пивной. Недавно там установили радио, и Тезка до тех пор не уходил от дверей, пока не прекращалась музыка.

Когда домну пустили, он прибежал в цех, нашел Михаила Андреевича и около часа ходил за ним по пятам. Мастер поворачивался, бормотал что-то, но, видимо, не собирался запрягать его в тачку. Тогда Тезка сам пошел к домне.

Она казалась теперь совсем новой. После ремонта ее покрыли черной блестящей краской. Пока домну перекладывали, земляная насыпь была скрыта, вместо нее установили наклонный мост с под'емной лебедкой. Так что это был не ремонт, а настоящая реконструкция. Через определенные промежутки времени на домну катились по мосту наполненные шихтой тележки. Они были еще больше, чем тезкина тачка, и двигались сами. Каталей не было.

Тезка осторожно приблизился и сел возле моста. К обеденному перерыву его короткая, мощная шея заняла: часа три подряд он непрерывно вертел мордой из стороны в сторону, не сводя глаз с бегающих вверх и вниз тележек.

Раздался знакомый гудок, и Тезка побежал к столовой. Корыта не было на

месте. Он порыскал вокруг и отыскал его за умывальниками. Оно было пустым и грязным. Тезка подошел к кухне и стал царапать дверь.

Вышла Фрося, кинула ему корку хлеба и вернулась в кухню. Тезка поймал корку на-лету, проглотил и стал ждать. Не дождавшись, начал скулить. Фрося вышла, но в руке у нее вместо ведра с помоями снова был лишь кусочек хлеба. Тогда Тезка громко заревел, обиженно и в то же время угрожающе.

Никто в поселке никогда не слышал такого рева. Фрося испуганно прижалась к стене. Несколько рабочих выбежало из столовой. Ваня Демин, выбежавший первым, закричал:

— Ты что, Фроська, — сдурела? Ты зачем Тезку дразнишь?

— Подождал бы кричать. Мне самой плакать хочется, на него глядя. Директор сказал, чтоб ни корочки Тезке не давать. Все чтоб собирать для свинофермы.

Михаил Андреевич, подошедший вслед за Ваней, молча повернулся и направился к конторе. Рабочие пошли за ним. Сзади побрел Тезка.

Директор встретился им по дороге. Это был коренастый инженер, недавно назначенный в Старую Усу.

— Мы насчет медведя, товарищ директор, — сказал Михаил Андреевич. — Трудно мне его прокормить. Жена за время ремонта извелась: на него не напасешься. Да и не станет он дома кормиться, когда домна работает. Ему ведь не докажешь. Не докажешь ведь?

Директор не ответил.

— Мы насчет того, чтоб не снимать медведя с довольствия, — продолжал Михаил Андреевич. — Все-таки столько годов он у нас проработал. В моей смене на четырех каталей было меньше, чем в других. Четырех каталей заменял.

Директор все еще молчал. Он чувствовал, что мастер глубоко оскорблен, хоть и старается говорить спокойно. Он думал о том, как глупо можно подорвать свой авторитет одним непродуманным распоряжением. Рабочие уже любили нового директора, сумевшего до-

биться средств на реконструкцию завода. И вдруг эта история с медведем... Но отменять распоряжение не хотелось.

— Может, его пристрелить? — спросил кто-то из рабочих.

Директор поднял голову. Спросивший не улыбался, но по лицам других директор понял, что это насмешка: никто не принял вопроса всерьез.

— Или, может, его куда-нибудь в цирк продать? — предложил тот же рабочий.

На этот раз директор не понял, предложение показалось ему дельным. Кроме того, он с трудом сдерживал раздражение. «Если и это насмешка, — подумал он, — тем хуже». Он сказал, обращаясь к одному Михаилу Андреевичу:

— Пожалуй, так и сделаем. В цирк или в какой-нибудь зверинец. Я вам помогу это устроить. Вам за него...

Он остановился, увидев, что мастер покраснев от обиды, сел на землю возле медведя и сказал:

— Будь по-вашему. Только тогда уж и меня отпустите. В клоуны с ним пойду, что ли.

Директор улыбнулся. Он обладал счастливой способностью улыбаться в самые напряженные минуты, когда надо было собрать всю волю и принять неприятное решение. Но улыбнулся он так весело, что всем показалось, будто решение уже принято. На самом деле он в это время думал: «Лучше бы мне встретиться один-на-один с настоящим диким медведем... А у этого Мишки довольно забавный вид. Он смотрит так, будто понимает, что речь идет о нем. Во всяком случае, его положение сейчас намного лучше моего...».

— Вот что, товарищ Крутых, — сказал директор. — Я вас еще не отпустил, а порядки в вашей смене неважные. Перерыв кончается, а люди у вас не пообедали, митингуют.

Михаил Андреевич быстро поднялся с земли, доменщики растерянно переглядывались. «Моя взяла, — радостно подумал директор. — Надо закрепить победу миром». Он сказал:

— Идите, товарищи, в столовую. А

насчет Тезки мы с товарищем Крутых сговоримся.

Он впервые назвал медведя по имени, и все заметили это. Всем сразу стало легче и спокойнее. И сам директор с облегчением подумал, что сможет теперь отменить распоряжение без всякого ущерба для себя. Когда рабочие ушли, Михаил Андреевич сказал:

— Я не прошу, чтоб задаром. Его можно к складу приспособить. Сторожем, например.

— Какой же с него сторож? Он у вас совсем ручной.

— Это верно, товарищ директор, что ручной. А может, его в ясли возьмут? Он моего Василия вынянчил. И люльку качал, и постращать им можно, когда надо.

— Не выйдет, товарищ Крутых. Вы, видно, в ясли и не заходили ни разу. Люлек там нет. Кроватки. А качать вообще запрещено. И стращать тоже не полагается.

— Так. Ни покачать, значит, ни постращать. Как же тогда будет насчет Тезки?

— А вот так: будет он у нас просто староусинским зоопарком. Пусть гуляет. Школьники над ним шефство возьмут. У них там, наверно, есть какой-нибудь «уголок живой природы». Или кружок юных натуралистов.

Они уже шли к столовой. Подойдя, директор вызвал Фросю и сказал ей что-то. Затем снова обратился к Михаилу Андреевичу:

— Вы, я слышал, на Магнитке бывали?

— Как же, был. На пуск ездил.

— Ну как, мост наш много хуже магнитогорского?

— Не хуже. Разов в несколько меньше, конечно. Но не хуже. А под'емка даже лучше. Там американская, а у нас — своя. С Уралмаша.

Фрося вынесла ведро с помоями, и проголодавшийся Тезка жадно набросился на еду. Михаил Андреевич пошел на домну. А директор направился к конторе, весело напевая:

Наша Маша с Уралмаша,

Наша Маша с Уралмаша...

Он был рад, что пуск домны ничем не омрачен.

Тезка поел и вернулся на то же место, где сидел утром. Он пробыл здесь до конца смены, не сводя глаз с бегающих по наклонному мосту тележек.

★

Через четыре дня несколько старых доменщиков собрались в пивной. Они всегда собирались здесь по вечерам, накануне выходных.

Как всегда, они заняли крайний столик в углу возле буфета, подалее от радио и от дверей. Говорили о политике, больше всего про войну в Испании. Потом сменный инженер Ермаков спросил:

— Что это Михаил Андреевич давно сюда не заходил? Или на старости лет пить бросил?

— Бросил, — ответил Бузина, старший горновой. — Полгода уже не пьет. С самой зимы.

Он взял полную щепоть соли и бросил ее в свою кружку. Пиво запенилось. Выпив, Бузина продолжал:

— Под новый год он со своей старухой у нас был. Ночью пошли мы с ним пьяные прогуляться. Литра два с собой захватили. И — чего спьяну не придумаешь — решили Тезку напоить. Напили. Он тогда сарай свой разнес, у Трофимовых ставню оборвал, яблоню сломал. Мы ему, конечно, помогли. С тех пор Михаил Андреевич хмельного в рот не берет.

Потом поговорили о новом директоре. Сравнивали с прежним. Ермаков сказал:

— Тот по случаю реконструкции давно бы уже банкет закатил. А этот денег на ветер не бросает. Хотя, видно, парень веселый.

В пивной было уже полно. Слышен был громкий смех, звон кружек. За соседним столиком кто-то, очевидно, проигравши спор, кричал петухом. Там сидели молодые доменщики. Среди них был Ваня Демин.

— Здравствуй, Ваня! — крикнул ему Ермаков. — Ну, как, справляешься?

— Справляется, — ответил за своего подручного Бузина. — Парень смелый, хорошим горновым будет.

Ваня сконфуженно пробормотал что-то. Бузина перегнулся через столик и закричал:

— Смотри, Ваня, старайся. Это тебе не тачку катать. Я пять лет каталем работал. Да еще три дня на последние деньги мастера поил, чтобы в горновые перевел. А ты года не проработал и — уже! Смотри мне, медвежий бригадир. Ты которого Демина сын? Почтальона?

— Нет, то мой дядя. Отец на мартене работает.

— Стало быть, Дементия, — сказал Бузина. — Значит: за нового горнового, Изана Дементьевича Демина!

Все стукнули кружками о столик и начали пить. В это время на пороге появился Михаил Андреевич. Вечер был теплый, и дверь на площадь была открыта настежь. Сквозь сизый табачный дым, густо клубившийся над столиками, Бузина заметил мастера и, оставив кружку, поднялся ему навстречу.

Михаил Андреевич отыскал глазами друзей и стал пробираться к ним. Тогда его увидели все. Увидели, что он без фуражки, что его седые волосы растрепаны, что пиджак порван.

Ермаков пододвинул ему стул, Бузина налил пива. Михаил Андреевич выпил залпом и сказал:

— Тезка ушел.

Боясь, что его не поймут, он повторил:

— Ушел от нас Тезка.

Все оставили свои места и обступили угловой столик. Михаил Андреевич тихо продолжал:

— Затосковал он с тех пор, как дому пустили. Дому пустили, а он без дела остался. Четыре дня под наклонным мостом сидел.

— Как насчет кормежки было? — спросил Ермаков.

— Не в ней дело. Кормежку восстановили. Фрося Тезке больше прежнего отваливала. Только не мог он себя понять без работы. Я его возле самого леса догнал. Прошу, уговарываю, а он все дальше идет. Я лег перед ним, он обхо-

дит. Я опять вперед забежал, опять лег. Он через меня переступает. Тогда я его за заднюю лапу схватил. Тезка как заворчит. Ну, — думаю, — сейчас убьет...

— Ну? —

— Ушел. Я лапу не отпускал, так он меня метров пять по земле волок.

— Может, еще вернется, — сказал Ермаков. — Ведь не первый раз он уходит.

— Нет, теперь не вернется. Уж я знаю. Не мог он себя понять без работы, — повторил Михаил Андреевич.

Бузина пододвинул друзьям оставленные кружки и сказал:

— Ну, что ж, Михаил Андреевич... Может, просто время ему пришло уходить от нас... Проживет и в лесу... Выпьем, что ли, за Тезку.

Все снова стукнули кружками о столик и допили пиво.

★

Лишние люди

РАССКАЗ

Со стройки на станцию я приехал с последним автобусом в 11 часов вечера. А поезд отходил только в 4 часа утра. Всю длинную, томительную ночь пришлось просидеть в грязном, нетопленном станционном зале. В нем было так холодно, что нанесенный пассажирами снег не таял, лежал у дверей сероватым, притоптанным слоем.

Кроме меня, поезда дожидались человек пять-шесть. Одни спали на скамьях, другие — на своих вещах. Усталая женщина все время ходила по залу, успокаивая хныкавшего у нее на руках ребенка.

Только к открытию кассы появилась еще одна пассажирка — Зоя Косарская. Она прибежала на лыжах, поставила их возле меня и пошла за билетом. О Зое я знал только то, что она работала переводчицей в управлении новостройки. Она работала с руководителем американской технической консультации — мистером Эрном. Я часто встречал ее с ним в управлении, в цехах и на участках.

Возвращаясь от кассы, Зоя спросила:

— Долго еще ожидать?

— Около часа.

— Ого! Быстро я, значит, добежала. Это — со страху. Ночь, темно, ветер воет... Очень страшно было бежать. Вы — в Москву?

— Да.

— Если встретите в наркомате Эрна, передайте привет.

— Хорошо. Кстати, Зоя, я давно хотел спросить у вас: что это там произошло между Эрном и Дайсоном? Что это за история с ночной дракой? Толком никто ничего не знает. Это — не секрет?

— Нисколько. Дайсон — ерунда. Эрн выбил ему два зуба. Жаль, что не тридцать два. Дело тут вовсе не в драке. Эта история значительно интереснее, чем вы предполагаете. Буфет закрыт?

— Как видите.

— Придется позавтракать всухомятку. Я дома не успела поесть, боялась опоздать.

Зоя сняла с плеч рюкзак, расстегнула его и, расстелив на пустующей буфетной стойке салфетку, выложила на нее яйца, хлеб и ветчину.

— Ешьте, пожалуйста. У меня весь рюкзак снедью наполнен. Володька уж постарался.

Я догадался, что Володькой звали ее мужа.

— История эта, — продолжала Зоя, — произошла с месяц тому назад. Как-раз в самое горячее, пусковое время. Дело было ночью, часа в два. Я уже спала, а Володька сидел, занимался. Вдруг он будит меня, говорит,

что Эрн просит подойти к телефону. Я встаю, подхожу. Вообще, такие ночные вызовы у нас — обычное явление. Иногда в управлении созывается экстренное совещание, иногда на каком-нибудь участке срочно требуется консультация. Эрн никогда не отказывался, никогда ни занятостью не отговаривался, ни усталостью. Этого же требовал и от меня. А тут вдруг начинает с извинений:

— Простите меня, Зоя Алексеевна, вы уже спали?

— Ничего, мистер Эрн, не беспокойтесь. Через пять минут я буду готова. Куда ехать?

— Ко мне. Только я должен предупредить вас: это ни в какой мере не связано с вашими служебными обязанностями.

Тут уж я была немного озадачена. Не знаю, как поступили бы на моем месте другие. Являться среди ночи на квартиру к одинокому иностранному специалисту по какому-то делу, «не связанному со служебными обязанностями», это, согласитесь, не совсем обычно.

— Может быть, — спрашиваю, — это можно, в таком случае, отложить до утра?

— К сожалению, нет. Утром было бы уже поздно. Я хочу попросить вас, Зоя Алексеевна, об одной дружеской услуге чисто личного характера. Могу я надеяться на вашу помощь? Это очень важно для меня.

— Хорошо, — говорю, — сейчас приеду.

Видите ли, я работала с Эрном почти два года. Была у него не только переводчицей, но, фактически, личным секретарем, иногда — даже помощницей. Более сдержанного человека я не знаю. Я не сомневалась, что он не замышляет ничего дурного.

Одеваясь, я все-таки посоветовалась с Володькой. Очень уж странным казался этот вызов. Вернее — оговорки Эрнана. Мы решили, что, на всякий случай, Володька поедет со мной и покараулит немного возле эрновского коттеджа. Впрочем, я была почти уверена, что его вмешательство не потребуется. Оказалось, что я ошиблась. Если б он не

поехал, все могло бы закончиться гораздо печальнее.

★

Зоя умолкла, сосредоточенно собирая с салфетки яичную скорлупу и крошки хлеба. В зале было полутемно: в электрической лампочке мерцал красновато-желтый, почти не дававший света, червячок. Время от времени за узким, похожим на бойницу окошком кассы оглушительно щелкал аппарат, штампующий билеты. Женщина с ребенком на руках стояла перед плакатом, изображавшим красивого синеглазого краснофлотца.

— Может, выйдем на перрон? — предложила Зоя.

Мы вышли. На дворе попрежнему гулял ветер, наметая сугробы на железнодорожное полотно.

— Вчера поезд опоздал из-за заносов, — сказала Зоя, — кажется, часа на полтора.

Мы спрятались от ветра за здание станции. Отсюда были видны далекие огни стройки. Зоя сказала:

— Нет, я не с того начала. Так вам многое будет непонятно. Вы хорошо знаете Эрнана?

— Только по работе. Он произвел на меня очень хорошее впечатление.

— Да, он очень хороший. Вы знаете, что он считается одним из крупнейших современных металлургов? А ведь ему не больше сорока. Я сама мало знаю о нем, да и то — не от него. Он очень редко говорит о себе. Знаю только, что в начале войны, будучи уже известным инженером, он добровольно отправился на фронт. Наглотался газов, вернулся в Америку убежденным пацифистом, демонстративно рассказывал, будто бы дезертировал с фронта. На это смотрели сквозь пальцы: Эрн-инженер был для войны нужнее, чем Эрн-солдат.

Он работал в «Генри Драйд Компани». В качестве представителя этой фирмы он объездил весь мир, строил домны в Китае, в Испании, даже где-то в Африке.

Работу инженера он сумел совместить с работой ученого. Его книга

«Режим плавки» принесла ему известность и целый ворох ученых степеней. Как вы знаете, он никогда ими не пользуется.

Почти все современные домны оборудованы засыпным аппаратом конструкции Эрна. Тем самым, который вы знаете под названием «аппарат Драйда»: Эрн передал фирме свои авторские права, а взамен получил пост вице-президента «Генри Драйд Компани».

Когда наркомат заключал с фирмой договор о технической консультации, одним из наших условий было личное участие Эрна в строительстве. Как он работал у нас, вы сами видели.

Первую домну закончили досрочно. Какой героической работы это потребовало, скольких бессонных ночей... И вдруг американцы предлагают отложить пуск до весны. Об этом телеграфирует старый Драйд. Эрн тоже считает зимний пуск «опаснейшим, сумасшедшим экспериментом». Все это обсуждается в Москве, и оттуда приходит решение: «немедленно приступить к выплавке чугуна».

Помните, в один из первых пусковых дней вы встретили нас с Эрном на литейном дворе? В то время Дайсон и другие консультанты с нескрываемым злорадством отмечали каждую неполадку, непрерывно напоминая: «Мы ведь предупреждали». Фактически они саботировали пуск. Только Эрн с головой ушел в работу, не отставал ни в чем от наших доменщиков. Он по-прежнему считал зимний пуск невозможным, но всеми силами старался «спасти домну».

Когда вы видели нас, Эрн негодовал, что возле домны столпилось столько людей, не имевших никакого отношения к цеху. Он подошел к одному из них и попросил меня узнать, «кто он такой и что ему нужно». Тот оказался ударником одного ленинградского завода, изготовлявшего для нас электрооборудование. В награду за ударную работу он получил командировку на пуск.

Тогда Эрн направился к Марусе Штейнман — стенографистке из управ-

ления. Он часто видел ее на совещаниях и был уверен, что здесь ей нечего делать. Но я успела объяснить ему, что Маруся была нашим бригадиром. Во время кладки домны нехватало рабочих для подноски огнеупора. Вот Маруся и организовала из сотрудников управления бригаду подносчиц.

— Наша, — говорю, — бригада занесена на красную доску.

Эрн спрашивает:

— Почему вы говорите: «наша бригада»?

— Потому что я в ней тоже работала. Днем работала с вами, а ночью — с Марусей.

Эрн разводит руками, смеется и говорит:

— В Китае я реже удивлялся, чем у вас. Здесь можно прожить много лет и все еще наталкиваться на самые неожиданные вещи.

Все-таки он заставил меня подойти еще к одному из приехавших на пуск. Это был старик, похожий на колхозника.

— Фамилия моя Крутых, — отвечает старик. — Крутых, Михаил Андреевич.

— Откуда вы?

— Со Староусинского завода. Мастером там работаю. Не знаете такого завода? Нас никто не знает, мы и в сводках не значимся. В сводках значится «малая металлургия». Знаете? Вот мы и есть эта самая «малая металлургия». На Урале таких заводов, как наш, десятка полтора будет. А может, и больше.

— А что вы делаете здесь? Кто вас сюда прислал?

— Никто меня не прислал. Сам приехал. Отпуск у меня сейчас, я для этой пуски от Ялты отказался.

В это время на литейный двор поднялся Самаров. Эрн — к нему:

— Иван Трофимович, поймите, что легче одному выполнить работу десятых, чем десятерым выполнить работу одного. В цехе не должно быть ни одного лишнего человека. Вы начальник цеха или директор Голливуда? Зачем здесь кинооператор?

— Затем, чтобы вся страна могла увидеть пуск первой домны. Это для нас — большая победа.

— Победы еще нет. Пока-что идет бой, и поражение намного вероятнее. Говорить в таких условиях о победе, это — легкомыслие.

— Нет, это — уверенность. Кинооператора я здесь оставляю. А вообще, вы совершенно правы, я сам не люблю толкотни. Мне представили заявку на 200 пропусков, а я выдал 17. Обещаю вам еще раз пересмотреть список. Всех лишних людей мы отсюда попросим.

Самаров примирительно похлопал меня по плечу (мне всегда доставались самые убедительные жесты, адресованные Эрну) и сказал:

— На воздуходувке что-то не ладится. Ребята спорят насчет температуры дутья. Я хотел бы, чтоб вы в этом разобрались.

Эрн хотел пойти на воздуходвную станцию, но навстречу нам поднялся Дайсон. В руках у него был спешный пакет от Генри Драйда.

Драйд требовал от Эрна, чтобы он немедленно прекратил всякое участие в пусковых работах. Договор с фирмой не предусматривал зимнего пуска. На этом основании Драйд категорически предлагал «не давать никакой консультации, чтобы не нести ответственности за неминуемые последствия этой гибельной, технически необоснованной затеи». Впрочем он сообщал, что, если управление окончательно откажется отложить пуск, фирма согласна заключить отдельный договор на консультацию пусковых работ. Он требовал за это совершенно баснословную сумму. Кроме того, оговаривал, что «и в этом случае фирма не сможет принять на себя ответственность за результаты».

Эрн тут же сообщил Самарову содержание письма.

— Ну что ж, — отвечает Самаров, — поговорите с начальником строительства. Только я думаю, что придется нам теперь самим справляться.

Эрн и сам прекрасно понимал, что мы не пойдем на условия, предложенные фирмой. А Самаров продолжает:

— Конечно, у нас одни интересы, у вас — другие. Если у нас не будет металла, война...

— Иван Трофимович, вы знаете мое отношение к политике. В молодости я пытался ввязаться в нее и заплатил за это половиной левого легкого. С тех пор разговоры о войне меня не интересуют.

— Очевидно, вы предпочитаете военные действия. Если бы мы последовали вашим советам и не торопились обеспечить страну металлом, то, как говорят в Женеве, «некая дальневосточная островная держава» поторопилась бы напасть на нас. Очевидно, вы хотите этого.

— Кто это «мы»?

— Генри Драйд, Рэдиард Эрн...

Эрн сдержанно попрощался, спустился с литейного двора и уехал к себе.

Вы знаете, как трудно было пускать домну. Обнаружились сотни недоделок. во время испытаний аварии следовали одна за другой. Володька тогда 10 суток не возвращался домой. Как-то я зашла в цех и сразу же ушла, чтобы не разреветься: на доменщиков было страшно смотреть!

Но настроение у них было куда лучше, чем у Эрна. Они работали, работали с каким-то железным, непобедимым упорством, а он вынужден был в эти дни отсиживаться в своем коттедже, в трех километрах от строительства. Остальные консультанты, обрадованные неожиданным отдыхом, пили, играли в карты и танцевали друг с другом, одновременно заводя два патефона с одинаковыми пластинками. Эрна не привлекали эти развлечения, а бездельничать он не умел.

В эти дни он очень много и очень мучительно думал. Он считал домну своим детищем, и, действительно, он вложил в нее много сил и знаний. Бросить свое детище в решающие, в самые тяжелые минуты, когда по чьей-нибудь неопытности весь цех может взлететь на воздух... Почему он должен сидеть в такое время, сложа руки? По прихоти выжившего из ума Драйда?

С другой стороны... Эрну принадлежал самый объемистый, после драйдовского, пакет акций. Если бы мы сдрейфили и согласились на условия фирмы, Эрн хорошо заработал бы. Это занимало не последнее место среди его соображений, он сам говорил мне об этом. Кроме того, он, как инженер, считал, что пуск домны в зимних условиях невозможен. В этом он был целиком согласен с Драйдом.

Но, может быть, прав Самаров? Нельзя же бесконечно смотреть в окно, когда в трех километрах решается вопрос о результатах двухлетней напряженнейшей работы. За эти два года сделано больше, чем за всю остальную жизнь. Нигде, ни с кем не удавалось работать так продуктивно, как в этой стране, с ее молодыми инженерами. Построена домна, равной которой нет в мире. Ее сейчас пускают, хочет он этого или не хочет. Неужели же оставаться у этого окна, за которым нет ничего, кроме снега, или по целым дням ругаться с полупьяным Дайсоном?!

В один из этих дней Эрн попросил меня получить у Самарова гостевой пропуск. Самаров с радостью выдал. Эрн ходил по цеху с таким видом, будто вернулся на родину после длительного изгнания. Но скоро его настроение омрачилось: он впервые был здесь посторонним и эта роль была ему тяжела. Все кругом работало, гостей уже не было: одни уехали, не дождавшись пуска, другие нашли себе место среди доменщиков, вошли в жизнь цеха. Положение Эрна стало совсем невыносимым, когда кто-то из рабочих, не зная о происшедшем, обратился к нему за советом. Эрн попросил меня объяснить с рабочим, а потом подождать его в машине, чтобы никто больше не мог к нему обратиться. Это не помогло. Едва я отошла, как на ломаном английском языке с ним стал советовать о чем-то Семен Тараш. Это молодой инженер, занимавшийся у меня в кружке. Эрн попросил у него прощения, разорвал пропуск и пошел к машине.

С тех пор он дней пять не выходил из дому. И вдруг — этот ночной вызов, о котором я вам рассказывала в

самом начале. Мы с Володькой оделись, надели лыжи и поехали. Через полчаса мы были уже в «американском поселке». Вы там не бывали? Это — несколько коттеджей, построенных в березовой рощице за горой Узьянкой. В одном из них жили Эрн и Дайсон, в других — остальные иностранные специалисты и кое-кто из наших инженеров.

Поселок спит, ветер шумит в березках, темно. Только у Эрна в окне свет. Володька остается на дворе, я захожу.

Дверь в комнату Эрна полуоткрыта, там кто-то говорит. Я невольно останавливаюсь в передней и слышу голос Дайсона:

— Мне наплевать на то, что вы вице-президент. Директивы Драйда известны мне не хуже, чем вам. Тот, кто хочет предать интересы компании, для меня — не начальник. До утра я не выпущу вас отсюда.

— Вы опять перепились, Дайсон. Спрячьте свой револьвер.

Я, наконец, решаю постучать, но никто не отвечает мне, так как в ту же секунду раздается выстрел. Вбегаю и вижу, что оба американца, злобно выпившись друг в друга, катаются по полу.

Я бросаюсь к ним и, улучив момент, пытаюсь разнять руки Дайсона. Но он с такой силой ударяет меня ногой в живот, что я отлетаю в другой конец комнаты и не могу подняться. Лежу и реву там от боли и злобы.

В это время на звук выстрела вбегает Володька. Ему сразу удается разнять их. Дайсон начинает разыгрывать из себя мертвецки пьяного, изредка бормочет что-то и сплевывает кровь.

Пока Володька поднимает меня, Эрн перевязывает себе оцарапанный пулей палец, поднимает из-под стола револьвер Дайсона и прячет его в карман. Затем он благодарит Володьку и говорит, что дело, по которому он вызвал меня, очень важное и срочное. Поэтому он просит нас немедленно ехать вместе с ним.

Я сажусь за руль, так как раненый палец мешает Эрну управлять машиной. По дороге я рассказываю ему, что дом-

на, наконец, пущена, но положение в цехе очень опасное: доменщики не могут выпустить из печи плавку. Лётку пробили, даже прожигали ее кислородом, а чугуна не течет. Очевидно, чугуна возле лётки затвердел, образовалась настывь. Если в ближайшие часы ничего не удастся сделать, застынет вся плавка, домна погибнет...

— Я знаю все это, — говорит Эрн, — вечером Дайсон заезжал в цех.

Я сворачиваю к домне, но Эрн просит ехать на жилищный участок, к квартире Самарова. Володька остается в машине, а мы заходим в дом.

Самарова, конечно, нет. Мы будим его жену, она пропускает нас в кабинет и уходит. Эрн решительно отказывается ехать в цех, мне приходится вызвать Самарова домой.

Он приезжает очень скоро и еще из передней кричит:

— Хэлло, мистер Эрн!

— Добрая ночь, Иван Трофимович, добрая ночь!

Когда они хотели проявить особое внимание друг другу, каждый из них говорил на том языке, которого не знал: Самаров — на английском, а Эрн — на русском. Мне, все равно, приходилось переводить, но это была особенно трудная работа, так как я сама не все понимала в таких случаях.

— Иван Трофимович, — говорит Эрн, — мы заехали к вам с совершенно частным визитом. Забудьте, что вы начальник цеха, что Зоя Алексеевна — сотрудница управления, что я — представитель фирмы. Сейчас мы — друзья, только друзья и — ничего больше. Люди, объединенные только личными дружескими интересами.

— Очень рад, — отвечает Самаров, — очень рад, дорогие гости!

Ни тот, ни другой не улыбаются, хотя время для «совершенно частного визита» несколько необычное: третий час ночи. Эрн сразу же приступает к делу. Он говорит, какую шихту надо подавать сейчас в домну, как регулировать температуру дутья, как по анализам доменного газа установить степень остывания плавки... Наверно, я что-нибудь

путаю, я в этом до сих пор ничего не смыслю. Важно, что он сообщает верный способ ликвидации настыви, способ, открытый им самим.

Самаров внимательно слушает, переспрашивает, записывает. Потом встает и говорит:

— Большое спасибо, мистер Эрн! Я очень тронут. Я рад, что вы это сделали. Хотя на этот раз нам это уже не понадобится.

Эрн удивленно смотрит на Самарова, а тот спокойно продолжает:

— Все уже сделано. То-есть, не совсем по вашему способу, но — очень похоже. Чугун пошел. К нам тут один старичок приехал на пуск. Не в командировку, а просто так. Вроде, как вы сейчас — ко мне, частным образом. Вот он нам и поконсультировал. Он мастером на Староусинском заводе работает. У них там домна допотопная, с ней всякое случается. Они там против всякой аварии способ знают. И — что интересно: старик этот на собственный счет сюда приехал, отпуск свой использовал. Хотел на пуск поглядеть да в Челябинск, к дочке, съездить. А мы с пуском-то задержались маленько. Так он к дочке не поехал, весь отпуск у нас пробыл. Просто захотелось человеку поглядеть. Хорошо, а?

— Да, да, — отвечает Эрн. — Я знаю этого мастера, мы с ним знакомы немного.

И весело подмигивает мне. Затем мы выходим, будим Володьку, заснувшего в автомобиле, и едем к разливочной машине. Чугун уже доставлен с домны сюда.

Электрокран наклоняет над изложницами гигантский вагон-ковш, и оттуда льется мощный, ослепительно белый знойный поток металла.

Чугун! Эрн так крепко обнимает Самарова, что сквозь повязку на раненом пальце проступает кровь. Мы с Володькой целуемся за машиной.

— А где остановился этот мастер? — спрашивает Эрн. — Я хочу познакомиться с ним поближе.

Самаров смотрит на часы. На них примерно столько же, сколько сейчас: около четырех.

— Не успеете, — говорит он. — Старичок наш давно на станции, через несколько минут уедет. У него завтра отпуск кончается, так он уж заторопился. И к дочке не съездил, и чугуна не смог дождаться.

★

— Кажется, поезд подходит, — прервала себя Зоя, прислушиваясь.

Сквозь вой ветра донесся протяжный паровозный гудок. Пассажиры стали поспешно выходить на перрон.

Через несколько минут мы с Зоей сидели в светлом купе уходящего на запад поезда.

— Вы — до Свердловска? — спросил я.

— Нет. Я только до станции Новая Уса. А оттуда — двенадцать километ-

ров на лыжах до Староусинского завода. Я в командировку еду, курьером.

Зоя вынула из рюкзака и двумя руками передала мне большой металлический барельеф. Я прочел:

«Отлито из первого чугуна гиганта социалистической индустрии — металлургического комбината им. тов. Сталина».

На барельефе был изображен доменный цех: высокая домна, шеренга стройных кауперов, переплет воздухопроводных и газоотводных магистралей, конструкции наклонного моста... Для этой индустриальной картины трудно было бы найти лучший материал, чем чугун.

На обороте барельефа было выгравировано:

«Мастеру Староусинского завода Михаилу Андреевичу Крутых — от ударников комбината».

Знаменитый Павлюк

РАССКАЗ

ПАВЕЛ НИЛИН

★

У всех людей бывают какие-нибудь родственники, ну, хотя бы дальние. А у Павлюка никого не было. Жил один он в каменном подвале на Маложайке. Я учился у него.

Учиться мне, откровенно говоря, не хотелось. Дело это — жестяночное — мне никогда не нравилось. Но надо человеку учиться чему-нибудь. И я учился.

Мне было восемь лет.

В подвале было темно и душно. Походил этот подвал на пещеру, вроде той, что открыли случайно на каменоломнях у Белого ключа. Но в пещере не было ни окон, ни дверей, ни чистых головиков, сплетенных из разноцветных тряпок. А здесь, в подвале, все это было. И на стенах, всегда потных, висели большие картины Страшного суда.

Запомнилась мне особенно одна, на которой томился грешник, совершенно голый, худой и взлохмаченный, с глазами черными и печальными. Он сидел на широкой сковороде, укрепленной на серых камнях, и малиновые черти, с веревочными хвостами, сосредоточенно раскладывали под ним огонь.

Удивляло меня постоянно хладнокровие грешника. Заметно было, что худо ему. Огонь раскалял сковороду, поднимался даже выше сковороды, хватал грешника за ноги, за спину, за коричневую вяленую кожу, добирался до головы. А он сидел, этот грешник, как ни в чем не бывало, прямой, неподвиж-

ный и как будто сконфуженный немножко. Вот смотрите, мол, добрые люди, как раздели меня донага и жарят заживо, а я ничего поделать не могу...

Удивлял и печалил меня этот грешник невыразимо. Видно было, что сидит он непривязанный. Ни веревок, ни цепей не было вокруг него. Но все-таки убежать он, должно быть, и не пытался. Не пытался даже спрыгнуть со сковороды. И это больше всего удивляло меня. Однако удивления своего я никогда не выказывал.

Павлюк был мрачный, молчаливый человек.

Приходил я к нему обыкновенно утром, в половине седьмого. В это время он, умытый уже, сидел на кухне против самовара, пил чай, и щеки его, впалые, покрытые тончайшей сеткой красных жилок, медленно сгорали в синеватом румянце.

Мне было восемь лет, но я знал все на свете. Я знал, как сеют хлеб и как его зарабатывают, как рождаются дети и что надо делать, чтобы они не родились. Знал я также, почему сгорают щеки у Павлюка.

Впрочем, это знала вся улица наша. У Павлюка была чахотка. И все уверены были, что он скоро умрет.

Доктор Федоров, Аркадий Сергеевич, сказал об этом в разговоре хозяину дома, где жил мой учитель. И хозяин, ласковый, круглый и пушистый старичок, любивший в летнее время ходить по двору в одних кальсонах, стал требо-

вать квартирную плату с жестящика за два месяца вперед, а однажды потребовал даже за три.

— Взойди ты, ради бога, в мое положение, Андрей Петрович, — говорил при этом хозяин. — Клозеты я обязан чистить? Обязан. Мусор мне полиция велит вывозить? Велит. А где же я денег наберусь на такое?

Домохозяин говорил слезливо. Можно было подумать, что ему, действительно, дозарезу нужны деньги. Но никто так не думал. Все знали, почему он выкачивает деньги именно из Павлюка.

А Павлюк как будто и не догадывался.

Высокий, сухой, похожий на птицу без крыльев, он стоял перед хозяином, чуть согнувшись вперед, доверчиво вытянув из плеч небольшую голову свою на длинной, тонкой шее, и, посапывая носом, молчал.

Хозяин говорил раздраженно:

— У меня ведь, кажется, не какой-нибудь странноприютный дом. Желающих на твое помещение, слава богу, сколько угодно. Я хоть сейчас могу его сдать...

И на этот раз хозяин говорил чистую правду.

Желающих в'ехать в подвал было действительно много. Главное, что помещался он у самого базара. Целый день народ шумел и толпился против окон его.

Площадь базарная считалась центром города.

А город наш, хотя и небольшой, но суетливый, деятельный, издавна славился базаром своим, на котором можно продать и купить что угодно, вплоть до птичьего молока. Продавцы и покупатели приезжали на этот базар со всей губернии. И любой мастеровой со смекалкой мог здесь делать большие дела.

В подвал Павлюка с удовольствием в'ехал бы и портной, и сапожник, и жестящик, и даже лавочник.

Правда, раньше, года три назад — на подвал этот, говорят, было мало охотников. Весь он был завален бурым камнем, битым стеклом, гнилыми балками и дохлятиной. В зимнее время народ с базара запросто забегал

в этот заброшенный подвал за нуждой, как будто так и надо.

Потом появился Павлюк. Хозяин с радостью сдал ему подвал по-дешевке. И Павлюк два месяца только тем и занимался, что вытаскивал из подвала мусор и гнилье, камни и разную гадость. Вскоре он привел откуда-то старичка-плотника, и тот за недорогою плату перестелил ему полы, прорубил два окна и навесил новую дверь с секретным запором, который изобрел Павлюк.

Года три жестящик потратил на всякое обзаведение, вкладывая почти весь заработок в инструмент. Покупал по сходной цене тиски, молотки, зубила, дрели и другие разные вещи, до крайности необходимые мастеровому человеку. Приценивался, рядился, голодал, кряхтел, таская листы железные, и проволоку, и чугунные чушки в нору свою темную. Украшал эту нору, белил и красил огненной краской — охрой. Устраивался на годы. И вот теперь, когда устроился он по-настоящему, когда одной белой жести, очень ценной, наготовлено листов, наверно, двести, да проволоки всяческой пудов, может быть, двадцать, ему надо было умирать непременно.

Все думали, что умрет он через месяц, ну, в крайнем случае, — через два. Уж больно высох он, выгорел. Передвигался осторожно, тяжело дыша. Не проживет он больше двух месяцев. Ни за что.

А хозяин требовал деньги вперед за три и говорил огорченно:

— Я же не неволю тебя. Как хочешь. Не нравится? Можешь с'ехать. Не вечно же тебе жить у меня. Хотя мне будет жалко. Мужик ты добродушный, не злой. Я таких люблю.

Во дворе росла трава. По двору ходили куры. И хозяин, разговаривая, отгонял их ногой, будто не желая, чтобы они слушали его разговор с жестящиком.

Павлюк стоял, переминаясь с ноги на ногу, и долго молчал. Я смотрел на него из окна. И мне слышно было, как он сказал, наконец:

— Ну, ладно, отдам. Воля ваша.

— Вот и спасибо тебе, пожалел ты меня, старика, — опять слезливо и обрадованно сказал хозяин и быстро пошел к себе в квартиру, странно семени короткими ножками и почему-то пугливо оглядываясь по сторонам, будто кто-то собирался ударить его.

А когда исчез он из виду, перед жестянщиком появился, точно вырос из земли, извозчик Хохлов.

— Это что ж такое? — спросил он Павлюка. — Опять с тебя деньги взыскивает? — И мотнул головой, обросшей курчавой овчиной, в сторону квартиры хозяина: — Вот совесть какая у людей. Отдай ему, значит, деньги за три месяца вперед, а человеку, может, через неделю помирать придется. Как тут рассуждать? А?

Павлюк молчал.

Извозчик, выразив ему свое сочувствие и отсоветовав платить деньги вперед, постоял еще минутку перед ним, раскуривая трубку, потом сказал:

— Мне говорили, будто ты самовар продаешь. Правда, что ли?

— С чего это взяли? — спросил Павлюк.

— Да так говорят. Знаешь, как болтают?

Павлюк ничего не сказал, пошел в подвал. Хохлов посмотрел ему вслед и молвил обиженно:

— Гордый ты, ей-богу, человек. Гляжу я на тебя...

Но Павлюк ничего не сказал и на этот раз. Ушел в подвал.

Из подвала он выходил теперь все реже и реже.

А когда он долго не выходил на улицу и не слышно было шума жести, перетаскиваемой с верстака на верстак, душераздирающего скрипа ее и молоточного стука, люди почасту останавливались у подвала, прислушивались или просто наклонялись над низкими окнами и заглядывали в мутное стекло: уж не помер ли Павлюк?

Нельзя сказать, что люди желали его смерти, нетерпеливо ждали ее прихода. Нет. Большинство людей нашей улицы любило Павлюка. Многие уважали его за кротость характера, за доброту и за мастерство, несравненное в

своем роде. Многие сердечно жалели его, говорили:

— Ведь какой, посмотрите, мужик двуличный. Непонятно, в чем душа держится, а все работает, стремится. Жалко смотреть даже.

Но всякому человеку, собравшемуся жить бесконечно, было обидно уступить соседу законную свою часть имущества в неизбежном дележе после смерти одинокого жестянщика. И всякий хотел знать поэтому, когда же умрет Павлюк.

Это необходимо было знать, чтобы раньше всех поспеть к дележу.

Впрочем, может быть, дележ и не состоится. Жадная полиция растащит все сама, потому что ей полагается хоронить безродных и быть единственной наследницей их имущества. Очень просто может случиться, что все достанется полиции. А жаль...

Яшка Новосильцев, известный всей нашей улице как гармонист и алкоголик, прямо так и сказал Павлюку:

— Все равно ведь в могилу не потащишь тиски американские. А я бы тебя поминал. Вот даю слово. Продай...

Павлюк сказал ему:

— Слушай, Яша. Иди ты... знаешь, куда?

Яшка ушел. Но через день наведаясь снова. И Павлюк снова обругал его.

Павлюк велел мне теперь запирать двери даже днем на секретный засов, чтобы лишних посетителей не было. Осточертели они, бог знает как. Все один и тот же разговор: продай, уступи. И каждый надеется, что жестянщик скупиться не будет, уступит по-дешевке любую вещь — на что ему теперь вещи?

Павлюк сказал мне:

— Никого не пускай.

Но разве можно не пускать? Другой идет, как заказчик. Например, парикмахер Хинчук принес машинку для стрижки волос, просил починить, а потом, как будто нечаянно, потрогал пальто, висевшее на вешалке, и сказал, точно в магазин пришел:

— Дай примерю...

— Да вы что, сдурели, что ли, на самом-то деле? — спросил Павлюк. И схватил с верстака деревянный моло-

ток, называемый киянкой. — Я ж не помер еще, слава тебе господи...

Парикмахер попятился к дверям. Но в дверях он все-таки остановился и обидчиво сказал:

— Это ж зимнее пальто. Неужели ж ты и зимой будешь существовать?

Павлюк сказал мне:

— Открой ему дверь, ради создателя. Или я приму на свою душу тяжкий грех.

И Павлюк, наверняка, принял бы этот грех на свою душу, если б парикмахер не успел выпрыгнуть за дверь.

У Павлюка тряслись руки. Я впервые видел его в таком состоянии. Подойдя к верстаку, он долго не мог развинтить тиски, ворчал что-то, кряхтел. Потом развинтил тиски, немного успокоился и сказал:

— Видал дурака? А?

Вдохнул. Вытер пот со лба.

— Машинку он принес мне починить. Да что я им машинист, что ли? Я жестящик, сучьи души...

И замолчал. Я тоже помалкивал, потому что ясно было — ко мне этот разговор не имеет никакого отношения. Павлюк часто разговаривал сам с собой. Со мной он говорил только о работе и всегда коротко: два-три слова. По имени он меня никогда не называл, а говорил просто — мальчик:

— Мальчик, согрей пальчик.

Но смотрел при этом не на меня, а куда-то в сторону. Объясняя мне что-нибудь, — например, как надо загибать уголки, — он тоже никогда не смотрел на меня и говорил таким голосом, точно в подвале, помимо нас двоих, присутствует еще человек двадцать, которым необходимо слышать, что он говорит. Рассердившись на то, что я, посланный за чайной колбасой, долго пробыл в лавочке, он выговор делал не мне, а кому-то третьему, говорил:

— Ходить надо веселее.

И спрашивал:

— Слышишь?

Я молчал, потому что ясно было — не меня он спрашивает.

Меня, должно быть, он просто не замечал. Но это мне не казалось обидным. Напротив, эта невнимательность,

пожалуй, даже возвышала учителя в моих глазах. Мне всегда казалось, что он занят важными мыслями, что он носит в себе какой-то страшный секрет и думает постоянно об этом секрете.

В мыслях своих он, может быть, спорил с кем-то. И, забывшись, иногда говорил вслух:

— Ка-акая глупость!

Или:

— А ты как считаешь?

Можно было подумать, что он спрашивает кота, который по утрам всегда сидел на подоконнике и мучился бессонницей: то медленно закрывал глаза, то вдруг, вздрогнув по-человечески, открывал их и удивленно смотрел на Павлюка.

Павлюк, улыбнувшись невесело, спрашивал его:

— Не узнаешь?

И, ласково потрепав кота по морде, продолжал работать. А кот снова закрывал глаза. Днем ему полагалось спать, потому что ночью он ловил мышей, которых в подвале было очень много. Один раз он поймал даже крысу. Она сильно искусала ему морду, но он все-таки задавил ее. Павлюк наутро мазал ему морду вазелином и говорил, веселясь:

— Ай, Антон, ай, Антон! Молодец, красавец...

Похоже было, что он гордится котом так же, как своей работой.

Однажды я слышал, как старушка Захаровна просила Павлюка:

— Нельзя ли вашего кота к нам на побывку, на ночку хотя бы. Пусть наших мышей попугает. Ужас, что делается.

Павлюк сказал:

— Нельзя. У него своей работы дома много.

И к коту он, действительно, относился, как к работнику. Как человеку, он говорил коту:

— Скучаешь, Антоша? А? Женить бы тебя хорошо.

Антон сидел на подоконнике и, точно стесняясь, щурился. А Павлюк улыбался грустно. Потом говорил:

— Иди, промнись. Чего же сидишь, как сыч?

И открывал ему дверь.

Антон выходил на крыльцо, вытягивал свое длинное резиновое тело и скреб лапками каменную ступеньку, точил когти. А когти у него были длинные. И весь он был от морды до хвоста большой и сильный, породистый, сибирский кот.

— Благородный, — говорила про него Захаровна. — Ишь, какую морду наел. Чисто околочный, Мельников, Василий Васильич.

В последнее время она часто стала прикармливать его. И всегда выносила ему в жестяной банке из-под консервов деликатный продукт: молоко, разбавленное отварной водой, щи мясные или ошурки от сала.

Молоко Антон пил с особенным удовольствием, ласково ворчал, медленно шевеля хвостом, но на руки к старушке не шел. А когда Захаровна однажды попыталась переломить его непокорный мужской характер и употребила силу, чтобы привлечь его барственную морду к своей груди, кот жестоко оцарапал ей руку и, спрыгивая на землю, ударил ее хвостом по носу.

— У, Иуда, — гневно сказала Захаровна. — Это как же ты о себе думаешь? А? Это куда же ты пойдешь, ежли хозяин твой помрет? Ко мне ведь и пойдешь, дурак. Я тебе буду — полная хозяйка...

Захаровна в гневе и злорадстве своем даже ростом становилась выше.

Но Павлюк, как видно, и не собирался помирать.

Как всегда, по утрам он кроил на верстаке длинные листы белой жести или кровельного железа, и мы делали из них чайники, судки и ведра, самоварные трубы, умывальники и железные печки.

Железные печки он делал почему-то с особенной охотой, даже с удовольствием. Он пел при этом, и щеки его нылали с пугающей яркостью.

А песня у него была одна и та же: про каторжника Лонцова.

Мне скоро тридцать лет. Я об'ехал десятки городов, видел разных людей, слышал разные песни. Но никогда не слышал песни, которую пел Павлюк.

Из песни этой запомнились только две строчки:

... гремит звонок, зовет к поверке.
Лонцов из замку убежал.

И Павлюк, казалось, радовался побегу этого неустрашимого, неуловимого Лонцова. Одобрял его поступок и, вспоминая храброго человека в песне, песней этой будто угрожал кому-то и жил веселее.

Песня возбуждала его. А может быть, работа его возбуждала. И из работы возникала песня, украшавшая жизнь.

Передвигался он от верстака к верстаку так же осторожно, как всегда, точно боясь расплескать в себе что-то сосчитанное до последней капли, дорогое, драгоценное.

Но, когда он пел, движения его становились более быстрыми, как бы отчаянными. И в это время мне всегда казалось, что вот сейчас, сию минуту, он ударит еще раз молотком по железной кромке, вздрогнет, упадет и умрет моментально.

Пот выступал у него на лбу крупными, блестящими каплями. Все лицо становилось влажным и красным, будто он только-что вышел из бани, из парного отделения. На шее, около кадыка, набухала большая, синяя жила.

А он все пел и работал, выправляя железный лоскут, скручивая его и изгибая всячески до тех пор, покуда холодное железо, согретое только прикосновением горячих человеческих рук, не принимало, наконец, нужную форму — затейливый профиль ножки, трубы или печной дверцы.

Железные печки он делал лучше всех жестянщиков города. Лучше Кости Уклюжникова и лучше даже Павла Деметьевича Линева. Печки у него получались на-редкость красивые, легкие и высокие, на фигурно изогнутых ножках. У них были не только специальные поддувала, но и полки небольшие, на которых можно было сушить мелкую рыбу, грибы и хлебные куски, чтоб они не залеживались. В спинках печек пробивались отверстия для кастрюль и сковород, и к ним сделаны были крыш-

ки, круглые, с выдвигаемыми ручками и в виде бантиков.

В летнее время, когда невыгодно топить плиту или русскую печь, небогатые семьи готовили свой обед на железных печках, вынесенных во двор. И спрос на эти печки был всегда велик.

Павлюка заваливали заказами. Даже из деревень, из тайги приезжали за ними к Павлюку. И на дверцах каждой печки, в том месте, где положено быть дырочкам, он выбивал семь некрупных букв: П а в л ю к ъ.

Я спросил однажды:

— Это зачем же буквы, Андрей Петрович?

Павлюк взглянул на меня, как на идиота:

— Это ж фирма, чудак. Павлюк — фамилие...

И так постоянно он выбивал эти буквы.

Жить ему оставалось очень немного. Говорили, что он не доживет до зимы.

А начиналась осень, шли дожди. В подвале становилось уж совсем пасмурно. Было трудно работать в сумерках. И поэтому даже днем мы зажигали лампы.

Лампа вечно чадила. Сквозь зеленое, закопченное ее стекло пробивался тусклый свет. Огонек мигал, и в миганьи его, мне казалось, начинает, наконец, шевелиться измученный грешник на картине «Страшный суд». Пламя лижет его, хватает за выпуклые ребра, за голову косматую и лицо искажается в смертной муке. Худо ему, грешнику, на сковороде. И наверно так же худо, — думал я, — будет учителю моему, когда умрет он и его призовут на страшное судилище.

О себе же, о смерти своей я тогда не думал. Я думал о Павлюке. И жалел его до слез. Хотя плакать был не мастер. Я думал: «Как же так? Человек знает, что он скоро помрет, перед глазами у него ужасные картины, а он не тужит и не вздыхает даже...».

И Павлюк, действительно, ни разу не вздохнул при мне.

Был он ровен в поведении своем и весной, и летом, и осенью. Попрежнему принимал заказы, работал. И во

всем придерживался, как и раньше, строгих правил, ни разу не изменив им и их не изменив.

На стене у него висели большие коричнегие часы фирмы «Павел Бурсо звоном. Заводил он их по гудку со спичечной фабрики «Олень». И утром, когда спичечники шли мимо окон его на работу, он, уже разбуженный гудком и попивший чаю, начинал резать жесьть.

Делал он это почти торжественно, неторопливо и шевелил при этом губами, будто читал молитву. Голову его украшала затейливая прическа «бабочка». Волосы седые и влажные чуть торщились и поблескивали, и временами казалось, что на голове у него не прическа, а шапочка из белой жести, плотно пригнанная к черепу.

Брезентовый пиджачок и штаны, тоже брезентовые, были всегда аккуратно проглажены и чистые, точно он каждое утро ждал, что кто-нибудь придет проверить, в каком виде он работает. Но никто, кроме заказчиков и соседей, раздражавших его, не приходил.

Впрочем, в последнее время и соседи стали заглядывать редко.

В подвале было пасмурно и тихо.

Павлюк, нарезав жесьть, слегка плевал на пальцы и брал киянку. С этого момента работа у него шла быстрее. И я, подкрашивая готовые ведра, тоже невольно начинал торопиться.

В половине двенадцатого на спичечной фабрике ревел гудок. Павлюк неохотно прекращал работу, смотрел на часы. Иногда становился на табуретку и подводил их, если они отставали. Потом смотрел на себя в зеркало, висевшее тут же около дверей, поправлял жиденькие, нитяные усы и говорил, беседуя с самим собой:

— Ну, что ж... Имеем право победить.

На кухне стоял узенький столик, накрытый рыжей клеенкой. Павлюк каждый раз перед обедом поливал ее водой из чайника и протирал тряпкой. Потом ставил на нее проволочный кружок и вынимал из печки чугунок со щами.

Большую русскую печь он топил в лето, потому что ему и летом было

холодно. Один раз он сказал, так же, как всегда, ни к кому не обращаясь:

— У воробья и то, наверно, крови-то побольше, чем во мне. Потому и зябну.

Щи и кашу он варил с вечера. Простоявшие в печке всю ночь и полдня, они аппетитно пахли. Гречневая каша становилась малиновой и рассыпчатой. Я ел ее с особенным удовольствием.

После обеда я доставал из узелка, принесенного с собой, пучок моркови и съедал ее за один присест.

Бабушка моя говорила:

— Морковь кровь наливает, черемша сразу прогоняет, а чеснок идет для аппетита.

Мне чеснок не требовался. Черемша мне не нравилась. А морковь я любил и верил, что она наливает кровь. Глядя на Павлюка, я мог видеть, как плохо человеку, когда в нем мало крови. И я каждый день наблюдал, как кровь все высыхает и усыхает в этом человеке.

Я однажды осмелился и сказал ему:

— Вот бы вам морковь есть. Она помогает...

Павлюк посмотрел на меня почти весело и сказал, будто пожалев меня:

— Эх, мальчик... Никакая морковь меня теперь не спасет.

И замолчал.

Больше мы на эту тему не разговаривали.

А он не только не ел морковь, но и щи, и кашу ел неохотно, словно по обязанности.

Иногда, правда, на него вдруг нападал аппетит. Он ел торопливо и жадно, наклонившись над чашкой. Наевшись, собирал со стола крошки и проглатывал их тоже.

Но чаще аппетита у него не было. Он сидел за столом, скучный и вялый, и видно было, что он ждет, когда я наемся, чтобы прибрать посуду.

После обеда меня всегда клонило ко сну. И Павлюку, — думал я, — наверно, тоже хочется спать: на улице — дождь, тоска. Хорошо уснуть в такую погоду, на полчаса хотя бы забыть-ся. Но Павлюк, пообедав, шел работать. И я шел за ним.

Железные печки он делал, как и раньше, с видимым удовольствием. Но

петь при этом уже не мог. Внутри у него хрипело что-то и посвистывало. Петь, должно быть, он никогда уж не смог бы. Даже с котом он разговаривал теперь не часто. А когда говорил, как обычно, с самим собой, понять невозможно было, о чем он говорит.

Иногда я все-таки улавливал отдельные слова. Но смысл этих слов был туманным. Непонятно было, о чем думает этот человек, на что надеется...

В углу на тумбочке стоял граммофон с огромной изогнутой трубой. Павлюк купил его на барахолке по частям. Сам собрал эти части, изготовил трубу. И теперь граммофон пел в тоскливые осенние дни про любовь: «Бе-е-ело-ой ака-ации гроздьа душистые-е вновь а-арома-атом, арома-а-том полны».

Пластинок было только две: «Белая акация» и «Шумел, гудел пожар московский». Однажды Павлюк поставил эту вторую пластинку, хотя она ему нравилась меньше, чем первая.

На дворе, как обычно во все дни эти, шел некрупный, нудный дождь. Дождевая пыль вместе с грязью залепляла наши окна. На стене у нас горела лампа в фонаре «Летучая мышь». А Наполеон, виденный мной у бабушки на комодке, печально и певуче спрашивал из граммофона:

...За-че-е-ем я шел к тебе, Росси-и-йя
Евр-о-опу-у всю держа в руках?

И нам обоим в эту минуту было жалко французского императора, как себя. В погоду такую, слякотную, погнался чорт неведомо куда и бог знает зачем...

Вдруг кто-то постучал в окно.

Павлюк остановил граммофон, убавил фитиль в лампе, подошел к окну. Со двора, прижавшись к мокрому стеклу, смотрела на него рыжеусая, багровая морда лавочника Варкова. И лавочник кричал:

— Продаешь граммофон-то? А?

Павлюк хотел не то плюнуть, не то сказать что-то, но ничего у него не получилось. Он только качнул головой, как деревянный паяц на веревочке, и кашлянул в стекло.

В эту минуту, взглянув на него, я впервые понял, как ослаб он, обессилел окончательно и устал навсегда.

Подойдя к верстаку, он взял киянку, погладил ее зачем-то и сказал, должно быть, коту, сидевшему на верстаке:

— До чего бывает дешевый народ на свете...

И больше ничего не сказал. Стал собирать инструмент. Инструмент после работы он всегда сам вытирал прокеросиненной тряпкой и развешивал на стене, в кожаных петельках, прибитых гвоздями. Потом приносил из сеней широкую корзину и складывал в нее железные обрезки. А я подметал пол. Павлюк говорил мне:

— Чистота возвышает человека. Имей в виду...

Но чаще он молчал, как и раньше. И молча делал все, что надо. Он даже кашлять старался негромко.

В подвале становилось все тише и тише. И в тишине, будто царапая по сердцу, визжала жесть, когда ее резали, да гремел по жести деревянный молоток.

Павлюк передвигался все осторожнее, все боязливее. Щеки его теперь не пылали, они потемнели, стали землистыми, серыми. Глаза запали глубоко-глубоко. При свете лампы они горели в глубине, как дорогие камни.

А дождь все лил, лил.

У Павлюка, как в начале нашего знакомства, пошла кровь горлом.

Вечером однажды, после работы, он, как обычно, собрал инструмент, перевернул его прокеросиненной тряпкой, велел мне подмести пол и, когда я подметел, сказал мне:

— Завтра не приходи.

Я спросил:

— Почему?

— Потому, — сказал он угрюмо. — Я помру завтра.

Я несколько не удивился, но немного растерялся все-таки. Я сказал растерянно:

— Ну, покамест до свиданья, Андрей Петрович.

Позднее я много раз вспоминал эту глупую мою фразу. Мне казалось позднее, что я мог бы сказать на прощанье какие-нибудь более значительные, более умные, душевные слова. Я любил и уважал моего учителя, несмотря на

мрачность и молчаливость его. Я, конечно, смог бы придумать на прощанье что-нибудь хорошее. Я позднее придумал неплохие торжественные слова.

А тогда я, к сожалению, ничего больше не сказал. Неловко поклонился, не глядя на учителя, и пошел торопливо на лестницу, под дождь. Но Павлюк остановил меня, сказал:

— Выбирай, какой хочешь, инструмент. Бери на счастье. Будешь жестящиком.

Я сказал:

— Спасибо.

И опять пошел на лестницу. Но Павлюк остановил меня опять:

— Выбирай чего хочешь из вещей. Граммофон бери.

Но тут вдруг непонятный страх обуял меня. Я ничего больше не взял, даже «спасибо» не сказал в третий раз, как надо было бы сказать, спрятал тиски под пиджачок, чтобы не замочить их под дождем, и ушел поспешно, не оглядываясь.

После я очень горевал, что не взял больше ничего. Надо было бы мне унести домой кота Антона. Дома у нас мышей было много. Пусть бы он их половил. И на память бы у нас остался. Мы жалели бы его.

А то достался кот старушке Захаровне. Она, конечно, сейчас же прибрала его к рукам. Два раза, как я слышал потом, отстегала его за непокорность. Но он все равно жить у нее не стал, несмотря на молоко. Убежал куда-то.

Все имущество Павлюка забрала, как полагается, полиция. Говорят, он завещал отдать его вещи в детский приют, где и сам воспитывался когда-то. Но отдали их или нет — этого я не знаю.

Я не знаю больше ничего из истории учителя моего, замечательного жестящика Андрея Петровича Павлюка. На похороны его я не ходил. Да и похорон настоящих не было. Просто и тихо, ранним утром, часов, может быть, в семь или в половине восьмого, тело его, говорят, положили на телегу, в желтый полицейский короб и увезли прямо в мертвецкую, где лежали, наверно, десятки таких же безродных, никому не интересных мертвых людей.

В детстве я часто вспоминал Павлюка. Судьба и смерть его мне представлялись обидными. Я ни за что бы не умер так просто. Я бы сделал что-нибудь особенное, сказал бы хоть что-нибудь громкое, необыкновенное перед смертью. Какие-нибудь хватающие за душу слова.

Но так казалось мне в детстве, в раннем детстве, лет до десяти.

Потом началась гражданская война. Нас, мальчишек, война эта быстро сделала взрослыми. Она открыла перед нами сразу такие житейские глубины, на познание которых в другое время пришлось бы истратить, может быть, не один десяток лет. Может быть, два десятка, может быть, три.

Я встречал еще много людей не хуже Павлюка. И я любил и уважал их не меньше. Я видел, как жили они. И видел, конечно, как умирали.

Умирали они удивительно просто, недомечтав и недоделав многих дел своих, не истратив всей заложенной в них энергии и, казалось, даже не успев пожалеть об этом.

Я помню огромные могилы у Зрелой горы. Их рыли в полдень, в дикий мороз, через час после боя. Земля дымилась, извергая пахучее тепло из глубин своих. И в тепло это, в темную жижу торопливо укладывали без гробов друг на друга сотни мертвых людей, еще час назад носивших оружие, веселившихся, грустивших, мечтавших.

А отряды, похоронившие мертвецов, шли все дальше и дальше. И движение их было бесконечно, как жизнь.

Павлюк потухал в моей памяти.

В ряду больших и признанных героев, увиденных мной, он, казалось, не мог найти себе места. Ведь он ни о чем не мечтал и ничего как будто не добивался. Он так бы и остался жестянщиком.

Величественные дела заслоняли его. И каждый день был полон новыми событиями.

Я жил очень быстро. И очень быстро сменялись мои увлечения. Мне хорошо, зима 1937 г.

хотелось быть то знаменитым полководцем, то художником, тоже знаменитым, то писателем, равного которому не было на земле, то хирургом, способным бестрепетно вспарывать человеческие животы, освобождая их от болезней, самых неизлечимых.

По-мальчишески мне хотелось выбрать дело самое большое, самое интересное. А лет мне было шестнадцать. И весь мир был доступен мне.

В необъятном мире я мог выбрать любое дело, необъятное.

Но вдруг случилось несчастье. В Оловянной пади, что лежит в семидесяти километрах от нашего города, в бою с бандитами мне прострелили правый бок. Я упал в снег.

«Вот и вся твоя жизнь, суслик» — думал я, лежа в снегу.

Потом меня подняли и унесли в сторожку лесничего.

Около меня суетился мой товарищ. Он перевязывал меня и говорил:

— Подожди минутку. Я сейчас сбегаю за дровами.

И еще раз сказал, уходя:

— Подожди.

Но мне было очень плохо. Одиночество угнетало меня. На сторожку надвигалась ночь. Я лежал и думал о смерти.

Где-то слышал я, что бывает заражение крови, от которого неизбежно умирают. Мне казалось, что оно уже начинается у меня. «Я умираю» — думал я, и мне было попросту страшно.

Хотелось с кем-нибудь поговорить, сказать что-то важное. Да, мне хотелось сказать перед смертью что-нибудь очень важное. Но товарищ собирал хворост.

Наконец, он собрал его, растопил печку.

За окнами была ночь, зима, начался ветер, и деревья скрипели под ветром.

Хворост в печке сопел, повизгивал. И вдруг вспыхнул большой огонь, осветив сторожку, осветив и самую печку, на дверце которой было выбито большое слово «Павлюкъ».

Песня

Г. ЛИТВАК

★

Накренясь от огня и грома,
Красноватые тучи плывут.
В эту ночь, в этом небе багровом
Для коней нам подков накуют.
Ты хотела иметь золоченый,
Яркий пояс, и, тысячи раз
Вспомнив ночи очей твоих черных,
Самых темных в республике глаз,
Я коня оседлаю безмолвно
И в грозу, у степи на краю,
Наловлю ослепительных молний
И на пояс тебе подарю.

★

ДОЖДЬ

М. КОЧНЕВ

★

Как горошины, дождины
Барабанят о стекло.
Хлещет дождик на овины,
На косматое село.

Воздух чистый, ни пылинки.
Мир до ниточки промок.
Над извиистой тропинкой
Подымается дымок.
Снова выглянуло солнце.
Над землей стрелой мелькнув,
Две касатки над оконцем
Собирают глину в клюв.
Засучив штаны потуже,
На селе мальчишек рой
Посреди веселой лужи
Затекает гидрострой.

★

Три стихотворения

АРКАДИЙ СИТКОВСКИЙ

★

Мой милый,
Ты там — на зимовке,
На льдистой вершине земли,
И редко когда, по путевкам,
Заходят в ту даль корабли.
Под северным
Ярким сияньем
Ты будешь работать.
Во сне
Твой остров —
Китом в океане, —
Таким он стал видеться мне.

Но мы здесь
Гордимся тобою,
К нам голос доносится твой
В той славе, что хлещет прибоем
Над нашей великой страной.

Прости мне
Неровные строки,
Но как мне тебе передать?
Какие бы ни были сроки,
Я буду тебя ожидать.

★ ★ ★

Теплом повеяло.
Голубоватый снег
Стал ноздреват
И почернел немного.
Как видно, время близится к весне,
Ее предвестники спешат по всем
дорогам.
И в нашей жизни
Перемен не счесть.
И ты, мой друг,
То ласковой, то строже.
В природе все готово, чтобы цвести.
И мы с тобой становимся моложе.

★ ★ ★

Был час отлива.
Отошло
Немного вдаль
большое море,
И на песке одно весло
Лишь говорило о просторе!

★

На станции

РАССКАЗ

КСЕНИЯ ЛЬОВА

★

Матрена Дмитриевна Фокина, вдова машиниста, русоволосая, белолицая, вся — словно яблоня в цвету, положила на стол пузатый портфель.

Гусев повернулся и посмотрел сначала на волосы Матрены Дмитриевны, — они блеснули в свете лампы чистым золотом, — потом на вспорхнувшие над столом крепкие, круглые руки. (Так, по частям, рассматривают человека маленькие дети.) Почувствовав, что за ним наблюдают собравшиеся в его кабинете активистки, он покраснел и быстро отвернулся.

Лютикова, парторг грузчиков, худая и смуглая женщина, достала из портфеля записи и начала вычитывать. Тут был план культурного переоборудования всей станции. Гусев безнадежно оглядел потолок, надул щеки и медленно выпустил воздух. Он незаметно придвинул к себе станционные счета, весь день ожидавшие его подписи.

— «Забота о человеке», — вздохнул начальник станции, повторяя за Лютиковой и ставя подпись на счетах, — «советская культура», так, так...

Он рассеянно посмотрел на активисток и, отыскав глазами Матрену Дмитриевну, опять уставился на нее — деловито и злобно, как смотрел бы на неправильно размеченный вагон.

Лютикова горячо говорила о том, что сторожиха кондукторских комнат стыдха крадет казенное имущество, а начальник станции не удосужится даже подумать о ней. Недавно видели, как

сторожиха продавала на базаре кондукторские простыни с клеймом...

— Денежка... все денежка... — монотонно потягивал Гусев, дочитывая последний счет. — Ты прыгай, не прыгай, в деньгах все дело...

— Какое безобразие! — отдаленно сказал чей-то низкий голос.

Лютикова остановилась.

— Ты, собственно, о каких деньгах?.. Я что-то не поняла, — сощурилась она на начальника станции, у которого уши вдруг стали красными.

Поднялся шум. Женщины заговорили все разом.

— Целую канцелярию развел. А? Бумажек сто подписал. Ну, не насмешка ли это?

— Не считает нужным даже выслушать.

— Начальник дороги, и тот время находит...

Лютикова скомкала записи, сунула их в портфель. Матрена Дмитриевна услышала уже из коридора, среди шума и крика остальных, ее взволнованный голос:

— Ну, уж не знаю, как тебе это обяснить. Ты оскорбил целое собрание... Чортова прорва работы еще над тобой самим...

Выйдя на заднее крылечко вокзала, приходившееся рядом с окнами гусевского кабинета, Матрена Дмитриевна, совсем расстроенная, опустилась на ступеньку и стала поджидать женщин.

В кабинете вскоре все стихло. Гусев с треском распахнул окно. На плечо Матрене Дмитриевне посыпались куски замазки.

Зазвонил телефон. Слышно было, как начальник с дребезгом передвинул стулья, схватил трубку с рычага:

— Какой порожняк? — взревел он диким голосом. — Гоните на ветку!! Стоит на подходах? Какого же дьявола они смотрят? А диспетчеру позвонили?

... Лютикова нагнулась и узнала во всхлипывающей фигуре на ступеньках Матрену Дмитриевну.

— Этого еще не доставало, — рассердилась она, — вставай немедленно. Идем ко мне. Рацис уехал на линию, я одна. Пошли.

★

В столовой сидела худенькая девочка, лет двенадцати, и читала книгу.

— Не спишь? Безобразие, Ларка. Сю минуту в постель!

Лютикова захлопнула ее книгу и бросила на окно.

— Ну, мамка... все равно ж без тебя не усну. Сколько раз уже было, — вяло сказала девочка, и, как у взрослой, брови у ней горестно приподнялись. Она была смуглолицая, с большим вишневым ртом и очень яркими зелеными глазами.

— Совсем изнервничалась девочка, — с отчаянием сказала Лютикова. — Когда это кончится?.. — И ласково к дочери: — Теперь я дома. Ложись, Лаура.

Расстегивая на-ходу платье, Лаура ушла в спальню. Матрена Дмитриевна озабоченно спросила, не больна ли девочка, отчего она такая невеселая.

— А, не хочется, Матреша, рассказывать. Не в болезнях тут дело. Не спрашивай, — резко ответила Лютикова и подседа на диван к Матрене Дмитриевне. — Лучше скажи, по какому случаю нюни распустила?

— Слишком обидно, Агриппина Ивановна. Вкладываешь всю душу, работаешь, и он же над нами смеется, — пробормотала Матрена Дмитриевна,

смущенно перелистывая альбом с фотографическими карточками.

— Мм... позор! — презрительно махнула руками Лютикова. — Борьба, а она ревет. Нашла способ. Такое ли бывает в борьбе? Вот я тебе скажу про себя...

— Постой... Кто это? — остановила ее Матрена Дмитриевна, указывая на фотографию, где были изображены широкоголовый блондин с пухлыми надбровьями и девушка, очень похожая на Лауру. Мужчина смотрел на девушку горящими и удивленными глазами, словно видел ее впервые.

— Не узнала? Рацис и я.

— Ой-ой, как он тебя любит! — вырвалось у Матрены Дмитриевны.

Лютикова промолчала и встала открыть окно. В комнату хлынул запах сырого песка и дикой ромашки. Зашуршали ночные листья клена.

— Так вот, — продолжала Лютикова, пересиливая какую-то мешавшую ей мысль, — раз борьба, милая моя, то сопротивление обязательно будет.

Она скинула свою синюю форменную куртку с железнодорожными петлицами и повесила на спинку стула. Светлая кофточка сразу сделала ее лицо моложе. Матрена Дмитриевна подумала: «Вот, некрасивая, а какая славная. Что-то в ней заменяет красоту...».

— Я текстильщица, как тебе известно, — говорила Лютикова, расправляя на коленях кумачевую косынку, — и родилась от текстилей. Знаешь, как мы на фабрике жили? — Она оглядела комнату. — В такой вот комнатшке сорок две девки. Топчаны сдвинуты вплотную. В собашнике было электричество, а у нас коптилка. Это уже во время февральской. Я нутром пришла к большевикам. Из меня это каленым железом не выжжешь.

Она рассказывала о гражданской войне, о том, как на Волге, летом 1918 года, сражались отряды рабочих, кровью завоеывая свободу. Она была рядовым бойцом.

— Все это было! — заключила Лютикова. — Одна только беда — нет образования, не успела. С таким разве

успеешь! — кивнула она в сторону станции, и Матрена Димитриевна поняла. — Переделывай вот их. Я ведь с самого Октября на руководящей работе. И всегда посылают на узкие места.

Матрена Димитриевна украдкой продолжала поглядывать на фотографию — такую открывенную, необычную. Хотелось о многом расспросить, но она не решалась. Она осторожно отложила альбом и, слушая Лютикову, побежала мыслями по своей жизни. Жизнь была совсем без событий и потому страшно короткая. Революция?.. Матрена Димитриевна сделала усилие что-либо вспомнить. В их городе даже не стреляли — она не видела гражданской войны. Десять лет замужества — десять лет спокойного существования за мужем. О чем рассказать ей? Правда, осталась от прошлого одна заноза. Она порой шевелится в душе. Признаться?

— Агриппина Ивановна, ты верила в бога? — выждав, волнуясь, спросила Матрена Димитриевна. — Оттого, сдаётся мне, я слабею порой, что не вполне изжила. Понимаешь? В церковь не хожу и не молюсь. А все же думается — есть какая-то высшая сила над нами.. Значит, человеку нельзя все преодолеть — надо покориться.. Слабость, будто, является. А? Как ты думаешь?

— Я очень даже понимаю. Я сама верила, да так, что даже в монастырь хотела уйти. — Она мелко заморгала глазами, добродушно улыбаясь, точно сочувствуя себе в прошлом. — И знаешь, как с меня это скатилось? Были богатые похороны. Катафалк в цветах, певчие, поп в пышной ризе, церковь битком набита. Отпели этого покойника и внесли бедную, бедную вдову. Гроб окружили ребятишки, пять штук. Ревут-ут! Никогда не забуду. Поп издал машет кадилом, брезгает подойти. Помахал, помахал — и к народу (поселян несколько собралось): «Кто будет платить?». Аж душа сжалась у меня.. И тут кончилась моя вера. Как рукой сняло.

У Матрены Димитриевны брови крепко сошлись на переноси — не разомкнешь. Ей хотелось еще слушать об этом, но Лютикова вскочила.

— Хочешь, патефон заведу? Это моя премия. На фабрике получила.

— Нет, нет, не надо, — испугалась Матрена Димитриевна. — Я домой пойду, поздно.

В прихожей она толкнулась не в ту дверь.

— Это комната Рациса. Раньше здесь у меня помещалась Ларка. Недавно он вернулся из отпуска, из Ленинграда, и вот захотел отдельно.

Лютикова точно оправдывалась в чем-то. Она сама заметила это, смутилась и вдруг предложила:

— Хочешь, покажу?

Она сняла с вешалки ключ и ввела Матрену Димитриевну в небольшую комнату с приятным запахом кожаных ремней и лимона. Кожей пахло от левой сумки, висевшей на стуле.

Матрене Димитриевне бросился в глаза громадный оскаленный тигр на стенном коврик около кровати. Готовый к прыжку, он присел в зеленой траве. Кажется, перестань дышать — и услышишь, как он бьет хвостом. Матрена Димитриевна передернула плечами. — Ни за что бы не уснула.

— Хочешь поглядеть? Вот мой перенец, Новомир, — сказала Лютикова, поправляя над письменным столом фотографию мальчика лет пяти, с широко поставленными глазами и пухлыми надбровьями, в бархатной толстовочке. — Умер от дифтерита. Рацис придумал такое имя: Новомир. А дочь — Лаура, в честь дочери Карла Маркса.

Она всматривалась в удивленное личико ребенка с таким видом, будто искала, чем еще можно ему помочь.

— Думали, думали, как его звать. И звали Мирочка, как девочку... Да, книг много... — повторила она за Матреной Димитриевной. — Он свои сюда перенес. Мои остались в спальне.

Матрене Димитриевне показалось, что Лютикова здесь, как чужая. Все вещи точно не ее. Матрена Димитриевна знала Рациса, парторга их станции. Всегда вежливый, подтянутый, опрятно одетый. Здесь, в его комнате, она почувствовала, что не понимает этого человека.

Лютикова вышла проводить ее. Ночь была свежая, синяя. Одинокó вскрикивал паровоз на станции. Слабый ветерок шушукал в сиреневых кустах около крыльца. Дикая ромашка, устилавшая двор, пахла, как в детстве. Лютикова остановилась в калитке, пожимаясь от ночной сырости.

— Уходишь? Одной оставаться... как-то неохота...

Она помолчала и глухо добавила:

— Неладно у меня в семье, Матреша.

Матрена Димитриевна подождала, совестясь обнаружить свое любопытство.

— После этой проклятой поездки в Ленинград его словно подменили, — продолжала Лютикова. — Сначала я не придавала значения... Все время живешь чужими жизнями. В своей была уверена.

— Другую нашел? — простецки спросила Матрена Димитриевна.

— Не знаю! Ничего я не знаю, — рассердилась Лютикова. Она уже ругала себя за то, что начала, но остановиться была не в силах, слишком намолчалась об этом.

— Живем 16 лет. Шутка? А теперь я ничего не понимаю, что у нас делается. Главное, не говорит. А у меня гордость, не могу выпытывать. Будет увертываться, лгать... Какая мерзость! Может, неправильно я поступаю. Другому бы я посоветовала — разрубить все разом. А сама не могу, не хватает решимости. Слишком много пережито вместе. Связывает это до чорта... А девчонка во что превратилась, видала? На ней это страшно отражается, эти ссоры. Он стал невероятно грубым. Мы оба члены партии, и вот какая ерунда получается.

Она прислушалась к дальнему стуку шагов по дощатому тротуару и возбужденно продолжала:

— До чего же иногда у нас все старинному в этих вопросах! О семейной жизни часто стыдятся говорить. В семейную жизнь обыкновенно боятся вмешиваться. Допустим, один другого оскорбил в трамвае. Или у кассира нехватило в кассе двадцати рублей. Это уже привлекает внимание, приклады-

ваются какие-то мерки. А в семье один другого мучает, оскорбляет, фактически не дает нормально работать. И вот, поди ж ты, стена! Почему так, скажите? — с отчаянием обратилась она к пустынной улице, как будто ее слушала большая толпа.

— Ни за что не соглашусь с теми, — упрямо сказала она, — кто считает, что, с одной стороны, можно быть отличным коммунистом, с другой — бездушным человеком в семье! Вздор! Я не верю коммунисту, который развел в своей семье болото. Партия ставит вопрос о человеке в целом, без всяких перегородок. Чистота семейных отношений требуется такая же, как чистота партийного поведения. И общество должно отвечать за семью, — ударила она рукой по перекладине забора. — Ну... наговорила я тебе. Ты уж извини. Под горячую руку пришлось. Иди, спокойной ночи.

Матрена Димитриевна поняла только, что Лютикова очень одинока и несчастна. Она крепко обняла ее за высокие, худые плечи, молча прижала к себе и пошла.

Странное дело, узнав о слабости этой женщины, которую она считала особенной, железной, Матрена Димитриевна почувствовала в себе больше силы, твердости, уверенности. С затаенной гордостью она ощутила свое крепкое, налитое тело: она еще красивая, еще молодая!..

И хотя трудно ей одной растить Вовку, но жизнь еще только начинается. И что-то в ней будет хорошее, замечательное...

★

Вечерами, когда на станции скрещивались скорые поезда, в зале I класса играла скрипка под аккомпанемент рояля. Гусев решительно захотел прославиться на всю дорогу. Он обставил буфет искусственными пальмами с войлочными стволами — точь-в-точь, как те, что пленили его в детстве, когда он пастушонком заглядывал в большие окна вокзала. Для буфета он заказал комплект тарелок с надписью в венчике

из незабудок: «Добро пожаловать. Вокзал Гребешки». Появилась и маникюрша, солидных размеров толстая девушка, с кукольным личиком, по фамилии Духовная. Вокзальной парикмахерской стал заведывать лучший парикмахер района. Ему прислуживал огромный чернобровый детина. Могучие руки его не умещались ни в какие халаты и беспомощно торчали из рукавов, как две гигантских клешни. Если бы, проездом через Гребешки, он не потерял свой железнодорожный билет, то никогда б ему здесь не быть. Он ехал наниматься в совхоз. Гусев, которому сразу приглянулся простодушный детина, уговорил его начать свой жизненный путь в парикмахерской. Парень постоянно проливал кипяток и оглушительно хлопал дверью.

— Вы видали? — шепнет на ухо пациенту парикмахер, кивая на дымящуюся лужу. — Ой! Вы слышали? — с ужасом оглянется он на грохнувшую дверь.

И, скорбно подняв брови, со вздохом добавит:

— Между прочим неудивительно... Вы знаете, из какого он места? Какого свет не видал. Из Углича.

Зал I класса жил бойкой жизнью. Двадцать три часа — время скрещивания скорых поездов — было ее ослепительной вершиной. Разминутся скорые, и пустеет зал, обрывается музыка, скрипач вытирает носовым платком свой потный лоб, блестящий, как клеенка. Заспанная посудница в подоткнутой юбке сердито сдергивает со столов тарелки с размазами горчицы по красивой надписи: «Добро пожаловать». Гаснут люстры. Лысый буфетчик, при свете скромной стеной лампочки, подсчитывает выручку дня. Чернобровый детина в последний раз хлопнет дверью парикмахерской — и зал погружается в дремоту. Слышны только гулкие шаги дежурного стрелка по асфальту, частый стук электростанции да гудки и свистки ночных маневров на дальних путях.

... Рацис взбежал по узким ступенькам на рампу товарного двора и направился между отвесными стенами грузов к конторе. Он ввел ночные дежурства

коммунистов на станции — сегодня была его очередь.

Навстречу ему, по узким проходам, грузчики катили на тележках кипы товара. Дробный грохот гулко отдавался по доскам настила. Ветреная летняя ночь, теплая, как человеческое дыхание, металась высоко под навесами, она раскачивала электрические лампочки, струилась меж тюками и ящиками, сквозила в проходах, обдавала лицо свежестью дали, степей, может быть, моря.

Да, от рогож и просмоленных канатов, от ящиков и упакованных кип шел запах моря, больших пристаней, выброшенных прибором на берег водорослей... Рацис отчетливо увидел желтую взломаченную Балтику, хмурый весенний денек, похожий на осень, и опять встало это ощущение чего-то упущенного, опять заскребала тревога, боязнь что-то потерять навсегда.

— Берегись! — прогремело над самым его ухом. Грузчик катил прямо на него целую гору тюков. Рацис едва успел отскочить. Грузчик, пожилой, широкоскулый, сердито оглянулся на бегу.

— А-ла-ла-ла! О-ла-о-ла! Дорогу Юсупу! Береги-ись!.. — понесся по рампе его голос, уже веселый, смешливый, и потонул в грохоте тележки.

Рацис вошел в контору — дощатую построечку, величиной с вагон, полную разного люда. Постройка скрипела и качалась. Казалось, в стенки ударяет тяжелая вода, в снастях кипит ветер. Это ходили и топтались люди, раскачивая пол. Звенел телефон, кто-то орал в трубку до хрипоты, кто-то громко рассказывал забавную историю, ему отвечали хриплым хохотом, смачной бранью. Было накурено, все кругом кипело, кричало, теснилось.

— Освободите помещение!.. — вскрикивал осипший голос. — Не даете работать. Идите отдыхать в дом грузчика!.. Специально же оборудовано для вас. Сме-ена, слы-ышишь? Немедленно вытряхайтесь отседова!!

Крича, кашляя, хохоча, бранясь, грузчики повалили наружу. Остались только служащие конторы, какие-то прикурнувшие в углу на лавках фигуры

в чапанах и оружий в телефон человек. Это был начальник станции Гусев.

«Не спит» — одобрительно подумал о нем Рацис, подсаживаясь к грязному, исковырянному столу. Начальник товарного двора, бледный остроносый молодой человек, в черной кепке, с громадным козырьком, подвинул к нему книгу грузовых операций.

— Ну... вот. Ни одного вагона на седьмом пути нету. Нет! — кричал в телефон Гусев. — Сам старший стрелочник звонил, вагонов там нет. А зачем туда посылать паровоз? Что же он будет напрасно стоять? Стрелочник не врет. Которые выставлены вагоны, я приму, а которые не выставлены, принимать не буду. За ворота я не поеду. Эта история повторяется каждый раз. Теперьче ни одного вагона из запаса я не дам, пока не выставите замену. Чего? Не возьму! Не возьму! Понятно?

Его тонкая мальчишечья шея надувалась от крика. Лицо стало кирпичным, крупные сочные губы извилисто ломались, а в глазах дрожала какая-то сумасшедшая искорка. Он работал с упоением, с восторгом. Рацису стало завидно: с каким аппетитом кричит в телефон начальник! Гусев недавно был выдвинут с маленькой полевой станции, парторг станции Рацис присматривался к нему, изучал его.

«Считает, что важнее этого ничего в мире нет...» — покровительственно определил Рацис, перелистывая рыхлые страницы конторской книги.

В записях грузовых операций был зарегистрирован случай, когда вагон, прибывший в 1 час 10 мин., подали под выгрузку только в 12 часов. Одинадцать часов попусту держали на станции. А потом вагон был выгружен рабочим за полтора часа вместо двух с половиной по норме. Рацису вспомнился скуластый Юсуп — как он старательно бежит натруженной рысцой за тележкой... Он почувствовал какую-то вину перед старым татариним.

— Начальник! — позвал он Гусева. Но начальник станции снова говорил по телефону. Он лукаво улыбался, делал волнистые движения свободной рукой,

пристукивал каблукom. — Рацис понял, что он говорит с женщиной.

— Петрова! 1052-й — что он везет и кому? Уголь? А кому? А кто, по-твоему, будет знать? Ты мне скажи, сколько угля? Ай-ай, Петрова! Чувствуешь?

— Начальник! — опять позвал Рацис. Гусев повесил грубку, погладил себя ладонями по тощим бокам и, продолжая лукаво улыбаться, подошел к парторгу.

— Что ты думаешь насчет этого? — постучал Рацис пальцами по записям.

— Чего думаю? Теперьче такие случаи редко случаются... Можешь проверить. — Гусев застеснялся под вопрошительным взглядом холодных желтых глаз парторга. А Рацис, охваченный непонятым раздражением против маленького энергичного человечка, влюбленного в свою работу, кричал:

— Вы только констатируете, изучаете? Для вас станция — это академия. А кто будет принимать меры? Вагоны простаивают по суткам! Хоть раз виновников вы нашли?

Через полчаса, когда они вместе с Гусевым вышли на рампу, где гудел ночной ветер и грохотали тележки грузчиков, Рацис почувствовал неловкость за свою вспышку. Он был несправедлив к этому старательному работнику. До него было во много раз хуже.

Пропустив парторга вперед, Гусев незаметно исчез.

В проходе он опять встретился с Юсупом. Тот шел с пустой тележкой и вежливо посторонился, пропуская парторга. Рацису захотелось сказать ему что-нибудь приветливое.

— Как живем, старик? — положил он свою чисто вымытую розовую руку на костлявое плечо татарина.

— Живем помаленька, начальник, — с детской доверчивостью осклабился Юсуп. Видно было, что он ждет какого-то существенного разговора от этого широколового, важного «начальника».

— Береги-ись! — понеслось по проходу, и пол задрожал от бега тележки. Рацис с Юсупом отскочили в разные стороны и потом пошли, каждый своей дорогой.

Так Рацис и не успел ничего сказать татарину. Вероятно, этого тоже не следовало делать, — задавать пустые вопросы... Рацис был недоволен собой. Сколько он ни старался сегодня, ему никак не удавалось включиться в работу, — драгоценные ночные часы, которые он отрывал от своего отдыха, протекали впустую. Это было его первое ночное дежурство после возвращения из отпуска. Он замечал, что все вокруг для него стало другим, менее значительным, чем прежде.

Рацис пошел по стрелкам. Он проходил самый опасный участок, почти сплошную сеть скреплений. В темноте слышалось, как чмокала переводимая крестовина, затем через несколько минут обозначались вдали огни паровоза, и вместе с ветром приносило ходкий шум, удары скатов о рельсы, рывком обдавал горячий и грубый поток движения.

Рацис заглянул в ярко освещенное окно стрелочной будки. За столом, подперев ладонью лицо, сидела молоденькая женщина. Она только-что проводила поезд. Перед ней на столе лежал гаечный ключ, два свернутых флажка торчали за поясом. Она глядела перед собой большими ясными глазами и чему-то задумчиво улыбалась. О чем она думала? Что виделось ей? Быть может, она видит себя уже не стрелочницей, а по крайней мере дежурным по станции в заманчивой красной шапке... Как бы в ответ, стрелочница потрогала синий платочек на голове, точно поправила воображаемую шапку дежурного.

Рацису представился железнодорожный транспорт крутой горой, по которой люди карабкаются ввысь. Он тоже решил атаковать гору. Он видит себя парторгом большого узла... Рядом огромный город, Ленинград! Прямые, строгие улицы, чудеса архитектуры, гранитные набережные... Слышится шелковый шорох шин, волнующая переключка сирен...

Он дошел до семафора и широко зашагал обратно, возбужденный неясными мечтами. Стрелочница, — та, что сидела в будке несколько минут тому на-

зад, — старательно обчищала метлой крестовину. Синий платочек ее, в свете флюгарки, казался зеленым и зыбким. При звуке шагов она вскинула голову и строго окликнула:

— Кто идет?.. А пропуск?

«Ого, — подумал Рацис, — эта добьется до дежурного». Он протянул пропуск. Стрелочница, сжав брови, напряженно посмотрела в бумажку и неловко сунула ему обратно.

— Проходите.

В сумеречном свете флюгарки, в потоке ветра она виделась, как сквозь воду. Рацис успел рассмотреть, что она беременна, — ветер обминал платье вокруг ее выпуклого живота.

Он остановился.

— Скоро в декретный? — спросил, закуривая папиросу и изловчаясь заслонить от ветра зажженную спичку.

Женщина посмотрела на него молча и, забрав метлу, пошла в будку. Ему показалось, что она мелко-мелко заморгала глазами, как Лютикова. Его рассердило, что стрелочница могла ему не ответить или, вернее, своим молчанием сказать, что ему нет никакого дела до ее беременности и до отпуска, который ей дадут без его помощи. По странной ассоциации, мысли его перекинулись на Лютикову. Он почувствовал в этот момент, что ненавидит ее. Она встала перед ним в своей привычной куртке, в кумачевой косынке, с неуклюжими взмахами рук... Ну, куда он с такой женой?.. Куда он денет ее в блестящей новой жизни, которая грезится ему, которая вполне для него достижима? Это она, именно она не дает ему быстро вскарабкаться на гору. Приятель в Ленинграде прямо наемнул на перевод. Это было в тот момент, когда они сидели вечером у него за чайным столом. Комната тонула в апельсиновой тени пышного абажура, вкрадчиво звякали серебряные ложечки о фарфор. Цветущая молодая женщина, жена приятеля, передавала ему вазочку с золотистым вареньем.

Женщина дышала около самого его уха. Целый вечер он был застенчив, как мальчишка. Теперь он совершенно забыл ее лицо. Но это воспоминание о

чужой жизни, такой непохожей на его существование, стало преследовать его. С тех пор он упрямо думал о перемене. Если бы Агриппина на один миг подслушала его мысли... Он представил себе ее некрасивое лицо с понимающим материнским выражением. Это вызвало зlobу, желание еще раз обвинить ее в том, для чего он не находил, не мог найти точных определений. Он споткнулся о стрелочный перевод, выругался вслух и быстрее пошел к станции. Гроыхая на стрелках, подходил четырехчасовой почтовый. Небо тяжело посинело, звезды горели предуренным белым накалом. Ветер стих. Где-то колокольчато стукнулись буфера и стрекотал свисток составителя.

★

Ко Дню железнодорожника закончили ремонт общежития грузчиков. После штукатурки и побелки женщины промыли окна, расставили кровати с сетками, с чистыми матрацами. Новое постельное белье стопками лежало на табуретах. Свежеокрашенные полы блестели, точно залитые водой. В их вишневой глубине отражались чехлы на спинках кроватей, как облака в тихой луговой речке.

Начальник грузовой службы без всяких возражений утвердил скромную смету, представленную парторгом грузчиков Лютиковой. Он сказал своим финансистам, начавшим было ужимать: «Не втирайте очки. Дайте, сколько просят. Наш рабочий умеет ценить заботу о себе».

Матрена Дмитриевна встретила первую бригаду грузчиков. Это были татары. Они остановились в дверях и не решались переступить порог, растерянно поглядывая на свои грязные спецовки.

— Ай-йя-йя, чего сделали! — восхищенно покачал головой молодой художавый парень. Он толкнул в бок пожилого, и они заговорили по-татарски певучей скороговоркой.

Матрена Дмитриевна ничего не поняла из их речи. Ясно было только, что люди довольны.

— Идите в горячий душ, — сказала она, — там для вас ванна приготовлена. Мыло, полотенце, все там.

— Ну-ну-ну, — пощелкал языком молодой. — Мы думал, женьчина только языком трепишься. А ты погляди, все правильно исполнил, ай-я-я... Айда, Юсуп, купатца...

Матрена Дмитриевна прошла по длинной комнате, оправляя пушистые серые одеяла. Прикосновение к ним было приятное, теплое, в комнате пахло краской и чистотой, через окна вливались винные запахи ранней осени и паровозного дыма.

В раскрытую дверь она видела, как Лютикова, похудевшая и осунувшаяся за последнее время, суетится в такой же, как эта, нарядной спальне. То подойдет к новеньким шкафам, пробуя замки, то переставит графин, то поправит подушку. И на лице ее выражение счастья.

Недавно она сказала Матрене Дмитриевне: «Ты не замечаешь своих переживаний. Ты давно уже стала не та...». Матрене Дмитриевне захотелось побегать сейчас к Лютиковой и сказать ей что-нибудь душевное, но в дверях непрощенно выросла сухонькая Настасья Гавриловна. Она сварливо стала доказывать, что в душе надо было устроить топку не из проходной, а из предбанника, именно так, как она раньше предлагала. А теперь дрова валяются на самой дороге и тепла меньше, и еще что-то не так. Они вместе пошли в проходную.

Вечером на чисто прибранном дворе зазвучали балалайки, купленные женщинами для общежития. На крыльчке гудел и всхлипывал новенький баян, и Юсуп подпевал татарскую песенку. После ванны скулы его порозовели, на нем топорщилась белоснежная новая рубашка.

Песня вилась над двором золотой щепочкой, грустная и ласковая.

Матрена Дмитриевна налегла грудью на подоконник и, пригорюнившись, слушала. Ей не хотелось уходить отсюда. В сером небе зажглись над двором звезды, доносился смех, щелканье семечек, топот танцующих ног. А тата-

рин все пел, снова и снова возвращаясь к началу, и казалось, нет конца песне.

В спальне тенью вильнула Настасья Гавриловна, и, заметив фигуру у окна, побежала к ней меж рядов кроватей.

— Матреша, — сказала она взволнованно, — и опять же есть недовольные. Мало им удобства. Говорят: «лампочки спустите пониже в проходной и столы поставьте — почитать или письмо написать. На койках, — говорят, — сидеть неприлично; они — чистые». Это справедливо, конечно, — вздохнула она. И, помолчав, с сожалением добавила:

— Не догадались мы снять на карточку, как здесь раньше-то было, какая грязь... И повесили бы на стене. Потом бы сравнивали. А то забудется...

— Как-раз это неважно, — сказала Матрена Дмитриевна и обняла и прижала к себе легкую, как ветер, стареющую Настасью Гавриловну. — Послушай, как хорошо татарин поет. Наверное, дом вспомнил...

Сзади них послышались осторожные шаги. Кто-то передвинул тумбочку, — она приклеивалась к свежей краске пола. Человек, не зажигая огня, разделся, под отчаянный скрип сетки завернулся в простынях, протяжно зевнул и затих.

Настасья Гавриловна почувствовала, как на лоб ей закапали теплые слезинки. Обнимающая ее рука вздрогнула и ослабла.

— Вот дурная! — прошептала она, сиюсья заглянуть в лицо, крепко прижавшееся к ее лбу подбородком. — Ну, и дурная!..

Поплакав, Матрена Дмитриевна аккуратно вытерла платком глаза, высмотралась и, будто закончила какой-то обряд, с облегчением вздохнула.

— Пойдем.

К станции подходил пригородный рабочий поезд. Женщины остановились у шлагбаума. На ступеньках мелькавших вагонов стояли проводники с флажком сигнала в вытянутой руке. В тамбуре служебного вагона показалась длинная фигура главного.

— Мой-то, муженек, — кивнула На-

стасья Гавриловна и строго поджала губы.

— Все топчемся, топчемся, а Лютикова на глазах у нас пропадает... — неожиданно проговорила Матрена Дмитриевна. Ее слова покрыл раскатистый крик паровоза, пробегающего по входным стрелкам. Она быстро и упрямо досказала: — Можно позаботиться о большой массе. Это легче. А так, видно, каждому до себя только дело... В том-то и суть.

★

Настасья Гавриловна так экономно спланировала ремонт у грузчиков, что от суммы, отпущенной начальником грузовой службы, удалось кое-что урвать для комнат кондукторских бригад. Они находились в ведении Гусева, а он уперся — из станционных средств не дал ни копейки. На смете красовалась его резолюция: «Надо еще посмотреть». Это была третья и последняя редакция гусевских отказов. При первой просьбе начальник станции обычно писал: «Воздержаться». Второй раз: «Обождать». Когда же доходило до «Надо еще посмотреть», то все знали, что надежды больше не остается.

Матрена Дмитриевна с женой вагонного мастера, маленькой, пухлой и многолетней Иволгиной, с'ездила в краевой центр и купила для кондукторов немного постельного белья, чайной посуды, банные тазы и радиоприемник.

Заодно она проделала фокус, вызвавший восхищение всех активисток: в адрес станции прибыло двадцать, сверкающих черной клеенкой, новеньких кушеток, присланных налоговым платежом.

Держа впереди себя накладные, Матрена Дмитриевна плавно вошла в кабинет. Гусев вбежал вслед за ней и сразбегу толкнулся в ее упругое бедро.

— Извиняюсь! — пробормотал он, нахмураясь и покраснев. — Я вас слушаю...

— Слушать-то особенно нечего, — сказала Матрена Дмитриевна, — подпишите счет,

Гусев взял бумажку и углубился в чтение. Читал он долго, точно изучал рисунок букв. Когда затем, без единого слова возражения, он поставил свою подпись, Матрена Димитриевна даже опешила. На минуту у ней явилось доброе чувство к этому начальнику, доставлявшему до сих пор активисткам одни неприятности. Но доброе чувство исчезло, как только он заговорил.

— Первый и последний раз. Не могу, не могу. В деньгах все дело. Не имею права из кассы станции брать... Только для вас уважил... Исключительно потому, что это ваши личные труды, дорогая, симпатичная Матрена Димитриевна...

Он задержал в руке счет и с искренним восхищением посмотрел на Матрину Димитриевну, такую прекрасную с ее нежным белым лицом и гладкими золотыми волосами, с обнаженными по локоть круглыми руками. Ему было жаль отдать ей счет, как будто он держал не бумажку, а руку этой милой женщины.

— Во-первых, не мои личные труды. Вдвоем с Иволгиной ездили, — жестко оборвала его Матрена Димитриевна. — И пришлось, к вашему сведению, ехать по больничным листкам. Эх, и горе нам с вами, начальник! Кажется, для вашей же пользы делаем, а вам жалко выписать проездные билеты...

Она вытащила из сумки два больничных листка с подписью врача и печатью краевой поликлиники.

— Полюбуйтесь, какая картина! Врать, говорю, пришлось. Иволгина признала у себя ревматизм, коего сроду не имела. Я думала, думала и сослалась на сердечную болезнь... Спасибо еще, врач самостоятельный попался, на совесть поверил...

— Это у меня от вас сердечная болезнь, уважаемая Матрена Димитриевна, — умоляюще прижал руки к белому френчику начальник станции. На молодом его лице отразилось неподдельное чувство.

— А, представленья одно!.. — раздраженно махнула рукой Матрена Димитриевна. — Давайте счет.

И, безжалостная, прекрасная, пошла из кабинета.

★

Оставаясь один, Вовка чувствовал себя полным хозяином в комнате. За последнее время у него установились свои навыки: посуду он не мыл, а «облизывал» корочкой, приучил шпица Гвоздика ловить пищу с лету; кухонное полотенце он накидывал на шею манекену и завязывал в виде пионерского галстука. Вернувшись домой, Матрена Димитриевна первым делом развязывала полотенце и сердито ворчала: «Всю горловину засалил». Но Вовка не мог побороть себя — ему очень нравилось, что манекен в галстуке.

Вовка был рыженький, со сдавленным в висках лбом, весь в отца. Портрет отца висел над кроватью: из кабины паровоза высунулся до половины туловища светлобрый машинист в мятой кепке. Вовке было 7 лет, когда отец умер от воспаления легких. Хотя прошло уже два года, Вовка хорошо все помнил. Они жили в этой же комнате, в новом двухэтажном доме, населенном железнодорожниками.

Сделавшись активисткой, Матрена Димитриевна стала меньше заниматься хозяйством. «Ты, Вовуша, потерпи, — говорила она, — вот войдет все в норму, и опять сделаю твои любимые вареники... А пока, Вовик, давай кашу сварим или макароны. Видишь, мне некогда, надо бежать».

Уходя, она на пороге неизменно оборачивалась и говорила:

— Смотри, ешь как следует, — там все приготовлено. Только работу мне не испачкай.

«Работой» называлось скроенное шитье, покрытое чистой салфеткой на краю стола, — к пенсии мужа Матрена Димитриевна немного прирабатывала.

Из коридора она обязательно возвратится еще раз и напомнит:

— Не забудь вывести Гвоздика. И, пожалуйста, держи порядок в комнате: мне некогда за тобой прибираться.

После этого окончательно уйдет.

Вовка год уже как ходил в школу. Во дворе у него было много товарищей. Летом он бегал с ними по целым дням. Ему тоже было некогда прибраться за собой — где бросит одежду, там она и валяется. Матрена Дмитриевна вернется вечером, когда Вовка уж в постели, повесит все, ни слова не говоря, да еще приласкает: «Головастик ты мой рыженький».

Один раз Вовка случайно увидел в зеркале штаны на столе и скомканный чулок с красной резинкой. Неожиданно это поразило его своим безобразием. После этого он стал платье вешать.

Недавно Вовка обнаружил на столе рядом с «работой» новый предмет. Это была тонкая книжечка под заглавием: «Работа билетного кассира на железнодорожном транспорте». Вовка прочитал первые строчки. Показалось очень скучно, он бросил. Он знал, что мать стала ходить на какие-то курсы, но его это мало интересовало. Больше всего его сейчас занимали маневры. Оставаясь один, Вовка подымал с Гвоздиком возню: он был составитель, Гвоздик — маневровый паровоз.

— Один длинный! Ту-у! — гудел Вовка и толкал Гвоздика вперед.

— Один длинный, два коротких! Ту-у... ту-ту, — и спиц, огрызаясь и повизгивая, пятился назад — Вовка тянул его за хвост.

— Принимай с ходу! Принимай с ходу! — кричал он невидимому сцепщику и стучал двумя цинковыми тарелками одна о другую, изображая стук буферов.

В своем азарте он иногда не замечал, как входила мать. Так было и в этот раз. Она встревоженно оглядела комнату и, увидев, что «работа» на столе невредима и нигде не заметно следов с дурным запахом от Гвоздика, успокоилась.

— Что ты с'ел на завтрак? — спросила она Вовку.

— Творог, четыре блинчика и одну вилку, — ответил Вовка, озабоченно осматривая погнувшиеся тарелки.

— Ненормальный... — покачала головой Матрена Дмитриевна. Она на-

клонилась к мальчику и отвернула его воротник.

— Скинь эту рубашку, она грязная.

Вовка дернул рубашку через голову. Неотстегнутая пуговица у воротника отскочила и покатила по полу. Спиц, воспользовавшись перерывом в маневрах, сидел на диване и, с умной искоркой в глазах, наблюдал жизнь. Навострив уши, он внимательно проследил за пуговицей, пока она не закатилась под диван. Потом он стал следить за Вовкой и Матреной Дмитриевной, предупредительно пошевеливая хвостиком.

Из комода была вынута новая косоворотка, васильковая, в белую полосочку.

Вовка, прежде чем надеть, смял ее комом и прижал к своему носу, пестрому от веснушек.

— Почему-то пахнет клюквенным киселем.

— Выдумал! Ну, надевай скорее...

Вовкина рыженькая голова исчезла в хрустящей материи. Он беспорядочно задергал внутри руками.

— Мам, сколько, по-твоему, орденов у Ворошилова, мам? — возбужденно спросил вовкин голос из рубахи.

— Не помню. Стой, как следует! Вдень в рукава! Не сюда, не сюда!..

— А какие они по-твоему?

— Что «какие»? Не так пуговицу застегнул. Ворот не тесен?

— «Что-о-о»!.. Ордена, конечно... Какая ты, право, — плачущим голосом проговорил Вовка. — А хочешь, я скажу? Один Красной Звезды, два Ленина, три боевого Красного Знамени. Они у него так привешены, — Вовка зажмурился и потыкал пальцем в воздух, — так; так—так; так—так—так.

Сели обедать. У Матрены Дмитриевны еще не улеглось раздражение против Гусева. Оттого, что ей не с кем было поделиться, у нее начала разбавиться голова. Она не заметила, как сами поспались слова:

— Прислали на наше несчастье. От горшка три вершка, а туда же... С таким нужно терпенье ой-ой-ой...

— Это кто — от горшка три вершка? — полюбобытствовал Вовка, незаметно бросив шпицу кусочек мяса.

— А тебе что, скажи на милость?

— Начальник станции? Да? Я так и знал. Мам, а я мог бы быть начальником станции?

— До начальника надо дослужиться.

— А он как дослужился?

— Он, говорят, был сначала конторщиком, потом телеграфистом... Не скармливай собаке мясо, думаешь, я не вижу? Какое же это «с жилами»? Ни одной жилки... Потом он оператором был, а после оператора дежурным по станции, и тогда уже начальником.

— А до конторщика?

— До конторщика, говорят, был пастухом, точно не знаю.

— Значит, и я должен быть пастухом? Ого! Ничего подобного.

— При чем тут ты? Не прыгай, пожалуйста, когда ешь. Сиди, как следует.

— Я буду сразу начальником станции. Мы с Гвоздиком окончим транспортную академию, и я буду начальник, а он у меня дежурный по станции.

Гвоздик, от признательности, что назвали его имя, громко застучал хвостом о пол и положил Вовке лапы на колени, приготовясь к прыжку.

— Пошел, пошел! — закричала Матрена Дмитриевна, стукнув шпица по носу. — Приучил собаку, чуть не на стол лезет...

— Зато кассиром я ни за что не буду, — продолжал Вовка, покаясь на брошюру. — Сиди в будке, как обезьяна...

— Ничего ты не понимаешь, — сказала Матрена Дмитриевна, накладывая Вовке дымящейся гречневой каши и зарывая в нее ломтик сливочного масла. — Разомни, как следует... Теперь кассир совсем не то, что раньше. Теперь кассир — общественник. Он все делает для удобства пассажиров. Встречать транзитников, например, он едет за несколько станций. С каждым поговорить: куда едете? где вам пересадка? И тут же раздаст билеты. Это все равно, как общественная работа. Его все пассажиры уважают, знают в

лицо. Разве сравнить с прежним кассиром?.. Зачем ты разбрасываешь кашу? Ты с ума сошел!

— Мам, он привык, честное слово! Он иначе не может есть!

Гвоздик был изгнан в коридор, обед кончался без него.

— Этот способ придумал один сибирский кассир, Аладин по фамилии. Помнишь, его фотография была в «Ударнике транспорта»?

— Мам, почему танк может через горы, а паровоз нет?

Матрена Дмитриевна умолкла: ее собеседник совершенно не способен был вникнуть в то, чем она жила сейчас, что заполняло ее мечты. Она деловито приподняла брови и, доедая кашу, задумалась о том, что если бы не Аладин, то она наверняка изобрела бы этот простой и замечательный способ. И еще она думала, что много, вероятно, таится чудесных возможностей в этом деле, и она, став кассиром, обязательно их откопает, обязательно проведет в жизнь.

— А ты скоро будешь кассиром? — из вежливости спросил Вовка, чтобы мать перестала быть грустной.

— Кто тебе сказал? Вот дурачок! Может, еще не буду. Начальник не хочет.

«Вот в самом деле идиот! — подумала Матрена Дмитриевна о Гусеве. — Сказать Агриппине Ивановне этукую чушь: «Фокина достойна лучшего положения, такими кассиршами пробросяемся». Нужно мне его «положение», упрямый чорт.

— Почему не хочет? — допытывался Вовка.

— Чего пристал, боже мой! Поди, спроси его.

— Хорошо, я спрошу.

— Не вздумай! Смотри ты у меня!

Она сняла рабочее платье и надела более нарядное, темносинее, из легкой материи, с белым поясом и белым воротничком. Пока она переодевалась, на нее вдруг напал страх, что Вовка действительно способен наболтать неизвестно чего Гусеву, и тот ему скажет неизвестно что... и все запутается, и нельзя будет никуда глаза показать.

— Если ты у меня, только посмеешь ногой к нему ступить... Слышишь?

Вовка усмехнулся и ничего не ответил. Он держал в руках цинковые тарелки, исполняющие обязанности буферов, и пробовал их выпрямить.

— Смотри, Владимир! Не подумай у меня... — с мольбой в голосе сказала она с порога. — Я сейчас схожу сделаю примерку Иволгиной, а потом у меня — женское собрание... Так слышишь?

— Ладно, ладно, — снисходительно проговорил Вовка. — Не расстраивайтесь, пожалуйста. Вам вредно.

«Совсем забросила я мальчишку, — горестно подумала Матрена Дмитриевна. — Придется что-то с ним предпринять. Так больше нельзя».

— Гвоздик, оп-ля! — понеслось по коридору. — Один длинный...

★

В парткабинете, душной комнате с двойными рамами, не выставившимися все лето, шло собрание активисток.

Женщины отчитывались в работе за последний месяц, намечали планы к зиме. Лютикова слушала и короткими движениями руки поглаживала жесткий от пыли кумач на столе.

В стороне, около книжных шкафов, сидел Рацис. Он повернулся боком к собранию и внимательно перечитывал корешки им же самим расставленных книг. Все ждали, когда он выступит.

За последнее время он совершенно неожиданно принял горячее участие в работе активисток, ездил вместе с ними на будки путевых обходчиков. Женщины побывали на каждой будке. Они обстригли вихрастых малышей и раздали им нарядные книжки. Жены путевых обходчиков, застенчивые, привыкшие к одиночеству пустынных километров железной дороги, впервые собрались вместе. Для них устраивались концерты, постановки, радиопередачи, — активистки несли с собой патефоны и радиопередвижки, баяны и балалайки. В будках они оставляли га-

зеты и книги; они добывали материалы и средства для ремонта квартир...

— Как у тебя душно здесь! — сказала Лютикова и встала открыть форточку.

Рацис повел головой в ее сторону, шевельнул пухлыми надбровьями и посмотрел куда-то мимо, в угол. Затем снова углубился в изучение книжных корешков.

Вот он встал и подошел к столу. От его ослепительно белой сорочки с воротником «фантазия» пахло чистотой и какими-то нежными духами.

Он всегда говорил с горчичностью, энергично и при этом помогал себе рукой, напряженно поддерживал тяжесть. И сейчас он заговорил с обычным напором, а рука приготовилась, чтобы поддержать невидимый груз.

— Ваше движение ширится и растет. Политически это огромный плюс для нашей станции. Особенно эффективны такие мероприятия, как поход на будки... в массы... поднятие культурного уровня широчайших масс. Растет новый человек...

Он подбрасывал слова, как большие круглые камни, и они ложились все на одинаковом расстоянии. Это было красиво. Женщины были довольны.

Лютикова провела рукой по жесткому кумачу и сказала:

— Я думаю, все ясно. Главное, не ослаблять работу. Самое рациональное (она любила употреблять иностранные слова и часто произносила их неправильно), самое рациональное, как отметил товарищ Рацис, не ослаблять связь с массой.

Рацис, ходивший взад и вперед вдоль шкафов, резко остановился.

— Если ты имеешь такое болезненное пристрастие к иностранным словам, — снисходительно сказал он, — то хотя бы произноси грамотно. Что это за «рационально»? — Он все больше и больше раздражался и стал совсем малиновый. — Ра-циональ-но! Ра-дио! Разум по-латински! Надо знать, что говоришь, товарищ Лютикова. А не знаешь, не делай из себя посмешища!

— Я прошу тебя замолчать, — тихо произнесла Лютикова, не глядя на собрание.

— Самое возмутительное, когда человек берется не за свое дело, — продолжал наступать Рацис, бегая выпученными глазами по испуганным лицам женщин. — Надо уважать людей...

— Если кто и не уважает людей, так это ты, — резко сказала Лютикова, и в лице ее засветилось отчаяние. — Ты — карьерист, товарищ Рацис, — крикнула она и ударила по столу карандашом. — Ты и в нашу работу вязался ради карьеры! Чего ты от меня хочешь?

— Я хочу... чтобы руководство было культурным, — хриплым, срывающимся голосом сдержанно выговорил он, — а поэтому...

— Ах, твоя культура, Ян... — горько усмехнулась она и прикрыла ладонью глаза. — Хоть здесь оставь меня в покое... дай нам работать...

Последние слова она сказала совсем изнеможенно, и всем показалось, что она тяжело больна. Это сразу дошло до сердца женщин, поднялся шум, вскочила маленькая Иволгина и, задыхаясь от волнения, прокричала:

— Это, по-вашему, уважать? Это, по-вашему, уважать?..

Настасья Гавриловна пробилась вперед; перегнувшись через стол, почему-то басом кричала:

— А еще нас учите! Какая ненормальность! Да. Вот именно!

Лютикова отмахивалась от крика, как от назойливых мух, сжимала руками голову: «Ладно вам, товарищи! Полно! Да будет вам!».

Матрена Димитриевна решила взглянуть на Рациса. В его сузившихся глазах промелькнул страх. Он испугался, это было ясно.

★

...Итти домой Лютиковой было тяжело. Она зашла в буфет выпить чаю. Скорые поезда мчались навстречу друг другу, чтобы разминуться на

станции Гребешки. В зале I класса уже играла музыка, носились запахи жареного лука и подгорелого мяса. Гусев ввел еще одно усовершенствование: винная стойка в буфете вся светилась цветными столбиками — за каждой бутылкой была спрятана электрическая лампочка. Лютикова сначала не поняла и, пораженная, остановилась у входа — стойка удивительно напоминала алтарь.

Лютикова села за столик под пыльной пальмой с войлочным стволом. Скрипач с чувством выводил «Беседку». Она ненавидела этот романс. Рацис привез из Ленинграда пластинку и постоянно ее ставил. Лютиковой всегда представлялось, что поет толстый человек с черной бородой, в неприятном, закапанном соусом пиджаке...

Пол и стены зала загудели — прибыли скорые. Пассажиры с трагической поспешностью вбегали в зал, точно спасались от преследования.

Лютикова уже раскаивалась, что зашла сюда. Все раздражало ее — и кухонные запахи, и фальшивые пальмы, и розовая лысина буфетчика, отражавшая, как зеркало, мутные огни бутылок.

Она направилась домой через зал III класса. В людской каше то здесь, то там взрывался детский плач. Воняло пеленками.

— И он смеет до сих пор не давать комнаты матери и ребенка, — вслух сказала Лютикова. В ней закипала ярость. — Сию минуту привести сюда этого мерзавца!

Она вспомнила, под каким предложением отказал Гусев передать маникюрную для детей: «Не оправдается потребностью».

— Пусть увидит собственными глазами!

И она помчалась его искать.

Она обегала весь вокзал, слетала в парк прибытия и отправления, обыскала грузовой двор, на всякий случай сбегала на его квартиру, потом к диспетчеру, к дежурному по станции — Гусева не было нигде.

Огорченная, она пошла домой. Не смотря на поздний час, окна ее флигеля были освещены. Играл патефон.

От палисадника метнулась тень и скрылась за огородом. Лютиковой почудился белый френч начальника станции.

— Что за чушь? — удивилась она и вошла в дом.

В ярком свете ее поразило покрасневшее, натянутое лицо Матрены Дмитриевны. На диване, лениво развываясь, полулежал Рацис.

Лютикова почувствовала, как резкая головная боль обручем охватила ей голову. Матрена Дмитриевна вскочила, оправляя нарядное синее платье.

— Что же ты пропала? Ах ты господи! Я — и в местком... и по стрелкам прошла... и у дежурного... — волнуясь, перечисляла она. — Надо же выяснить... надо подготовить...

Лютикова бросилась к патефону и сдернула мембрану с орущей пластинки.

— Не могу я! Я больше не в силах! Идите вы все к чорту! Завтра будете объясняться.

Она ушла в спальню, бросив за собой обе половинки двери. Рацис насмешливо пожал плечами и потянулся к столу за папиросой.

Матрена Дмитриевна в ужасе всплеснула руками:

— Агриппина Ивановна! Чудачка! Какое же завтра? Ты что?

Она приоткрыла дверь и требовательно заговорила:

— У меня была Петренко с час тому назад. Начальник политотдела велел тебя разыскать немедленно. В 4 часа утра через нашу станцию проезжает культэстафета из Москвы. Активистки должны встретить ее на вокзале. Надо ж оповестить всех. Без тебя как? Ну?

— Очень ответственный момент, — сказал, зевая, Рацис. — Вот вы, женщины, и покажете себя.

Лютикова провела рукой по лицу, словно снимала с себя паутину, противную, липкую. Она перевязала косынку на голове и вместе с Матреной Дмитриевной вышла из дома.

★

Поезд остановился на станции Гребешки ровно в 4 часа. Светало. Из вагона вышли три загорелых парня в защитных гимнастерках.

Активистки явились все до одной — 22 домохозяйки и Лютикова. Неожиданно пришел и начальник политотдела, Степан Андреевич Харитонов, молодой курчавый блондин с широкими плечами грузчика.

Когда парни по-военному вытянулись перед ним, а потом с тем же мужественным выражением на молодых лицах повернулись к женщинам, — у Матрены Дмитриевны клубок подкатил к горлу.

Она разволновалась и не смогла сказать рапорт, как ей поручила Лютикова. Та, улыбаясь, отстранила ее плечом и выступила вперед.

— Здорово, товарищи! Привет Москве! — звонко сказала она, широко взмахнув руками. И всем сразу стало хорошо, все задвигались, засмеялись, обступили эстафетчиков.

Лютикова коротко рассказала, что сделано женщинами станции Гребешки, и спросила эстафетчиков, как дела на линии.

— На культурном фронте у нас еще слабовато, — сказал один, смущаясь, переступая с ноги на ногу. — Пришлось кое-кого отдать под суд... которые тормозят... Ну, словом, играют на руку врагу. Или такое дело: местком не может выписать литературу... печи, понимаешь, дымят, — преступление! Зато на вашем участке...

Эстафетчик оглядел женщин тепло засветившимися глазами. На оливковом его лице блеснула во весь размах белозубая улыбка.

— На вашем участке точно и люди стали другими. Вот вы умолчали о таком факте, — обратился он к Лютиковой, — а нам с товарищами он очень запомнился. Одному переездному сторожу вы привезли библиотечку. Он всю ее перечитал. Говорит: «Теперь мне веселей свой переезд подметать. Вся жизнь передо мной прошла в этих книжках, и свою я стал лучше пони-

мать...». Его участок блестит, — ни соринки! Мы узнали, что даже огороды у железнодорожников на вашей дистанции разбиты с помощью женского актива. Засей каждый клочок! У стрелочных будок мы нашли цветы и газоны, в путевых кузницах — красные уголки...

Он перечислял пекарни, бани, — где активистки организовали ремонт, — квартиры и общежития, обновленные при их участии, — и перед Матреной Дмитриевной впервые вставала такой огромной, такой значительной их работа.

Впереди всех стояла Настасья Гавриловна, сухонькая, прямая, в ситцевом платьишке и белой косынке, словно школьница. Она стояла, как всегда, немного подавшись назад и влево. У большинства активисток были приколоты к кофточкам значки ворошиловского стрелка и противовоздушной обороны, — Лютикова сама руководила этими кружками.

— Не больно-то захваливай моих женщин, — улыбнулся начальник политотдела эстафетчику, — чего доброго, у них голова закружится. Впрочем, не буду скрывать, с такими не пропадешь... Ну, счастливо! Передайте их опыт дальше.

Ударил звонок. Главный приложил к губам свисток и вопросительно оглянулся на начальника политотдела. Тот махнул рукой: не задерживайся, мол, делай свое дело. Свисток залокотал стальной трелью вдоль состава. Женщины торопливо жали руки эстафетчикам.

— Вот наш организатор, — сказал начальник политотдела, подталкивая вперед Лютикову. Та засмеялась, мелко заморгала глазами и похлопала по плечу паренька, уже взобравшегося на подножку. Поезд дрогнул, заскрипел, как новый кожаный чемодан, и поплыл.

— В Москве расскажем! — высунулись эстафетчики из тамбура. И долго махали платками.

Харитонов взял под руку Лютикову и широко зашагал по перрону за поездом. Женщины побежали, догоняя их.

У края платформы начальник круто повернулся, не выпуская локтя Лютиковой, и сказал с напускной строгостью, как детям:

— А теперь спать, спать, спать, полуношницы!..

У него был вид сильно переутомленного человека. Матрена Дмитриевна вспомнила, что недавно у него умерла единственная дочь. Она уже училась в техникуме. «Так вот почему он так изменился» — подумала Матрена Дмитриевна.

Он уже был у вокзального садика. Оглянулся перед тем, как свернуть за угол, и по-пионерски поднял руку.

— Только такого человека можно полюбить всей душой, — вырвалось у Матрены Дмитриевны. — Верно я говорю, Агрипина Ивановна? — и она положила свою голову Лютиковой на плечо.

Настасья Гавриловна остановилась около них, лукаво прислушалась.

— О чем размышлялась, — шутливо мигнула ей Лютикова.

Она пришла к себе красивую русую голову женщины, стараясь не глядеть ей в глаза. В эту минуту представилась ей такой обидной, такой унижительной вчерашняя ревность.

— Ты не поняла меня, — сказала Матрена Дмитриевна, сурово отстраняясь. — Я хотела сказать, что я лишь теперь по-настоящему-то жизнь увидела. Вот что.

★

Мебель из маникюрной спешно перетаскивали в парикмахерскую. Начальник станции, наконец, согласился, уступил помещение для комнаты матери и ребенка. Это стоило Лютиковой многих часов ожиданий, долгих розысков его по всей станции, просьб, угроз, угроз.

Разрешение последовало в такой форме:

— Валяйте, валяйте! — сказал он. Но вслед ей пробурчал: — А там надо будет еще посмотреть...

И так как подобное разрешение походило на угрозу, то Лютикова пору-

чила Матрене Дмитриевне проследить за переселением, а то, чего доброго, передумает в последний момент.

Между поездами на перроне было пустынно. Уборщица, в калошах на босу ногу и в мятом сером халате с большими оттопыренными карманами, вяло помахивала метлой. Матрене Дмитриевне почудилось, что в отдалении мелькнул белый шпиц. Она заглянула за угол здания и обомлела.

У забора вокзального садика стоял начальник станции, а перед ним Вовка со спицем. Ветер трепал кусты акаций, начальник станции придерживал рукой фуражку и, вытянув шею, что-то говорил. Вовка нетерпеливо дернул плечом:

— Это неважно. Она мне сказала... — прозвенел его голосок.

Шпиц угодливо пошатывал хвостиком. Совсем расстроенная, Матрена Дмитриевна вошла в парикмахерскую.

Здесь все было сдвинуто с мест. В дверь с треском просунулся чернобрый детина с трельяжем на плече.

У окна стояла толстая маникюрша Духовная, в черном платье с белыми молниями. Она нервно теребила носовой платочек. Ручки у ней были крошечные, как два белых перышка, такие неожиданные при ее комплекции.

— Я ему прямо скажу: вы обещаете одно, а делаете совсем, совсем другое, — гворила она заплаканным голоском. — У него постоянно какая-то задняя мысль. Я никогда не думала, что у начальников станции одни только задние мысли...

— Мы найдем для вас по случаю шикарную ширму, — утешал ее парикмахер. — Мы заставим его купить. Клянусь, вы займете здесь уютенький уголок...

Она кусала свои хорошенькие губки, чтобы удержать слезы.

— В таких условиях невозможно работать...

Матрена Дмитриевна с ненавистью посмотрела на маникюршу и уселась в сторонке караулить помещение, как ей приказала Лютикова.

— Вы сказали «условия»? Так, по-вашему, у меня есть условия, — поко-

сился парикмахер на детину, который шумно продирался в дверь с массивным мраморным умывальником подмышкой. — Главное, сохраняйте себе нервы, гражданка Духовная (он сделал ударение на «а»). Вы спросите, что я делаю? Я сохраняю себе нервы. И, между прочим, я не видал, кто еще здесь настолько вам сочувствует, не жели я...

При этих словах парикмахер оглушительно закашлялся, как будто его схватил коклюш: на пороге стоял начальник станции. Он с неудовольствием обжегал глазами нагроможденные вещи. Заметив Матрену Дмитриевну, смутился и исчез. Немного спустя он появился опять, кивнул ей:

— Попрошу вас ко мне в кабинет.

У ней заколотилось сердце. Сразу вылетел из головы Вовка с его ослушанием, — ее все время мучило, о чем они говорили у вокзального садика, — осталось одно: передумал, отбирает комнату.

Твердо решив не сдаваться, она вошла в кабинет.

«Волнуется... догадалась» — удовлетворенно сказал себе Гусев, заметив, что у женщины дрожат губы и на висках выступили красные пятна.

Он давно уже привык в мыслях видеть ее своей женой. Он ясно рисовал себе, как она хозяйничает в его пустынной кухне. Они обедают вместе. В квартире стоит домовитый запах котлет с луком. Вот она протирает в его столовой окно: приподнялась на носочки, чтобы повыше достать. Ноги у ней полные, молочно-белые. Она ловкая, быстрая, приятная... Сегодня он примирился и с мыслью о рыженьком Вовке. Мальчишка ему понравился. Нет никаких оснований откладывать объяснение. Надо это сделать сейчас же, не теряя ни минуты, до прибытия товарного № 1024.

Он начал нежным, глубоким голосом:

— Дорогая Матрена Дмитриевна... Каждый вопрос, дорогая, требует проработки. Но вам, я уверен, уже ясно...

— Мне очень даже ясно, — отозвалась Матрена Дмитриевна, с трудом

сдерживая гнев. — Но и начальнику дороги тоже станет ясно. Я согласна лишь в том случае...

— Я так и знал, что она согласится... Я так и знал... так и знал... — волнуясь, твердил Гусев, обходя свой обширный письменный стол и протягивая к Матрене Дмитриевне руки. — Никакой начальник дороги не властен нам запретить... Нет такой силы...

— Вот именно он властен вам запретить. Есть на свете сила, неправда! — поднялась Матрена Дмитриевна, сверкая глазами. — Женщинам с малыми детьми, по-вашему, валяться на полу? А для маникюрши отдельная комната, дамские когти полировать? Правильно сказала товарищ Лютикова: давно надо сообщить начальнику дороги, какую вы здесь буржуазию разводите! Замучил вконец! — обратилась она к кому-то невидимому и подняла кверху руки. — Что делает? А? Сегодня разрешает, а завтра: «вопрос требует проработки». Да что ж это, а?

— Не о том я... не о том! За что вы меня так? Вот несчастье-то!..

Повядший и жалкий, Гусев опустил-ся на краешек дивана, стиснул на коленях руки.

Когда за разъяренной женщиной захлопнулась дверь, он еще не сразу пришел в себя. Слышно было, как прибыл товарный № 1024. Главный кондуктор о чем-то спорил на перроне с дежурным, — наверное, требовал немедленной отправки, или, может быть, понадобилась отцепка, — Гусеву теперь было все равно. Зазвонил телефон. Из материального склада спрашивали разрешения выдать кондукторам новые спецовки. Сначала Гусев подумал — пусть берут, ему совсем не жаль кондукторских спецовок, сложенных на складе аккуратными стопками и пересыпанных нафталином, пусть кондуктора носят их...

Но вдруг, против своей воли, он злобно сжал в руке телефонную трубку.

— Никаких спецовок! Надо еще посмотреть! — полным голосом крикнул он, возбужденно розовея.

В трубке что-то скрипнуло, и постороннее принесло шумный вздох тол-

стого человека. Красное лицо заведующего складом, наверное, было в этот момент недоумевающим. Гусеву стало приятно. Он больше не думал о своей неудаче, — он стал искать виновников ее. Лютикова! Она натравливает на него всю станцию. Она — главный его враг. Если так, то он сумеет ей отомстить!

Этим он окончательно себя успокоил — он поступал, как умел, — и, приободрившись, побежал в буфет обедать.

★

Матрена Дмитриевна тревожно допрашивала Вовку:

— Что ты ему сказал? Ну, он тебе? Ну, о чем вы говорили?

Вовка болтал ногами, сидя на стуле, и озабоченно ковырял гвоздем испортившийся свисток, который он употреблял при маневрах. На вопросы матери он или совсем не находил нужным отвечать, или отвечал крайне неточно и высокомерно.

— Так, о разных вещах. Буза. Ничего интересного... Спросил, между прочим, давно ли умер папка и вспоминаешь ли ты его, — лезет тоже. Еще кое-что спрашивал... Колька-гад напустил слюней, от этого и не свистит.

— Брось свисток, Владимир! Можешь толком ответить или нет? Что он тебе еще говорил? А ты ему что? Наболтал чего-нибудь?

Вовка спрятал свисток за спину и вызывающе крикнул:

— Нужен он мне, твой начальник! Пристала тоже.

Он нахохлился и, опять принявшись за свой свисток, проворчал:

— И вовсе он мне не понравился... Квельый какой-то.

— Кве-елый... — передразнила Матрена Дмитриевна, окончательно потеряв надежду добиться чего-нибудь от Вовки. — Ты и слова-то этого не понимаешь! Болтает, сам не знает что. Оба хороши. Один выпытывает у малого, а другой распустил язык и плетет, и плетет...

— Между прочим, приглашал заходить, — сказал Вовка и изо всей силы

дунул в свисток. Вырвался раскатистый свист. Вовка радостно вскочил и дернул за хвост задремавшего на диване Гвоздика.

— Паровоз! На место!

— Что ты сказал? Повтори! Это тебе чтоб к нему заходить? Вот я тебе покажу... Ты у меня только попробуй заходить. Попробуй... только... но-огой ступить...

— Ой, мам, честное слово...

Вовка забежал за стол. Гвоздик с громким лаем прыгал по комнате, приняв это за начавшиеся маневры.

— Я ж тебе сказал, кажется, — назидательно говорил Вовка, — он — квелый, и я к нему, может быть, не пойду.

Матрена Дмитриевна, тяжело вздохнув, принялась за шитье. Книжечка о железнодорожном кассире, спрятанная в «работу», вывалилась из свернутой выкройки. Матрена Дмитриевна сжала красивые пушистые брови и несколько минут напряженно рассматривала рисунок билетного станка на обложке.

Вовка неслышно шагнул к ней сзади и, через ее плечо, вытянув голову, тоже рассматривал картинку.

— Мам, — тихонько сказал он, щечка себе лоб о мелкие золотистые волосы, выбившиеся у матери из прически, — он еще сказал, что твоей матери незачем быть кассиршей. Приходи, говори, я тебе подарю хорошенькую вещичку.

Матрена Дмитриевна порывисто обернулась и притянула к себе рыженькую, сдавленную в висках вовкину голову. Она поцеловала несколько раз его жесткие волосы, пахнущие, как у всех детей, сухими цветами и солнцем, и, волнуясь, проговорила:

— Мерзавец он, Вовинька, нехороший он человек.

— А кассиршей ты все-таки будешь? — спросил Вовка, дыша прижатым носом в материнскую кофточку.

— Обязательно буду!

Вовка отодвинул свое лицо от кофточки, внимательно посмотрел снизу на чуть вздрагивающие губы матери и спокойно, как взрослый, сказал:

— Я к нему не пойду. Ты не бойся.

★

Ночью Лютикова дежурила на путях. На станции текла привычная ночная жизнь. Горели по стрелкам флюгарки. На путях бегал маневровый паровоз, собирая порожняк, проталкивая груженные вагоны. Свистели сцепщики и составители. Звякали буфера.

Лютикова оглядывала хозяйским глазом разноцветные огни сигналов, проверяла стрелки. Из будки вышла молоденькая стрелочница с фонарем в руке. Под брезентовым плащом у нее выпирал большой живот, но двигалась она легко и, как заметила Лютикова, с особой отчетливостью просигналила фонарем маневровому паровозу.

«Хорошо сигналист» — подумала Лютикова и вспомнила, как недавно на производственном совещании жаловались составители на некоторых нерадивых стрелочников.

— Машет над головой фонарем, как попало. Неизвестно, кому он сигнал дает — машинисту или облакам.

Стрелочница узнала ее, окликнула:

— Агриппина Ивановна? Привет! Завтра в декретный ухожу... Неохота.

— Брось, брось. Не поверю. Больно храбрая, — с шутливой строгостью сказала Лютикова и погрозила пальцем. Она побыстрее прошла, чтобы не отвлекать стрелочницу от дела на посту.

Женщина возбужденно засмеялась и прокричала ей вслед:

— Какая храбрость, подумаешь!.. Боюсь, стрелку без меня запустят. Первенство потеряю. Моя — самая первая.

Маневровый паровоз пятился обратно, составитель высвистывал путь. Молоденькая стрелочница звонко проиграла на рожке и сделала несколько круглых взмахов фонарем. В темноте было похоже, будто кружится большая желтая звезда.

«Первенца будет рожать. Счастливая!» — с завистью подумала Лютикова о стрелочнице.

Недавно муж ее, грузчик, приходил к Лютиковой оформлять какой-то документ и сказал, смущенно глядя себе в ноги: «Думаю — чижало нагинать»

ся, хотел разок стрелку ей почистить, так она на меня с метлой!».

Лютиковой пришло на память, как на-днях она рубила дрова у себя на дворе. Рацис пробежал мимо, нагнув голову, притворившись, что не замечает...

В душе скопилась целая очередь больших и малых обид. Вслед за одной пошевелились остальные. Лютикова ощутила почти физическую боль. Чтобы не думать, она начала с преувеличенной тщательностью осматривать каждую крестовину, пробовать болты, гайки у стрелок. Нашла несколько слабых болтов, заметила себе, чтобы указать стрелочнику. Она отскочила, пропуская юркий паровозик «ОВ», мчащийся тендером вперед. Паровоз прошипел горячими струйками пара, грузно простучал колесами, с движущимися как человеческие локти, дышлами, и убежал в темноту.

— Добрый вечер! — слышался знакомый глуховатый голос. Она сразу узнала начальника политотдела.

— Дежуришь? Как будто бы все в порядке. Стрелочники не спят.

Заскрипел песок под сапогами, — он перепрыгнул кувет и вынырнул из темноты в светлый круг под фонарем. Белокурые волосы его, выбившиеся из-под красноармейской фуражки, казались на свету седыми.

— Бдительность проверяешь?

— Проверяю себя, начальник, — напряженно засмеялась Лютикова. — Иду, вот, и думаю: вероятно, нет у меня таланта жизни.

— Что так?

— А... ерунда. Ничего в общем, — спохватилась она, испугавшись своей неожиданной болтливости. Что, в самом деле, она ему скажет? Чем он поможет ей, когда неизвестно даже, какими словами об этом говорить. Умные советы она сама умеет дать любому.

— Главное, Степан Андреевич, комната матери и ребенка у нас заработала во-всю. Зашел бы, поглядел.

— Обязательно зайду, — рассеянно сказал Харитонов, обдумывая, стоит ли показать ей то омерзительное, грязное письмо, полученное им несколько дней

тому назад. Он как положил его тогда в боковой карман френча, так оно и лежит там. Хотел вызвать ее, но пожалел сорвать настроение — женщина с головой в работе.

«Быть может, я неправильно поступаю, умалчивая, — сказал он себе. — Вернее не ошибешься, говоря всю правду».

И он отстегнул клапан бокового кармана.

— Получил на-днях письмо одно, касающееся тебя. Думаю, лучше тебе его показать. Вернее всего, какое-нибудь недоразумение. Вы с Рацисом, какжись, ладно живете, по-хорошему. Так что сама рассуди.

Пока он выпутывал письмо из разных бумажек, набитых в кармане, Лютикова почувствовала, что может ему сказать все, что он здесь самый близкий ей, самый родной, — этот широкоплечий, простой человек в помятой красноармейской фуражке. Но вместо того, чтобы сказать, она закрыла лицо руками и, уткнувшись в фонарный столб, зарыдала громко, как маленькая, мучительно стыдясь своих слез и не в силах сдержаться.

Харитонов растерялся.

— Вот так здорово! — попробовал он пошутить: — Ни за что б не поверил, что ты умеешь реветь. Ну, ну, голубушка. Ну, в чем дело?

Он не знал, как успокоить ее, откуда вдруг эти слезы у боевой, у неукротимой Агриппины Ивановны, у такого хорошего, стойкого помощника его.

— Боевой друг, — сказал он дрогнувшим голосом и положил на ее голову свою руку, — родная... полно. Успокойся. Надо по-другому разрешать. Старый я дурак, бухнул прямо, по-военному. Ну его к ч-чорту, это письмо!

Он скомкал письмо вместе с конвертом и уже хотел его порвать.

Лютикова протянула руку, отворачиваясь от света, чтобы он не видел ее заплаканного лица.

— Давай сюда. Не надо рвать.

Она поправила косынку на голове и попробовала улыбнуться.

— Прости, Степан Андреевич... Сорвалось маленько. Интересно, что за письмо.

Он только укоризненно качал головой:

— Старое чучело. Чего наляпал... Говорят, была такая академия в Сморгони, где обучали медведей танцам. Так я ее окончил.

Она поднесла к свету помятый листок, исписанный острым, канцелярским почерком.

«Считаю своим долгом довести до вашего сведения, — прочитала она, — что под видом якобы работы женактива мы имеем на вверенной мне станции крайне тревожную ситуацию в смысле морального поведения в отдельных случаях. К примеру гр. Лютикова А. И., выставляющая себя вождем данного движения, допускает у себя на квартире в отдельных случаях под видом данного движения развеселые встречи с патефоном отдельных гражданок с ее мужем гр. Рацис Я. Ф., как имевшее место 9-го сего сентября и даже до позднего часа (0 ч. 12 мин. Московского времени)... Считаю ненужным вдаваться...».

Лютикова пробежала глазами еще несколько казенных, бездарных фраз, завершающих письмо. Внизу стояла подпись: «ДС ст. Гребешки Н-ской ж. д. Фаддей Гусев».

На лице ее явилась добрая, насмешливая улыбка.

— Ах, какая ерунда! Сущая ерунда! — сказала она, аккуратно складывая письмо. — Все это не то... Кстати, скажи, что ты думаешь насчет Гусева? Меня сам Гусев больше всего интересует в данном случае

Она перестала улыбаться и мучительно потерла лоб сжатыми пальцами.

— Какое сопротивление!.. Какое бешеное сопротивление! Тут ведь не во мне дело, и не в ком-нибудь, а в нем, в нем самом. Учитываешь?

— Каково же твое мнение? — спросил Харитонов, все еще тревожно и бережно глядя на женщину.

— Я хочу раньше послушать твое. Интересно, ты знаешь, как у него с выполнением измерителей?

— Недавно проверял. Средние показатели неплохие. Излишков вагонов, как правило, очень незначительное количество. Организовал обработку поездов в парке приема. Есть недостатки, несомненно. Но станция не из плохих.

— Правильно. Я все это знаю, — нетерпеливо перебила Лютикова, — и могу добавить, что года через 2—3 такой Гусев наверняка добьется до начальника отделения. Но ежели он будет заброшен, забыт, как человек, в нем отвердеет второй Гусев — чужой, вредный для нас. Неужели ты сам не видишь, куда он тянет? На рабочих ему плавать, на рядового пассажира ему плавать. «Станция с буфетом» — видишь ли! И понял он ее, как тридцать лет тому назад. Учти, мы бьемся с ним не день и не два, а несколько месяцев!.. Ни черта не получается! Он уже начал отвердевать. Однако же это наш, кровно наш парень! Мы не имеем права о нем забыть. К тому же он беспартийный, это еще сложнее.

Она возмущенно потрясла в воздухе письмом.

— Смотри, какое сопротивление! Какая дьявольская настойчивость. Бьет в одну точку. Это же режет под корень всю нашу работу. Ясно тебе?

— Что же ты предлагаешь?

— Единственно, что в таком случае можно предложить. Надо подымать человека, глубоко, всесторонне. Не техника же одна, чорт побери, кует нам людей. Советская культура! Учиться надо его послать, вот что. Для нас нужны люди, культурные в полном, советском смысле. Иначе ни дьявола не выйдет. Уверю тебя, уверю тебя.

— Я подумаю над твоими словами, — сказал Харитонов, крепко пожимая ее руку. — Кто знает, может быть, не в учении здесь дело в первую очередь. А вот с партийным руководством у нас на этом участке не совсем ладно... Я подумаю.

★

Десятый околоток пути был самым дальним, активистки еще не успели

побывать там, Лютикова рассчитывала добраться на поезде до конца околотка, а затем пройти его обратно пешком, с заходом в каждую путевую будку. Ехать с ней вызвались — жена мостового мастера Петренко, мужеподобная женщина, крепкая, точно литая из бронзы, и маленькая, всюду поспевающая Иволгина. Лютикова позвала с собой и Матрену Димитриевну. Но она уклончиво сказала, что у нее есть «одно дело», из-за которого ей надо остаться. И при этом посмотрела на Лютикову с такой глубокой скорбью, почти с испугом, точно та уже лежит в гробу. «Что за чушь, — пожалала плечами Лютикова, — какие-то тайны...». И не стала уговаривать.

Едва сели в вагон и разместили багаж — свертки с газетами и книжками, патефон и корзинку детских игрушек, — как Иволгина побежала, переваливаясь толстенькими боками, устраивать чай. Из коридора донеслись ее домовитые переговоры с проводницей — и она появилась с огромным чайником, доставшим в ее руке до самого пола.

— Угощайтесь, прошу вас, не стесняйтесь, здесь все свои, — мягкой скороговоркой сказала она, окинув доброжелательным взглядом четвертого пассажира в купе — молоденького летчика. Он читал толстый журнал. На столике около него лежало еще несколько журналов и книжек.

Когда Иволгина брякнула перед самым его носом чайник, он поднял от книжки медленные голубые глаза и заинтересованно взгляделся в блестящий бок чайника, повторивший с чудовищным искажением его лицо, а затем перевел глаза на женщин, на каждую по очереди, и снова продолжал чтение.

Вагон напряженно пошатывался и мчался среди лиловых, вспаханных под зябь полей, среди пожелтевших перелесков. В коридоре было открыто окно. Через отодвинутую дверь прилетало в купе расплывчатое карканье грачей, пряные запахи отмирающих трав и тот особый, щемящий холодок осени, который еще полон живых и сладких ароматов жизни, но он уже — тлен, увя-

дание, смерть. Желтое солнце иступленно обрушивало на землю свой последний пышный жар. В плотной синеве неба оно ошестинилось мириадами огненных пик. Когда поезд сделал поворот, радужные солнечные пики полетели прямо в купе и заставили пассажиров разом зажмуриться.

Петренко засмеялась и, обращаясь к летчику, басом сказала, щуря свои пухлые веки, из-под которых поблескивали черные огоньки.

— Вам-то оно привычно. Небось, подлетаете прикурить, когда спички дома забудете.

Летчик подумал — и улыбнулся. Он взял со столика книги и журналы и предложил спутницам.

Лютикова старалась делать вид, что читает, но, прочитав несколько строк, листала дальше. Изредка летчик торопливо взглядывал на женщин, будто спрашивал глазами: «Ну, как?». Лютикова невольно улыбнулась и подумала: «Занятный паренек. Очень хороший». В ней поднялось теплое материнское чувство.

«Если бы Новомир вырос, — подумала она, — то был бы летчиком». Паренек действительно чем-то напоминал Новомира, такого, каким он снят на последней фотографии, в комнате у Рациса.

На остановках Петренко с Иволгиной мчались в буфет и приносили Лютиковой то пирожок, то яблоко, то бутерброд.

Они сегодня с особенной предупредительностью ухаживали за ней: поминутно спрашивали, не устала ли она, не хочет ли прилечь, не дует ли из окошка, удобно ли ей...

Нечаянно она поймала в лице Иволгиной точь-в-точь то же выражение глубокой печали и испуга, какое удивило ее в Матрене Димитриевне перед отъездом.

— Что вы, девушки, трясетесь надомной, как над старой барыней? — не выдержала она. — Или я, по-вашему, помирать собралась? Помирать я не намерена.

Летчик оторвался от чтения и сообщил, что, вероятно, он тоже должен

проявить заботу к этой женщине, которой все почему-то оказывают такое внимание.

— Может быть, поднять верхнюю полку? — спросил он, вскакивая. — Я сейчас все устрою.

— И этот туда же, — широко взмахнула руками Лютикова. — Бросьте, пожалуйста, товарищ дорогой, через час мы приедем. И не бери ты с них пример. Что им взбрело, не пойму. Не подумай часом, что я знаменитость какая. Самая обыкновенная женщина.

Она помолчала, сощуренными глазами провожая в окне приседающие перелески, серое жнивье, деревушку, всю в красном пожаре осинника, и твердо добавила:

— Только малость беспокойная, — что правда, то правда. Сама не сплю и другим спать не даю.

Отложив книгу, летчик пристально всмотрелся в нее. Было похоже, будто он не слушает, а читает ее слова. Потом он пригладил рукой волосы, медленно улыбнулся и попробовал углубиться в книгу. Но на этот раз он читал рассеянно, часто отрывался и коротко взглядывал на Лютикову. Видно было, что она завладела его мыслями в этот момент больше, чем написанная книга.

— Но в обиду себя не дам! — неожиданно с силой сказала Лютикова и, когда на нее все удивленно посмотрели, страшно смутилась, покраснела до слез.

Она хотела, чтобы этот паренек, похожий на Новомира, понял, что отношение к ней, как к беспомощной и слабой со стороны ее спутниц, — неверно, неправильно. И вырвалось это неуклюже и некстати.

— Эх, жаль, Матреси с нами нет, — сказала она. — Давайте споем, девоньки, что-нибудь повеселей.

Она обняла женщин, и все трое запели, тихонько раскачиваясь.

Летчик отложил книжку. Его голубые глаза заблестели. Он украдкой откашлялся — ему тоже захотелось запеть. Но он стеснялся подать голос. Потом решительно упер руки в бедра,

нагнул голову, сморщил лоб и вступил.

В купе заглянула молоденькая проводница в белом вязаном беретике на одном ухе, с метелкой в руке. Послушала, послушала и подтянула деревенским напряженным голосом. За ее плечом появилась голова военного с крепким рябиновым румянцем, с серьезностью в широкоскулом лице. Минуту понаблюдал — и губы по-детски раскрылись, вытянулись трубочкой: в хор впелся мужественный, молодой голос.

А Лютикова пела и широко разбрасывала руки, словно приглашала весь мир к песне. Пела и кивала радостно каждому новому вступающему — летчику, проводнице, военному.

К открытой двери купе подошли пассажиры и с серьезными лицами слушали песню. Загоревшимися из глубины глазами смотрели на женщину в кумачевой косынке и синей жакетке с железнодорожными петлицами, смотрели на ее рот, бережно выговаривающий слова, на глаза, готовые зажмуриться в песенном самозабвении, и думалось каждому: какая счастливая, какая богатая радостью женщина... И думалось — ее знаешь да-авным-давно. Такою же прошла она через фронты и голод... Это она ухаживала за ранеными, за больными в тифозных госпиталях, не боясь умереть. С винтовкой в руках шла на врага... Направляла мирную жизнь в деревнях, где-нибудь в прокуренной избе сельсовета. Вела за собой женщин в колхозы. Вот с этой же бодрящей, душевной улыбкой на утомленном лице прошла весь великий путь родины... И, — если понадобится, — полная материнской несокрушимой силы и песенной радости, она пойдет в новый бой...

★

Из приоткрытой двери ложилась на пол узкая полоса света. Лаура оставила в столовой огонь, — скоро должен был вернуться отец.

Она поворачивалась с боку на бок в своей кровати, из которой уже начала вырастать, и никак не могла заснуть. Прислушиваясь к тишине в доме, к

дальним гудкам станции, она думала о матери. Когда мать уезжала, Лаура всегда тревожилась о ней.

Вернувшись из пионерского лагеря, Лаура поняла: отношения у отца с матерью стали еще хуже. Отец придирался ко всякой мелочи. То к платью: «На ней все сидит, как на палке». Или: «Зарядила свою дурацкую косынку, не может как следует одеться». Лаура заметила, что подобные разговоры велись всегда в третьем лице: «Когда, наконец, она научится держать нож с вилкой. Так ручку или карандаш держат. Удивительная тупица!» — и с такой ненавистью взглянет на мать, что Лауре сразу расхочется есть.

Мать никогда не плачет. Только сожмет голову руками и скажет: «Опомнись, Ян! Чего ты от меня хочешь?».

Один раз Лаура слышала, как мать сказала: «Надо разрубить узел. Я больше не в силах». Тогда отец начал просить прощения и говорил: «Ты же знаешь, что ты для меня».

Лаура жалела мать. Больше всего она боялась, что мать умрет: мать очень изменилась за лето и постарела. У нее на руках кожа стала такая тонкая, что, если прихватить двумя пальцами, она остается стоять складкой. Лауре сказала подруга, что это очень опасно: у ее тетки было так же, и тетка умерла. Лаура уговаривала мать больше есть, но она не слушалась и ела кое-как, на-ходу...

Лаура перебирала все это в мыслях и не заметила, как задремала. Во сне она зацепилась за порог и ухнула куда-то вниз. Она вздрогнула и открыла глаза.

В комнате больше не было светлой полосы из столовой. Значит, отец уже дома, напился чаю и лег спать. Лаура хотела повернуться на другой бок, но вдруг услышала за дверью кашель отца и чьи-то голоса. Она прислушалась. Ничего нельзя было разобрать. Тогда она вылезла из-под одеяла, босиком перебежала комнату и слегка приоткрыла половинку двери. Столовая была полна активисток. За столом сидел отец, спиной к Лауре.

Жена диспетчера, Крейсик Фаня, широкая, похожая на медведицу, возбужденно говорила:

— Пожалуйста, вы нам это не внушайте. Нам Сталинская Конституция открыла глаза. Мы пришли вам по-хорошему сказать.

Лаура подумала: может, это совещание? К матери часто приходили женщины совещаться, даже поздно вечером, но не столько человек зараз. Тут были почти все активистки, кроме тех, что уехали на десятый околоток...

Отец пожал плечами и раздраженно произнес.

— Мне неясно, чего вы от меня хотите. Я имею полное право не отвечать на ваши вопросы... Довольно странная форма...

Резкий крик маневрового паровоза затопил весь дом, и Лаура дальше не расслышала. В дверь тянуло сквозняком из открытой в спальне форточки. Лаура насквозь продрогла в своей короткой рубашонке. Она хотела было нырнуть в теплую постель, но, когда перестал кричать паровоз, ее опять потянуло слушать. Чтобы ее не увидели, она немного прикрыла дверь.

— ... Я же сказала вам... в сочувствующие он хочет подавать, мой муж, — долетело до Лауры, — стало быть, он понесет заявление вам... Видите, какая ненормальность получается.

Лаура увидела в шелку край знакомого ситцевого платья и плоскую ногу, обутую в черный полуботинок: Настасья Гавриловна.

— В чем ненормальность? Позвольте, — возвысил голос отец, — я ответственный секретарь партийной организации.

— А как же! — горячо прокричала Настасья Гавриловна. — Должна я ему честно объяснить или нет? Раз вы обижаете свою жену... то-есть женщину...

Лаура поняла, что они говорят о матери. Она сильнее задрожала от охватившего ее непонятного страха и жалости.

Ей захотелось вбежать в столовую, броситься на шею отцу и самой ему сказать, без активисток, все, все, что

она передумала о матери, о нем, об их жизни. Она сильно любила отца в эту минуту и чувствовала себя очень несчастной. Дверь отодвинулась, но теперь Лаура уже не боялась, что ее могут увидеть, что она почти голая, в одной рубашке.

— Моя личная жизнь... — резко начал отец.

Он сказал еще несколько слов, которых не расслышала Лаура, и тут все зашумело, зашумели, Матрена Дмитриевна заметила Лауру и бросилась к двери.

— Спи, детка, спи! — задыхаясь, прошептала она. — Мы сейчас уйдем.

И громко захлопнула обе створки. Лаура куталась в одеяло, стараясь согреться, но дрожь не переставала. Промчался назад маневровый. стуча скатами о рельсы. У самого окна он заревел так злобно, так страшно, как будто грозил в'ехать в дом. Потом сделалось очень тихо. В столовой заскрипел стул, кашлянул отец. Лаура опять прижалась к двери по ледяному полу и приложила ухо к замочной скважине, — из нее потягивало папиросным дымом и сладковатым запахом отцовских духов.

До слуха ее доносился неясный шелест, заглушаемый гулким стуком собственного сердца. Оно колотилось в горле, в ушах. Вдруг свистящий шопот у самой скважины сказал:

— За это надо исключать из партии...

Опять в комнате все задвигались, заговорили. Громко захохотал отец. Этот смех ей показался таким же зловещим и страшным, как тогда крик маневрового паровоза. Лаура не могла больше оставаться в бездействии. Она кое-как оделась в темноте, толкнула окно, спрыгнула в палисадник и быстро побежала к новому большому дому в конце улицы. Его яркие окна светились ей навстречу, как желтые фонарики, повисшие в темноте. В крайнем окне первого этажа тихо горела лампа под травянисто-зеленым абажуром. Между расплывчатыми тенями растений, за кружевной занавеской смутно вырисовывалась курчава голова и темнели наклоненные над столом широкие плечи в военной

гимнастерке. Лаура вошла. Начальник политотдела отложил работу и ждал, что она скажет. Лаура не забыла отдать пионерский салют, но вышло криво и неуклюже. Чтобы сразу же не заплакать, она больно прикусила щеку. Прислушиваясь к боли, она упорно повторяла себе: «Пионеры не плачут, пионеры не плачут...».

— В чем дело? Ну, говори же. Что ты молчишь?

— Они... исключают папку из партии, — запинаясь, проговорила Лаура.

— Ничего не понимаю, — пожал плечами Харитонов. Вид смертельно перепуганной девочки встревожил его. Он взял ее за тонкие лучинки рук выше кисти и, как маленькую, поставил перед собой, между колен.

— Говори по порядку.

Лаура отлично знала, что стоит начать говорить, как польются слезы.

Харитонов глубоко вздохнул и тоскливо огляделся кругом. На тарелке лежало яблоко. Он обрадованно схватил его.

— На, сначала съешь яблоко, — сказал он, прижав к ее губам вишнево-красный, прохладный анис.

Она послушно откусила и, не жуя, проглотила. Он заставил ее съесть половину. После этого она рассказала все, что слышала из-за двери и что делалось в их семье.

— Хорошо. Довольно, Лаура. Успокойся. Посиди смирно. Ешь яблоки.

Он усадил ее на диван, высыпал из кулька на тарелку целую гору аниса, поставил около Лауры, а сам стал ходить по комнате большими шагами.

Девочка украдкой посматривала вокруг. Комната была очень белая, стояла кожаная мебель и много полок с книгами по стенам.

На письменном столе из узенькой рамки смотрела Лиля, белокурая и пухленькая дочь Степана Андреевича, которая умерла. Она была вожатым в звене у Лауры. По другую сторону стола была фотография жены Степана Андреевича. Лаура знала, что она учится на педагогических курсах в краевом центре и скоро совсем придет на Гребешки. Она очень худенькая, с боль-

шими черными глазами и густой вьющейся челкой. Похожа на девочку.

Время от времени комнату наполнял резкий гудок того же маневрового паровоза, что пробежал мимо спальни Лауры. Здесь гудок его был еще ближе и громче. Он подбегал к депо против окон Степана Андреевича, останавливался, чихал паром, и в котле у него что-то бурлило, точно в огромном животе. Потом он длинно разводил пары и, крикнув несколько раз: «Караул!», бежал туда, где была квартира Лауры.

Харитонов ходил взад и вперед по комнате и что-то думал. Он словно забыл о девочке. Иногда он останавливался, тер себе лоб кулаком и тяжело вздыхал. Раз что-то записал в блокноте на столе. Потом остановился перед Лаурой, отрывисто спросил:

— И давно так?

Лаура вздрогнула и заторопилась.

— Недавно. — Она не посчитала то время, когда была в пионерских лагерях, и поняла, что ошиблась. — То-есть давно. После Ленинграда. Мамка сказала: «После этой поездки, Ян, ты стал неузнаваем». Она повторяла это несколько раз, теперь я хорошо вспомнила. Когда он приехал... — Лаура не закончила и всхлипнула. Ей вдруг стало очень жалко себя, и она подумала, зачем она не умерла, как Лиля, а сидит здесь, в чужом кабинете, на холодном кожаном диване, на котором никак невозможно согреться, и кругом ночь, и неизвестно, что еще с матерью...

Харитонов спохватился:

— Не надо, не надо. Не волнуйся.

Он сел к столу, обхватил руками голову, и Лауре послышалось — он говорит сам с собой: «И как проморгал? Еще один фронт. Ничего не подедаешь...».

Он опять что-то записал в блокноте. Сказал себе: «Завтра в три я занят». Зачеркнул. Сказал: «Лучше утром». И вновь записал.

— Степан Андреевич, — осторожно позвала Лаура, — я пойду домой.

Харитонов повернулся к ней вместе со стулом.

— Слушай. Может быть, ляжешь у

меня на диване? Я сейчас все приготовлю. Здесь тебе никто не будет мешать.

— Ой, что вы! — испугалась Лаура. — А папка? Он сразу догадается. Нет, нет, я пойду.

— Не знаешь ли, он завтра с утра никуда не уедет, так, часиков в девять?

— Наверное, нет. Ведь мамка уехала.

— Давай, я провожу тебя.

— Ой, Степан Андреевич! Вдруг папка меня ищет. Я лучше одна. Я не боюсь. Здесь близко.

— Ну, тогда возьми яблок.

Он наложил ей в карманы жакетки столько, сколько полезло.

— Беги, живо! Уже первый час.

Он погладил ее по плечу и вдруг с силой прижал ее голову к своему твердому животу.

— Ни о чем не думай, пожалуйста. Плохо не будет. Будет лучше. Увидишь. Не беспокойся.

Лаура почувствовала плечом жесткий ремень его пояса, чудесно пахнущий кожей, и ей стало необъяснимо хорошо и покойно. Теперь-то она твердо верила, что дурное кончилось и должна начаться какая-то новая, счастливая жизнь.

Прежде, чем перелезть окно своей спальни, она сложила яблоки горкой на подоконнике — их было семь, она сосчитала, — и осторожно прыгнула в комнату. Одно яблоко упало и громко покатилося в темноту. Лаура со страхом подождала, потом, мигом раздвигшись, скользнула под одеяло.

Она слышала, как за стеной отец у себя открывал окно, шагал по комнате, выдвигал ящики стола. Двинул стулом и затих, наверное, сел.

Со станции глухо доносились звуки ночных маневров. Целой вьюгой свистков заливались сцепщики и составители, гукал паровоз, играли на своих рожках стрелочники.

Когда там на время все смолкло, наступила полная тишина.

«Неужели он так и сидит столько времени?».

Лаура увидела, как отец сгорбился за своим столом, сжал голову руками. Он без конца говорит себе: «Опомнись, Ян. Опомнись, Ян. Опомнись...». Подошла мать, провела горячей рукой по лицу

Лауры. На ней была почему-то не транспортная куртка, как всегда, а военная гимнастерка с широким желтым ремнем. Она погрозила Лауре пальцем и сказала: «Ходишь, куда не надо, скверная девчонка...». Ее слова заглушил стук подпрыгивающих яблок. Они падали через окно, устлали весь пол, сыпались на кровать...

...В эту ночь Ян Францевич Рацис долго не ложился.

Когда он вошел к себе и затворил дверь, он никак не мог отделаться от мысли, что эти женщины ворвутся и сюда и перетряхнут здесь все, переброют его бумаги, письма, книги, как они перерыли, перетряхнули его отношения с женой, до которых — он всегда полагал — никому не может быть дела.

Он запер дверь на ключ. Потом он выдвинул ящики своего письменного стола, вытряхнул их содержимое посреди комнаты на пол и включил верхний свет.

Он складывал отдельно деловые бумаги, доклады, копии протоколов партийных собраний, которые он всегда хранил у себя, сводки сделанной работы, — и с удовольствием отмечал, что выглядит это солидно, квалифицированно, он умеет работать. Рацис укладывал аккуратными пачками письма жены к нему, написанные, когда он был командирован на курсы.

Как и все старые письма, они никогда не перечитывались. Рацис вытащил из конверта одно, пробежал глазами. Написано неуклюже, по-женски, с частыми перескоками от одного предмета к другому. Потом ввел несколько строк, поражающих своей твердостью, ясностью, — и фразы: «... помнишь, Ян, Кабановку? Ведь это тот же закон... Подчас можно сломить не внешней силой, а своим внутренним преимуществом, нашей неоспоримой правдой...».

Он отложил письмо, закурил, подошел к открытому окну, подставил лицо ночной свежести. Было тихо, резко пахло польнью, в небе накаленными добела угольками тлели звезды. Временами они озарялись далекими вспышками, и тогда чудился легкий треск, как если

на угли посыпать солью. В стороне города дрожал и переливался ряд электрических огней, будто ветер гнал огненную ленту...

Рацис отчетливо вспомнил Кабановку, 1919 год. Продовольственные отряды. Богатое кулацкое село. Изба полна людей, красные, озлобленные лица: «Хлеба нет! Не дадим! Последнее отбираете!...». Он — уполномоченный по продажде зернопартизанской верстке. С ним молоденькая текстильщица, его помощник... Что-то случилось... он что-то крикнул и, в злобе и отчаянии, выхватил револьвер... Точно огонь побежал по сухой траве. Толпа хлынула к столу, опрокидывая лавки.

— Что ты делаешь! Товарищ!! — прорвался звенящий крик. Она вырвала у него револьвер и бросила на стол, почти в руки озверевших людей. Толпа озадаченно стихла, обмякла, попятилась. Рацис помнит — кто-то не то всхлипнул, не то застонал.

Потом торопливо запрягали подводы. Больше всех сел в уезде дала тогда Кабановка.

Он помнит это чувство, скрутившее его вдруг, — чувство своей духовной нищеты перед худенькой текстильщицей, похожей на долговязого подростка.

Потом, в жизни, ему постоянно нужна была ее поддержка. Точно всю жизнь он брал у нее взаймы без отдачи, как у матери...

Рацис докурил папиросу, бросил в палисадник окурочек, захлопнул окно, ежась от сырого холода, потянувшего со двора. Затем собрал рассыпавшуюся горку писем, перевязал их шнурком и положил в ящик.

Утро наступило слишком быстро. За окнами дымился осенний дождик. Рацис услышал всхлипывающий шорох дождевых капель по железу оконного карниза и открыл глаза. На полу под стулом слабо белела завалившаяся бумажка. Он вспомнил все и сел на кровати. Было 7 часов — обычный час его вставания. В доме было тихо. Лаура спала. Он оделся и пошел в кухню с полотенцем через плечо.

Когда, умывшись, Рацис крепко растирал приятно горевшее лицо, ему по-

слышался шорох французского ключа во входной двери. Он быстро кончил вытираться и выглянул в прихожую.

Дверь открылась, осторожно входила Лютикова, просунув вперед блестящий от дождя дорожный баул. На лице ее, на плечах блестели дождевые капли.

— Встал? Тише, не разбуди Лауру, — строго сказала она, когда он сильно захлопнул кухонную дверь.

Зацепившись о коврик, она неловко взмахнула руками и громко брякнула баул об пол.

— Вот уродина, — тихонько засмеялась она над своей неловкостью. — Здорово озябла, ноги не слушаются... Выехали, уже светало... Ах, но, знаешь, все-таки замечательно! Сколько успели сделать! А люди — золото.

Он удивился ее дружелюбию, — как будто всего, что было до сих пор, вовсе и не было. У него промелькнула досада: так чего же он мучился? И вдруг вспомнил, что ведь все от него. Начинает всегда он, а до этого вот так и бывает: она страшно доверчива, как ребенок. А ему нравилось хлестнуть, грубо оборвать, когда она меньше всего ожидает. И теперь образовалась какая-то пустота, которую он не знал, как заполнить.

— Что же замечательного? Все насквозь промокло. И плечи совсем мокрые, — резко сказал он, прикладывая свою горячую ладонь к ее плечам и ощущая острую нежность к этой промокшей транспортной куртке.

— Отвяжись со своими наставлениями. Я устала, — раздражилась она, не поняв его движения. И в лице у нее опять появилось то страдальческое безразличие, к которому он успел привыкнуть за последнее время.

За чаем Лютикова сухо рассказала ему о результатах поездки.

Ровно в девять в комнате Рациса звонил телефон. Он пошел и быстро вернулся, растерянный, с малиновыми пятнами на пухлых надбровьях.

— Это Харитонов... Зачем-то вызывает... Срочно.

Она с удивлением заметила, что он сильно встревожен, взволнован и не скрывает этого от нее. Может быть, ищет даже ее поддержки?.. Агриппина почувствовала странную тревогу, и боль, и жалость. Внезапно вспомнилось прикосновение горячей ладони Рациса к ее озябшим плечам. И сейчас — вот это беспомощное, виноватое, спрашивающее лицо... «Какой большой, и какой слабый» — подумала она о муже, как о своем ребенке, и строго сказала:

— Раз срочно, значит что-нибудь серьезное. Чай допьешь потом. Лаура разогреет. А я лягу. Я сейчас ее разбужу. Что это она сегодня так заспалась?

— Вот что... Я хотел тебе сказать... — волнуясь, начал он, жадно всмотревшись в ее усталое лицо с покрасневшими от бессонной ночи глазами, — я хотел сказать: или ты, действительно, знаешь в жизни больше моего?.. Я не помню, чтобы ты ошибалась. А я вот... ошибся.

Ему показалось, что она не поняла его, и опять как-нибудь по-своему, обидно примет его слова. Он торопливо заговорил, стараясь не упустить ни на секунду ее напряженное и немного испуганное лицо:

— Я попытаюсь тебе объяснить... Все как-то скаталось в один клубок... Я думал сегодня ночью: неужели, правда, я стал негодным членом партии? Они мне это прямо сказали, твои активистки. Ты знаешь, что для меня партия — всего дороже. И вот... они могли мне это сказать... Я, быть может, неясно выражаюсь?

Она остановила его.

— Не говори больше. Я поняла... Ах, Ян, Ян!.. Ну, ступай в политотдел скорее. Наверное, Харитонов будет с тобой говорить о Гусеве... о твоей работе... Видишь, как все это получилось... Иди.

Изба

ПАВЕЛ КУСТОВ

★

Дом сосновый под железной крышей,
По углам цветистая резьба.
Вот наступит день, и мы услышим,
Как трещит последняя изба.

Плесенью подернутая кислой,
Ты стоишь, как ведьма за двором,
О, я сам простенок ненавистный
Изрублю зубастым топором!

Разве я забыл твои потемки,
Хрусткий лед на земляной полу?
Не меня ли с дедовой котомкой
Ты гнала с рассветом по селу?

С духоты шатаясь, будто пьяный,
Я бежал из синеватой мглы.
И в пазах шептались тараканы,
Пробираясь в дальние углы.

Ты крошилась, мокла и горела
И опять горбатилась в дыму.
Что ж ты нынче, ведьма, присмирела,
Удивившись росту моему?

На полянку сходятся подруги,
По заречью песня их течет.
— За бригаду, лучшую в округе,
Получил я славу и почет.

Поднимись на ветхие подпорки,
С завистью поспрашивай кругом —
Кто построил на пригорке
Этот новый пятистенный дом?

Щеголяя камнем и сосною,
Простоит он долгие года.
За его веселую стеною
Солнце не заходит никогда.

И кому не вспомнится былое,
Если в доме, вставшем у реки,
К потолку, пропахшему смолою,
Не дотянешь бронзовой руки!..

Я в твою хоромину гнилую
Не войду с подарком в узелке,
Чтоб оставить плесень нежилую
На своем добротном пиджаке.

И когда с соседкой по квартире
Мы поем и пляшем у крыльца, —
Узнаешь ли в рослом бригадире
Своего старинного жильца?

Это он из круга не выходит,
Это он смеется, и о нем —
Разговоры девушки заводят
На гумне пустеющем твоём...

Нас гармонь покличет на веселье.
И соседи соберутся к нам.
Только ты на праздник новоселья
Не откроешь тусклого окна.

Сизый лом пробьет тебя до кости,
Ты поклон отвесишь топору.
И пирог похвалят гости,
Испеченный на твоём жару!

★

Восточная песенка

НИКОЛАЙ СИДОРЕНКО

★

Седины легчайшей россыль
Ты проверила вчера.
Ты нашла в тяжелых косах
Восемь нитей серебра.

Это ль много, дорогая?
Горстка старости не в счет.
Разгораясь, догорая,
Время звездное течет.

Завернулась Алма-Ата
В тихий сон своих садов.
И трава еще не смята
Над струною арыков.

Скалы дальние мерцают,
При луне струятся льды.
В пропасть вечности стекают
Волны каменной воды.

Мариам, дели со мною
Грусть и радость пополам.
Спой, как ты порой ночью
Шла тропинкой по горам.

1937. Алма-Ата.

В знак того, что с нами было,
Что случится впереди, —
Дай мне сердце, спутник милый,
Дай мне руку и веди.

Много раз вода весною
Размывала арыки.
Кто сказал, что мы с тобою,
Мы с тобою — старики?

На рассвете улетаю,
Улетаю на Балхаш.
Пестрым скалам Ала-Тау
Ты привет мой передашь.

Долго, долго будут сниться
Мне нагорные края,
Ледники и беркут-птица,
Ты и песенка твоя.

Ветер, ветер, замирая,
В душных травах не шурши.
Мариам! Звезда степная!
Кыз-Жибек¹ моей души!

¹ Шелковая девушка.

★

Настойчивость

РАССКАЗ

МАКС ЗИНГЕР

★

Пароход шел из Архангельска сменить зимовщиков полярных станций в Карском море. На ботдеке лежали принайтовленные нарты. Кленов, небольшого роста, коренастый человек с круглым животом, торопливо расхаживал по спардеку. Близилось место высадки зимовщиков.

Кленова считали старым полярником, хотя ему не было еще и полных тридцати лет. Он отзимовал два года кряду на островах Новой Сибири, пересек якутскую тайгу на оленях, побывал в Большеземельской тундре. В Москве Кленова звали добродушно «Шариком». Но, несмотря на свою грузность, Кленов был исключительно подвижен. На зимовках он слыл неутомимым ходоком, легко перепрыгивал с шестом через разводья во льдах, отлично управлял собаками и редко огорчался. Про него полярники говорили: золотой характер!

Никто, как Кленов, не мог развеселить неожиданно заскучившего товарища. Томительно-долгая полярная ночь оказывала свое гнетущее действие иной раз и на совершенно спокойных людей. Первое время зимовки проходило обычно легко, среди товарищей царилась слаженность и дружба. Но вот с началом темного времени на каждой почти зимовке повторялось одно и то же: у людей иссякал разговор, обо всем сто раз было переговорено, в налаженную жизнь вторгалась скука и меланхолия. Вот тут-то и должно было начальнику маленького зимующего коллектива показать

себя живым человеком, выдумщиком, организатором, чтобы отвлечь человека, поддавшегося хандре. Вернейшим средством было: загрузить обязанностями все его свободное время. Кленов это делал с большой страстностью, как и все, за что он принимался...

— Скоро, значит, на берег? — весело спросил метеонаблюдатель Резников, остановившийся рядом с Кленовым на спардеке.

— Да что-то вроде того. А тебе, голова, не терпится, небось? Разве плохо на корабле? Разве во льдах качает? — ехидно щури левый глаз, забросал вопросами Кленов.

Резникову туго приходилось во время морских переходов. Его укачивало. И он стеснялся, краснел и молчал долго после шторма, когда окружающие с большим удовольствием говорили о каждом укававшемся. Так уж принято на кораблях: те, кого природа наградила способностью не укачиваться, всегда посмеиваются над подверженными морской болезни. Но находилось немало охотников посочувствовать, посоветовать, как избавиться от этого недуга. Одни рекомендовали лежать на койке, задрав вверх ноги, другие — есть лук, третьи — не есть ничего, а время от времени перетягивать горло резиновым жгутом. Только один боцман сказал ему откровенно:

— От этой болезни пока еще лекарств не придумали. Сходство здесь полное с беременной женщиной. С пре-

крашением беременности — конец и тошноте. Море заштиляет, и вмиг полегчает!

Так оно и случилось с Резниковым. После шторма он быстро переставал скучать и аккуратно появлялся в кают-компании в часы общих сборов.

Резников ничего не ответил Кленову, только покраснел.

— Уж, небось, обиделся на меня, голова? — сменив сразу тон, добродушно заговорил Кленов.

— Нисколько! — отпирался Резников.

— Слушай, голова! Я много думал об этом: скажи, какая нелегкая понесла тебя в Арктику? Не обязательно лезть сюда с твоим здоровьем, — тут Кленов, чуть наклонив голову, самодовольно взглянул на свою «морскую грудь». — Вот мне если, скажем, похудеть килограммов на десять, то ведь это даже будет хорошо. Мои знакомые того не замечат. А для тебя, голова, такое дело, как Петр I говорил: «Смерти подобно!». Ты же кожа и кости! Да при твоём сумасшедшем росте, как только у тебя голова не кружится.

Метеоролог Резников был 186 сантиметров роста. Худоба делала его еще более длинным на вид. Не было на корабле человека под-стать метеорологу.

При упоминании о росте Резников покраснел снова.

— Знаешь, голова, ты у меня на зимовке просто будешь красной девицей. Я такого человека впервой в жизни встречаю, — сказал Кленов. — Интересно, как на тебя Север подействует.

— Без вреда, — торопливо сказал Резников. — Я вот, когда на Матшаре зимовал, даже пополнил.

— На много?

— На полтора кило.

Кленов расхохотался.

— А не заскучаешь?

— Не заскучаю, времени для этого не найдется. У меня время расписано до одной минуты, его, боюсь, мне хватать не будет.

— Вот такие на Севере люди и нужны! — сказал Кленов. — Мне тебя в отделе кадров горячо хваливали. Да я,

если не знал бы тебя как облупленного, то разве взял бы с собой на зимовку?

На корме тихонько подвывали собаки. Им тоже предстояло зимовать. По утрам голос каюра хриловато возвещал собакам о кормежке. Радист кленовской зимовки, Никитин, пропадал целыми днями в судовой радиорубке. Он скучал без работы и часто подсмеялся судового радиста.

Никитин заикался, когда его что-нибудь волновало. А так как он волновался по каждому пустяку, то и заикался весьма часто. Себя самого он называл злым заикой. Вместе с тем он был исключительно отзывчив и чуток к товарищам. И его любили. Когда начинались приступы злого заикания, он, после тщетных попыток что-нибудь выговорить, неожиданно выпаливал трехэтажное словечко, закругляя его характерным возгласом:

— Тьфу, ты, заело!

Радиста так и прозвали на пароходе: «Тьфу, ты, заело!» И он беззлобно откликался на это прозвище. Любопытно и то, что Никитин был горячим общественником, больше того: ни одно собрание не обходилось без его дельной, но томительной речи.

Каюр Кузнецов, из поморов, тринадцать лет отзимовал безвыездно на Новой Земле. Когда он выезжал обратно на материк уже с семьей, дочь, родившаяся в Малых Кармакулах, увидев впервые лошадь, махавшую хвостом и отгонявшую со спины мух, вдруг радостно закричала:

— Тата, тата, смотри, сейчас полетит!

На Новой Земле девочка видела самолеты, а вот лошадь не пришлось видеть ни разу. Сам Кузнецов был ошеломлен многолюдьем Архангельска и долго простаивал на улице Павлина Виноградова, наблюдая проезжавшие автомобили. За тринадцать лет новоземельской жизни он привык к одиночеству. Теперь снова, но уже без семьи, он ехал на Север...

Синоптик Резников, каюр Кузнецов да радист Никитин, — вот с кем шел Кленов на таймырский Север...

Зимовка началась обычно. Первые две недели прошли в хлопотах по хозяйству.

Надо было заготовить на топливо плавник, окутить его в шатры, чтобы легче найти в глубоком снегу после сильной пурги. Полярная ночь тянулась долго. И, когда светила полная луна, Кленов радостно повторял слова Козьмы Прутова: «Если у тебя спрошено будет: что полезнее, солнце или месяц? — ответствуй: месяц. Ибо солнце светит днем, когда и без него светло, а месяц — ночью».

С появлением долгожданного солнца промышленник Кузнецов и начальник зимовки стали делать частые разезды по побережью, заряжали и осматривали многочисленные пасти на песца. Кленов отъехал как-то раз далеко к северо-востоку от последнего пастника и увидел на горизонте нечто вроде нарты. На Севере все привлекает внимание зимовщика. Кленов погнался вперед своих приустановивших собак и вскоре наехал на чьи-то старые нарты.

— Кто бросил их здесь? — спросил сам себя зимовщик. — И когда?!

На нартах не было груза. Возле них не валялись собачьи черепа. Нарты были обращены передком в сторону острова Сарычева. Значит, кто-то ехал на юго-запад.

Кленов осмотрел нарты, они не были сбиты гвоздями и не были обвязаны ремнями, как это принято. Их скрепили медными трубками, какие могут быть только на пароходе. Значит, нарты были сделаны моряками с какого-нибудь погибшего в Арктике корабля...

Находка была доставлена к месту зимовки и стала предметом долгих и горячих споров. Нарты посерели от времени. Их не раз, видно, засыпало снегами, мыло дождями, освещало северным сиянием, серебрило инеем.

Решено было загадку разгадать во что бы то ни стало до лета, до снеготаяния. Вернее, так решил Кленов. И зимовка его поддержала.

В свободное время Кленов стал ездить на собаках, держа направление на юго-запад к Сарычеву, промышленник же Кузнецов — на северо-восток, в обратную сторону.

Радисту Никитину очень хотелось принять участие в розысках, но ему

нельзя было надолго отлучаться от радиостанции. Не мог и метеоролог Резников выезжать надолго от зимовья. Наблюдения надо было производить три раза в день.

Светлого времени становилось с каждым днем все больше и больше. Снежный покров на тундре садился, давал сок, как говорили зимовщики. Прилетели с юга первые вестники весны — пучочки. Скоро должен был начаться пролет гусей, и о них на зимовке шли нескончаемые разговоры — людям давно приелись консервы. Весна несла с собой начало навигации, а с ним — письма с материка, газеты.

— Так вот, дорогие друзья, новая находка, — сказал, радостно потирая руки, Кленов, вернувшись с очередной поездки. — Это из костра хозяина брошенной нарты.

Тут Кленов порылся в карманах и достал небольшой уголек, повертел его в руках и кинул в печурку.

— Я нашел остатки костра у самого морского берега. Сделал еще километров десять-двенадцать. Наехал опять на следы костра. Теперь ясно: человек шел на юго-запад, и здесь, у берега моря, где было много плавника, обогрелся. Отвечаю, что эти костры тянутся, быть может, к самому острову Сарычева.

Остатки костров следовали один за другим почти всюду, где встречались заломы плавника. Там, где леса-наносника не было, след костров прерывался. Кленову приходилось долго гнать собак вперед, не встречая нигде пепелища. Уже червь сомнения разедал душу Кленова, и ему казалось, что посмеются товарищи над затеянным им делом. Как вдруг из-под снега показывались снова комли плавника, и Кленов с жаром начинал розыски пепелищ.

Так за неделю поисков насчитал он двадцать одно пепелище. Двадцать один раз неизвестный человек рубил плавник, раскладывал костер, обогрелся, варил себе чай или консервы. Кто был этот землепроходец? Промышленник из поморов, заброшенный сюда злодейкою судьбой, или моряк с раздавленного во льдах корабля? Быть может, человек

брел здесь с каким-нибудь важным донесением на Большую землю.

Ничего нового не говорили Кленову раскопанные в снегу пепелища. Заметил зимовщик, что места для костров выби- рались защищенные от ветра навесом скалы или нагромождением старого плавника. Возле одного пепелища Кленов раскопал и ущупал ногой пустую банку из-под консервов и обрадовался. Думал: быть может, в банке найдется записка. Известно, что в Арктике банки и бутылки издавна служат конвертами... Так и оказалось. Внутри банки в проолифенной парусине лежал пузырек, а в нем записка на норвежском языке. Радист Никитин знал немного по-норвежски. Он долго разбирался в клочке бумажки, носившем слабые следы карандаша. С торжественным видом перед вечерним чаем Никитин обратился ко всем зимовщикам. Все понимали, что Никитин собирается сделать важное сообщение.

Два норвежца шли за семьсот километров отсюда, взяв направление с севера на остров Сарычева, где за несколько лет до того была построена радиостанция. До острова путникам оставалось сделать еще километров двести. Они везли почту и важные донесения к себе на родину с зазимовавшего корабля, не имевшего никакой другой связи с материком. В записке сообщалось, что, отягощенные длительным переходом, моряки подошли, наконец, к месту продовольственного склада, заготовленного здесь некогда для одной из полярных русских экспедиций. Весь расчет норвежцев был на этот склад, как на продовольственную базу. Но, к несчастью, склад оказался разграбленным белыми медведями и прожорливыми песцами. Остатков продовольствия едва ли могло хватить людям и на несколько дней...

Радист Никитин читал записку долго. Когда чтение окончилось, Кленов поднялся и сказал:

— Понимаешь, голова, это же большое дело! Мы у себя на зимовке, кроме всей положенной нам работы, разберем еще целую трагедию, быть может, годами скрытую от мировой общественности.

— Доедешься ты, парень, однако, — хмуро сказал Кузнецов. — У нас одному такому гурий из камней сложили в Малых Кармакулах. А ведь здесь на проклятом Таймыре хуже, чем на Новой Земле. Здесь на ровнушке, как зарядит ветер, так ему конца нет! На Новой Земле ветры часто меняются, и вода чаще показывается, а тут? Воды всю зиму не видим, зверь не выстает, собак скоро произведем без свежатины...

— Ну, вот, и началась панихида... — улыбнулся Кленов, и вслед за ним повеселели все.

— Так вот, сегодня опять подморозило, наст окреп, я и поеду, — вернусь не позже, чем через неделю, а до того времени, думаю, мне снега хватит, чтобы к вам с нартами выехать, — решительно сказал Кленов и пошел запрягать собак.

Старшим на зимовке остался радист Никитин.

Трудно становилось кормить собак на зимовке. Нерпа не показывалась у берегов, усталыми тяжелыми льдами, торшанными выше роста человека. Люди пустили уже в ход муку, чтобы не заморить голодом собак. Ждали отжимных ветров, которые смогли бы взломать припай, открыть прогалины зимой под берегом, но этого не случилось. Были ветры, но не под силу оказался им береговой припай. По расчетам Кленова, в бухточке, километрах в ста от зимовки, должна быть полынья и в ней черный зверь. Там и думал Кленов пополнить запасы продовольствия для своих собачек. И в крайнем случае решил поступить, как некогда Хансен с Йогансеном: скармливать собакам собачье же мясо. Убивать наиболее слабых, с тем, чтобы дать сильными возможность работать и везти нарты.

Пришла полярная весна. Снеговой покров хоть и садился от весеннего солнца, но все еще было по-северному холодно. Плавник выставил из-под севшего снега свои комли и вершины. Не надо было раскапывать близ морского берега пепелища норвежских костров. Они сами чернели из-под снега.

Вначале костры попадались редко, но, чем ближе подезжал к острову Сары-

чева Кленов, тем чаще находил следы золы. Нашел он еще одну консервную банку с запиской, бережно извлек ее и спрятал на груди.

Частые пепелища говорили о том, что путнику трудней стало бороться с холодом, чаще требовалось раскладывать костры. И вот вдали показалась высокая мачта радиостанции Сарычева. Кленов сам с наслаждением подумал о скором отдыхе, и собаки, почуяв жильё, прибавили шаг.

Прошла пятидневка, как Кленов оставил свою зимовку. Погода держалась все время хорошая, туманы и пурги не загоразивали дороги. В бухточке (расчет оказался верен) Кленов напромышлял несколько нерп. Собаки были сыты и тянули дружно. Время проходило незаметно в заботах о собаках, о самом себе и в поисках затерянных на берегу пепелищ.

Из-под снега что-то зачернело. Кленов ткнул хореом выступ. Зазвенело. Остановил собак, подошел поближе, подкопал хореом и вытащил старое, ржавое велосипедное колесо. Это был одомер — прибор для определения пройденного нартами расстояния. Но нарты вокруг нигде не было. Значит, человек сам тащил одомер — шагомер отважного северного почтальона. Возле одометра валялась почтовая сумка и в ней старинные увесистые часы. Кленов осмотрел кругом все место находки и больше не заметил ничего. Подошел к краю обрыва, глянул вниз со скалы и ахнул. На снегу, уткнувшись в него лицом, лежал безвестный человек, как будто только-что сорвавшийся в пропасть.

Привязав упряжку, Кленов осторожно спустился к берегу моря, туда, где лежал труп. Ни обуви, ни ступней у покойника не было. Их, вероятно, отгрызли голодные песцы. На свитре синим гарусом был расшит вензель «А. Н.».

Кленов захватил с собой часы, одомер, почтовую сумку и в последний раз крикнул на собак. Скоро будет кор-

межка и роздых собакам, они это чувствовали и бежали изо всех сил.

На острове Сарычева разобрали последнюю записку норвежского моряка. В устье большой реки он сжег тело своего погибшего от болезни и холода товарища и продолжал путь один. В записке он объяснял свой поступок тем, что не хотел оставлять и мертвого товарища на с'едение песцам. Дальше норвежец убивал одну за другой своих собак. Он сам питался собачиной... Последние нарты развалились и были брошены им вскоре за устьем большой реки. Этих нарты Кленов не увидел, проехал мимо. Норвежец совсем близко был у цели со своей почтовой сумой и одомером. Он видел уже мачты радиостанции. Здесь, он знал, его ждало теплое русское гостеприимство. Усталость сковывала его. Он едва передвигал ноги, ознобленные и распухшие. Быть может, в пурге он не заметил обрыва и сделал свой последний шаг, занеся его над пропастью, чтобы никогда более не подняться...

Пургой заметало труп человека, его счетное, умное колесо — одомер и почтовую суму с часами и письмами. Приходила весна, оголяла снеговой покров. Снова показывался лежащий ничком у моря человек. Кругом места гибели человека, ничего не замечая, много раз бродили зимовщики острова Сарычева. Им было невдомек, что здесь, рядом с ними, разыгрался конец одной полярной трагедии...

...За небольшим столом зимовки начальник долго рассказывал о своей поездке и находках.

— Так вот, голова, — сказал в заключение рассказа Кленов, обернувшись к Кузнецову. — А ты говорил, не езжай, не езжай. Начатое дело надо всегда доводить до конца.

Через несколько недель в район зимовки Кленова ожидался приход первого ледокола, с ним открывалась и полярная навигация. Наступали в Арктике веселые дни.

Зависть

СТЕПАН ЩИПАЧЕВ

★

Со мною в детстве нянчились не шибко.
Еще по снегу мартовской порой
я бегал рваный, босоногий, в цыпках,
а грелся у завалинки сырой.
Потом отдали в батраки. Желтела,
в рожок играла осень у окón.
И как вставать утрами не хотелось!
Был короток батрацкий сладкий сон.
Редел туман, и луч скользил по кровлям.
Над полем рдели облаков края.
И солнце над мычанием коровьим
вставало заспанное, как и я...
Напившись чаю в горнице, бывало,
хозяин спит. А нас, бывало так,
что и заря нередко заставляла
над книжкой, купленною за пятак...
Потом фронты. Не раз, когда над строем
летел сигнал тревоги боевой,
вставало солнце — красное, сырое —
над мокрою таврической травой.
И мы с размаху сталь в крови купали.
Так надо было — мы на то и шли:
мы шашками дорогу прорубали,
неся мечту о будущем земли.
И мы пробились в нашу жизнь большую,
где труд и песня, хлеб да соль в дому,
и если зависть в сердце я и чую, —
то только к солнцу одному.
Здоровьем я на батьку не в обиде,
не знаю, может, до ста доживу,
а солнце, солнце будет вечно видеть,
растить деревья, подымать траву.

★

Дом с садом

РАССКАЗ

ДАВИД ХАИТ

★

1

Азраил и Гедалия, братья, были связаны крепкой дружбой. Они часто вспоминали свою родину, местечке Бар, на пограничной полосе под Каменец-Подольском. Мать их не вставала с кровати двадцать лет. Многочисленные ее сыновья выросли и разбрелись по городам, а она лежала на кровати, почти неподвижная, освещенная скудным светом окна, любила, рожала и на этой же кровати умерла. Паралич схватил ее после жестокой простуды в землянке. Там с каждым годом становилось все теснее, хотя сыновья, подрастая, уезжали навсегда. Они работали подмастерьями в больших фирмах, портняжили на дому, женились и перекликались друг с другом изредка краткими, как вздох, письмами. Вскоре прекратились и письма. Каждый, живя трудной жизнью, постепенно забывал родство. Случилось так, что лишь двое, Азраил и Гедалия, жили в одном городе. После работы они часто сходились, делились заботами, с'едавшими их годы, и одалживались иногда мелкими деньгами, что на языке предков называлось «гмилес-хесед». Жили они такой одинаковой жизнью, что часто заказчики путали их, не разбираясь в вывесках, на которых было написано под одинаковой фамилией: «Прием заказов штатского и военного мужского платья». Когда приходила весть о смер-

ти какого-либо из братьев, живущих в других городах, Азраил и Гедалия закрывали свои мастерские, занавешивали крепом зеркала и вместе сидели на полу восемь дней и восемь ночей, совершая древний обряд поминок. Они сидели, покачивая головами, заломив беспомощно руки, и Гедалия, который был моложе Азраила на десять лет, говорил глухим голосом:

— Мы понемножку умираем... Исчезает наша семья!..

— Это — жизнь! — отвечал ему Азраил. — Мы живем такой жизнью, что спохватываемся, только когда приходит смерть...

И оба умолкали. В памяти возникали воспоминания детства: дымный запах весеннего утра и зеленый цвет пруда, заросшего травой, осенняя грязь, по которой бегали они босиком в хедер, восковое лицо матери, скупое окошко в землянке, из которого они впервые увидели мир...

Всю жизнь братьев преследовали несчастья: пожары, погромы, кражи, смерти детей. Но в горе каждый из них был согрет братским сочувствием.

— Что?.. — тревожно спрашивал Азраил, когда в окно его внезапно стучался Гедалия. — Что? — вопрошал он, не выпуская ножиц из сухих ладоней.

— Не спрашивай... — глухо говорил Гедалия и изнеможенно падал на стул. Уходя головой в плечи, он отма-

хивался от Азраила рукой, точно тот наступал на него, и взволнованно сообщал о новом бедствии, внезапно, как удар. Несчастья приходили и уходили чередой — опись имущества за долги, болезнь жены или суд с заказчиком, — но одно из них угрожало постоянно: выселение! Оно преследовало братьев с неумолимой жестокостью и надолго выбивало из колеи. Домовладельцы выселяли братьев по разным поводам: просрочка квартирной платы, рождение нового ребенка, стук швейной машины, строчившей по ночам.

— Бывают выгодные жильцы! — заявляли домовладельцы, эти спокойные люди в котелках или в соломенных картузах с двумя козырьками, прозванных «здравствуй-прощай». — Бывают тихие жильцы! — говорили домовладельцы. — Зачем же возиться с вашим кагалом?

Они жаждали покоя, эти люди, жившие во флигелях за спущенными шторами. Братьям непонятна была тяга к тишине в этом мире, заполненном шумной суетой и страхом перед квартирной платой, надвигавшейся грозой тучей каждый месяц. Перед выселением хозяин появлялся внезапно. Застегивая на все пуговицы чесучевый пиджак, он стучал палкой и вежливо говорил:

— Вы, извиняюсь, нарушили тишину.

Младший брат, Гедалия, в таких случаях запуская пальцы в свою бороду и, когда уходил хозяин, спрашивал тихим голосом самого себя:

— А я не хочу тишины? А я не страдалец? Люди, будьте добры, плюньте мне в лицо. Я уже не человек. Я не человек, если всю жизнь висит над моей головой меч! Будьте прокляты, все домовладельцы!..

За шкапами, в темной и пустой комнате, жила его большая семья. Построив детей и жену в ряд, Гедалия выкрикивал, срывая пуговицы на рукавах:

— Армия, в поход! Ать—два... По новым трущобам! К новому хозяину! Ша-а-гом арш. Ать — два... Ать —

два, ать — два... — замирающе шептал он и падал на стул.

Жена, вспрыскивая его водой, взывала к нему твердым и высоким голосом.

— Гедалия, очнись! — кричала она. — Это же — жизнь.

Через час он приходил к Азраилу и говорил ему, вслушиваясь в непрерывный лязг больших закройных ножиц:

— Тишина... Это, наверно, что-нибудь замечательное? Как ты думаешь, Азраил?

— Думаю — да! — ответил Азраил, не отрывая глаз от сукна, расчерченного голубым мелом.

— Дом с тишиной... — продолжал Гедалия, и голос его ломался, и глаза под очками становились прозрачными и блестящими. — В хозяйских домах — много комнат... В садах висят яблоки... Покой на старости лет. Как ты думаешь?

— Думаю — да.

— А над нами висит меч! — нервно выкрикивал Гедалия. — Нас гонят, как собак. Никуда не уйти от гибели. Это ужас подумать. Хоть бы угол, трущоба, дыра, хоть бы маленький уголок, но — свой, собственный!..

С этим возгласом он уходил в свое логово и всю ночь сидел за машиной, низко согнув квадратную спину. Далеко, до хозяйского флигеля, доносился ночной стук машины.

Азраил при выселении был спокойнее.

Он внезапно стучал в окно брата и говорил, входя:

— Гедалия, не волнуйся!

Гедалия, застывая с распоротым пиджаком в руке, спрашивал:

— Уже?

— Уже! — отвечал Азраил. — В двадцать четыре часа. Он находит, что я скрыл настоящее количество своих детей. Что делать?

— Армия, в поход! — отвечал Гедалия, бросая на стойку недошитый пиджак.

И уже Айзик-ломовик, приходя к одному из братьев, помахивал длинным кнутом, сморкался и говорил:

— Возьмите меня на постоянное жалованье. Вам это будет выгоднее, уверяю вас.

Он весело покрикивал на лошадь, привязанную к дереву, и переносил на телегу убогий скарб одного из братьев. Это была мебель, беспокойная, как театральные реквизиты, перевозимый с места на место. Комод ставился рядом с венскими стульями с продавленными сиденьями. Жалкие, расшатанные кровати торчали кверху ножками, на которые нанизывались узлы с подсвечниками, подушками, кухонной утварью и семейными фотографиями в рамках. Бережно укутанные тряпками, увозились портняжная машина, гладильная доска, утюги и набор ножиц. Шкап с опустевшими полками лежал кверху тыльной стороной, на которой кривыми буквами были надарапаны карандашом торжественные даты: рождение ребенка и дни покупки ботинок детям.

Телега, нагруженная доверху, уходила по кривым улицам, вдаль к окраинам, где поднимались из заборов невысокие дешевые дома. Айзик-ломовик, восседая наверху, обзывал лошадь «стервой», свистел кнутом и весело оглядывался назад. За телегой, как за гробом, шла вся семья одного из братьев. Процессия эта напоминала похороны еще и потому, что Айзик-ломовик перевозил на своей телеге и покойников от погребального братства, и лошадь его, лениво переступавшая ногами, была, в сущности, похоронной клячей.

— Геть, замазурал!.. — покрикивал он на лошадь, веселый и румяный, с развевающимися на ветру волосами, похожий на пожилого херувима.

Телега со скарбом братьев появлялась на улицах не реже трех раз в год, и горожане, глядя на мебель, безошибочно узнавали, кто из братьев переезжает. Эти печальные новоселья разоряли Азраила и Гедалию, доводили до нищеты, — заказчики, не найдя их по старому адресу, не интересовались новым. Братья постепенно теряли прочную клиентуру из мелких чиновников, заказывавших форменную одежду в рассрочку, землемеров и чер-

тежников, приказчиков, аптекарских учеников.

И все больше мучила Гедалию сладкая мечта о собственном уголке. Он все чаще заговаривал об этом с Азраилом. Старший брат, не выпуская ножиц из рук, молча улыбался и, прикрыв глаза, говорил шопотом:

— Это — фантазия...

Но по глазам его, наполненным печалью и светом, было видно, что и в нем жила та же мечта. Гедалия сидела неподвижно, как в синагоге на молитве в пасхальные дни, и говорил тихо, одним движением губ:

— Не мешай мне слушать тишину... Видеть спелые яблоки в нашем саду... Семьи наши вместе... Видеть птиц и чистое небо.... Ты видишь что-нибудь подобное?

— Вижу! — отвечал Азраил.

— Ты слышишь мою думу?

— Слышу! — отвечал Азраил.

И однажды Гедалия взял Азраила за руку и, устремив на него очки, брызжащие светом, взволнованно проговорил:

— Так будем надрываться изо всех сил! Прольем свой пот и начнем собирать по крохам, по копейке, вместе и дружно начнем собирать на свой собственный уголок. Невозможно больше страдать. Мы купим вместе дом.

Так зародилась эта фантазия братьев, Азраила и Гедалини.

2

Начались лишения и жестокая борьба за счастье двух семейств. У детей засверкали острым блеском глаза, жены приходили с базара с пустыми корзинками, и даже на пасху трапезы проходили без вина и белейшей муки. Пришлось продать сукно — ассортимент лодзинских и варшавских фабрик, всученный в рассрочку ловкими коммивояжерами. Пришлось взыскать (по исполнительным листам) чиновничьи долги, прибегать к «гмилес-хеседу» и отказывать себе во всем, кроме мечты. Она росла с каждым новым рублем, снесенным в казначейство, и, когда через много времени накопилась

круглая сумма, братья вздохнули и сказали в один голос:

— Дом!..

Они взялись за руки и, поклявшись в нерушимой дружбе, позвали маклера Брискина. Это был человек с большими планами. Он мечтал одновременно о многом: арендовать имение, купить кинематограф, открыть гостиницу и устроить большой случной лошадиный пункт. Мечты его не сбывались, и он попрежнему бродил по улицам, небритый, в запыленном котелке, пил кофе в турецкой кофейне.

— Дураки гнут спину! — говорил он часто, входя в портняжную мастерскую Гедалии. — Много нагнули? Дырку от бублика...

Усаживаясь рядом с машиной, он упоенно спрашивал, закатывая мутные глаза:

— Знаете ли вы, например, что значат жеребцы? Человек в наше время ценится мало, а — лошадь?.. Я вас спрашиваю: лошадь?.. Приплод дороже золота. Или например — биоскоп?.. Что вы скажете?

И каждый раз Гедалия, останавливая машину, напряженно слушал Брискина и потом, внезапно махнув рукой, кричал ему, нервно дергая усы:

— Брискин, уходите!

И была в этом возгласе зависть к чужой мечте.

Теперь братья позвали Брискина.

— Дом?.. — переспросил он. — Об этом спросите у меня...

От волнения у него запершило в горле. Он закашлялся, деликатно прикрывая рот ладонью, и посмотрел на братьев почтительно. Он неожиданно снял котелок.

— У меня нет домов! — сказал он, доставая из жилетного кармана длинный список, помеченный номерами и названиями улиц. — У меня здесь имеются только сказки!..

— Покажите ваши сказки!

— У меня нет сказок! — проговорил маклер Брискин. — У меня здесь имеются волшебные сны...

Список маклера, пожелтевший, перыпаный на гнибах желтыми табачными крошками, открывал перед братья-

ми неведомый и прекрасный мир. В списке значились особняки и флигели, дворы за высокими заборами, светлые квартиры, зеленые улицы, яблоневые сады.

— Брискин! — тревожно говорили братья. — Уведите нас к волшебным снам!

Каждый день они уходили с маклером на дальние улицы, где дома были поменьше, проще и дешевле. Но и там Гедалия, внезапно останавливаясь перед калитками, схватывался за голову и восклицал:

— Держите меня, я дальше не пойду! Меня не пускает цена. До свидания, сон...

И шел он мимо голубых заборов, за которыми выступали из листвы веранды с цветными стеклами, флюгера, зеленые крыши с яркочерными, точно нарисованными, трубами. Это была запретная для него, кочующего бездомника, зона. Там жили другие люди. Авраил, проходя мимо, закрывал глаза. Он шел, точно ослепленный, ощущая рядом лишь локоть брата.

— Этого не надо видеть... — говорил он маклеру. — Это надо забыть.

К концу третьего месяца, когда Брискин уже проклинал свое маклерство, этот неверный хлеб, братья, наконец, остановились вблизи низенького домишки на пыльной улице и сказали:

— Здесь.

Дом был небольшой, с пятью квартирами, уходившими окнами на улицу и во двор, в палисадник, заросший репейником и татарником. Рядом тянулся пустырь, сверкавший битым стеклом, вдали чернели одинокие хижины сапожников и лудильщиков. Небо над пустырем, опутанное бумажными змеями, висело низко, и казалось, что и там было тесно, как на земле. Хозяин дома, глубокий старик, живший на пенсию, отдавал свое владение — вместе с жильцами — за наличные и векселями. Сделка была совершена быстро, и Брискин, возбужденно передвинув котелок на затылок, сказал братьям торжественно:

— Сбылся ваш волшебный сон!

Айзик-ломовик в последний раз перевозил имущество братьев. Перед тем, как тронуться в путь, они присели, и потом, взявшись за руки, пошли за телегой, счастливо и гордо оглядывая встречающихся горожан.

Войдя в собственный дом, они приветствовали друг друга высоко поднятыми ладонями, поцеловались, и младший, Гедалия, проговорил:

— Клянемся, Азраил, дружить крепко, как дружили мы всю жизнь!

— Клянусь! — ответил Азраил.

3

Началось это вскоре. Азраил, надев чесучевый пиджак и взяв палку, которой никогда раньше не держал в руке, пришел к жильцу-чиновнику. Азраил быстро оглядел потолок, постучал пальцем по стене и сухо сказал:

— Я пришел, извиняюсь, за квартирными деньгами.

Чиновник натянул на себя тужурку и пригладил ладонью волосы.

— Фу-фу-фу... — проговорил он, выпуская воздух изо рта. — А я уже уплатил. Да-с.

— Кому?

— Вашему брату! — услышал Азраил, и в нем шевельнулась смутная, легкая обида.

Он послал за Гедалией и, когда тот явился, выпрямился за стойкой во весь рост и спросил, не поднимая глаз:

— Интересно знать: кто здесь домовладелец?

— Оба наполовину.

— И я?

— И ты.

— Очень приятно слышать! — заметил Азраил и начал чертить мелом по сукну. — Только я этого не знал.

Перемена в Азраиле сказывалась в гордо приподнятой голове, в сдержанных жестах, скупой улыбке. На приветствие брата «здравствуй!» он стал отвечать: «Хорошо!». В синих, уставших от бессонницы, глазах его появился недоверчивый блеск.

Жилец, поселившийся в глубине двора, был смелее чиновника. Гедалию,

пришедшего к нему за квартирной платой, он не пустил дальше сеней.

— Вы требуете дважды за месяц! — проговорил он. — Я такой арифметики не понимаю. Что вам угодно?

Гедалия позвал Азраила и спросил его, покручивая усы:

— Что это значит?

— Это значит, что я — тоже домовладелец!

— Разделим квартирантов! — закричал Гедалия и затопал ногами. — Разделим эту армию напополам!

Когда братья поделили жильцов, между ними встала еще большая настороженность. Они начали подозрительно относиться к счетам, распискам, документам. На новом месте пошел новый заказчик, но был это тот же скромный горожанин, для которого новый костюм являлся значительным событием в жизни. Вывески братьев висели теперь рядом, и ревнивая подозрительность обеих перешла в открытую борьбу за каждого нового заказчика. Постепенно двор был разделен на два владения, семьям запрещалось переходить через черту, и глухая вражда легла и между женами и детьми братьев.

В квартире Азраила появилась новая мебель, купленная в долгосрочный кредит. Гедалия собрал свое семейство и воскликнул:

— Откуда эта мебель? За мой счет! Он, наверно, дерет с чиновника втрижды больше...

Вечером он, нацепив очки, проверял счета. Он перебирал листки трясуцими руками и, хотя расход был показан правильно, недоверчиво вглядывался в каждую цифру и шептал:

— Те-те-те... Он меня, конечно, обманывает, но где — не могу понять... Он обманывает на вывозке мусора, на побелке, на окраске...

Во дворе росли пять яблонь, и вечерами Гедалия выходил караулить пятую яблоню, урожай с которой делился пополам. Это было в августе, когда налился желтый анис. Братья встретились под деревом.

— Что? — спрашивал Гедалия, шевеля по листве пальцами, исколотыми

иглокой. — Я караулю свое собственное, нажитое... Я слышу запах сада.

Азраил молчал, запрокинув голову к звездному небу, и Гедалия думал о том, что давно он не делился с братом своими заботами, не жаловался ему на трудную жизнь. Между братьями росла стена. Однажды ночью, когда Гедалия работал, были сорваны плоды с пятой яблони. Увидев это, Гедалия опустил на землю, потом пошел вокруг двора, протягивая в темноте руки к окну Азраила и тревожно спрашивая:

— Где моя тишина?.. Где мой сад?..

На крыльцо вышел Азраил. Увидев Гедалию, он спросил его в третьем лице, в той форме, которая является знаком высшего оскорбления:

— Что он хочет?

— Отдай мои яблоки! — кричал Гедалия, разрывая рубаху на своей груди. — Отдай мое лично нажитое. Легко мне было гнуть спину? Страдать и мучиться? Это ужас рассказать, что я пережил, пока купил дом. И выходит, я — не хозяин. Не человек. Верни мне мою фантазию!..

Усмешка тронула губы Азраила. Он потер сухие ладони, приподнял плечо и сказал брату:

— Пусть он уходит с моего порога!

— Это... это почему? — проговорил Гедалия. — Это... это куда? Уйти... мне из собственного дома?..

— Я такой же хозяин, как о н.

— Не пролит здесь мой пот?

— А мой?

— А мой?.. — зло выкрикнул Гедалия, плюнул на крыльцо и выругался длинным ругательством, в котором упоминается родословная только по отцовской линии.

После этого они надолго замолчали и, встречаясь в собственном доме, расходились в разные стороны. Молчание было тяжелое, как жизнь их, прошедшая в волчьей борьбе. И уже не шел брат к брату, и выше вырастала стена, вставшая между ними.

«Что случилось?» — думал каждый в одиночку.

И не было ответа на этот вопрос. Мечта обманула их. Взявшись за ру-

ки, они ушли из землянки, жили дружно и теперь потеряли друг друга. Гедалия стал плохо спать. Во сне он глухо вскрикивал, видел перед собою худое, изрезанное синими жилками, лицо Азраила.

— Брат мой!.. — кричал он, протягивая руки, но вокруг была пустота. — Азраил! — спрашивал он в тишине ночи. — Трудно тебе?

— Трудно.

— Помнишь нашу землянку?

— Помню! — слышал Гедалия и переносился мыслью на глухую и далекую родину.

Однажды, взяв в руки палку, он направился к Азраилу, но, перейдя запретную черту, он вдруг остановился и спросил себя дрогнувшим голосом:

— К кому я иду?.. Он — чужой. Мы стали врагами. Неужели так будет продолжаться всю жизнь?

С каждым днем становилось труднее владеть домом. Расходы по ремонту, не предусмотренные мечтой, были такие большие, что пожирала они и плату, собранную с жильцов, и портновский заработок братьев. Но самый тревожный момент наступал, когда близился срок уплаты по векселю прежнему владельцу дома.

— Уже? — беспокойно спрашивал Гедалия. — Но где же взять?..

Он свирепо стучал на машине, работая до утра. Обморочная бледность покрывала его лицо, ноги его, нажимавшие педаль, становились от усталости деревянными. Ныло тело, глаза слипались.

В соседнем окне шевелилась большая тень брата, упорно кроившего ножицами сукно. Уплатив по векселю, они отдыхали до нового срока. Дом, раз'единивший их, стал для них проклятием. Все чаще Гедалию начала посещать мысль, которую он гнал от себя, но она наступала, и уже некуда было уйти от нее.

«Продать дом! — думал он. — Мы сошлись здесь на несчастье».

Видно, и Азраил думал так. На вопрос о продаже, переданный через детей, он ответил:

— Не имею против.

И вскоре снова пришел Брискин. Он явился прямо из турецкой кофейни, поставил шалку в угол и весело сказал, потирая руки от предстоящего барыша:

— Продать? В два счета! Это разве дом? Страшный сон!..

Дом был продан, долги уплачены, но осталась глухая вражда, порожденная домом. Братья разошлись. Заказчики приходили к ним все реже. Всюду открывались портняжные фабрики, и люди покупали костюмы в магазинах. Никому не нужны были кустари-одиночки. Жить стало труднее, и один из братьев, который был моложе на десять лет, сказал себе однажды с суровой решимостью:

— Гедалия, нельзя так продолжать!

Он сорвал свою одинокую вывеску, привлекавшую теперь внимание только фининспектора. Кустари уходили на фабрики, фабрики пугали Гедалию непонятным словом: конвейер. Люди вокруг менялись. Сосед-пекарь окончательно закрыл свое предприятие по изделю французских булок, халы и изюмных пряников и начал работать в артели пекарей. Пришло такое время, когда даже Айзик-ломовик продал свою лошадь и пошел в извозный коллектив, а маклер Брискин напряженно спрашивал у Гедали:

— Кому я теперь нужен?

Люди перестали покупать и продавать дома.

Глухая тревога охватила Гедалию. Опускались руки: заказчики попадались только случайные. Гедалия смотрел в окно. Вид улицы и прохожих вызывал в нем смутное сознание того, что рядом с ним, вокруг идет какая-то драга, непонятная ему жизнь. Надо было уйти далеко, но — куда? Надо было жить по-иному, как уже начинали жить другие. Но как? И снова ночами не спал Гедалия и, беспокойно ворочаясь, переносил мыслью к Азраилу. Братья не встречались, но Гедалия догадывался, что Азраила мучает такая же тревога. У них была одна судьба, хотя и жили они в одиночку, разлученные враждой. Часто Гедалия воскидал в ночной тишине:

— Азраил!.. Я спрашиваю тебя, Азраил: что это будет?..

Однажды, движимый неясной надеждой, Гедалия зашел в ОЗЕТ и увидел там оратора, окруженного такими же, как и Гедалия, бездомными людьми. Подойдя ближе, Гедалия услышал удивительное и непонятное слово:

— Тайга...

В толпе Гедалия увидел Азраила. Тот стоял неподвижно, слушал. Гедалия подошел близко к оратору и повторил за ним взволнованно, тревожно:

— Тайга...

4

Братья имели смутное представление о том месте, куда собирались уехать с семьями. Далеко, у китайской границы, лежит большая земля, и, хотя братья постарели, их звали на эту далекую землю, в новую жизнь.

— Будет ли там портняжная фабрика? — спрашивал Гедалия. — Увижу ли я там покой на старости лет?

И, уже когда были запакованы узлы, и повзрослевшие дети, попрежнему именуемые «армией», собрались с отцом в далекий путь, Гедалия вспомнил об Азраиле. Высоко подняв плечи, он воскликнул:

— Интересно: что думает он!

Дети устроили встречу отцов. Они сошлись на улице, ибо ни один не решился первым переступить вражеский порог. Гедалия, еще издали заметив худую фигуру брата, ускорил шаг. Сердце его залилось теплом, и захотелось сказать тихо и задушевно:

— Азраил, это я...

Но он молча остановился и настоительно поглядел на брата. В эту минуту ему показалось, что Азраил спросит его: «Помнишь собственный дом?» — и напомним про черту, разделившую их владения.

— Что е м у нужно? — холодно спросил Азраил.

— Он едет в Биробиджан?

— Едет!

Горькая отчужденность не покидала братьев и в пути, в вагоне, уносившем их далеко, берегом Байкала, через дальние станции — Верхнеудинск и Читу.

На вокзалах, где собралось много переселенцев, ехавших с дальних сторон, гремели трубы, празднично развезались флаги, в вагон приносили подарки, гулко гремело радио: «Привет переселенцам!». Слушая этот веселый возглас, Гедалия верил в новую жизнь, похожую на мечту. Ощущение легкости и спокойствия он пронес через огромный путь.

В Биробиджане со станции братья шли рядом. Дождь шумел в соснах, под ногами вязла липкая глина, вдали блуждали одинокие огни. Луна освещала лишь реку и высокую сопку. Братья шли вдаль, глядя под ноги, на ползущий свет карманных фонариков. В бараке они развязали узлы, из которых выпали фотографические карточки в деревянных рамках. На фотографиях, в окаменевших позах, с вытянутыми, застывшими лицами, каких не бывает в жизни, были сняты родственники — от дедушки до племянников. Много раз Айзик-ломовик перевозил эти узлы, напоминая о бездомности братьев, и теперь, развязав их, Гедалия воскликнул:

— Конец всем скитаниям!..

Поезд подошел почти к океану. Старая жизнь осталась далеко позади, за десять тысяч километров. Там осталась и портновская вывеска. Но в Биробиджане не было еще портняжной фабрики. Земля, не тронутая с сотворения мира, ждала человеческих рук. По амурским берегам издавна жили казаки, согнанные сюда на плотах русским царем Александром. Они жили, одинокие среди сопки и хребтов, где уссурийские тигры вынюхивали непривычный запах человеческого жилья. Казаки пахали в долинах твердую таежную землю, били зверя, ловили рыбу, построились крепкими домами из кедров по огромному склону от Хингана к Амуру. Рядом жили гольды, якуты, китайцы, корейцы и племена орочей и удегэ.

Утром братья вышли из барака. Новоселы густо толпились на равнине, под высокой сопкой, которая называлась так же, как и станция: Тихоньякая. Здесь был центр переселения. Ми-

мо бежали поезда до Владивостока. На железнодорожной линии переселенцы грузили плуги, бороны и кирпич. Выстроившись шеренгой, они перебрасывали кирпич из рук в руки, складывая штабелями, и, отдыхая, садились в круг.

— Я был домовладелец... — тихо проговорил Азраил, неловко проходя к штабелям. Он взял кирпич, сдул с него пыль и, поглядев на свои ладони, перепачканные красной пылью, недоуменно и печально пробормотал: — Это же не фантазия...

— Мне известна его цель, — сказал ему Гедалия. — Пусть он позабудет.

— Боже зба! — ответил Азраил. — Просто трудно начинать...

— Видел ли он большевика? — спросил Гедалия. — Такой высокий, в кожаной тужурке. Он согласился немедленно послать нас на участки. Нам дают лошадей.

Сняв пиджак, Гедалия бросился к штабелям. Руки его в засученных рукавах с блестящими запонками замелькали над звонкими кирпичными плитами. Закончив погрузку, братья пошли на площадь, где, окруженные переселенцами, стояли лошади. Далеко разносилось громкое ржанье. Каждому вновь приехавшему давали лошадь с упряжкой и повозкой, нагруженной продуктами, фуражом и брезентовыми палатками. Коллективы уезжали в тайгу выбирать участки для поселения. Кони стояли смирно, пожевывая первую, иззелена-желтую траву, но братья долго не решались подойти к ним близко. Это было новое, беспокойное дело: конь!.. Азраил, бледнея, отступал в испуге и глухо восклицал, вытирая пот на шею:

— Что это за лошади, которых нужно бояться? Они же — дикие!..

Смельчаки, хватая уздечки, ловко садились на коней. Азраил, взмахивая руками, испуганно глядел им вслед.

— Куда он смотрит? — спросил у него Гедалия. — Это — ничего. Это трудно только начинать. Пусть он помнит: здесь нас ожидает, может быть, жизнь.

И по неверному его голосу было понятно, что успокаивал он не только Азраила, но и себя.

На рассвете из барака, вместе с коллективом, братья выезжали на участок. Впереди лежала длинная и пустынная дорога. Женщины пошли к возам с узлами на плечах. Мужчины бросились к лошадям. Впереди на взмыленном коне скакал озетовский руководитель, большевик. Он рукой указывал дорогу, и братья, ехавшие в одном обозе, следили за его рукой, как за жезлом. Сидя в передней повозке, Гедалия тянул вожжи в разные стороны. Под крутым обрывом засверкала река Бира, гремевшая среди болот. Уже виднелся паром, но повозка Гедалии вдруг остановилась, увязнув в болоте. Спрыгнув, он начал вытаскивать колеса, отяжелевшие от грязи. Лошади трясли головами, топь засасывала их, обрывались хомуты, дождь хлестал по глазам. Обоз стоял на берегу, извиваясь по крутому обрыву неровной линией узлов, мешков, цветных подушек, сундуков — пестрого нищего местечкового скарба. Женщины сидели в повозках окаменевшие, похожие на свои фотографии, в пестрых платьях, раздувавшихся на ветру. Сломал длинный прут, Гедалия погнался, наконец, свою лошадь к парому. Схватив конец каната, он послал на другую сторону Азраила. Братья начали тянуть канат через реку, и повозка перешла на другой берег. Выйдя из болота, они взглянули в туман, в неизвестную даль, где предстояло им поселиться. Большевик оглядывался, видел лица, залепленные грязью, и сам, почерневший от усталости, взмахивал бодро рукой, обещая отдых на двенадцатом километре. Он запахнулся в дождевик, и прямые его ноги в стременах замелькали впереди.

На двенадцатом километре переселенцев встретила одинокая изба, залитая водой. Братья разложили войлок и повалились на пол, молчаливые и хмурые.

Ночью Гедалия поднялся и, разглядывая мокрое небо за окошком, сказал в усы:

— Едем дальше.

— Мы не поедem... — хмуро, сквозь сон, пробормотал Азраил.

— Что такое? — вскрикнул над его головой Гедалия. — Интересные разговоры я слышу.

— Пустите меня видеть сны! — пробормотал Азраил. — Нас завезли в болото. Дома мы мучились, но разве можно сравнить? Там же было сухо.

— Пусть он замолчит! — сказал ему Гедалия. — От этих слов воротит мою душу. Он хочет вернуться... А может быть, именно здесь он увидит свою мечту?.. — Повернувшись к окну, Гедалия улыбнулся одним движением щек, синеватых от щетины, и сказал глухо, точно уговаривая самого себя: — Это же смешно — возвращаться.

Все вокруг казалось ему непривычно трудным, но решительный шаг он сделал еще дома, когда собрал узлы, выдержав скандал с женой, испугавшейся бедствий на далекой стороне. Теперь отступить было некуда.

Он двинулся дальше с обозом, к тридцать третьему километру, но и там была лишь изба, залитая водой, и только на четвертые сутки, завидев постройки, выступавшие на опытном поле из тумана, он повеселел. Азраил, распрягая лошадь, бросился к большевику-озетовцу.

— Что это значит? — спросил он. — Что это значит — столько горя пережить? За один только въезд на землю.

— Это значит, что вы останетесь здесь, — ответил озетовский работник. — Вы сумели проделать такую дорогу. Трудное осталось позади. Теперь вам будет лучше. — И, познакомив Азраила с казаком Охрименко, он проговорил: — Вот, приехали переселенцы. Дай им работу.

Наутро братьев отправили в лес за бревнами. Земля после дождя пахла резко, вокруг натекли лужи. Ветер ушел за сопки, и земля покрылась снегом. Пороша все вокруг наполнила голубым сверканьем. Лошади побежали легко. Они настороженно двигали ушами, оглядывались на возниц, но те правили уже увереннее, не хлестали прутьями по ребрам. Гедалия, сидя в повозке, отпустил вожжи и глядел вос-

хищенно по сторонам на сопки, менявшие цвет. Издали они казались синевато-белыми, как сахарные головы, вблизи — голубыми, искрящимися от снега.

— Картина!.. — воскликнул Гедалия, шевеля губами, влажными от пороши.

Азраил улыбнулся ему и промолчал, хотя рот его зашевелился, и похоже было, что он заговорит, наконец, тихим, идущим из души голосом. Лошади пошли на звон, доносившийся из леса. Китайцы в синих штанах, раздувавшихся от ветра пузырями, пилили кедр. Они надрезали стволы и, намечая место обвала, убегали в стороны. Желтые лица их, блестящие от пота, мелькали среди стволов. Гедалия пошел вперед, к толстым бревнам, теплым еще от надреза. Сняв пиджак, он не очень ловко поднял бревно вместе с Азраилом. Братья бросили бревно в повозку, привязали его цепью, и, хотя оно лежало недвижно, Гедалия долго ходил вокруг повозки, точно бревно было живым и могло убежать в лес, как медведь. Они тронули лошадей, умоляюще поглядывая в их глаза. Ах, эти кони! Они легко идут без груза и становятся дикими, когда нагружаются.

— Он продолжает думать!.. — вдруг зло закричал Гедалия, порывнявшись с Азраилом. — Смотрите: его лошадь опять несется без хомута! Люди, выбейте ветер из его головы!

Они привезли лес на участок. Брезентовые палатки раскинулись далеко, вдоль амурского берега. Всюду густо стояли возы переселенцев. Люди приехали из Украины, Белоруссии, Сибири, Западной области, и разные наречия — протяжные, певучие, медлительные — звенели, как при вавилонском столпотворении. Они шумно перекликались. Сибирские евреи бродили среди палаток, не похожие на других, — светловолосые, слегка скуластые, разговаривавшие по-русски. Они бродили в зипунах среди людей, одетых пестро: клетчатые пальто, сшитые из одеял, синие юбки, малиновые ротонды, пиджаки и косынки, позеленевшие в местечковых

сундуках... Уже известна была жизнь каждого — скупые биографии выходцев из местечек, где столетиями текло ленивое и чужое небо гетто.

Вечером на участках горели костры, освещаая палатки и табуны переселенцев. На треножниках кипело варево в чугунках, и дым столбом стоял над тайгой. Отовсюду доносились шумные песни, возгласы и топот пляски. Весенние ночи наступали быстро, в воздухе сразу становилось темно и холодно, сопка сливалась с горизонтом, далеко пропал отчетливо сквозной лес, и видны были только крупные звезды, похожие на фонари, и фонари, похожие на звезды. А утром было так тепло, что переселенцы выходили из палаток без пиджаков. Они рыли канавы, наводили дороги, возили камень и лес.

— Из этого леса вырастет дом!.. — сказал однажды Гедалия, сбрасывая вместе с Азраилом бревно. — Вы слышите?.. — ломким голосом спросил он брата. — Интересно: чего нам теперь пугаться?

5

Вскоре, когда на участке переселенцы начали строить дома, Гедалия, взяв в руки заступ, воскликнул:

— Мы закладываем первый камень в пустыне!.. Здесь вырастет город. Тут же проходила раньше каторжная дорога... Амурская колесуха... В новую жизнь! — закричал Гедалия, копнул землю и остановился.

Остальные, глядя на него, также копнули землю и застыли, высоко подняв заступы, свершая этим древний ритуальный обряд. И потом разом задвигались заступы, началось рытье ямы. Когда глубина ее дошла до метра, вдруг полил дождь. Он залил яму. Земля отяжелела, слиплась мокрыми комьями, оседая и скользя под ногами. Озетовец увел людей в сторону, отметил место стройки, и все начали рыть недалеко канаву, но копать теперь было труднее: ноги погружались до колен в землю, размытую дождем. Мокрая одежда прилипла к спинам, людей охватил озноб. Вскоре вода, натекая в яму, пошла по канаву в низину. Начал-

ся подвоз брусьев. Дождь прекратился, и воздух от испарений стал таким плотным, что казалось, можно было резать его ножом. Остро запахло рекой, из леса потянуло сладковатым запахом моха.

На участке начали вырастать дома. Фундамент застилался полом, зажелтели стены. Вверху по балкам бежал механический блок, подхватывал бревна, унося их высоко, под крышу. Оттуда доносились стук молотка и веселое пение Гедалии. Он помогал строить дом, в котором поселится с семьей. Согнутая его фигура мелькала в стропилах, как колесо. Руки его, свежее-изрубцованные садинами и порезами, вколачивали в доски гвозди. Хинганский ветер бил в лицо, от мороза и солнца становилось больно глазам, но Гедалия весело карабкался по бревнам, и удивительно ему было, как ловко изгибалось немолдое его тело и как руки, привыкшие к иголке, крепко сжимали молоток. Он строил свой дом в тайге, и была в этом легкость, незнакомая раньше, когда так мучительно, вместе с братом, приобретал он собственность. Да, строить дом было легко: фундамент рыли всем коллективом, лошадей давал конный двор, тес и гвозди привозили по славному пути из озетовского склада, райисполком прислал каменщиков и плотников.

Азраил, строившийся рядом, спрашивал Гедалию, вынимая изо рта гвозди:

— Он будет соседом?

Обоим весело кивал озетовец, хлопотливо перебежавший от стройки к стройке. Он выписывал наряды на материал, скакал на коне в Тихонькую и приносил удивительные речи, которые обещали тайгу превратить в цветущий край. Он распределял между братьями лес, делил поровну гвозди, и, хотя вражда попрежнему лежала между Гедалией и Азраилом, они, слушая озетовца, соглашались с ним во всем, и, похоже было, большевик-озетовец разрушал постепенно стену, вставшую между ними.

— Здесь люди становятся новыми! — говорил он. — Вам дали землю и пра-

во трудиться. Вы приехали на то самое место, которое искали всю жизнь.

Дом Гедалии засверкал стеклами. Перед вселением Гедалия поискал кого-то глазами, но, не найдя никого, бросился бежать. От дома он повернул к реке, пустился по пахотному полю к лесу. Дул ветер, перед глазами поплыла листва, в ушах звенел воздух. Когда Гедалия остановился от волнения, стало понятно: он искал Азраила.

— Азраил!.. — кричал он и снова бежал по лесу, простроченному нежнорозовым горизонтом. — Ау-у-у... Азраил!..

В лесу становилось темно. Блестела дорога, накатанная колесами. След ее оборвался, тропинки сошлись узлом и пропали в чаще, густо закиданной валежником. Дальше начиналась тьма, и Гедалия повернул на дорогу, по которой возил недавно лес. Не найдя Азраила, Гедалия вернулся в новый дом. Он раскрыл сундук, и оттуда полетели рубахи с пришитыми манишками, крахмальные воротнички, галстуки, носки с резинками, желтые скрипучие ботинки, жилетка на дутых пуговицах. Это была праздничная одежда, которую Гедалия надевал раньше лишь дважды в год, по большим праздникам. Он начал быстро одеваться, и под огрубевшими его руками отскакивали запонки, шелк рассекался под мозолями, ногам стало тесно в мягких ботинках.

— Азраил!.. — выкрикнул он, торжественно одетый. — Я вхожу в свой дом! — Брата не было вблизи, но Гедалия продолжал взывать к нему, поднимая руки.

В марте, когда пожелтел снег и на горизонте вспух лимонный круг солнца, Гедалия пришел на пустырь, раскинувшийся за новыми домами. Вблизи шевелилась неясная тень. Кто-то шел по пустырю, невидимый в сумеречный час. Гедалия приподнялся на бугор и узнал Эхарью Бендина, садовода, приехавшего из Бердичева. Участок превратился в колхоз, и Эхарья начал разводить на пустыре фруктовый сад. У Эхарьи было много трудностей. В колхозе не верили в сад, посаженный в тайге, где никогда не росли фрукты.

Гедалия, оглядывая пустырь, робко спросил:

— Будет сад?

— Сад, — ответил Эхарья.

Гедалия стоял, склонив голову и шевеля губами. Похоже было, что он пытался вспомнить песню, которую слышал в детстве. Он стоял, не похожий на себя, весь светящийся внутренним светом, и вдруг спросил:

— И я буду сидеть с Азраилом под яблоней?..

— Да! — подтвердил Эхарья.

— Немая тишина окутает мир... — шопотом продолжал Гедалия. — Ветви будут шуметь над головой... Это будет общий сад? И у каждого будет сад?

— У каждого! — уверенно сказал Эхарья.

Гедалия ушел с пустыря. Легкая бодрость его вылилась в песне. Он видел дом свой, уже построенный, окруженный садом. Свершалась мечта его, зароненная в прошлой жизни, темной, как ночь. — Я иду к тебе, Азраил!.. — говорил он, и так, напевая песню, пришел к дому своего брата и впервые за долгие годы переступил его порог.

Азраил жил рядом. Переселившись из палатки в новый дом, как все переселенцы, он часто спрашивал себя, глядя в соседнее окно:

— Почему же мы не встречаемся?

Он искал причину вражды, но с каждым днем убеждался, что она ускользала от него, остался только ее неясный след. Это был след прошлого, когда люто разошлись они из-за собственности, сделавшей их врагами. Теперь оба они жили одинаково, бросили портняжество, работали в колхозном поле, и у каждого был свой дом. Но памятно было прошлое, и много раз, собираясь к Гедалии, Азраил останавливал себя.

— Куда я пойду? — спрашивал он. — Мы — враги.

Так искали братья друг друга, хотя давно, в общей работе тесно сталкивались локтями, и чем больше рос колхоз, тем острее ощущали они потерю друг друга.

«Мы потеряли себя... — думал Азраил. — Это очень странно».

Услышав стук в окно, он встрепетнулся. Стук повторился, и тогда Азраил пошел к двери и спросил:

— Кто там?

— Отвори! — услышал он голос Гедалии. — Это я, Азраил. Ты видишь меня?..

— Вижу! — проговорил Азраил. — Я тебя очень вижу, — обрадованно повторил он. Сухое лицо его залилось краской, и руки задрожали, когда он сбрасывал крючок с двери. — Входи в мой дом!.. — сказал он.

Братья протянули друг другу руки. Пришел момент, которого долго ждали они, и сразу хлынули теплые и простые слова, запертые раньше враждой.

— Помнишь собственный дом? — спросил Гедалия. — Он сделал нас врагами. А теперь у нас свои дома, но это совсем, совсем другая собственность. Я понял это, Азраил. Зачем же нам враждовать?

И Азраил ответил так, как думал:

— Не вижу причины.

— Мы перестали быть людьми. — продолжал Гедалия. — Мы потеряли душу... Но мы снова нашли ее, и мы — живые. Идет наша старость, Азраил, и нам незачем ее бояться в своем доме, на своей земле. Как ты думаешь?

— Думаю — да! — ответил Азраил и улыбнулся синими глазами, засверкавшими счастливым блеском. — Я говорю тебе: да!

Они подошли к окну и увидели огромную, разбросанную далеко, до границы, равнину, застроенную новыми переселенческими домами. Лиловый дым, вырываясь из труб, скрывался за высокими сопками. Залитая полднем солнцем, поднималась страна — Биробиджан.

— Здесь будут сады!.. — сказал Гедалия и положил руку на плечо Азраила. — Вот то самое место! Мы искали его и — нашли. Мы снова друзья, Азраил!..

Дед Чучков

(РАССКАЗ СЛЕСАРЯ)

ИГОРЬ ШПАРРО

★

С криком и свистом в город ворвались белые. Они пронеслись по улицам, и город притих, — точно умер. Ставни домов были закрыты, снежные улицы опустели. Только изредка под конным конвоем проходили партии арестованных... На третий день и к моему окну подскочили трое в бурках, с наганами за поясами. Такой-то здесь? «Здесь». — «Одевайся!» — и весь разговор. А я тогда лихой парень был. Сел в седло и решил — отвяжут коня, пушу в карьер. Была не была! Но казаки тоже не дураки: один сел в седло позади, двое на вороных жеребцах плясали по бокам.

Привезли меня на завод. Увидел я — в глубине цеха стояло уже человек пятьдесят. Отборный народ. Семенов — кузнец, сажень в плечах, щеки красные у него, усы смерзлись, торчат, как все равно две пики; Вепрев — токарь: подковы рукой сгибал человек; Шухмин — карусельщик, в кожанке он ходил, на голове платок накручен: повязала ему жена, чтобы буденновку не надел. И тут же Ивушкин — машинист. Закутался в свое пальтецо и посмеивается, трубочку свою покуривает. Чуть в стороне от всех стоял слесарь Чучков: высокий такой, худой старик в овчинном тулупе. Стоял молча. На товарищей не смотрел. Вдруг и все смолкли. В цех на коне влетел полковник.

— Здорова-а, ребята!

Конь его на дыбы, — стоит, будто памятник. Бросил полковник поводья

казакам. Спрыгнул... Стоит, озирается. Кубанка набок сползла, брови рыжие сдвинул, кричит:

— Здорова-а, то-ва-ри-щи! Чего молчите? Знаете, зачем вас собрали? — Разозлился, что все молчат, хватил нагайкой по голенищу и заорал на весь цех: — Будете у меня ремонтировать бронепоезд! Ясно? Чтобы в неделю все сделать!

Вот тут-то вперед и вышел старик Чучков. Все видели, как поклонился он чуть ли не в пояс полковнику, как глянул ему в лицо. И все слышали, как сказал старик:

— Сделаем, ваше благородие. Беремся... — А полковник уж снова вскочил в седло, крикнул: «Молодец, старик!» — и вылетел в ворота.

Поезд их совсем разбитый стоял. Паровоз без трубы, вагоны некоторые без колес. Броня на люках складками сползла. А на заводе — ни ремней, ни инструментов. Все растащили. Инструмент на хлеб меняли, из ремней подошвы вырезали. Но так или иначе — нужно работать. Казаки охрану выставили. Целую сотню, на горячих и злых конях. Кроме того, следили. Начальник караула — бравый такой офицер с шашкой — все ходил мимо и говорил:

— Кого награжу, ребята. Честное слово русского офицера, награжу. А кого, — не взыщите. За симуляцию будем расстреливать...

Кое-что он, как инженер, понимал в

деле. Главным Чучкова назначил. Говорил ему:

— Ты, старик, за все отвечаешь. Зато и особую благодарность получишь.

— Нам на что? Нам ни к чему, — отвечал старик. — Мы для доблестной добровольческой...

И улыбаться старался. Но только плохо это у него выходило. Не улыбка получалась, а будто морщится человек от боли. А работал он как! Прямо, как зверь. «Выслуживается, старый пес» — говорили про него. Но потом он одному шепнул, другому, — все понятно стало. По-ударному взялись. Вот хоть я, — открыто говорю, — в стужу, в мороз, часов по пятнадцати броню клепаю.

К концу недели все сделали: новые колеса выточили, броню поправили, пулемет Виккерса укрепили. Начальник бронепоезда доволен остался. Приказал всем по буханке хлеба выдать. Мне и Чучкову деникинок с голубями отвалил... И вот — стали мы испытание готовить. Путь починили, нагрузили уголь, развели пары. Влез Ивушкин в паровоз — веселый такой. Открыл дверку и улыбается, трубочку свою покуривает. Никак по нему ничего не заметно. Только и мы хотели садиться, как из вокзала выскочил начальник бронепоезда. Спрыгнул он с платформы, да как заорет:

— Стой! Стой!

Ивушкин побледнел, даже трубочку уронил.

— Какие приказания будут, ваше благородие? — спрашивает.

— Молчать!!! — заревел начальник, хотя и так все молчали и стояли, вытянувшись во-фронт. — Бежать?.. Бежать хотели?!

Белое, пористое, как сыр, лицо его побагровело. Нагайка свистнула и по броне — хват! Хорошо, успел Ивушкин попятиться. А начальник уж накинулся на офицера:

— Так-то вы смотрите, господин поручик! А-а?! Кому вы доверили? Волкам доверили. Как вы передо мной стоите?.. — и понемногу стал отходить. Вытер платком лицо и обернулся к Чучкову:

— А эту хитрую развалину я еще прочу. Взять его!

Навалились на деда казаки, скрутили ему руки и увели, а к Ивушкину в паровоз посадили 20 человек казаков, вооруженных саблями и гранатами. Мы долго ходили по станции взад и вперед и не знали, что делать. Потом увидел я — в разбитое оконце уборной смотрел дед Чучков. Он делал мне какие-то знаки. Он, видимо, хотел что-то сказать. Я подошел к двери и стал уговаривать казачка, чтобы пропустил...

— Ты подумай, — говорил я ему. — Ведь курить-то нужно старику. Что же он не человек, что ли. Сам, небось, знаешь, какое дело без курева.

Он ни в какую. Заладил казак: «Не дозволено да не дозволено». Толкует про устав. А сам оборванный весь, на ногах обмотки, папаха облезлая, грязная, вроде как старый пудель... Угостил я его махоркой. Говорю — так-то так, господин казак, а все же сочувствие нужно иметь. Казацкая, мол, жизнь тоже не больно-то хороша. Тоже, небось, без курева, не евши. Иначе зачем бы, мол, стал бы казак грабить? Зачем бы казацким коням мерзлую кору с деревьев глодать?.. Долго я его уговаривал. Так и не пустил. Велел в окошечко табак передать, сам отвернулся.

Я быстро подбежал к оконцу и заглянул. Старик шагал туда-сюда по промерзлой уборной. Он вздрогнул, не разжимая губ, прошептал:

— Приказываю сегодня же ночью отбить поезд. Сами разболтали, так сами и отвечайте!

Я молчал. Я не знал, что сказать.

— А ты... А ты как же?

— Это дело мое.

— Нет, не твое. Наше это дело. Тебя ведь тогда...

Протянул он за махоркой длинную жилистую руку. Глаза его блеснули, зло так:

— Молчи... Выполняй!

И я отошел и, как сейчас помню, рукавом потешубка вытер глаза.

Стемнело. Отфыркиваясь, весь в сосульках, подкатил паровоз. Ивушкин спрыгнул на полотно и озирался по сто-

ронам. Я подошел. Ивушкин пролез под паровозный котел, смазывал буксы.

— Взорвать я, Василий, хочу машину, — тихо говорил Ивушкин. — Один выход остался. Красные-то уже за Днепр отступили.

Только я передал ему, что сказал Чучков, как на дощатый перрон вышел сам начальник бронепоезда. Ивушкин подбежал к нему, — руку к козырьку — и веселым голосом доложил:

— Бронепоезд в порядке, ваше благородие.

Ночью мы собрались: я, Вепрев, Шухмин, Ивушкин, человек десять проверенных, чтобы снова предательства не было. Мать Ивушкина, старая, горбатая, занавесила окошки одеялами, перекрестилась на икону и вышла. И тогда Ивушкин, все дымивший своей трубочкой, стал говорить о Чучкове. Как родные, они жили. И квартировали рядом (дед Чучков за перегородкой комнату снимал), и помидоры перед домом вместе разводили. И за рыбой вместе ходили, когда разливалась весной река: Ивушкин, Чучков и сын его Григорий.

— Эх, дед, дед, в какое дело попал, — повторял Ивушкин.

— За сына он хотел отомстить. Сына у него белые расстреляли, — сказал Вепрев, хотя и без того все мы это знали. Долго так говорили, и вдруг замерли. Кто-то стучал в окно.

Все вскочили. Схватились за наганы, у кого были. Один карусельщик Шухмин не растерялся. Сорвал со стены гармонию и растянул ее во всю ширину, — пляшите, мол. Но испугались зря. На пороге стоял старик Чучков, страшный, на себя не похожий. Тулуп его был разорван, и в разных местах торчал мех. По грудь примерзла вонючая грязь. Руки были в крови.

— Вы чего же прохлаждаетесь? — хрипло сказал Чучков и тяжело оперся на стол. — Вы что же прохлаждаетесь, я спрашиваю? Совсем совесть потеряли? Чего ждете!?

Никто не мог выдержать его тяжело-го взгляда. И все молчали.

После узнал я, как спасся старик. Услыхав, что за дверью утихли шаги казака, он оторвал доски уборной и оку-

нулся в яму. Отодрал еще несколько досок, вылез наружу и, крадучись, побежал.

Мы вышли на улицу. У кого наган, у кого просто болт железный, у меня обрез.

Шагов через пятьдесят из темноты вынырнул семафор. Поезда почти не было видно. Только из топки летели искры.

У паровоза были казаки. Они разводили костер, возились, чтобы согреться.

Мы выскочили. Казаки попадали и отстреливались из-под колес. Их было много больше, но Ивушкин, как кошка, кинулся к паровозу и сразу тронул.

Как это все быстро пронеслось! Паровоз рванулся вперед. Дед Чучков ударил сапогом в грудь вскочившего на паровоз казака. Казак упал в свистящую черноту. Вдруг Ивушкин согнулся, скорчился. Я сорвал ватник, рубашку и стягивал ему на ногу рану. К регулятору встал Чучков.

Нас было только трое. Тяжелые минуты ползли медленно. Чуть-чуть посветлело. Бешеный вихрь уносил нас вперед и вперед. Паровоз качался, гремели части, скрипела броневая обшивка. Вперед! Вперед!

И вот уж и город, и несколько деревень проскочили. Впереди — река. И тут страшная шевельнулась мысль: «Что, если успеют?» Нет! Не должно.

Сжав регулятор, старик молчал. Только какой-то дикий огонек блуждал в его глазах.

И вот уже ближе, ближе. Не выдержав, я отодвинул броневую заслонку и сразу отпрянул назад. По паровозу пробежала пулеметная дрожь. Значит, здесь уже знают, значит, сообщили. Значит...

Да, мост был разведен. Я вцепился Чучкову в спину:

— Тормози!!!

Старик словно не слышал меня. Поезд с горы летел, как снаряд. Казалось, падал в пропасть. Я кинулся к тормозу, но старик выхватил наган, страшно закричал:

— Застрелю!

Он навел наган прямо мне в лицо. Ледяной ветер со снегом ворвался в от-

крытую дверку, и то, что случилось дальше, точно не могу сказать. Слышал я только тот же дикий голос: «Прыгать!» И видел: в открытую дверь Ивушкин бросился вниз. Со снежной насыпи и я летел, перевортываясь через голову, и потерял сознание... Когда я очнулся, ко мне подползал Ивушкин. Было совсем тихо. Крутился снег.

Мы лежали на берегу Днепра. Из проломанной во льду огромной дырищи шел пар, торчали останки паровоза, обломки железа. Мы не сказали друг дру-

гу ни слова. Мы ползли на тот берег, и Ивушкин оставлял за собой след крови... Не знаю я, как получилось с дедом Чучковым. Наверное, не успел он. Может быть, за что-нибудь зацепился, — замешкался лишнюю долю секунды. Или еще что-нибудь, — не знаю. Видел я только, когда мы ползли около проруби, — шапка всплыла его — черная, с ушами. Будто детская. Взял я эту мокрую шапку, положил за пазуху, и мы поползли дальше. Навстречу поднималось красное, будто обожженное, солнце...



Манас

КИРГИЗСКИЙ НАРОДНЫЙ ЭПОС



Монументальная героическая поэма киргизского народа «Манас», насчитывающая около 240.000 стихотворных строк, представляет только одну часть поистине циклопической киргизской эпопеи, объединяющей несколько самостоятельных поэм, связанных общими действующими лицами. Вся эпопея имеет свыше 400.000 стихов.

Эта грандиозная эпопея сложилась, как предполагают, в XII—XIII в. , но корнями своими уходит, очевидно, в более глубокую древность.

В 60-х годах прошлого столетия академик Радлов первый произвел запись отдельных отрывков из различных эпизодов «Манаса» и опубликовал их в 1885 г. на киргизском (в русской транскрипции) и немецком языках. Однако киргизский эпос в условиях царской России оставался только узко-научным фактом, известным в пределах фрагментов, записанных Радловым, ограниченному кругу ученых-тюркологов.

За все свое многовековое существование эпос «Манас» до последнего времени не был полностью записан даже на киргизском языке. Певцов-исполнителей «Манаса», знавших наизусть весь текст, ко времени утверждения в Киргизии советской власти почти не оставалось. Последний классический «манасчи» (поэт-сказитель «Манаса») Сагымбай Оразбаков умер в 1926 г. К этому времени едва закончена была с его слов запись его варианта, продолжавшаяся целых четыре года. Умри он на несколько лет раньше, богатейший сагымбаевский вариант так же был бы потерян для литературы, как и варианты многих его талантливых предшественников, чьи даже имена, за отдельными исключениями, до нас не дошли.

Второй полный вариант «Манаса» записан со слов ныне живущего, также высокоталантливого народного певца-поэта Каралаева. В Киргизии в настоящее время бытуют еще в исполнении разных певцов и другие варианты «Манаса», но только в виде больших или меньших фрагментов неизвестных ныне полных текстов.

«Манас» для киргизов — предмет исключительной любви и национальной гордости. Нет почти ни одного киргиза, особенно среди людей среднего и старшего возраста, который не знал бы в общих чертах содержания родного эпоса, зачастую — целых отрывков из «Манаса» наизусть. Это равно относится как к городской киргизской интеллигенции, так и к жителям аулов.

Нужно видеть, как реагируют слушатели на исполнение «Манаса» народным певцом, чтобы понять, как любят и ценят киргизы свой национальный эпос. Хорошие исполнители (Каралаев, Молдабасан и др.) дер-

жат аудиторию в исключительном напряжении. Исполнение «Манаса» это не только пение, это еще и замечательное театральное действо с одним исполнителем. Певец поет сидя, поджав по-восточному ноги (часто — на столе), но вся верхняя половина его тела участвует в иллюстрации текста: голова, спина, плечи, локти, кисти, пальцы, при виртуозно-выразительной мимике. Жест и мимика так же неотъемлемы от текста «Манаса», как и самая мелодия. То здесь, то там все время раздаются возгласы, выражающие разнообразные чувства слушателей.

Кто же такой Манас и о чем повествует грандиозная киргизская эпопея, носящая его имя?

Манас — киргизский хан, богатырь исключительной силы, великий полководец и завоеватель. Манас, конечно, лицо легендарное, скорее всего — собирательное, которого народная фантазия наделила чертами сказочных богатырей, великих азиатских завоевателей прошлого, и — самое главное — чертами собирателя киргизской нации, объединителя многочисленных и вечно враждовавших ее племен, создателя ее былой государственности, защитника и охранителя ее границ. Это и делает Манаса народным киргизским героем.

Следует обратить внимание на одну весьма интересную черту киргизского эпоса, проявленную в «Рассказе Алмамбета». При всей вражде с Китаем, при всей фанатичной ненависти к нему, как к языческой, «кафирской» стране, со стороны омусульманившегося Алмамбета, — при всех случаях подтрунивания над «кафирами-китайцами», какое вместе с тем чувствуется уважение к этой огромной, могущественной тогда державе, к ее высокоразвитой культуре!

В настоящее время готовится к печати наиболее насыщенная военной героикой и драматизмом и наиболее популярная часть «Манаса» — «Великий поход на Бейджин».

Первый полутом «Великого похода» (23.000 строк) переведен на русский язык поэтами: С. Липкиным, Л. Пеньковским и М. Тарловским и должен выйти в Гослитиздате в текущем году.

Ниже мы публикуем фрагменты одной из интереснейших и крупнейших глав этой книги — главы «Рассказ Алмамбета». Богатырь Алмамбет, первый друг и правая рука Манаса, — второй по своей роли персонаж эпоса. Он по происхождению китаец, сын одного из удельных китайских ханов.

Л. Пеньковский.



Отрывки из главы „Рассказ Алмамбета“⁴

Перевод ЛЬВА ПЕНЬКОВСКОГО

★

ПИСЬМО АЗИЗ-ХАНА

Китайский хан Азиз-хан, отец Алмамбета, обижаемый своими племянниками Конурбаем (Калчой) и Борюкезом, пишет письмо брату своему, китайскому императору Кары-хану.

...Бедный, бездетный мой отец,
Беззащитный Азиз-хан,
Очень безутешным был.
Брату Кары-хану в Бейджин
Отобрал он шесть бегунцов,
Снарядил он шесть гонцов,
Написал он тогда письмо,
Наложил на письмо печать,
К Кары-хану его послал.
По-китайски сверху вниз
Мой отец письмо писал,
Он слезами его орошал.
Кары-хан получил письмо,
Снял печать, посмотрел в конец, —
Видит подпись: «Хан Азиз».
Так писал ему мой отец:
«Семьдесят я имею лет,
Шестьдесят набрал я жен,
А потомков я лишен, —
Мне защиты на старости нет.
Сын же брата Алоке,
Жадный Конурбай-батыр¹,
Хочет проглотить весь мир, —
Одолеет меня этот вор.
Коль бейджинский Кары-хан
Не забыл меня до сих пор,
Коль сочтет меня братом он,
Да прочтет он мои слова:
Чтоб сильней Конурбая был,
Чтобы крепок был, как булава,
Чтоб хребет имел, как у льва,
Чтоб мои охранял права, —
Вот какого я сына хочу!

И могущую такого родить,
Сыном таким меня наградить —
Да найдет мне Кары-хан жену.
Из крупнейших китайских городов,
Из старейших китайских родов, —
Если брат мне помочь готов, —
Пусть он лучших отберет девиц,
И у всех сорока ворот
Пусть он лучших из них отберет,
И у главных бейджинских ворот
Несравнимую ни с кем отберет,
И придет ее в жены мне.
Если он мне жены не пришлет
И не внемлет просьбе моей, —
Не поверну я больше сохи¹,
Жить в Бейджине не стану я,
Отрекаюсь от сана я
И от брата Кары-хана я,
Отрекаюсь от Будды я,
И китайцем да не буду я
И к бурутам² уйду на закат,
Если сына не буду иметь!..
От кого не терплю обид
По причине бездетства моего,
Кары-хан?...».

И когда Кары-хан бадыша³
Азиз-ханово письмо прочел,
Загрустила его душа:
«Справедливы брата слова,
Э, судьба его нехороша!..».

¹ Т.-е. ничего не буду делать.

² Буруты — так калмыки называли киргизов.

³ Бадыша — император; ср. падишах.

¹ Б а т ы р — богатырь.

КАРЫ-ХАН ВЫБИРАЕТ БРАТУ ЖЕНУ

... В барабаны он бить велел,
 В медные трубы трубить велел,
 Дал приказ по всем городам,
 Весь народ собрать повелел,
 Пыль он поднял по всем путям,
 Пыль взвилась до самых небес...
 Перед тем, как выбрать мне мать,
 По всему Бейджиноу приказ
 Был, оказывается, дан:
 Чтобы в сорок бейджинских ворот
 Пропускали пришедший народ.
 Высыпать велел у ворот
 Куль-азыка¹ запасы он,
 Приказал всем дать мясо он;
 Тысячи нарезать быков,
 Тысячи запасти котлов,
 Горы заготовить дров,
 Тысячи развести костров,
 Чтобы старый и малый ел,
 Чтобы каждый до отвалу ел.
 Сорок он гадателей призвал,
 Сорок предсказателей призвал,
 Сорок тех аяров-мудрецов
 Приказал расставить Кары-хан
 У бейджинских сорока ворот,
 Чтобы лучшую из девиц,
 Лучшую из молодежи
 Выбрали Азиз-хану они.

Он Ламу, героя своего,
 Он калмыка Джалою своего
 Разослал по разным концам,
 Чтоб нагнали из разных мест
 Для отца моего невест.
 Наказал он, под смертный страх,
 Чтобы старше пятнадцати лет
 Не осталось девиц в шатрах,
 Чтоб моложе тридцати трех
 Не осталось молодежи в шатрах...
 ... И великое горе тогда
 Над великим Бейджином стряслось:
 Столько женщин там собралось,
 Что у всех бейджинских ворот
 От великой тесноты,
 От невиданной суеты
 Давка началась и переполох.
 Множество красавиц потерял
 В это время китайский народ.
 А из ханов немало нашлось,
 Кто, жалея своих дочерей,
 Скрыли их от гонцов поскорей, —
 Кары-хан их перестрелял.
 И подряд шестьдесят дней
 Через сорок бейджинских ворот
 Китайки красавицы шли.
 Но из них не нашлась ни одна
 Для отца моего жена.
 И не знали бейджинцы, как быть.

АЛТЫНАЙ

А в сорокаханном Китае был
 Хан по имени Сорондук, —
 Он двенадцать имел дочерей.
 А из всех его дочерей
 Краше прочих и добрей
 Была его меньшая дочь.
 Богом избранное существо,
 Кроткая, как само божество,
 Светлая госпожа моя — мать.
 Была она светла, как луна,
 Торко² золотое носила она,
 Имя было ей Алтынай³.
 И открылся ей с детских лет
 Истиной веры чистый свет.
 Хоть китайкой она родилась,
 Стать мусульманкой поклялась,
 Магометанкой умереть.

Грех язычества ей не в мочь,
 Грезит исламом ханская дочь,
 Грешные все помыслы — прочь,
 Грусть ее гложет и день и ночь.
 Как верблюжонок, страдает она,
 Тает и слезы глотает она,
 Так и горит в неумном огне.
 Дива дивные видит во сне.
 Дивана¹ ей предстал во сне,
 Добрый аксакал-дивана,
 Отроков непорочных к ней
 Приводивший для утех.
 И в одном из отроков тех
 Аксакал² тот, дивана,
 Алтынай желавший добра,
 По особым приметам узнал
 Сына чистого ангела в нем.

¹ Куль-азык — особая пища из саранчи.

² Торко — прозрачная ткань.

³ Алтынай — алтын-ай — золотая луна.

¹ Дивана — монах, дервиш.

² Аксакал — ак-сакал — белобородый, вообще — старик.

С ним он ее обвенчал во сне...
И разделась она догола,
И нагая с ним легла,
И до самого утра
Под цветистой сенью ковра
На лебяжем пуху одра
Длилась любовная их игра.
В наслажденьи тонула она,
В изнеможеньи уснула она,
В сладком пламени страсти горя.

Только тронул землю свет,
Только забрезжила заря,
С ложа встала мать моя,
Золотоликая Алтынай.
Омовенье святое свершив,
Посмотрела на ложе она,
А супруга-отрока нет, —
Он исчез неизвестно куда.
В щеки ногти свои вонзив,
Вся застыла, поражена,
Госпожа моя светлая — мать.
Так был отрок-хур¹ красив,
Так ей стало любви его жаль,
Что в душе ее навсегда
Черная поселилась печаль.
После брачной ночи той,
Завершившейся бедой,
Посетил ее дух святой,
Наступил у нее талгак².
Благословен был ее живот, —
Сразу же трехмесячный плод
Понесла госпожа моя — мать...
Ты не смотри, что я пришел из
Бейджина, Манас,
Кафиром³ меня называя, не жги меня,
храбрый Манас!

Чистым ангелом был я зачат,
Бог единый создал нас, —
Верь моей клятве — я не кафир!
Слушай, как самая сильная смута
пошла.

Когда семнадцать было лет
Славившейся красотой
Матери моей святой,
Когда она в доме отца жила,
Железнухий Кутан-батыр
Гнал, оказывается, ее,
Мать мою бедную, Алтынай,

Пред собою, как барамту¹,
В сорокавратый город Бейджин.
А в столицу пригнав ее ту,
Он пустил ее в чубату², —
Этот самый Кутан-исполн.
Был средь аяров главный один,
Имя тому шайтану — Шуйту.
Лишь увидел он мою мать,
Хоть в грязи она была и в поту
(Мудрость его, гляди, какова!), —
Оценил он ее красоту,
Он признал в ней сразу ту,
Что родит Алмамбета-льва.
И велел он ее поймать,
И, оказывается, моя мать
(Мне бы жертвой за нее пасть!)
К тем аярам попала в плен.
Словно пташка, металась она,
Тяжко разрыдалась она,
Причитала она, голося:
«Чистой веры не знающему,
По-китайски молящемуся
И кричащему: «Татай!»³,
Тому веронеправому,
Кафиру куцорукавому, —
Как я стану женой ему, —
Погубит мою душу Китай!
Как я слово ему скажу,
Как себя перед ним обнажу,
Как с кафиром лягу в постель?
Поясницу кто стянет мне там,
Помогать кто станет мне там,
Драгоценность утробы моей
Обмывать как неверным дам?
Лучше пусть на месте умру!...».
(Жертвой мне б за нее лечь!)

Засверкала ее гневный взгляд,
Закипела в ней кровь горячей,
И, неведомой силы прилив
В то мгновенье в себе ощутив,
Под полою сокрытый булат,
Словно воин, вмиг обнажив,
На приставленных к ней силачей,
На свирепых палачей
Наскочила тигрицей она,
Головы стала она им сечь.
Честь ее охранял тот меч —
Шесть голов скосил он с плеч.
Пасть решила не даром она,

¹ Хур — ангел.

² Талгак — период беременности, когда у женщины появляются вкусовые капризы.

³ Кафир — то же, что гяур — неверный, не мусульманин.

¹ Барамта — насильно захваченный скот.

² Чубата — строй проходящих гуськом людей.

³ Татай — китайский боевой клич.

Билась в гневе яром она.
 Железозубый Лама-кабан,
 Железнухий Кутан-великан,
 Железнолобый Манкуш-буян
 Не могли мою мать одолеть, —
 И на хитрость китайцы пошли:
 Растянули железную сеть,
 Забегали с разных сторон,
 И, пленив мою бедную мать
 (Мне за нее жертвой стати!),
 К Азиз-ханову брату тому,
 К Кары-хану самому,
 Привели ее напоказ,
 И, точь-в-точь ему так говоря,
 Мать мою хвалили ему:
 «Может женщина эта родить
 Премогучего богатыря, —

Не осилит его и Конурбай.
 Храбрый с детства, он, повзрослев,
 Страшен будет, как тигр, как лев,
 Всех бейджинских врагов одолев,
 Станет он твердыней Бейджина.
 Только не обижай его зря,
 Не раздувай, кахан¹, его гнев,
 Чтобы, жаждой мести горя,
 От Бейджина он не отпал.
 Ибо, силой чудеса творя,
 Сорок врат его растворя,
 Весь великий Бейджин разоря,
 Он дотла сожжет Бейджин,
 Истребит он всех мужчин,
 Если будет на тебя сердит.
 Вот какого батыра она непременно
 родит!...».

РОЖДЕНИЕ АЛМАМБЕТА

Азиз-хан увез Алтынай к себе в Таш-Копре. Алтынай, гнушаясь супружеской близости с язычником, подкупила одну китайку, которую ежевечерно переодевала в свой наряд и посылала к старому Азизу в постель. Тайная беременность Алтынай подходила к концу. Наступили мучительные роды. Так же тайно от всех Алтынай родила Алмамбета. Это случилось в один день с рождением его славного коня Саралы.

... Когда меня бог сотворил
 Алмамбетом, Манас,
 (Узнай теперь и об этом, Манас!),
 Отмечен святым был духом я,
 Родился с проколотым ухом я,
 Туйгун¹ твой, гиена твоя² —
 Алмамбет.

Когда я выпал из живота,
 Криком своим ужаснул я лам.
 Когда я поднят был с земли,
 Красное пламя вспыхнуло там.
 Кулаков мне разжать не могли, —
 Била черная кровь из них.
 Как только мать родила меня,
 Коснулся сразу земли мой лоб³.
 По этой самой причине тогда,
 В каханчинском⁴ Бейджине тогда
 Начал лить небывалый дождь:

Семьдесят дней продолжался потоп,
 Семьдесят дней тряслась земля.
 «Откуда в младенце такая мощь?
 Кто это чудище-дитя,
 Которое бросило мир в озноб?
 Такое страшилище кто зачал
 И выродить мог такого кто б?
 Не видано бабьих таких утроб!
 Бейджин не погибнул от него б!...»
 Ужас китайцев обуял,
 Стали ребенка искать они.

«Китайцы сердиты без меры, ведь,
 Кафиры — инаковеры, ведь:
 Мое дитя откроют вдруг,
 Могут сделать всякий вред!» —
 Мать моя размышляла так.
 Охраняющую от бед
 Молитву на шелку написав,
 Тот святой тумар-амулет
 Мне на шею привязав,
 Утаив меня от слуг,
 Утоливши голод мой,
 Утром второпях она
 Утащила к деду меня.
 Утешил ее хан Сорондук,
 Взял меня на воспитанье дед —

¹ Туйгун — белый, особенно ценный охотничий сокол.

² Гиена (по-киргизски — кокджал) так же, как рядом стоящий туйгун, как лев (арстан) и леопард (кабан), в киргизском эпосе — эпитет положительный, указывающий на храбрость, на боевую свирепость.

³ Т.-е.: «... я уже родился мусульманином».

⁴ Каханчинский — империя, каханчинский — имперский.

¹ Кахан — главный хан.

Спас от страшной судьбы меня.
 Когда я три месяца прожил там,
 Утихомирился Бейджин —
 Мимо нас гроза прошла,
 Миновала чаша зла.
 Дав деду золота сундук,
 Мать меня к себе увезла.
 (Хитрость матери какова, гляди,
 Умная какая голова, гляди, —
 Умела отворотить тайфун!)

Браку ее с Азиз-ханом тогда
 Исполнялось десять лун.
 На руках меня принесла
 К мужу-хану Алтынай:
 «Радуйся, повелитель хан, —
 Сына я тебе родила,
 Силача я тебе дала.
 Долго был тобою ждан,
 Добрый будет он батыр,
 Должен ты его любить:
 Дом твой не бездетен теперь.
 Дороден сын твой, — великан, —
 Добро твое он охранит,
 Доконает Конурбая он!..».

Был неглуп и Азиз-хан, —
 Вникнул в дело тонко он,
 Задумался про ребенка он,
 Заподозрил мать мою:
 «Лучше всех в Китае она,
 Чистой девственницей была,
 Но не кроется ль тут обман?
 Темны бывают бабьи дела.
 Не от того ль калдая¹ она,
 От ночного шатуна,
 Широкохламидого болтуна,
 Младенца этого родила?
 Если мой он младенец-батыр,
 Оповещу весь Каханчин,
 Созову весь китайский мир,

Устрою богатейший пир.
 Коль и вправду он мой сын,
 Покажу Китаю его,
 По-хански воспитаю его,
 Наряжу в шелка и в меха.
 Если же он плод греха,
 Голову я ему отсеку,
 Выпотрошу из него потроха, —
 Пищи злому не дам языку!..».

Позвал он счетчиков-есепчей,
 Позвал своих писцов-хатчей,
 Посчитайте, скажите: чей?
 Послушно стали они считать,
 Получили счет всех дней, —
 Полных десять лун прошло.
 Повеселел хан Азиз-хан,
 Посветлело его чело:
 «Десять лун я женат на ней, —
 Действительно, мой, выходит, сын!
 Шестьдесят набрал я жен,
 А потомков не видал.
 Родник забил в степи сухой:
 Рожденный мальчик этот — мой!..».

Пировать приказ он дал,
 Настежь он казну раскрыл,
 Сыпал золото и серебро,
 Не скупясь, устроил пир —
 Пир на весь Большой Бейджин,
 Пир на весь китайский мир.
 Китайцы шли кишмя-киша,
 Валил народ, на пир спеша,
 Людей не оставалось окрест,
 Земля изуродована была,
 Казна израсходована была:
 Каждому — что хочет душа,
 Пищи ушло на семьдесят лет.
 Насытилась китайская годь!
 А с неба струился синий свет,
 Когда в честь меня весь Китай
 пировал...

АЗИЗ-ХАН ПОСЫЛАЕТ ШЕСТИЛЕТНЕГО АЛМАМБЕТА К ДРАКОНУ.

«...О хане-Одноглазе, мой сын,
 Расскажу тебе сейчас.
 Холодным джайляу² владеет он,
 Аверген-озеро — царство его,
 Велико коварство его.
 Охраняет его дракон
 О шестидесяти головах.

К дракону этому поезжай,
 Научись волшебству его,
 Успешно усвой науку ту,
 Славу колдовскую стяжай —
 Все тайны тебе откроет джай¹.
 Как хочешь, погоду переменяй:
 Захочешь — пасмурным станет день,
 Закажешь — ясный проглянет день,

¹ К а л д а н — жреческая каста.

² Д ж а й л я у — пастбище.

¹ Д ж а й — колдовство при помощи особого камешка, извлеченного из желудка овцы.

Затмишь сияющий месяц ты,
 Загонишь в тучи — и прочь его!
 Засветишь в темную ночь его;
 За ливнем засуху нашлешь,
 Затишье сменишь на грозу,
 Заставишь бушевать буран,
 Застудишь все и льдом скуешь.
 Неуязвимым в бою тебя делает
 джай-ворожба,

Тайну пули ты поймешь,
 Сокровенную душу огня,
 Испепеляющую людей,
 Откроет всеильный джай тебе!
 Искусившись в джай-волшебье,
 Станешь приказывать судьбе,
 Одолеешь в любой борьбе —
 Один станешь сильным, как целый
 тюмень¹, тогда.

Золототканый мой халат
 За меня надень тогда,
 Золотой мой займи престол,
 Дела твои да пойдут на лад!..
 ... Но, отправляясь к дракону тому,
 не забудь:

Долог туда и труден путь,
 Страшен тот волшебник-дракон.
 Стремясь познать его колдовство,
 Отважных отроков много к нему
 Отправлялось из года в год, —
 Не суждено было никому
 Благополучно вернуться домой.
 А ты, мой сын, к нему поезжай,
 Страшен стань ему самому,
 Его заклинаньям научись.
 На Сарале своем, сын мой, к дракону
 мчись!..».

ОВЛАДЕНИЕ ТАЙНОЙ ДЖАЯ

Назад золотую закинув косу,
 На бегунца легко вскочив,
 Покидал впервые Бейджин
 Шестилетний твой раб Алмамбет.
 Шесть тысяч мальчиков шести лет
 Шествовали мне вслед, Манас!

К Аверген-озеру мы пришли,
 Дракона древнего нашли.
 Когда дракон поднял тридцать
 правых голов,
 Как дождь, посыпались пули на нас.
 Когда дракон поднял тридцать левых
 голов,

Они тридцать молний метнули в нас.
 Шесть тысяч мальчиков моих
 Отчаянно завопили все.
 От страха лопнули у них
 Желчные пузыри внутри.
 Из шести тысяч только шесть
 Осталось нас тогда в живых.

Год миновал, а через год
 Семь тысяч мальчиков семи лет
 Готовились опять в поход.
 Из семи тысяч только семь
 Уцелело на этот раз.

Вот третий год настал, Манас:
 Восьмитысячная рать
 Восьмилетних китайчат
 Выступала к дракону теперь.

Не всех ему удалось пожрать, —
 Из восьми тысяч восьмерых
 Дракон авергенский не тронул теперь.

Когда настал четвертый год,
 Девять тысяч в поход ушло.
 Погибло все это число,
 И только девять осталось в живых.
 И десять тысяч потом ушло,
 И десять тысяч костями легло,
 Исключая десятерых.

Чудесной судьбой был храним твой
 Алма,
 Остался живым с Саралою своим
 твой Алма...

Искусство земные стихии смирать
 Успел усвоить лишь я один —
 Постиг я тайны гор и равнин.
 Коварный и хитрый, как лиса,
 Караджой-улу Кодждожаш
 Превзошел в науке меня:
 Тайной взлета в небеса
 Овладеть умудрился он, —
 На три месяца больше меня
 У дракона учился он.
 Караджой-улу Кодждожаш
 Великую славу себе стяжал...

... Ты знаешь, Манас, — Алма твой
 не трус!

Я никого не утрашушь,
 Один-на-один с Азрейлом¹ сражусь, —
 Однако, страшен мне Кодждожаш...

¹ Тюмень — десять тысяч, сто тысяч, вообще — несметное множество.

¹ Азренл — ангел смерти.

Кичливый хан калдаев и лам,
 Проехал мимо, как будто не видя
 меня.

Хоть не только меня одного, —
 Он весь Бейджин себе по колено
 считал,

Очень он этим обидел меня.

Обуял меня жгучий гнев,

Обернулся я, побледнев,

Обозвал его свиньей,

Обратно потребовал ханджайлак от
 Калчи.

Внять не хотел, однако, он,
 Не возвращал ханджайлака он,
 Хоть я нарочно приехал к нему,
 Хотел по-хорошему кончить спор,
 Повел себя, как собака, он;
 Глумили надо мною вор,
 Глупым молокососом счел,
 Глубоко возмутился я...

ВСТРЕЧА С БУРУЛЬЧОЙ

Алмамбет вступает в бой с Калчей-Конурбаем, несколько раз ранит его пикой. Конурбай бежит в Малый Бейджин и прячется во дворце их общего дяди, Эсен-хана. Конурбай требует, чтобы Эсен-хан избавил Китай от такого страшного силача, как Алмамбет, который в двенадцать лет чуть не погубил его, грозного Конурбая, а в пятнадцать лет,—говорит Конурбай,—Алмамбет «вырастет — Бейджин сожрет».

Не зная, что Конурбай восстановил против него дядю Эсен-хана, Алмамбет вслед за тем сам приходит к дяде и просит уступить ему одно из подвластных Эсен-хану ханств. Оскорбленный отказом, Алмамбет уходит, но возвращается с намерением убить Эсен-хана.

... Замечтавшись о мести своей,
 Замечательной красоты
 Замечаю девушку я.
 Задумчиво стоит на крыльце,
 Солнечный свет на ее лице —
 Эсен-ханова дочь, Бурульча.
 Верблюдоокая Бурульча,
 Стройно-высокая Бурульча, —
 Не было ей и двенадцати лет.
 Косички падали ей на плеча,
 С наперсток были губы ее,
 Снега белее — зубы ее.
 Была она так хороша, Манас,
 Зашлась у меня душа, Манас!
 Горячий гнев мой мгновенно угас.
 «Такая красавица не для
 Бейджина!» — о ней

Так я в душе подумал своей.
 «Хотя бы сорок ханств получу,
 Чего я достигну, бедный Алма?
 Если такую возьму Бурульчу,
 Сорок ханств она стоит сама!».
 Забыл Эсен-хана я и Калчу, —
 Все ханства вместе возьми шайтан!
 Девушку эту я хочу!
 Грыз я от нетерпенья камчу —
 Такая меня охватила страсть.
 Саралу я хлестнул камчой,
 На всем скаку соскочил с седла,
 Очутился пред Бурульчой,
 Сразу груди ее схватил, —
 Грудей она подержать не дала.

«Невестой моею будь» — говорю.
 Не отдала она сердца мне.
 Вот что она сказала мне:
 «Чтоб стать достойным меня,
 Алма,

Найди себе землю на стороне,
 Народ найди правоверный ты,
 Поселись среди мусульман,
 Уйди от языческой скверны ты,
 Забудь кафилов, стань им чужой.
 Очищенным вернешься ты,
 Отдамся тебе я всей душой.
 А пока не вернешься ты,
 Светлого лица твоего
 Покуда не увижу, Алма,
 Я на мужчину не погляжу,
 Волосы в узел тугой завяжу,
 Тебя дожидаться даю обет.
 В ислам ушедший мой Алмамбет —
 Скоро ли возвратится он?
 Так буду жить, ожидая тебя.
 А будет воля судьбы такова
 И встречу опять в Китае тебя, —
 Как буду любить тогда я тебя!
 А если окажется потом,
 Что вера не правая тот ислам,
 То на том свете пред судом,
 Весь груз твоих страданий влача,
 Да станет черным ослом

Бурульча!
 Ты — сын хура, Алмамбет,
 Знай, Алма, я — хура дочь.

Рожден ты был, чтоб видеть свет,—
Вокруг тебя язычества ночь...
Нечестивый, несчастный ты кафир,
Рукотворная бронза — твой кумир,
Конями побитое поле ты,
Душа твоя — бесплодный такыр! ¹
Темным будешь доколе ты,

Алмамбет?

Запомни, Алма, мои слова:
Кафирскую веру скорей забудь.
Желанье твое утолю тогда:
Женой твоей стану, — не только
грудь,

За Алмамбета моего
Жертвой тогда, голова моя бедная,
будь!...».

Очи лучились у Бурульчи,
Очарованный я стоял,
Очнуться я никак не мог,
Очень она удивила меня.
О чем она просила меня?..
Шатаюсь, едва на ногах держась,
Я слушал ее, а не понимал,—
Так удивительно все это было,
Манас!

Расстроила она меня.
Растрвила сердце мое,
Рассудок я терял в тот час.
Разве я знал, что я мусульманин
уже?

АЛМАМБЕТ В ЛОВУШКЕ

Эсен-хан, напуганный Алмамбетом, бежит в Большой Бейджин к брату Кары-хану и, в свою очередь, требует от него уничтожить Алмамбета, который-де уже разгромил Малый Бейджин. Кары-хан посылает в Таш-Копре для пленения Алмамбета самых грозных своих богатырей и тысячу воинов канджарколов (кинжалоруких). После сорока дней пути Алмамбета приводят к Кары-хану.

... Вот мы достигли Большого
Бейджина, Манас!

Вошел я в проклятую дыру,
Ворота крепости прошел, —
Повели меня ко двору.
Воистину велик Чон-Бейджин ²,
Воинства тьмы тюменей там,
Мирных людей — не менее там,
Кишат китайцы — нет счета им!
Когда меня вели во дворец,
Китайцы, любясь лицом моим,

Упорствовал я тогда в душе:
«Поучает девчонка меня,
Считает за ребенка меня, —
Дочь Эсен-хана тоже мой враг!», —
Придя в себя, я подумал так.
Не верю в бабьи слезы я!
Двуострый свой схватив булат,
Как яблоко, голову я б ей отсек, —
С жалобным воплем пустилась

бежать Бурульча.

Вбежала в ворота Бурульча,
Засовы задвинулись, грохоча,
Защелкали языки замков;
Железные были те ворота,
Ковали их лучшие ковачи,
Клепали напрочно клепачи;
Двуслойное было железо на них,
Поставлены были на веки веков:
Сорок мулов и сорок быков
Подохли б, а не одолели б их,—
Так были те ворота крепки!
А я, Манас, ударил мечом, —
Распались ворота дворцовые, как
черепки!..

Вот какие творил чудеса я в то
время, Манас!
Твоих подозрений сними с меня
бремя, Манас!
Если неправду тебе говорю,
Отныне ноги да не вдену я в
стрема, Манас!..

Все время приставали ко мне.
Пришли к Кары-хану мы, наконец.
Присниться не могут такие сны,
Как те чудеса, что я там увидал,
хан Манас!

Принял меня хорошо Кары-хан,
Ухаживал за счет казны,
Прикинулся любящим дядей он,
Сказал, мои руки глядя, он:
«Э, Алмамбет, дитя мое!
Если так ханствовать хочешь ты,
Что так шумишь, хлопчешь ты?
Ты видишь, мой сын, я стар и сед,

¹ Та кыр — голое, заброшенное место, пустошь.

² Чон — большой, великий.

Проханствовал я немало лет,
 Прошло мое время, Алмамбет!
 Если есть наследник такой,
 Покину Бейджин, уйду на покой.
 Старости бедной моей—увы!
 Престол золотой, на котором сижу,
 Венец золотой с моей головы,
 Такому ль герою не откажу?...».
 Венец золотой на меня надев,
 На золотой престол усадив,
 Хитрил коварный Кары-хан —
 Хотел меня поймать в капкан.
 Вот что спасением жизни моей
 оказалось, Манас!

В эту ночь мне во сне предстал
 Тот босоногий дивана:
 «Алмамбет, драгоценный мой,
 Алчет смерти твоей Кары-хан,
 Алкораном тебе клянусь,
 Алтынай, свою мать, пощади:
 Алый халат его не надевай,
 Алмазным венцом золотым не
 прельстись,

На золотой престол не садись,
 Душу свою погубить не давай!
 Под этим престолом золотым,
 Отводя обреченный взор,
 Златоузорный лежит ковер —
 Злонамеренно положен он:
 Сорок лет топчи его —
 Не вытопчешь ни ворсинки в нем;
 На солнце держи его сорок лет —
 Нисколько не выжгут лучи его;
 В воде сорок лет пусть мокнет он,
 Нисколько не поблекнет он.
 Погибель таится под этим ковром,
 Алмамбет!

Пред тем, как взойдет звезда
 Тараша,
 Пред тем, как взойдет на востоке
 заря,

Златоузорный ковер подними —
 Содрогнется твоя душа:
 Злокознен Кары-хан-бадыша, —
 В целых сорок саржан¹ глубиной
 Вырыта яма под ковром.
 Если над ямой стоит престол,
 Окончится ль ханство твое добром?
 И посмотри еще, Алма:
 Такая, что птице не перелететь,
 Такая, что не перепрыгнет кулан².
 Такая, что меч ее не сечет,
 Стальная стоит наготове сеть.
 И есть еще третья тебе западня:
 Тот, кто каждый твой шаг

стережет,
 Тот, который в один присест
 Кабана крупного сразу съест,
 Кто сам свиреп, как дикий кабан,
 Кулак у которого — каменный
 пест,

Которого кормит за счет казны
 Коварный дядя твой Кары-хан,
 Чтоб он зарезал зверски тебя, —
 Бейджинский следит за тобой
 великан,

Имя чудовищу — Мадыган.
 Все это узнаешь, все это увидишь
 ты, сын Алтынай!

Если хоть на двенадцать дней
 Ты каханчинский престол
 займешь,
 Не в очередь ты, Алмамбет,
 умрешь!...».

ПИСЬМО АЛТЫНАЙ

Проснувшийся в испуге Алмамбет приподнял ковер и убедился, что действительно под ним — яма. Между тем Кары-хан стянул к Бейджину войска, обнес город стальной сетью, закрыл все выходы из крепости и принимал присягу от китайцев, что они не упустят Алмамбета. На исходе двенадцати дней Алмамбет через тайного гонца получает письмо от матери.

«... Мой единственный, драгоценный
 Алма!

Сын мой, необыкновенный Алма!
 Мною ношенный десять лун,
 Отягчивший мой узкий живот,
 Размягчивший девичью грудь,
 Что была тверда, как валун;

При звезде Беш-Архар³ пять раз,
 При звезде Алты-Архар⁴ шесть раз

¹ Саржан — сажень.

² Кулан — дикая лошадь.

³ Беш-Архар — пять архаров.

⁴ Алты-Архар — шесть архаров.

Изгибавший спину мою¹;
 Мой бегущий в долине ручей,
 Долгожданный мой, свет очей,
 Дорогой мой, бедный мой сын,
 Поскорее покинь Бейджин, —
 Свой сыновний исполни долг!
 Не исполнив материнской мечты,
 Разве в жизни увидишь толк?
 Раньше срока погибнешь ты.
 Пишет тебе мать твоя,
 Пишет она в горьких слезах, —
 Когда будешь письмо читать,
 Знай, уже умерла твоя мать.
 Поспеши, приезжай хоронить меня,
 мой Алмамбет!..».

Горькую эту весть узнав,
 Горячо взволновался я,
 Тысячи дум в моей голове
 завихрились, Манас!

Тучи тяжелые в небе тогда
 закрубились, Манас!
 Туго меня скрутила печаль,
 Туловище согнула мое,
 Туйгуном бы к матери я полетел, —
 Матери милой кому не жаль?
 (Жертвой мне бы лечь за нее!..)
 ... Хотя побеждал я многих мужей,
 К матери не поспешив своей,
 Как дым пожара, исчезну я!
 Э, моя мать любезная,
 Ради тебя не боюсь умереть!
 Э, моя сила железная,
 Вражью кровь, как воду, пролей!
 Время не буду напрасно терять:
 Страданья матери да искуплю,
 Страшной опасности не убоюсь,
 Стражу — до одного истреблю,
 Знать бейджинскую разгромлю!..

ПОБЕГ ИЗ ЧОН-БЕЙДЖИНА

Совершив чудеса храбрости, перебив многочисленную стражу, Алмамбет на своем Сарала вырывается из Большого Бейджина.

... За полдень покинул Бейджин
 Твой Алма, несравненный смельчак.
 А от Бейджина до Таш-Копре
 Сорокадневный путь лежал.
 А меж Бейджином и Таш-Копре —
 Заболоченный солончак.
 Но сорокадневный путь в
 Таш-Копре
 Всевышний, в своем великом добре,
 Весьма для меня сократил тогда.
 Солнце еще не село в гнездо,
 Как я уже к Таш-Копре под'езжал.
 Конь мой, ровесник мой — Сарала,
 Который не пара простым
 бегунцам,
 Кто сам себя холит и лечит сам,
 Чуя, что мать моя умерла,
 Именно в этот день. — не бежал,
 Истинно он обрел крыла,
 Летел всю дорогу быстрее орла.
 «Э, бедный мой бегун Сарала!
 Какой ни есть ретивый ты,
 Сорокадневный трудный путь,

Не отдыхая, пройдя в полдня,
 Лишишься хвоста и гривы ты,
 Погибнешь, Тулпар¹, из-за меня...».

Подумал я так — и весь дрожал,
 Пощупал тотчас холку его —
 Тонок совсем оказался джал².
 Весело мой Сарала заржал, —
 Ржаньем, бедный, меня утешал...
 А сейчас, когда я размышляю,
 Манас,

Я так себе представляю, Манас:
 Танап³ земной подтянул Гавриил,
 И потому Сарала покрыл
 Тот сорокадневный путь в полдня!
 Чуть краешком золотым блестя,
 Солнце садилось в свое гнездо, —
 Прибыл я к матери в этот час.
 Увидав Азизханову коновязь,
 Возле нее остановясь,
 Повод я к ней прикрутил кое-как...

¹ Изгибавший спину — во время кормления, когда мать наклоняется над низкой колыбелью.

¹ Тул пар — мифологический, крылоногий конь; вообще — особенно лихой конь.

² Джал — подгивный жир. Тонкий джал — признак хорошо натренированного скакуна.

³ Танап — механизм.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К МАТЕРИ

Алтынай неожиданно оказывается жива, но принимает сына очень холодно. Даже не накормив его, она укладывает его спать головой к Мекке. Алмамбету снова является во сне его покровитель и показывает ему ужасы ада, где страдают неверные, и прелести рая, где наслаждаются мусульмане.

Алмамбет рассказывает свой сон матери. Алтынай открывает ему тайну его рождения и заставляет принять мусульманство.

Отныне Алмамбет начинает уже воевать с китайскими владыками не за ханство, а за «идею», за свою новую веру. Он объезжает ханство за ханством в поисках единоверцев и не находит их в Китае. Он пытается склонить к исламу кангайского хана, тот не соглашается, — Алмамбет его убивает. Рассказывая об этом Манасу, Алмамбет снова подчеркивает «идейную» подоплеку своего бегства из Китая.

Э, сытно-румяный Бейджин,
Э, затмивший все страны
Бейджин!
Как вспомню о Чон-Бейджине я,
Шестьдесят одновременно дум
Угнетают мой бедный ум.
Э, будь моя на это власть,
Если б свершилась та самая,
Заветная мечта моя,
Если б не весь необъятный Китай,
Если б хоть тысячная часть
Хотела бы там от Будды
отпасть, —

Разве с тобой не покруче я говорил
бы, Манас,
Разве границы меж нами не
положил бы, Манас?
Отчизну свою покинул зачем?
Отрекся от братьев своих зачем?
Отвернулся от Будды зачем?
Отверг мечту о ханстве своем,
Отвел русло всей жизни своей,
Отца своего, кафира, убил,
Отрезав себе все пути назад,
Отщепенцем к тебе я зачем убежал
бы, Манас?..

СНАРЯЖЕНИЕ ДРУЖИНЫ

Алмамбет, по указанию матери, привлекает к своему делу пастуха-мусульманина, Маджика, затем еще сорок пастухов, из которых он сколачивает свою дружину. Но у бедняков-пастухов не было ни коней, ни вооружения. Алмамбет разбивает двухтысячное войско Ай-Джан-Джуна и снаряжает свою дружину.

... Людей на пятерки я разбил:
Первой пятерке бойцов я дал
Простых, но могучих зато коней;
Второй пятерке бойцов я дал
Меднокрылых, чье сердце — сталь,
Чьи легкие, как решето, коней;
Третьей пятерке бойцов я дал
Крутовыйных, словно кульджи¹,
Крутобедрых, ретивых коней;
Четвертой пятерке бойцов я дал
Круглошеих, как самка-архар,
Круглобедрых, красивых коней;
Пятой пятерке бойцов я дал
Круглокрупных, строгих коней,
Кровных, филиноногих коней;
Шестой пятерке бойцов я дал —
С чолками, как у верблюда-самца,
Олененогих, гордых коней;

Седьмой пятерке бойцов я дал
Куланоногих, клювомордых коней;
Восьмой пятерке бойцов я дал
Выдерживающих бой в сорок дней,
Не пьющих ни капли воды сорок
дней, —
Таких я им дал боевых коней!
С золотыми воротниками дал,
С медными крючками дал,
Двойные всем дал, сетчатые
Бадана-халаты¹ я.
Такие, чей безошибочен взмах,
Такие, что можно рубиться
впотьмах,
Всем острые роздал булаты я.
Веселящие душу стрельбой,
Грозным видом гонящие вспять
Раньше, чем завязался бой,
Многие тысячи сильных врагов, —

¹ Кульджа — архар-самец.

¹ Бадана — особенная, цветистая ткань.

Людей своих научив стрелять,
Я ружья повесил на спины им.
Ядом пропитав остря, —
Каленые копыя всем вручил.

Я ратному делу их обучил,
С женами я их всех разлучил —
И на своих притеснителей я повести
их решил.

СМЕРТОНОСНЫЙ ДЖАЙ

Голову Саралы повернув,
Я взял карыханов камень-джай,
В чашу чистой воды плеснув,
Я камень волшебный бросил туда.
По лукѣ трижды щелкнул я,
Трижды ударил по стременам,
Трижды крикнул и дунул я,
Трижды свистнул и плюнул я,
Заклинания произнес,
Брови нахмурил и смолкнул я.
Гром ударил издалека,
Грозно сгучились облака —
Лицо земли заволокли.
Ливень страшный хлынул, Манас.
Кафиры визжали и выли вокруг,
Трупы, как бревна, плыли вокруг,
Многих врагов я тогда погубил
дождем.

Грохот ужасный гремел в горах,
Грозные скалы рушились впрах,
Много кафиров погибло в домах,
Много на улицах, у ворот,
Метался, ища спасенья, народ,
Никто не знал, где придет черед,
Смятенье было весьма велико.
А когда истошился ураган,
Я заклинанья опять произнес,
Я среди лета вызвал мороз,
Врагов, одетых не для зимы,
Бросил я из жара в озноб,
Как девушек, заставил дрожать.
Погоду меняя ворожкой,
Ровно пятнадцать суток подряд
Я не уставал их уничтожать,
Учинил им великий разбой, —
Учил я сорок моих бойцов,
Укреплял их воинский дух...

Наслал я на них ураган потом:
Громадные кедры он крушил,

ОТЦЕУБИЙСТВО И ПОБЕГ ИЗ КИТАЯ

Алтынай просит Алмамбета, в случае, если он уйдет воевать с Бейджином, убить ее, отвезти ее труп в Мекку и там схоронить. Иначе, когда она умрет, китайцы похоронят ее по-своему — положат в сундук, зарюют торчком в землю, и, когда придут божьи допросчики, она не сможет выйти из сундука и перейти в вечный мир. Алмамбет уже решил было отречься от Бейджина и уехать вместе с матерью в Мекку, но Алтынай осенила новая мысль. Она посылает Алмамбета попытаться обратиться в мусульманство Азиз-хана и обвенчать ее вторично с мужем по магометову обряду. Тогда отпадет нужда в побеге. Если же Азиз-хан откажется стать правоверным, то Алмамбет должен его собственноручно убить.

... Услышав подобную речь,
Задрожал я, бедный, весь,
Загорелись мои глаза.
Саралу я Маджику сдал,
Облачился я в чаинду¹,
Привязал за спину меч,
Матери я клятву дал,
Что Азиз-хана приведу...
Престол его стоял в саду.
Вбежал к отцу-кафиру я,
Оперся о секиру я.
Оказывается, мой отец
Крупным китайским ханом был:

Тысяча телохранителей там
Окружали его престол.
Оказывается, Азиз-хан
В преклонных был уже летах.
Любит дитя свое каждый отец!
Оказывается, жаждал отец
Давно уже повидать меня.
Ведь это чувство тяжелое —
По сыну родному тосковать.
Лишь подошел к престолу я,
Обрадовался Азиз-хан:
«Э, дорогой мой сын Алма!» —
Так меня встретил с любовью он.
Стал мой ногти он ласкать,
Лоб мой гладил и брови он,
Спрашивал про здоровье он...

¹ Чаинда — один из видов боевых халатов.

Когда меня так ласкал Азиз-хан,
 Вынул я священный коран,
 Так я отцу своему сказал:
 «Писанье святое я нашел,
 Имя святому писанью — коран;
 Бога единого я нашел,
 Имя этому богу — Алда¹, хан
 отец!

Старая вера твоя — обман.
 Скажешь ты «нет» или скажешь
 «да», хан-отец?
 Может ли богом быть твой
 бурхан²,

Плод человеческого труда, хан-отец?
 Писанье священное почитай,
 Покинем наш неверный Китай,
 Пока не поздно, уйдем на закат,
 Пойдем искать правоверных
 стран, —

Поистине — правда у мусульман,
 хан-отец!..».

Стал Азиз-хан раздражен и хмур,
 Старческую уронил слезу,
 Словно ужаленный в железу,
 Вскочил он, лишь я окончил речь.
 Упорствовал нечестивый манчжур,
 Упрекать он стал меня,
 Разгневался на меня весьма:
 «Сын мой, видно, сошел с ума!
 Вздора такого не болтай.
 Не смей покидать родной Китай,
 Меня на этот путь не своди,
 Мекка твоя совсем пропади!
 Мерзки мне буруты твои, —
 Места ль мало в Китае тебе?
 Престол свой не завещаю ль тебе?
 Если изменишь отчизне ты,
 Преуспеешь ли в жизни ты?
 Разве изменит бурутам бурут,
 Станет ли скитальцем он,
 Сделается ль китайцем он?
 Вьющие из волос кырчо³,
 Живущие то там, то тут,
 Те, кто целое место свое
 На третьем году обрезать дают, —
 Можно ли их за людей считать,
 Алма?

Алмамбет, свет моих очей,

¹ Алда — аллах.

² Бурхан — идол.

³ Кырчо — веревка, которой опоясывают юрту. Здесь намек на то, что буруты (киргизы) — кочующий, некультурный народ.

Данный мне на закате дней!
 Полную золота свою казну
 На разграбленье кому ты оставишь,
 Алма?

Полные древних деревьев сады,
 Полные бирюзовой воды
 Водоемы в этих садах,
 Водометы в этих садах —
 На разрушенье кому ты оставишь,
 Алма?

Стоящие на громадных камнях,
 Строенные из золота сплошь,
 Кому ты оставишь свои дома?
 Коней своих, — ты сам не
 сочтешь, —
 Кому ты оставишь свои табуны,
 Алма?

Путь, что тебя влечет, — нехорош.
 Путаешь, проповедуя ложь!..». —
 Такой на меня он поднял крик, —
 Чуть не задохся от кашля старик.
 Выбежал в гневе Азиз-хан,
 Людоподобное пугало взяв,
 Рукотворного идола взяв,
 Рассерженный, мне он его поднес:
 «Вот великий, всесильный бог!..».

Увещаньям моим не вняв,
 Отец на себя несчастье навлек:
 Больше я сдержаться не мог,
 На отца закричал я вдруг,
 Правой рукой Азиз-хана схватил,
 Левою рукой бурхана схватил,
 Вырвал его из отцовских рук:
 «Рукотворной бронзы кусок
 Может ли истинным богом быть?
 Если не мертвый он истукан,
 Если он в самом деле бог,
 Да не выйду я за порог, —
 У тебя на глазах да проглотит он
 сразу меня!..».

Похожий на черный большой
 казан,
 Огромный черный камень стоял.
 Что было сил, размахнулся я,
 Бурхана об эту глыбу хватил, —
 Разбился вдребезги истукан,
 Осколки я левою ногой затоптал.
 Рубнуть хотел я отца своего,
 Рука не поднялась на него:
 Хоть тысячу раз он кафир и
 глупец,

Хоть тысячу раз он упрямый
эшек¹,
Однако я все-таки — человек,
Все-таки он мне был отец!..

Подкосились ноги мои,
Выскочил я мгновенно во двор,
Вижу: сидит госпожа моя — мать
На волохистой кобыле гнедой.
Неистово горит ее взор,
Острый булат на цветном ремне
Висит на кисти правой руки.
Мать моя вновь повела разговор,
Таковыми словами сказала мне:
«Ты сын хура, Алмамбет,
Супругой хура я была.
Кому рукавами земли не достать,
С кем я ни разу в постель не
легла,

Можно ль такого отцом считать?
Вернись туда, жеребенок мой,
Дорогой ястребенок мой,
Драгоценный мой тунджур²!
Будешь терпеть доколе его?
Вернись и глаза ему выколи,
Заруби на престоле его!
А если, отцом Азиз-хана мня,
Ты не слушаешься меня,
Знай — молоко моей груди
Вовеки тебя не простит,
Алмамбет!

На этом свете и на том
Пред господом очерню тебя;
Предстанешь перед страшным
судом —

Я сама обвиню тебя,
Сама тебя затопчу потом.
До заката Джетыген³,
До восхода звезды Чолпон⁴
Дорогого халата шелк
Разрывавший на мне семь раз,
Гнувший спину мою семь раз,
Был семижды ты мной кормлен.
Боль мою не бери,
Во дворец опять пойди,
За молоко моей груди
Возврати мне священный долг!
А если в слова мои ты не вник,

Коль совести голос в тебе умолк,
Схвачу я тебя за воротник,
Позорить стану перед людьми, —
Пойдет про тебя нехороший
толк!..».

Замахнулась камчой моя мать
(За нее мне жертвой стать!),
Закричала свирепо она:
«Зарежь кафира несчастного,
Заруби сейчас его,
Затопи его кровью дворец, —
Заслугу зачтет тебе творец!»,
Камчою стала меня хлестать,
Шум она подняла большой,
Шею мне рассекла камчой, —
Кровь потекла из раны моей.

Головою поникнув, опять во дворец
я вбежал.

Умолял я отца моего,
Стать мусульманином убеждал,
Страшным адом ему угрожал, —
Старый кафир стоял на своем.
Бронзового бурхана того,
Проклятого истукана того
Опять он на руках держал.
А раз он упорствовать

продолжал,
Сам на себя он накликал беду,
Сам он свой конец приближал.

«Отец! — я крикнул и весь
дрожал, —
Спасенье свое ты сам отверг!».

Снова схватил я бурхана его,
Сразу хотел напасть на него,
Свет в глазах моих вдруг померк:
Совестно было отца убивать,
Рука сначала не поднялась.
Но вспомнил я грозную мать мою,
э, хан Манас!

Сжав золотую рукоять,
Выхватив из ножен булат,
Наискось его держа,
От отца, что сидел, дрожа,
На престоле своем золотом,
Я отвел помутневший взгляд —
И, обезумев, сгоряча,
Булатом рубнул я наотмашь,
э, хан Манас!..

¹ Эшек — осел.

² Тунджур — одна из наиболее ценных пород охотничьего ястреба.

³ Джетыген — Большая Медведица.

⁴ Чолпон — утренняя звезда.

Хлынула кровь, забурлив горячо,
От левого отделившись плеча,
Склонившись на правое плечо,

Как чара с двумя алмазами глаз,
Скатилась на золотой престол,
По золотым ступеням грохоча,
Что-то невнятное бормоча,

Голова Азиз-хана, отца моего.
Потому что не мог я направить
к исламу его,
Убил я, несчастный, родного отца!..

БОЙ С ВОЙСКАМИ КАРЫ-ХАНА

Алмамбет с матерью, с Маджиком и со всей дружиной решают бежать из кафирского Китая. Об этом узнает император Кары-хан, предвидящий тяжкие бедствия, грозящие Китаю, в случае если Алмамбет перевалит Алтай и примкнет к знаменитому киргизскому Манасу. Кары-хан созывает всех своих батыров-ханов и посылает их во главе огромного воинства против Алмамбета.

... Увидел я невдалеке ручей.
Ведя за собою сорок бойцов,
Ведя за собою мать мою,
Под'ехал я к тому ручью.
В воду ноги погрузив,
Омовенье ног свершив,
В воду руки погрузив,
Омовенье рук свершив,
Тулпаров переседлали мы там,
Подпруги стянули туго мы,
Подтянули ремни стремян,
Подхвостники укоротили мы.
Заживо друг другу мы
Отходную прочитали там:
«Боже, дай всем погибшим
праведный путь!».

Богу вручив свою судьбу,
Взял я подзорную трубу,
Прищурил я свой левый глаз,
Правым посмотрел в стекло,
Прикидывал врагов число.
Ковыль степной видал ли ты?
Камыш густой считал ли ты?
Камнями гремящий бурный поток
Если б ты мог укротить, хан
Манас,
Может быть, остановить ты бы мог
Несметную силу китайцев, арстан
Манас!

Грачей в перелете видал ли ты,
Червей несчетных считал ли ты,
Видал ли, как муравьи кишат?
Китайские полчища так надвигались
на нас!

Разве ты бурных озер не видал,
Разрушенных ими гор не видал?
Кипящие волны когда бы ты мог
сосчитать,
Китайскую счел бы
двенадцатиханную рать.

И если б ты счел в пустыне
песок,
Узнал бы ты тем китайцам счет!

Головы вражьи плыли вдали,
Копья вражьи сверкали вдали,
Кони вражьи пылили вдали,
Брони, булаты, айбалты
Бряцали друг о друга вдали,
Бренчали на бунчуках бубенцы,
Гонцы скакали во все концы,
Топот, подобный прибою, рос,
Пыль окутала лик земли,
На палец не было видно земли,
Пылью небо заволокло,
Солнце угасло в черной пыли,
Мгла среди белого дня легла,
Птицам пришлось прервать
перелет.
Вот, что подзорное мне показало
стекло, —
И закружилась моя голова, хан
Манас!..

... Военачальники стали орать,
Ратные трубы стали играть,
Ровно на двенадцать частей
Разбилась двенадцатиханная рать,
Разделились на звенья они,
Развернулись они в ряды,
Растянулись в длинную цепь,
Цепью пошли в наступленье они.
Тогда я увидел, что я окружен,
Э, проклято одиночество будь!
(Ведь, надежной опоры я был
лишен,

Не имел я скалы такой,
Которую не облетел бы гусь;
Не имел я горы такой,
На которую обопрусь;
Не имел я такого, как ты,
Неустранимого льва, хан Манас!..)

О прочих батырах тебе говорить
не хочу, —

Ватнокушачного опишу,
Широкосапогого опишу,
Кичливого Конурбая-Калчу.
Криком разящий на-смерть людей,
Пыль поднимаю ездой своей,
На Алгаре гарцуя своим,
Вертя золоченой уздой своей,
Выскочил перед воинством он.
Выделил он в особый отряд
Всех, кто ездил на мулах верхом;
Всех владеющих точно копьем,
Не знающих промаха на вершок, —
Выделил он в особый отряд;
Всех, владеющих точно мечом,
Выделил он в особый отряд;
Всех, попадающих точно в зрачок,
Лучников наилучших своих
Выделил он в особый отряд.
Собрав силачей-героев своих,
Искусно людей построив своих,
Возглавил их всех мой враг —
Конурбай.

И ливнем на нас вся китайская
сила пошла...

... Лязгали копий каленых концы,

Лезвия лязгали острых мечей,
Ляжка в ляжку бились бойцы,
Стремя в стремя рубились бойцы,
Стрелы свистели под шелк камчей,
Стремглав налетали конь на коня,
Стычка за стычкой — все горячей.
Старались мы лучших губить
силачей.

Бились мы так до заката дня,
Без отдыха бились ночь до утра, —
Грозило китайскому воинству
уничтоженье тогда.

Если б ты был на поле сраженья
тогда,

Если бы ты, Манас, поглядел,
Как вытопан был степной ковыль.
Как облаком клубилась пыль,
Как, смешана с пылью, кровь
текла.

Сколько пало храбрых львов,
Сколько лежало батырских тел,
Сколько отрубленных голов,
Усы топорща над мертвым ртом,
Валялось на поле битвы том;
Сколько конских трупов, Манас,
Оскала зубы, валялось там!
Все, что тебе повествую, чистойшая
быль!..

ГИБЕЛЬ АЛТЫНАЙ И ВСЕЙ ДРУЖИНЫ

Алмамбет, ранив Конурбая и желая во что бы то ни стало добить его, преследует его до самых ворот Малого Бейджина и чуть не попадает в ловушку. Возвратившись на поле битвы, Алмамбет находит свою мать убитой. Убитыми оказываются и все сорок бойцов, кроме Маджика.

... Не мог я с собой совладать,
Манас,

Растерялся в горе таком,
Расстроился, стал я рыдать,
Манас!
«Мать моя, мать моя!» — был мой
воплъ.

«Праведный, милосердный кудай¹!
Дело доброе для меня сверши,
Сорокаребро², меня сокруши,
Сорондука меньшую дочь,
Сокровище—мать мою отдай!..».
В землю пику воткнув свою,
На крашеное опершись древко,
Так я над милым трупом стою.

¹ Кудай — бог.

² По народному представлению киргизов, у мужчины, как представителя сильного пола, имеется сорок ребер.

Но нет воскресения мертвецам,
Не может такого чуда быть!
Потому что я мать покинул в бою,
Потому что опорой не был ей,
Потому что жаждал Калчу добить,
Лишился я матери бедной моей.

В бедственном положении таком,
В горестном сокрушении таком,
Гляжу я, Манас, и в толк не
возьму,
Гляжу — и не верю себе самому:
Неподдающуюся уму
Откуда гонит со всех сторон
Новых китайских полчищ тьму?
Взгляни, хан Манас, на ползучий
туман,

Взгляни на черные тучи, Манас,
На буйный поток, могучий Манас.

Поймешь ты, какая нахлынула рать
 из Бейджина тогда!
 Выпала незадача мне:
 Если снова бой начинать,
 Драгоценный матери труп
 Кто останется охранять?
 Коршуны не поклевали б тогда —
 Кормившие за ночь меня семь раз
 Белые груди моей госпожи;
 Беременный некогда мною живот
 Вороны не разорвали б тогда;
 Беднос тело все на куски
 Грифы б не растерзали тогда;
 Грачи не выклевали б глаза,
 Грязью бы ей не загадили рот!
 Как бы моя драгоценная мать
 Непогребенной не осталась!..

Поднял я материнский труп,
 Поясницу его перегнул,
 Положил на кобылий круп,
 Укрепил его кое-как.
 А китайцы-солоны вступали меж
 тем
 На самое поле брани, Манас!
 А сорок моих цветущих бойцов
 Тоже — все сорок — пали меж
 тем,
 Оказывается, в сорока местах,
 Только Маджик мой остался жив.
 Сорок моих сраженных бойцов
 Собрали мы спешно с разных
 концов,
 Тоже навьючили впопыхах,
 Успели увезти мертвецов.

Мои первые шаги в Арктике

ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ

★

НА «СИБИРЯКОВЕ»

В 1932 году я окончил университет и сейчас же поехал в Арктику.

Зимовка на Земле Франца-Иосифа, куда я попал, оказалась очень удачной по подбору людей. Нам удалось провести успешную работу, организовать экспедиции. Масштаб наших экспедиций был невелик: 300—400 километров, не больше. У нас не было опыта дальних экспедиций, не было собак и многого другого, что необходимо для длительных поездок.

В 1933 году вернулись с Земли Франца-Иосифа. Зиму прожил на Большой земле, а летом опять захотелось в Арктику — Север очень тянет.

Мне и моей жене предложили поехать на мыс Челюскин. Там намечалось большое строительство — хозяйственное и научное. Поле для работы открывалось обширное. Мне предстояло организовать и поставить на Челюскине магнитный павильон, установить все приборы, наладить запись. Жена, ехавшая моим помощником, должна была вести работу по определению радиоактивности.

Мы с удовольствием согласились поехать на новую зимовку.

Аппетиты у нас разыгрались большие. Чтобы получить побольше приборов, мы закатали такой план, с которым потом едва справились. Надо сказать, что почти все научные работники

на Челюскине увлекались широкими планами.

Нам говорили: «Нужны приборы — составьте план». А раз записали в план — извольте выполнять его!

19 июля 1934 года мы выехали из Архангельска. Повез нас «Сибиряков», нагруженный Папаниным доотказа. Иван Дмитриевич Папанин — бывший матрос, герой гражданской войны, партийный работник. В последнее время он работал в Плановой академии, откуда его взяли в Арктику. Папанин — невероятно талантливый организатор. Он не знает слова «нет». Если для зимовки нужен тот или иной прибор — не сомневайтесь: Иван Дмитриевич доставит его хотя бы из-под земли. В Архангельск для нашей зимовки он взял столько снаряжения, что «Сибиряков» едва отчалил. Но Папанину этого было мало: он загрузил еще и ледокол «Ермак», часть снаряжения взял другой ледокол — «Малыгин».

СТАНЦИЯ И. Д. ПАПАНИНА

Предыдущая зимовка на Челюскине прошла в неблагоприятных ледовых условиях. Выгружать ледоколы было очень трудно, и зимовавшим до нас на Челюскине товарищам не удалось построить станцию, как следовало.

Папанин был весьма озабочен, чтобы как можно скорее и лучше выгрузить имущество нашей зимовки. А выгру-

жать предстояло многое: несколько домов в разобранном виде, массу инвентаря, большие запасы продовольствия— Папанин привез на Челюскин восемьсот тонн груза!

Одновременно с выгрузкой предстояло и строительство новых зданий. Серьезное дело!

Предполагалось, что выгрузка займет четырнадцать суток. Папанин организовал работу так, что удалось укоротить этот срок вдвое. Через семь суток мы, по воле Ивана Дмитриевича, из грузчиков превратились в строительных рабочих: таскали кирпичи, помогали плотникам, каменщикам.

Папанин успевал всюду быть. Он шутил, подбадривал, торопил. Ему хотелось построить как можно больше и лучше. И действительно, нам удалось построить в три раза больше того, что предполагалось по плану.

В домике старой зимовки жили двенадцать человек, по два человека в комнате. Работали зимовщики тут же, в жилом помещении. У гидролога, например, в комнате, где он спал, находились все анализы, аппараты и т. п. Кают-компания в старом домике была маленькая, грязная, кругом висели оборванные электрические провода, печка разрушалась. В комнате начальника станции зимой произошел небольшой пожар, поэтому он всю зиму жил без печки, температура доходила до восьми градусов ниже нуля. При таких условиях люди, которые предполагали вести большую научную работу, конечно, чувствовали себя невнятно. То, что мы построили на мысе Челюскин, отличалось от старой зимовки, как небо от земли. Мы построили помещения для тридцати двух человек, но когда спустя год на зимовку приехало пятьдесят человек, то и они с комфортом разместились в наших зданиях. Комфорт, конечно, относительный. Но не забудьте, что все это — в Арктике!

Например, я с женой жил в комнате площадью в шестнадцать метров. В нашей комнате стояли две кровати и письменный стол. Освещение — электрическое. Исправная печка. Пол покрыт линолеумом.

Наша лаборатория разместилась в смежной комнате (в жилой комнате мы не работали). В лаборатории — тоже электрическое освещение, светло, тепло, линолеум, все аппараты и приспособления стоят на своем месте. Условия для научной работы — превосходные. Помимо лаборатории, о которой я говорил, в трех метрах от нашего здания специально под магнитные наблюдения был отведен «особняк».

Жилой дом старой зимовки мы переделали под кухню и столовую. Получился большой обеденный зал, в нем стояло несколько столов, покрытых скатертью (как в настоящем ресторане!), здесь же стояло пианино, вывешивалась стенная газета и ежедневные сводки нашего метеоролога.

Понятно, что благоприятные условия для зимовки дались нам не даром. Весь август, сентябрь, октябрь и большую часть ноября мы работали в качестве грузчиков, строителей, монтажников, уборщиков, — всех профессий и не упомянуть!

ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ

В ноябре приступили к научной работе. Но и ей предшествовало много черновых дел. Все приходилось делать самим.

С ноября все лаборатории были пущены на полный ход.

Это время совпало с началом полярной ночи. О полярной ночи рассказывают много «страшного», но, когда у человека много работы и когда работа его интересует, время идет незаметно. времени даже нехватает, и полярная ночь не тяготит. У всех нас было много работы, и никакой хандры.

Помимо обслуживания магнитного павильона, мы вели также наблюдение над полярным сиянием. Вообще-то говоря, полярное сияние — явление чрезвычайно красивое. Оно разгорается неожиданно, светит всеми красками, вырастает в изумительную цветную бурю, потом все это гаснет. Но нам с женой красоты полярного сияния доставили мало удовольствия, — время уходило на то, чтобы регистрировать, отмечать на-

правление сияния, силу яркости и прочее. В такие дни жена то-и-дело вбегает в комнату и, не раздеваясь, кричит:

— Норд-ост... 30... Интенсивность 2... Постепенно угасает...

Запишет и снова бежит на мороз, потом снова возвращается в комнату. При этом, чтобы лучше наблюдать сияние, ей приходилось лазить на крышу. Правду сказать, сказочное полярное сияние скоро опротивело...

Нередко на зимовку приходили медведи. О приходе гостей нас извещал лай собаки. Тут кто-нибудь из нас вскакивал и кричал:

— Медведь!

Все охотники — храбрые или не совсем храбрые — брали винтовки и в большом ажиотаже выбегали на лед. Зажигали большой прожектор, впрочем слишком слабый, чтобы уловить медведя на большом расстоянии.

Белый медведь — весьма трусливое животное. Он боится и людей, и собак. Застрелить медведя довольно просто. Но вслед затем наступает скучное дело. На шею убитого медведя накидывают петлю, и человек десять-пятнадцать с шумом и гамом тащат его по торосам. Приволокут медведя на станцию — и в бане, где тепло и много воды, сдирают с него шкуру.

По вечерам все свободные от работы зимовщики собирались в комнате, отведенной под пошивочную мастерскую. Шить приходилось самые различные вещи — варежки, костюмы. Время идет незаметно, все шьют, а кто-нибудь еще рассказывает. Народ у нас был довольно интересный: участники гражданской войны, старые арктические волки.

Время от времени созывались собрания всего коллектива станции, на которых обсуждались дела станции.

Большая радость для зимовщиков — радиоперекличка с Большой землей. Особенно рады перекличке семейные люди. Обычно ночью (по нашему времени) все собираются в красном уголке. Ждут с нетерпением заветного часа, нетерпение обостряется, так как слышимость меняется каждый час, радисты с напряженным вниманием ловят и стараются посылнее пустить «голос». Вот,

наконец, говорят родственники зимовщиков — один за другим. Лица зимовщиков просветленные. Невероятно трогательно, когда говорят дети.

Чудеса! Мы находимся за тысячи километров от родных, к нам — скачи не доскачешь, а голос родных и друзей слышен совсем близко...

ИЗБУШКА АМУНДСЕНА

Первая экспедиция, в которую я пошел, до бухты Мод, — сравнительно небольшая по расстоянию, всего около 50 километров. В бухте Мод в 1918—1919 году был Амундсен. Сам по специальности магнитолог, Амундсен вел магнитные наблюдения во время всех экспедиций. Для того, чтобы лучше и полнее изучить земной магнетизм, весьма важно повторить магнитные наблюдения в тех пунктах, где они были проведены раньше. Поэтому я пошел в бухту Мод, чтобы проверить наблюдения Амундсена.

В экспедицию нас пошло двое — столяр станции Федор Никифорович и я. Мы вышли 9 марта, на завтра после банкета по случаю Международного женского дня. Мороз был —30—35 градусов. В такое время экспедиционная деятельность обычно очень затруднительна, но мы с этим не посчитались. Вышли на двух нартах, с двумя упряжками. С одной упряжкой шли приборы и грузы, с другой — запас продовольствия и горючего для экспедиций в летнее время.

Карты района скверные, в них много ошибок, и верить им нельзя. Поэтому нам было довольно трудно обнаружить избушку Амундсена.

Отойдя приблизительно километров восемнадцать от станции, мы увидели медведицу с двумя маленькими медвежатами. Решили поохотиться, потому что нам нужно было кормить собак, а на станции иссякал запас свежего мяса. Спустили с упряжки трех наименее ценных собак и вслед за ними побежали к медведице. Эта часть охоты, пожалуй, наиболее трудная, потому что приходится бежать в тяжелой одежде, с винтовкой. Метрах в двадцати пяти от медве-

дицы выстрелили, и удачно — убили медведицу и одного медвежонка. Пока мой спутник фотографирует второго медвежонка, к нам подходят собаки с стставшими нартами. Медвежонок сидит на трупe матери, хныкает. К нему рвутся собаки. Пришлось застрелить и второго медвежонка.

Обдираем медведя тут же, потому что замерзшего медведя ободрать будет трудно. После этой операции мы зарываем шкуру и мясо в снег и, поставив опознавательный знак, едем дальше.

Уже смеркается. Разбиваем первый лагерь. По случаю удачной охоты решаем выпить захваченную с собой бутылку портвейна. Но что это? В бутылке что-то стучит. Оказывается, вино совершенно замерзло, вкус его противный.

В палатке тесно, но усталость берет свое, и, несмотря на неудобства, мы засыпаем крепчайшим сном.

На следующий день решаем достичь избушки Амундсена. Идем довольно хорошо. Вот и знак: шест с фанерным кругом, — избушка Амундсена!

Кроме магнитных наблюдений, на нас возложена была еще одна функция: мы — почтальоны, везли первую таймырскую почту. На соседней станции, на острове Самуила, у метеоролога сломался последний термометр. Когда мы выходили с Челюскина, начальник о. Самуила прислал телеграмму: «Захватите необходимые мелочи — термометр, конденсатор и прочее».

Острову Самуила можно было доставить необходимые вещи двояким путем: на нартах или на самолете. Избушка Амундсена находится на полпути к острову. Мы поэтому предложили: встретимся с начальником Самуила в бухте Мод — он придет туда нам навстречу.

Одновременно с нами наша летная группа спешно снаряжает самолет, потому что на остров Самуила, помимо вещей, надо доставить доктора. Началось состязание: кто первый выедет со станции? кто первый доставит почту для острова Самуила? Наш доктор — человек толстый и грузный — все время колеблется и не знает: лететь ли ему

на самолете (холодно и опасно!), или ехать с нами (не опасно, но зато холодно и долго!). В конце-концов страх перед холодом побеждает, и доктор решает лететь на самолете.

Мы принимаем почту, вызываем летную группу на соревнование и отправляемся в путь-дорогу. Вышло так, что мы первые достигли избушки, — погода не давала самолету вылететь.

Вот и знаменитая избушка. С некоторым трепетом открываем засыпанную снегом дверь... В избушке сохранилась большая часть той обстановки, которая была при жизни норвежцев. На столе лежит визитная карточка:

ТЕССЕМ —

*плотник, работавший для многих
полярных экспедиций*

Рядом с карточкой — небольшая керосиновая лампочка с сохранившимся керосином. Немного далее — несколько плотничьих инструментов, а у стен — две койки.

До нас в избушке побывало порядочно советских исследователей Арктики. Но обстановка сохранилась такой же, как при норвежцах.

Оглядевшись, находим записку начальника зимовки на о. Самуила. Он опередил нас на несколько часов. Записка гласит:

Был здесь, вас не нашел. Сейчас нахожусь в нашем домике, который мы выстроили на мысе Прончищева. До него отсюда, приблизительно, два часа езды по хорошей дороге.

Приезжайте в гости! Есть компот и свежая медвежатина.

Компот! Это, должно быть, очень вкусно, да и с соседями хочется познакомиться. Но сегодня уже поздно, ехать нельзя. И мы решаем исцевать в избушке Амундсена.

В БУХТЕ МОД

Еще в Ленинграде я узнал, что Амундсен в бухте Мод сделал магнитные определения в четырех пунктах; я решил проверить наблюдения на всех этих пунктах.

Для того, чтобы определить местоположение ближайшего к избушке магнитного пункта, мы выезжаем на собаках на остров Лаквуда, в семи километрах от избушки. В избушке оставляем записку и привезенные вещи для острова Самуила. Начальнику островной зимовки пишу, что с Лаквуда вернемся вечером, просим либо подождать нас здесь, либо ждать в гости.

У нас не было ни одной передовой собаки, которая понимала бы команду со слов. Наши собаки могли итти только за человеком, итти вперед сами они не могут. В таких случаях человек на лыжах протаптыкает и показывает собакам путь, вслед за лыжником идет упряжка с нартами, сзади — другой лыжник, помогающий собакам и направляющий нарты. На остров Лаквуда мы решили поехать на собаках. Довольно! Не хочется больше итти пешком. Что нам до того, что нет передовой собаки! Заставим собак итти в том направлении, которое нам нужно.

Какая радость! Нам это удалось, и всю дорогу мы ехали, сидя на нартах. Что за удовольствие!

Вернувшись вечером с острова Лаквуда, мы увидели, что нетерпеливый начальник острова Самуила уже побывал в избушке, забрал все привезенные ему вещи и снова оставил записку с приглашением.

На следующий день я начал магнитные определения близ избушки, а товарищ по экспедиции поехал в гости. Начинаясь пурга, и он взял с собой «неприкосновенный запас» — несколько плиток шоколада. Поздно вечером, когда смерклося, я услышал собачий лай. Вылез на холмик посмотреть, в чем дело. Оказывается, ко мне приехали гости. Шикарная упряжка — шестнадцать здоровенных псов везли нарты. На них сидели мой товарищ и начальник зимовки на Самуиле. Мы с большим трудом остановили и привязали собак — они громко лаяли и рвались в разные стороны.

В бухте Мод я пробыл еще один день. Закончив наблюдения, снялись с места. Обратный путь — сорок пять

километров — сделали в один переход. Нарты были уже значительно легче нагружены, и итти было довольно легко.

ОСТРОВ СТАРОКАДАМСКОГО

Дома отдохнуть не пришлось. Надо было проверить походные приборы, пополнить всю накопившуюся в мое отсутствие работу в магнитном павильоне, помочь жене подвести итоги радиоактивных наблюдений. Пришлось поторапливаться, так как мне предстояло новое путешествие.

28 марта я вышел с Витей Сторожко на остров Старокадамского. С нами пошла гидрологическая партия. Путь наш лежал через пролив Вилькицкого. Пролив обычно замерзает торосистым льдом, и двигаться на санях трудно. Поэтому перед выходом в экспедицию наш самолет совершил разведку. Обнаружив, что среди торосов удобный, почти прямой путь, он зарисовал его для нас, благодаря чему мы могли итти среди торосов, как по улице.

Вначале нам казалось, что гидрологическая работа нас очень задержит. Чтобы пробить лунку площадью в квадратный метр, нужно работать вчетвером несколько часов, и работать весьма усердно. Первую лунку мы так и делали, но от второй нас избавила изобретательность каюра. Он встал раньше всех, взял с собой собак, отличавшихся хорошими охотничьими способностями, и пошел, как он сказал, «гулять». Минут через сорок каюр вернулся и сказал, что в полуклометре от нас есть одна лунка, в полутора километрах — другая:

— Выбирайте любую!

Лунки, объяснил каюр, проделывают нерпы, чтобы иметь возможность вылезать на лед. Сущий клад для гидрологов! В лунки, вырытые нерпами, свободно проходят все гидрологические приборы, которые нужно опускать в воду. Больше ни одной лунки мы не пробивали. За нас работали нерпы, а их находили собаки.

Через трое суток мы достигли острова Старокадамского. Вот и известный по отчетам экспедиции Амундсена гу-

рий; в нем должна сохраниться записка.

Гидрологи остались на месте для своих работ, а мне и Сторожко надо было обйти остров для магнитных определений и с'емки.

Береговая часть острова доставила нам много хлопот. Неожиданно для себя мы обнаружили громадную береговую отмель. Но снежный покров мешал определить направление отмели. Мы не знали, что под снегом — лед или почва? Приходилось забивать в снег палку или рыть яму, чтобы узнать, что внизу.

Когда мы обошли остров, закончили с'емку и снова вышли к исходному пункту — к гурию Амундсена, — Витя Сторожко стал ковырять верхушку гурия. Вскоре он с победоносным видом вытащил оттуда ржавую железную банку. В банке оказался хорошо сохранившийся конверт с надписью: «*Мод Экспедиционерен*».

В конверте лежало письмо, завезенное на о. Старокадамского одним из участников экспедиции Амундсена. Часть письма была написана Амундсеном на судне. Оно содержало общие сведения о работе экспедиции и о том, где можно найти другие гурии, где хранятся вещи, имеющие отношение к экспедиции. На обратной стороне письма Амундсена была приписка карандашом. Человек, доставивший записку на остров, писал о работах своей партии, о том, куда он дальше направляется, в каком находится месте; писал, что он и его друзья живы и здоровы, сделали здесь магнитные определения и намерены возвратиться на судно.

Письмо с конвертом и банку я забрал для арктического музея. Чтобы не вводить в заблуждение будущих исследователей, мы вложили в банку новую записку, в ней я дал перевод письма Амундсена и написал о работе своей и Сторожко.

После этого мы вышли в обратный путь. Мороз держался ниже 30°. Работать на таком холоде с точными приборами приходится голыми руками или, в крайнем случае, в тонких перчатках. Металлические части приборов заинде-

вели, их приходилось согревать дыханием, протирать. Руки коченели. Но работа была столь увлекательной, наблюдения давали такое удовлетворение, что, признаться, о неприятностях я вспомнил только потом, когда экспедиция была закончена.

НА МЕСТЕ ЭКСПЕДИЦИИ ВИЛЬКИЦКОГО

Поход на о. Старокадамского и в бухту Мод был для нас репетицией более сложных и долгих экспедиций. Во второй половине апреля я направился в западную часть побережья Таймырского полуострова, к Гафнер-фиорду, куда требовалось доставить продовольствие для будущей экспедиции. На этот раз я шел со столяром Болдиным. Саша Болдин давно работает на стройках в Арктике. Это большой весельчак, на каждый случай жизни у него припасен анекдот, и в экспедиции с ним очень весело.

Первую часть пути мы снова проделали совместно с гидрологической партией. По дороге к Гафнер-фиорду мы должны были зайти на мыс Могильный в заливе Диксона. На этом месте экспедиция Вилькицкого в 1913—15 гг. организовала склад продовольствия; она оставила в самолетном ящике много мясных консервов. Сохранились ли консервы? Ведь они пролежали в Арктике двадцать лет! Нам очень хотелось использовать подарок Вилькицкого, чтоб покормить собак, а при случае и самим питаться.

Идя вдоль берега, мы вели с'емку береговой линии, чтобы внести исправления в существующие карты.

Во второй половине апреля мороз в здешних местах спадает, средняя температура держится около 20—25° ниже нуля. Это уже вполне приемлемо для санных экспедиций. В палатке в это время года можно не особенно торопиться лезть в мешок, только-что приготовленная пища не стынет так быстро.

На пятые сутки поднялась пурга; пришлось спешно остановиться среди торосов, так как собаки, утомленные

сильным встречным ветром, ложились и отказывались идти.

К утру пурга стихла. Мы пошли искать Могильный. Это было не так легко. Знаки, поставленные на мысе, хорошо видны с моря и плохо различимы, когда идешь вдоль берега. Через два часа безуспешных блужданий мы увидели знак: на верхушке мыса торчала вышка из углового железа. Около знака виднелись два креста. Они стоят на могилах двух человек из экспедиции Вилькицкого, умерших во время зимовки судов «Таймыр» и «Вайгач» в заливе Дика. С чувством некоторой торжественности, которое испытываешь, когдаходишь к таким старым памятникам, мы поднялись на мыс. Знак Вилькицкого был потрепан, но кресты стояли крепко. Они были обнесены оградой из чугунных цепей. На первом кресте мы прочли лаконичную надпись:

КОЧЕГАР ЛАДОЧИЧЕВ

На другом кресте, более солидном, была прибита медная доска с выгравированными стихами. Я их запомнил:

Под глыбой ледяной холодного Таймыра,
Где лаем сумрачным испуганный пещец
Один лишь говорит о тусклой жизни
мира, —

Нашел покой измученный певец.

Не кинет золотом луч утренней Авроры
На музу чуткую уснувшего певца...
Могила глубока, как бездна Тускароры,
Как милой женщины любимые глаза.

По другую сторону мыса, внизу, в овраге мы увидели, как, несколько накренившись, стоит огромный ящик самолета старого типа: он совершенно не был похож на ящики, в которых возят современные самолеты. Это ящик не ящик, дом не дом! Он огромен по размерам, в нем прорублены окна и двери. Пожалуй, это дом.

Внутри этого странного дома мы нашли сложные в большом количестве ящики с мясными консервами. Стены ящика-дома исписаны теми, кто побывал здесь в разное время после Вилькицкого. Матросы Таймырской экспе-

диции 1932 года написали на стенках ящика нескладные, но веселые стишки:

Здесь задержала буря нас злая,
И пришлось нам ночевать...
Ветер бушует по бурному морю,
На «Таймыр» не можем мы попасть.

Другая надпись:

Здесь мы убили медведя, песца и зайца.

Дальше еще надпись:

Консервы опробованы Таймырской гидрографической экспедицией 1932 г.

Дальше идут какие-то непонятные начертания участников геологической экспедиции 1932 года. Ничего нельзя разобрать.

Саша с удовольствием замечает, что консервов нам хватит с избытком. Не откладывая дела в долгий ящик, мы тут же вскрываем один из ящиков, чтобы дать собакам попробовать консервы. На банках этикетки: «Консервы фирмы братьев Вихревых в Санкт-Петербурге, заготовки 1910 года для армии». Тут и «Щи с кашею», «Рис с кашею», «Суп рисовый», «Борщ с мясом» — солидные порции. Собаки наши остались довольны продукцией блаженной памяти фирмы Вихревых.

Гафнер-фиорд расположен приблизительно в тридцати километрах от мыса Могильного по прямой линии. Вход, судя по карте, узкий, за ним следует длинный фиорд. В тот же день мы не успели дойти до входа в фиорд и заночевали в одном из мысов залива Диксона. Назавтра мы ищем место входа в фиорд. Идем час-другой, входа нет и нет! Может быть, мы его пропустили, может быть, он неправильно отмечен на карте?.. И вдруг, совершенно неожиданно, открывается вход. На пологом, ничем не привлекательном берегу, как пожом, прорезана узкая щель шириной в 200 — 300 метров. В глубине щели видна широкая дорога вглубь фиорда.

Несмотря на то, что фиорд выходит в море горлом всего в 200—300 метров ширины, он тянется вглубь материка на

сорок пять километров. Какая здесь замечательная бухта для зимовки судов!

Быстро продвигаемся вглубь фиорда. Почти дойдя до конца, ночуем и оставляем крупу, шоколад, какао, молоко и другие продукты, а также ящик консервов, который послужит кормом для упряжки собак. Все это понадобится нам в длительной экспедиции летом. Продукты мы тщательно укладываем в фанерный ящик, поверх него ставим два бидона с керосином, завязываем все это проволокой и заваливаем куском мерзлой земли.

Везде, где можно, я сделал магнитные наблюдения.

Мы уже собираемся уходить, как вдруг — приятная неожиданность. Наверху мыса, на поверхности, оттаявшей под лучами апрельского солнца, находим куст карликовой ивы. Это интересно! Я и не предполагал, что так далеко на севере можно найти древесную растительность.

ПЕРВОМАЙСКИЙ БАНКЕТ В АРКТИКЕ

Обратно идем налегке. 28 апреля достигаем мыса Могильного. Хочется обязательно поспеть домой к 1 мая, чтобы прямо с экспедиции попасть в столовую на банкет наших зимовщиков. Осталось еще 150 километров. Вместо того, чтобы идти берегом, по знакомой дороге, я решаюсь идти тундрой; это даст большой материал для магнитной карты района.

Саша Болдин немного нервничает. Хотя он и доверяет мне в прокладке путей, но все-таки побаивается, что в тундре мы пойдем не так уверенно, как по берегу.

— Как бы не опоздать... — говорит Саша.

— Ничего, ничего! — успокаиваю я его. — Не беспокойся.

Чтобы успеть достичь станции к 1 мая, устанавливаем для себя норму: сорок километров в день. Я иду на лыжах впереди, за мной — собаки налегке, а Саша сзади — он лыжник плохой.

У нас с собой — счетчик. Он выкручивается через двадцать один кило-

метр. Когда счетчик выкручивается, Саша кричит:

— Стой!

Мы останавливаемся, с'едаем по плитке шоколада и опять шагаем, пока счетчик не выкручивается второй раз. Тогда останавливаемся на ночевку.

Раскладываем палатку, кормим собак, готовим пищу — все это идет уже по раз навсегда заведенному порядку, очень быстро. Через час-полтора после остановки мы с Сашей уже лежим в мешках. Какое блаженство удобно улечься в мешке, распрямить спину, ноги! Каждый переход занимает двенадцать часов. На разборку и сноску лагеря уходит около четырех часов, на сон остается восемь часов.

Третий переход должен привести нас на станцию. Карты этого района сомнительные, примет для ориентировки очень мало, тундра однообразная. Как корабль в открытом море, мы идем по компасу и счетчику. 30 апреля остановились, по нашим подсчетам, километрах в тридцати от станции. Завтра будем дома! Но 1 мая нас ожидает неприятный сюрприз — пурга. Сильный ветер и снег. Провизия у нас на исходе, мы оставили только по плитке шоколада на крайний случай. Итти или нет? Погода такая, при которой рискованно пускаться в путь. Но обидно 1 мая сидеть недалеко от станции и скучать в одиночестве.

— Пойдем, Саша?

— Обязательно!

Свертываем палатку и двигаемся в путь.

Видимости почти никакой. Но у нас — компас. Верный друг, он нас привел точно на зимовку. Ура! Показалась мачта станции. Слышен собачий лай.

Нам навстречу выбегают товарищи. Они уже, оказывается, сели за стол, отчаявшись видеть нас сегодня. Товарищи нас обнимают, поздравляют с первомайским праздником. Все в парадных костюмах.

Тем не менее мы им оставляем разгружать нарты, а сами идем умыться и переодеться.

Настроение у всех отличное.

ПРОМЫШЛЕННИК ЖУРАВЛЕВ

Уже весна... Из Ленинграда в Москву идут запросы о будущей зимовке. Часть ребят остается зимовать на второй год, часть твердо решила уехать, часть колеблется.

В первых числах мая из бухты Прончищевой на собаках приезжает известный промышленник Журавлев. Это один из самых крупных специалистов по полярным делам, великолепный знаток собак, прекрасный охотник. Журавлев зимовал в 1930—32 гг. на Северной Земле вместе с Ушаковым. Это они исследовали Северную Землю. Журавлев интересно рассказывает о сложной и захватывающей работе, об охоте, о собаках, о способах передвижения в Арктике. У нас на зимовке была принята цуговая упряжка собак: собаки запрягались пара за парой. Журавлев предпочитает веерную упряжку. Он предлагает нам испробовать ее. Он вообще знает много и вносит оживление во все экспедиционные дела. Иван Дмитриевич Папанин охотно принимает предложение Журавлева. Папанин особенно внимательно слушает рассказы опытного промышленника. Между прочим, Журавлев рассказывает, что в бухте Прончищевой он соорудил телегу и ее возили собаки.

— Оказалось, совершенно возможная вещь, — говорит Журавлев. — Простая самодельная телега! Летом я ездил в ней по тундре.

Папанин сейчас же откликается:

— Это дело! К лету у нас будет такая же телега... Только получше журавлевской. — И, чтобы не обидеть Журавлева, прибавляет. — Ведь у нас — свои механики.

Наступает срок новой экспедиции. В середине мая я должен уйти на реку Таймыру, попытаться там пробраться к Таймырскому озеру и провести по всему маршруту магнитные определения. В местах, где карта плохо снята или ее не существует совсем, надо сделать съемку и промер реки, чтобы выяснить, судорожна ли она.

Экспедиция разбивается на две партии: я и Сторожко пересечем Таймыр-

ский полуостров, чтобы захватить возможно больший район для магнитных наблюдений. Затем поднимемся по реке. Месяца через два, когда река уже вскроется и снег в тундре сойдет, мы вернемся обратно на станцию. В устье Таймыры мы встретим гидрологическую партию. Возвращаться придется пешком, так как уже нельзя будет идти на нартах. По западному берегу Таймырского полуострова для нас созданы продовольственные базы, это позволит нам тащить с собой меньше груза.

Экспедиция на Таймыр — наиболее серьезная из всех, которые мы до сих пор предприняли. Для меня это тоже первая крупная экспедиция.

На зимовке мы много обсуждали все варианты экспедиции, возможности возвращения, может ли, в случае нужды, помочь самолет. План экспедиции разработан до мельчайших деталей.

ОХОТА НА ОЛЕНЕЙ

Во второй половине мая уже тепло. Наибольшая опасность, которая нам грозит, — мы можем не дойти до реки Таймыры. Начинается сильное таяние, как бы нам не очутиться с нартами в бесснежной тундре. Таяние снега на Таймырском полуострове происходит очень интенсивно: дорога портится в несколько дней; там, где вы еще неделю назад могли свободно идти с нартами, — сейчас болото. Мне и Сторожко дали наставления: спешить, скорее добраться к дельте реки, где мы будем в относительной безопасности, ибо на льду снег держится дольше обычного.

Мы идем на Гафнер-фиорд. Местность этой части Таймырского полуострова значительно красивее, чем на мысе Челюскин. Мыс Челюскин — абсолютно однообразная, бесхолмная равнина. Здесь же, на полуострове, небольшие речки, стекающие в бухту, проходят между крутыми склонами; попадают птицы; парами или большими группами летят белые куропатки; встречается много песцов. Все это радует глаз. Но где олени? Их пока не видать. А ведь мы рассчитываем на

оленье мясо. Если оленей не будет, то нам придется возвратиться обратно.

Мой помощник Виктор Сторожко — страстный любитель всяких экспедиций. Мы с ним вместе были на Земле Франца-Иосифа. Он — студент Ленинградского университета, геолог. Но учиться по долгу не может — соблазняют зимовки. С учебы он сорвался на Землю Франца-Иосифа, вернулся, поучился год и уехал на Челюскин. На Челюскине он механик, на Земле Франца-Иосифа работал помощником магнитолога. Для зимовки он человек замечательный, великолепно знает механизмы, чудесный стрелок и вообще мастер на все руки.

Мы собираемся много охотиться, поэтому, помимо обязательного спутника всех полярных экспедиций — винтовки, из которой будем бить крупного зверя, с нами малокалиберные ружья. Мелкокалиберные — такие, как в каждом тире, — дают громадные преимущества в стрельбе по дичи. Кругом масса куропаток. Мы для них захватили почти тысячу патронов. Куропатки подпускают к себе на 50—60 метров, и, при некотором навыке, мы их бьем.

Когда у Гафнер-фиорда мы вышли на берег и начали спускаться на лед, я увидел стадо оленей. Оно спокойно стояло метрах в двухстах от нас. В такой естественной обстановке на снегу олени очень красивы.

Собаки, почуяв оленей, подняли невообразимый гвалт. Но то ли потому, что ветер был в нашу сторону, или потому, что олени были не из пугливых, они не убежали. Виктор выхватил из нарты карабин, а я бросился в самую гущу собак, сдавливая им горло и раздавая тумачи. Собаки умолкли. Виктор пополз к оленям. Олени стояли спокойно. Когда он показался из-за холма, стадо сорвалось и побежало. Сторожко сделал несколько выстрелов и одним из них свалил самку.

Олени в это время линяют, и из коровы, пока мы ее волокли, ключьями лезла шерсть. Погрузили оленя на нарты, пересекли фиорд и вышли на место нашего склада.

Я произвел астрономические наблюдения и проверил магнитные приборы.

Магнитное поле на Таймырском полуострове гораздо спокойнее, чем я ожидал. По данным Норденшельда, можно было предполагать на Таймырском полуострове сильные магнитные аномалии. Этого не оказалось. Очевидно, наблюдения Норденшельда были сделаны в месте, лишь случайно оказавшемся аномальным.

От Гафнер-фиорда нам предстоял 60-километровый переход в губу реки Таймыры. Местность здесь сильно пересеченная; маленькие овраги, постоянные спуски и подъемы доставляли нам массу неприятностей. Собакам трудно поднимать нарты по крутому склону. Приходится изо всех сил подпихивать нарты сзади. Не менее трудно спустить нарты вниз. Мы оборачивали полозья кнутами, упирали кол в снег, но на крутых спусках это не давало должных результатов: нарты на спусках кувыркались, собаки кидались друг на друга. Нас это и огорчало, и смешило.

В конце-концов вышли на гору, откуда увидели дельту Таймыры. Чтобы дать знать о себе гидрологической партии, мы нашли высокий, далеко видимый мыс, поставили на его вершине шест с флагом, прикрепили записку и уж после этого начали съемку и магнитное определение.

Вскоре после остановки на нас пошло стадо оленей. Виктор пошел в обход стада, но неудачно: олени убежали, и ему не удалось свалить ни одного. На обратном пути он вдруг заорал:

— Нашел избу Фаддея!

Изба Фаддея — историческая. О ней упоминает Миддендорф, первый путешественник, посетивший устье Таймыры. Миддендорф рассказывает, что он на одном из островков в устье реки нашел старую-престарую избу, построенную, повидимому, в незапамятные времена. Изба эта была названа избой Фаддея и сделалась известной. Нам посчастливилось повидать ее, вернее, ее развалины: несколько бревен, остатки истлевшей утвари — деревянное корыто, железный ковш...

Утром, во время завтрака, услышали собачий лай. То пришли гидрологи Либин и Латыгин. Двигаясь вдоль морско-

го берега, они натолкнулись на наш знак, прочли записку и пошли по нашему следу.

Объединившись, мы двинулись вверх по реке, чтоб выбрать место для водомерного поста. Погода ужасающая! Снег тает с каждым часом все больше и больше. Он уже мокрый, итти по нему трудно.

НА КЛИПЕРБОТЕ ПО ТАЙМЫРЕ

5 июня Яша Либин выбрал удобное место для водомерного поста. Надо перетащить на противоположный берег все снаряжение экспедиции. Задача не легкая! Нарты по самую площадку сидят в жидкой снежной каше, собакам она выше брюха, они барахтаются и не идут. С громадным трудом, в три приема, насквозь промокнув, мы перетаскиваем на себе через реку тяжелые нарты.

Я простудился и слег с высокой температурой. Моя болезнь очень беспокоила друзей, но я пролежал в мешке только несколько дней и, не принимая никаких лекарств, поправился.

Во время болезни я был предметом всеобщих забот. На острове появилась птица, прилетели гуси и утки. Наш стол был роскошный: варили бульон из гусиных потрохов, ели незнакомой породы уток, ярко окрашенных. Болезнь дала осложнение: у меня распух рот, я не мог есть твердую пищу и питался одним бульоном. Ребята стреляли мелких диких уток, серых с острым хвостиком, варили суп, по вкусу напоминавший островую уху.

Когда я поправился, бурное таяние снега уже кончилось. На реке лежал лед без снега. По льду можно было подняться выше по реке. Мы с Виктором нагрузили на нарты клипербот (резиную лодку), снаряжение и 15-дневный запас продовольствия.

Так как поверхность льда была изоброждена трещинами и ямами, то требовалась большая осторожность. Собакам было бы трудно, и мы тащили нарты на себе.

Путешествие изобиловало приключениями. По льду нам удалось совершить

лишь один переход. 22 июня мы остановились у островка посредине реки. Островок привлек нас тем, что на нем гнездилась масса чаек. Очень хотелось зажарить из их яиц яичницу.

Когда мы подошли, чайки орали и метались. Мы разглядели, что они гоняют песка, уничтожавшего яйца. Летний песец непривлекателен: он грязносерый, с темными полосами вдоль спины и лап, морда замурзанная, весь он затасканный, грязный. Песец бегал по острову, чайки со злостью налетали на него, стараясь клюнуть и прогнать с острова.

На острове мы заночевали, а утром увидели, что река окончательно вскрылась. Дальше двигаться на нартах невозможно. Таймыра отличается удивительно быстрым течением. В половодье река подымается очень скоро. Кое-как мы выволокли нарты на берег. Дальше нам предстояло двигаться на клиперботе.

Осторожно пробираясь среди льда, пользуясь пространствами чистой воды, мы медленно, но верно поднимались вверх по реке. Клипербот отлично выдержал испытание. Мы на нем прошли триста километров. Обычно Виктор греб в клиперботе, а я шел по берегу и вел с'емку, а время от времени — магнитные определения. На участках, где течение было сильное и грести оказывалось особенно трудно, я брал клипербот на буксир и, как бурлак, тянул его на лямке.

На пятнадцатый день перехода мы зашли в один из притоков Таймыры. Так как приток до нас никто еще не обследовал, мы двигались вверх по нему до самой последней возможности.

К концу подошли запасы соли, сахара, галет и прочей бакалеи. В изобилии было только мясо и рыба. По вечерам мы забрасывали в воду небольшую сетку и утром вытаскивали килограммов по двадцать, а то и тридцать прекрасной рыбы. Мясо и рыбу приходилось есть без соли, без хлеба. Масло мы заменяли утиным и гусиным жиром. Виктор жарил на нем рыбу.

Наступило время возвращения в лагерь Либина. Продуктов на обратный путь осталось только в обрез.

Вверх по реке мы из-за стремительного течения поднимались с большим трудом. Поэтому нам казалось, что вниз мы пойдем с большим комфортом: будем только сидеть в клиперботе и помахивать веслами. Но не тут-то было! Наша посудина подчинялась главным образом ветру, а ветер на обратном пути был чаще всего встречный. Не раз, выругав клипербот, я брался за лямку и с невероятным усилием тащил лодку вниз по течению.

14 июля мы пришли в лагерь Либи-на. Товарищи уже беспокоились о нас и хотели итти на розыски.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА СТАНЦИЮ

19 июля мы все вместе двинулись вниз по реке и 29-го вышли в море. Здесь мы встретили лед; двигаться на лодке было уже невозможно. Дальше надо итти пешком. Подсчитали и взвесили наше снаряжение, специальную аппаратуру, фотоматериалы. Выяснилось, что на каждого из нас приходится сорок килограммов груза. С таким грузом можно пройти не больше 6—10 километров в сутки. Следовательно, на станцию мы доберемся только через месяц. Это ничего, но наше длительное отсутствие заставит станцию беспокоиться, и, несомненно, Папанин примет меры к нашему розыску. Чорт возьми, какие осложнения! Но иного выхода нет, надо итти пешком.

Когда мы сели шить рюкзаки, услышали рокот пропеллера. Недалеко от нас пролетел самолет. Он покрутился над дельтой Таймыры и... исчез. Мы давали всяческие сигналы: жгли костер, махали флагом, но пилот нас не заметил.

Какая досада! Самолет мог бы сесть у нашего привала и заменить тяжелый месячный путь двухчасовым. Решаем: двоим, по возможности налегке, отправиться с аппаратурой и самыми необходимыми предметами, а двоим, с собаками и снаряжением, сидеть на месте и дожидаться прибытия самолета или судна. Если же, паче чаяния, ни самолет, ни судно не придут к определенному сроку, значит, пешая партия не добралась до станции и оставшимся нужно пешком возвращаться на станцию.

30 июля я и Либин вышли пешком, налегке (т.-е. с грузом около 30 килограммов). Так как впереди предстояло пересечь Гафнер-фиорд и большую реку, впадающую в залив Дика, мы потащили на себе клипербот. Вначале делали около пятнадцати километров в сутки, потом нам повезло: буксировали клипербот вдоль берега моря, иногда плыли. На мысе Могильном оставили клипербот.

После целого ряда злоключений (мы шли без палатки, без примуса, самым первобытным способом), километрах в ста от станции увидели вышедшую нам навстречу вспомогательную партию. Иван Дмитриевич Папанин, верный своему слову, шел нам навстречу с телегой. Поставленная на автомобильные колеса, телега на резиновом ходу легко и бесшумно катилась нам навстречу.

Оставшаяся на Таймыре партия добралась до станции, испробовав самые различные способы передвижения: пешком, в резиновой лодке, на лыжах, собаках и даже на самолете...

Зимовка на Челюскине подходила к концу,

На Дальний Восток

ВАЛЕНТИНА ХЕТАГУРОВА

★

Я — коренная ленинградка. В 1931 году я окончила девятилетку. Мне было только семнадцать лет, во втуз не принимали, и я пошла работать. Поступила в научно-исследовательский институт машиностроения. Работала чертежницей и одновременно училась в конструкторском техникуме машиностроения им. Калинина.

В 1932 году уехала на Дальний Восток. Произошло это так. Сидела за чертежным столом. Подходит ко мне моя приятельница (тоже чертежница) Циля Юдина и спрашивает:

— Валя, хочешь поехать на Дальний Восток?

Я удивилась.

— Комсомольская мобилизация, — говорит Циля. — Шефство — так шефство! Надо укреплять Дальний Восток.

Почти не задумываясь, я ответила:

— Согласна. Поеду.

— И я поеду, — сказала Циля Юдина.

Вечером состоялось заседание бюро комсомольской ячейки. Я была членом бюро ячейки. Секретарь сказал, что ЦК ВЛКСМ проводит мобилизацию комсомольцев на Дальний Восток, надо и нам выделить людей.

Предложили поехать одному нашему парню, он стал отказываться: я-де очень больной, принесу вам справку от врача.

Тогда я сказала:

— Давайте я поеду.

Члены бюро удивились, — дивчина.

ведь! и меньше восемнадцати лет. Я сказала:

— Я поеду добровольцем.

В душе, признаться, я колебалась. Про себя думала: «Как будет с мамой?» Мне больно было огорчить маму. Но тут же я вспомнила все, что тогда говорилось и писалось о Дальнем Востоке, — а тогда много говорили и писали, что это богатейший советский край, что богатства в нем несметные, что надо их скорее взять и получше защитить от посягательств японцев. Вспомнила и решила: нет, поеду, обязательно поеду.

Последующие дни, когда мне оформляли документы, я не могла без радостного волнения думать о Дальнем Востоке. Прожила эти дни, точнее недели, точно в каком-то тумане, все время думала о новых местах, куда поеду, и мысленно грозила японцам: погодите, мы вам покажем! Шиш получите, а не Дальний Восток...

В Смольнинском райкоме смеялись:

— Ух ты, куда девчата собрались! А вы стрелять умеете?

— Научимся, — смеялись мы в ответ и постепенно начали верить, что действительно едем на фронт, хотя комсомол мобилизовал работников абсолютно мирных профессий — чертежников, техников, счетоводов, квалифицированных рабочих.

Когда документы были на руках, я сказала маме:

— Мама, я еду на Дальний Восток. Меня мобилизует ЦК ВЛКСМ.

Я сочинила про мобилизацию, чтоб меньше огорчать маму. Но она пошла к дяде (он начальник отделения милиции), и дядя ей сказал:

— Ей же нет восемнадцати лет... Как же могли мобилизовать? Наверно, едет добровольно. Вот отчаянная!

Меня дома всегда называли отчаянной.

Когда мама передала мне слова дяди, я призналась, что еду добровольно. Мама только вздохнула:

— Зачем же скрыла? Ты же знаешь, доченька, я никогда не мешаю вам устраиваться. Почему ты неправду сказала? — и заплакала.

Мама моя замечательной души человек. Настоящая советская мать! Когда мы, дети, подросли, она никогда не мешала нам принимать то или иное решение, не навязывала своего мнения. Если мама не соглашалась с чем-либо, она мягко говорила: «Что-то не так, доченька». Или: «А ты подумай, сынок». Мы так привыкли верить маме и так любили ее, что всегда задумывались над ее словами.

Наш отец был рабочим Балтийского завода. В 1918 году—мне тогда не было и пяти лет—отец умер от холеры. То было в голодные и холодные годы. Нас осталось четверо, и мать всех вывела в люди, всем дала образование. Мама по специальности—портниха, мы в семье смеялись и говорили:

— Мама вырастила нас на иголке.

Но, конечно, если б все это было не при советской власти, в люди мы никак не вышли бы. Советская власть — значит, нас не гнали с квартиры, мы, дети, учились бесплатно и еще стипендию получали. И вышли в люди: сестра Вера кончала Геодезический институт, Нина окончила семилетку, школу ФЗУ, стала работать на фабрике, учится на инженера; брат—механик в особом конструкторском бюро.

В 1930 году нас постигло страшное несчастье. Незадолго до сдачи диплома утонула сестра Вера. Для учебной работы ей надо было измерить толщину льда. Дело было весной, Вера провали-

лась под лед и утонула. Даже труп не нашли. Этот удар особенно больно сразил маму, она долго, очень долго хворала, не могла собраться с мыслями, притти в себя.

Понятно, почему мой неожиданный отъезд на Дальний Восток так сильно огорчил маму. Но она никак не показывала этого, чтоб меня не расстраивать. Она лишь говорила:

— Далеко как... — И прибавляла: — Ты только не бойся!

А потом, когда я уже была на Дальнем Востоке, я всегда получала бодрые письма от мамы. Она шутила в письмах и писала: не вздумай обратно ехать, работай получше, ты у меня молодец, отчаянная!

Как я радовалась этим письмам! Про себя думала: мама, мамка, молодчина!..

★

Итак, получили документы, все оформили и вечером 19 мая 1932 года большой компанией уехали в Хабаровск. Прощай, Ленинград! До свидания, Ленинград!

Мне впоследствии пришлось несколько раз совершать поездки Хабаровск — Ленинград и обратно, но из памяти никогда не изгладится первое впечатление этого далекого пути.

Потрясающее впечатление произвел Байкал. Мы подъезжали к нему в раннее майское утро. Просыпался день. Сначала солнце осветило розовым светом снег на сопках, потом лучи коснулись глади озера. Вода в Байкале необыкновенно прозрачна. Рассказывают, что дно отчетливо видно даже далеко от берега.

Поезд идет у самой воды, идет медленно... Много туннелей.

Мы рады, когда вагон выходит из туннеля, — можно снова любоваться красивым озером.

Хабаровск не понравился: жара, пыль, грязно. В общежитии, где нас поместили, жил военный инженер. Он нас убеждал поехать с ним в бухту де-Кастри.

— Изумительная бухта! — говорил он. — Сами увидите, какие места. Тайга

доходит до самых берегов. Много озер, дичи, можно охотиться.

Воображение наше стало рисовать заманчивые картины далекой бухты. Когда Циля Юдиной, Марусе Козловой и мне предложили остаться в Хабаровске, мы отказались.

— Почему? — спросили нас.

— Хотим в де-Кастри.

Наши собеседники в недоумении переглянулись.

— Что, разве там плохо? — спросила я.

— Да нет... — уклончиво ответили они.

Вместе с инженером поехали вниз по Амуру. Мы его все время расспрашивали о де-Кастри. Наш спутник стал постепенно сбавлять краски.

Оказалось, в бухте бывают иногда туманы... Впрочем, не иногда, а довольно часто... Бухта еще мало населена. Впрочем, она почти не населена... Там маловато женщин. Впрочем, там почти совсем нет женщин... Наконец инженер признался, что он хотел «завербовать» в де-Кастри первых женщин.

— Увидите, — сказал он, — как за вами потянутся другие. Приедут люди с семьями, и наша бухта оживет!

Когда впоследствии в де-Кастри ехали жены инженеров и командиров, им говорили:

— Да чего вы пугаетесь? Глухое место? Сегодня глушь, а завтра веселый городок. Эх, вы... Едете к мужьям, к родным, а нервничаете. Вот у нас были три комсомолки — сами захотели поехать в де-Кастри!

Чтобы попасть в де-Кастри, надо было пересечь 35-километровое озеро. Тут мы впервые столкнулись с романтическим приключением.

Меня и семью военного врача усадили в кунгас (многовесельная лодка). Путешествие обещало быть приятным, но на озере разыгралась буря. Положение осложнялось тем, что с нами ехали дети, даже грудной ребенок. Кунгас швыряло из стороны в сторону. Опытные гребцы сумели, к счастью, направить лодку к берегу. На незнакомом берегу мы разожгли костер, кипятили чай. Со всем как в приключенческих романах!

В де-Кастри приехали через двое суток. Я ожидала увидеть если не город, то по крайней мере большой поселок. Каково же было мое удивление, когда возница (от озера надо было еще ехать на лошадях), показав на несколько домиков, сказал:

— Вот вам и де-Кастри.

★

Стоял густой туман. Сквозь него еле еле пробивались тусклые огоньки.

Юдина и Козлова приехали дня за два до меня, так как им удалось проскочить через озеро до шторма. Подруга встретила в так называемой «столовой». То была небольшая избушка, в ней несколько столов, электричества нет, вместо него — блюдо постного масла, в котором плавают скрученный из ваты фитилек.

Девушки стали жаловаться, что в де-Кастри очень плохо, скучно, ничего здесь нет.

— Пойдем, квартиру нашу посмотришь, — говорят они мне.

«Квартира» действительно оказалась малопрестижной. Крохотная комнатка в деревянном домике, настолько крохотная, что в ней вмещались лишь чугунная печка и узкая кровать.

— Ничего! — утешаю я девчат. — Утро вечера мудренее. Давайте укладываться.

Циля и я легли на кровать, Маруся — на кучу шуб, наваленных на печку. Ночью нас разбудил страшный крик. Маруся вопила:

— Ай, ай, ай! Пожар!..

Спросонья мы не могли сообразить, в чем дело. Оказалось, кто-то положил в печку сушить дрова, они начали тлеть, потом воспламенились. Маруся проснулась после того, как почувствовала, что под ней горят шубы. Легко представить себе ее испуг!

Пожар мы потушили, но уснуть уже не могли. Стало весело. Мы видели в происшествии лишь смешную сторону — и смеялись до утра. Настроение стало как будто лучше.

Утром пошли в отдел кадров управления начальника работ. Везде видны бы-

ли следы стройки: там валят лес, здесь закладывают дом, тут ведут земляные работы.

Управление помещалось в недостроенном двухэтажном доме — дом еще достраивается, а в нем уже работают.

Нас, девушек, распределили по разным объектам строительства бухты. Везде было много молодежи: инженеры — молодые, чертежники — молодые, бухгалтерию — и ту возглавлял комсомолец.

Скучно или весело в де-Кастри? Никто и не задумывался над таким вопросом, до того некогда было. Работа отнимала все время. Надо было торопиться, скорее строить дома для будущего населения бухты, общежития для бойцов, специальные сооружения.

Приятно сейчас ходить по нашему городку. Двухэтажные здания, баня, столовая, стадион, водопровод, фонтан, теннисный корд, парк культуры и отдыха, — и это все на том месте, где совсем-совсем недавно была непроходимая тайга.

Что было в де-Кастри, когда мы туда приехали? Естественная бухта, несколько маленьких домиков и землянок — и все. Кругом — сплошная тайга, непроходимая тайга. У нас под Ленинградом гулять в лесу — одно удовольствие. А попробовали бы вы погулять в лесу у бухты де-Кастри. Где тут гулять! Только лазать можно сквозь заросли и покрытые мхом деревья, наваленные друг на друга. Отойдешь шагов на пятьдесят от поселка — и заблудишься. Помните, про Сибирь было сказано: птицы без песен, цветы без запаха... Это — про мертвую дикую тайгу, но про ту только тайгу, куда не дошла рука большевиков.

Начальник строительства говорил:

— И цветы будут благоухать, и птицы щебетать.

Многие строители бухты жили тогда в палатках. Дорог не было, зимой ходили по поясу в снегу, лошади — и те не могли пройти, поэтому люди на себе таскали лес.

Леса много, но построить дом не так просто. Чтобы врыть столбы, надо сначала расчистить площадку — вырубить

деревья, выкорчевать пни. Работали каждый день, не считаясь с погодой. Бывало, зимой, прежде чем врыть столб, приходилось по два-три дня жечь костры, чтобы земля оттаяла.

Что и говорить, удобств никаких не было! Зато неудобств — хоть отбавляй. Но я не помню унывающих. Один рабочий как-то сказал мне:

— Знаете, живем с полной нагрузкой.

И действительно, жили и живут на Дальнем Востоке с полной нагрузкой.

★

Первая зима была довольно трудной. Одолевала пурга. Если идешь в гору, тебя под гору так и катит, ветер с ног сваливает. Как-то из-за особенно сильной метели мы два дня не выходили из дому. Дров было мало, поэтому все сгрудились в одной комнате, принесли с собой — кто одно, кто два полена.

Утром придешь на работу — сразу разжигаешь печь (истопника не было), надо тушь отогреть, она успела за ночь превратиться в льдинку. Однажды после бурана мы с трудом попали на работу, дверь управленческого здания сорвало с петель, в помещение намело горючего снега. Пришлось разгрести.

Зимой мы с Цилей перебрались на «новую квартиру». Нам дали комнату на втором этаже нового здания. Внизу под нами находилась хозяйственная часть. Как-то, несмотря на холод и занятость, я решила навести генеральную уборку комнаты. Вытерла пыль, помыла пол. На следующий день, когда я утром спускалась вниз, услышала крик:

— Чорт знает что такое! — кричал заведующий хозяйственной частью. — Какие олухи живут там наверху?!

Оказывается, наш пол протекает. Когда я его мыла, грязная вода стекла вниз на стол завхоза, и все бумаги примерзли к столу... Эта история многих позабавила.

Дома было холодно, часто дров не хватало. В лесу — и без дров! Лошади были загружены работой на стройке, их нельзя было брать. Никто на это не жаловался, каждый отлично сознавал напряженное положение на стройке. Когда

иссякли запасы дров, мы ложились спать в полушубке, шапке, больших мужских валенках. Весной валенки сменили на ичиги — высокие грубые сапоги. Как видите, франтить не приходилось...

Замечательная подробность: несмотря на суровый климат, я ни разу не простудилась. В Ленинграде я постоянно болела — то ангиной, то гриппом, а уж насморк никогда не проходил. А в де-Кастри ни разу!

Целый год я пробывала секретарем комсомольской ячейки управления начальника работ. Все свободное время уходило на общественную работу в бараках.

В бараках читали вслух газеты (они приходили редко, сразу большой кипой) и ставили различные пьески. Играть приходилось всем. Уголь заменял грим, углем подводили глаза, рисовали усы. Бедновато, но весело. Посмотрели бы вы, с какой радостью встречали рабочие нашу бригаду.

Строителей в бухте нехватало, их вербовали в «жилых районах», но это стоило очень дорого и не решало дела. Тогда управление решило создать комиссию, которая вербовала бы рабочих среди демобилизуемых красноармейцев. Красноармейцы охотно соглашались оставаться в де-Кастри.

Мне предложили вербовать рабочих в воинской части, которой командовал майор Хетагуров. Часть была расположена в девяти километрах от бухты. Впервые в жизни я села на коня. Про себя думала: «Ого, горожанка! Вот ты и на коня села...». Кто из нас, девушек, не мечтал о верховой езде!

Георгий Хетагуров подкупает своей простотой, сердечностью и искренностью. Его любят бойцы, командиры, все, кто его знает.

Мы стали часто встречаться. Знакомство перешло в дружбу. А весной поженились.

Хетагурову, когда я с ним познакомилась, было только тридцать лет, но он чуть ли не полтора десятка лет служил в Красной Армии. Еще подростком он помогал отцу — железнодорожному мастеру — бороться с белобандитами. Отец Георгия скрывался с красными

партизанами где-то под Владикавказом; мальчик Хетагуров тайком носил отцу пищу и полюбил военное дело. Когда белых изгнали, отец отдал Георгия в военную школу.

Хетагуров (он по национальности осетин) по окончании военной школы был назначен в национальный конно-артиллерийский осетинский полк. Потом Хетагурова перебросили на Дальний Восток. В двадцать девятом году он принимал участие в военных операциях во время конфликта на Китайско-Восточной железной дороге. Участвовал в боях и за боевые заслуги правительством награжден орденом Красного Знамени.

Некоторое время после замужества я продолжала жить в де-Кастри и к мужу ездила только на выходные дни — он присылал за мной верховую лошадь. А потом, когда неудобства сообщения перекрыли удовольствия верховой езды, я переехала к Георгию, который к тому времени получил уютный домик из двух комнат с кухней.

★

С бойцами части Хетагурова я познакомилась еще тогда, когда вербовала среди них строителей бухты. Более близкое знакомство состоялось в майские торжества тридцать третьего года. Я еще жила тогда в бухте, но на праздники приехала к Георгию.

Первое мая мы отметили праздничным вечером. Собраться можно было только в казармах. Тогдашние казармы ничем не похожи на нынешние чистые, культурные, хорошо оборудованные общежития бойцов. Казармы были большие, в них — нары в несколько этажей. Внизу расчистили место — вроде сценической площадки; там танцевали, пели, читали стихи. Всем было очень весело, все чувствовали себя членами одного дружеского коллектива.

Дружеская спайка и единство цели у всех — у бойцов, у командиров, у их жен — и помогло всем нам построить настоящий культурный советский городок. А ведь строились мы почти как на необитаемом острове, и неудобств было, пожалуй, не меньше, чем у Робинзона.

Первыми квартирами командиров были палатки, разбросанные на площадках, едва расчищенных от векового леса. Место было настолько глухое и дикое, что рябчики, не пуганные человеком, сидели прямо на диковинные палатки. Здесь же свободно разгуливали и глухари. А однажды к отдохавшим бойцам спокойно, не торопясь, подошел медведь.

Летом тридцать второго года к командирам стали приезжать семьи. Это совпало с моим приездом в де-Кастри.

Квартир было еще маловато, и людей размещали кого куда — одних в землянки, других в наскоро сбитые временные постройки, не оберегавшие жильцов ни от дождя, ни от снега. Постройки стояли в глухом лесу, среди вековых деревьев; от деревьев нельзя было спрятаться и в помещении — ветви нахально лезли в окна.

И вот началось наступление на тайгу. Не сдавалась тайга, но у нее отвоевывали все большие пространства, и она стала отступать.

Меня часто спрашивают, как женщины включились в общую с мужчинами работу по освоению и обороне советского Дальнего Востока. На этот вопрос ответить и легко, и трудно.

Прежде всего: все мы воспитаны советской властью, все мы, молодежь, уже с детских лет получили коммунистическое воспитание. Естественно, что, куда «судьба» ни забросит советского человека, он будет жить и работать так, как может жить и работать только советский человек.

Мы, женщины де-Кастри (нас вначале было мало), ничем не отделяли себя от мужчин. Мы чувствовали, что то оборонное дело, которое поручено товарищам мужчинам, является и нашим кровным делом. И участие женщин в строительстве бухты возникло само собой.

Началось как будто с малого. Приближалась осень. Бойцам надо было начать учебный год. И вот, чтобы не отрывать бойцов от военных занятий, женщины начали сами, без помощи бойцов, достраивать и оборудовать квартиры — засыпали потолки, конопатили

стены, окапывали завалинки, убирали щепу и пр. Одна из наших женщин разыскала поблизости белую глину и первая помазала квартиру и ленинский угол части, где муж ее работал политруком. За нею потянулись и другие женщины. Наши квартиры — недавно столь мрачные и сырые — стали не только сухими и теплыми, но и светлыми. Белую глину смешивали с зубным порошком, и квартиры, а затем и общежития бойцов стали чистенькими, веселыми.

Личное переплеталось с общественным, с государственным. Но разве все государственное строительство в нашей стране не ведется так, чтобы «личное» в жизни советских граждан расцветало, становилось с каждым днем все более ярким и хорошим?

Трудно проводить какую-то грань между делом всего строительства в бухте и своим личным. Мы этой грани никогда и не проводили, она у нас и в мыслях не возникала, ибо дело у нас было одно, у всех жителей и бойцов де-Кастри.

★

Хетагуров командовал новообразованной частью. Расположена она была, как я уже рассказала, не в самой бухте. Своего налаженного хозяйства в части вначале не было. Муж часто дома говорил мне:

— Как бы организовать?..

Я спрашивала:

— А что нужно сделать?

— Нужны хорошие казармы. Чтобы в них было уютно и домовито. Чтобы боец мог отдохнуть в казарме.

Я посоветовалась с женой. Пошли вместе к комиссару части, поговорили с ним и решили собрать женщин.

Созвали собрание. Все согласилось, что надо часть сделать культурной. С чего начать? Начнем с малого — приведем в порядок столовую и казармы.

Я поехала в магазин Рыбтреста и в закрытый военный кооператив. Закупила материи столько, что у Тони — женорга — образовался целый склад. Вечерами мы собирались, подрубали ска-

терти, шили занавески. Педагог Татьяна Ивановна варила зубной порошок с клеем и писала на кумаче лозунги.

Когда сделали для казарм занавески, захотелось поставить у кроватей бойцов тумбочки. Командование во всем шло нам навстречу. Заказали тумбочки.

Сделали тумбочки — захотелось сделать для них салфетки.

Сделали салфетки — захотелось, чтобы были графины с водой (как-раз в это время в кооператив завезли много графинов).

Появились графины — возникло новое желание: постлать в казармах коврики. Достали самую обыкновенную байку, нашли коврики и дорожку через всю казарму.

Когда все было готово, увидели, что для полноты картины не хватает абажуров. В мастерской части нам сделали каркасы, среди женщин нашлись мастерицы, которые стали каркасы обтягивать шелком.

Казармы получились замечательные! Когда мы их украшали, бойцов не было, они ушли в какой-то поход.

Нас в части Хетагурова было двадцать две женщины да тридцать девять ребят. Не все могли притти в казармы на «большой субботник» — многих удерживали дома малые дети. Но все, кто мог, пришли и с яростью напустились против... казарменного вида казарм.

Принесли с собой укусную эссенцию, протерли стекла — они заблестели. Вытерли тряпками все углы и закоулки — и пылинки не осталось! Затем расставили тумбочки, постелили на них салфетки, надели на спинки кроватей белые чехлы, повесили на все окна белые занавески, подвизанные голубыми шелковыми лентами, протянули через всю казарму дорожку.

Бойцы знали, что женщины готовят им какой-то сюрприз, но, во что превратятся казармы, они, конечно, не подозревали. Вернулись бойцы из похода и остолбенели — да полно! в свои ли казармы вернулись!?

В части Хетагурова были тогда две казармы. И вот бойцы каждой казармы решили про себя, что женщины убрали

и украсили только одну казарму, а другую оставили в старом виде. Побежали бойцы первой казармы осмотреть вторую, а в это же время бойцы второй казармы спешили в первую — встреча произошла на полпути. Ко всеобщему удовольствию выяснилось, что приятный сюрприз ожидал бойцов обеих казарм.

Де-Кастри явилось для многих из нас хорошей школой жизни. Я, например, никогда не умела ни готовить, ни стирать — все мама. А теперь я могу делать, что угодно, даже торты печь и квас варить. Но Дальний Восток научил нас не только домашней, так сказать, работе, нет, среди нас имеются и значкисты ГТО, ПВХО, ГСО, и связисты; и ворошиловские стрелки, и ворошиловские всадники, и даже артиллеристы. Мужьям мы, когда понадобится, будем помогать и в бою...

Я в де-Кастри недурно научилась ездить на лошади и охотиться.

Целый год я прожила в хвойном лесу. Де-Кастри — в полосе вечной мерзлоты. Зима очень суровая, весной — сильные туманы, зато лето — хорошее, теплое, я бы сказала, ласковое лето. Все же природа несколько однообразна — лес, лес. На горах лес, на равнинах лес. Да и лес-то какой-то однообразный — ель и ель!

Однако скоро я познакомилась с другой местностью.

Как-то в июне мужу надо было съездить на Амур — километров пятьдесят от наших мест. Поехали Хетагуров, его помощник, два бойца и я с ними.

Ехали тропиночкой. Потом на горку поднялись, и только стали спускаться... я ахнула от изумления. Смотрю и глазам не верю, — будто я в новый мир перенесена. Впереди замечательная березовая роща. Березки ровные, красивые, веселые, по пояс трава густая. У самой тропинки ландыш цветет.

Я ходила по зеленой чаще, как зачарованная.

Отцветала черемуха, цвел шиповник, дикие пионы.

Наша бухта и долина, вызвавшая восторг мой и моих спутников, находят-

ся на одной широте с Харьковом. Климат де-Кастри потому суров, что совсем близко проходит холодное течение. Но стоит отехать от бухты несколько десятков километров, как природа становится неузнаваемой.

На берегу небольшого ручья мужчины соорудили плоты — им надо было проплыть восемнадцать километров. Я с двумя бойцами осталась в небольшом зимовье. Охотились за дикими гусями, убила двух гусей и глухаря.

На обратном пути полтора дня жили в тайге. Ночью мужчины по очереди дежурили у костра, подбрасывали в огонь сучья и хворост. Я не дежурила, спала.

Домой я вернулась черная-пречерная от загара.

Со времени этого путешествия я готова бродить по тайге в любое время дня и ночи. Я не знаю большего удовольствия, чем охота в тайге, да еще, пожалуй, верховая езда.

★

Мы все знали—и командование нам, особенно женщинам, часто напоминало—указание тов. Ворошилова о создании индивидуальных подсобных хозяйств. Мы стали заводить кур, свиней. В моем домашнем хозяйстве кур не было, но поросята были все время.

Свиньи дали нам за год тридцать тонн мяса, а куры — сорок две тысячи яиц: для начала совсем неплохо!

Так де-Кастри и окружающие поселения становились все более похожи на обжитые районы. Привезли нам коров. Они пришли морем, их здорово потрепала качка, тяжело было смотреть на них, тоскливых и отощавших от морской болезни.

За коровами ухаживали, как за человеком. Мы выкапывали для них траву из-под снега. И выходили коров. А позже, зимой, когда появились телята, женщины брали их из холодных сараев к себе на квартиры и буквально согревали своим теплом. В росте нашего животноводства было кровно заинтересовано и взрослое, и малое население бухты. Шутка сказать, молоко для детей или для больных! Твердо уверена, что до

советской власти вряд ли было свежее молоко в таких суровых и нелюдимых местах, как наше де-Кастри. Да и место это усилиями советских людей перестало быть нелюдимым.

Чтобы освоить новый район, сносный для жилья и недоступный для врагов, потребовалось много усилий. Человеку, который приедет сейчас в де-Кастри, не легко себе представить, сколько трудов вложено в наш городок.

Сейчас, например, у нас есть водопровод, подающий замечательную ключевую воду. А ведь еще несколько лет назад летом брали воду в канавах, а зимой растапливали снег.

Сейчас у нас есть звуковая кинотеатр, а на побережье — парк культуры и отдыха, с аллеями, дорожками, клумбами, беседками, фонтаном, танцевальной площадкой.

Сейчас у нас есть детский сад и детский пионерский лагерь, а в парк культуры и отдыха для детворы привозят песок. А еще несколько лет назад этих детей приходилось рожать в случайной избе, и добро—роды случались днем, а то ночью часто керосина не было.

Помню, когда только-только возникало общественное движение среди жен командиров частей, расположенных в де-Кастри, Хетагуров говорил мне:

— Вот с цынгой придумайте, как бороться. Цыгму нельзя к нам допустить ни в коем случае.

Мы подумали и решили: надо собирать бруснику и чернику. Прекрасное противоцынготное средство.

В наших краях бруснику собирают не руками, как в центральной России, а деревянными совками с железными иголками. Брусники у нас очень много, и черники не меньше. Заготавливали мы чернику и бруснику не только для себя, но и для войсковых частей. Устраивали вылазки по ягоды. Собирали их с шумным весельем. И так уже заведено у нас — своего рода традиция: каждую осень всей компанией по ягоды. Брусника и черника в свежем виде заменяли фрукты, а на зиму мы их собирали в бочки. В бочках ягоды замерзают. Нужно варить кисель, выберешь ягоды из бочек в бутылку, вносишь в комнату, на

тепле ягоды оттают, и даже можно их есть, как свежие, — почти тот же вкус и аромат.

Есть такой народный сказ, в котором старик-колхозник, заканчивая повествование о новых, счастливых временах, говорит: «Советский человек всего достигает». То же я могу сказать, вспоминая о делах на стройке нашей бухты. Советский человек действительно всего может достигнуть. И каждое новое достижение дает нашему человеку зарядку, импульс для достижения еще большего, еще чего-то нового.

Нас, например, вскоре перестали удовлетворять брусника и черника как своеобразные заменители овощей и фруктов. Брусника и черника сами по себе — вкусные и полезные продукты, мы от них не думаем отказываться. И вот возникает мысль об огородах.

Начали с малого — с картошки и редиски. Первое же лето показало, что климат помехой огородным опытам служить не может. Тщательно обрабатывать землю, тщательно ухаживать за посаженным — будет толк, работать с налета, уповать на погоду да матушку-землю — толку не будет. Где уход за огородом был хорош, там картошка и редиска выросли. Это ободрило наших «мичуринцев», — значит, можем переломить климат.

Пытались у нас посеять овес — не вызрел. Но в зеленом виде он прекрасно заменяет газоны. Теперь очередь за цветами. Когда я поехала на Всесоюзное совещание жен командиров Красной Армии, женщины особо поручили повидать специалистов и проконсультировать вопрос о разведении у нас цветов. Главный инженер Московского треста зеленого строительства, с которым я советовалась, рекомендовал устроить теплицы.

Будут в де-Кастри свои цветы! А о цветах, о красивом, люди обыкновенно начинают думать, когда от минимума житейских благ переходят к максимуму.

Чем больше мы богатели, тем больше росла наша потребность. И вот у нас уже курсы чертежников, телеграфистов, связистов, кройки и шитья. «Проблема» преподавательских кадров была разре-

шена так же, как и другие проблемы строительства в районе. Среди преподавательского состава воинских частей, среди командиров и женщин нашлось достаточно людей для работы на курсах и в школах. Для детворы построили школу-семилетку (с учебниками, правда, вначале было плоховато). А затем директор школы, поддержанный всем взрослым населением, решил создать рабфак. В нашей армейской газете «Тревога» был даже помещен рассказ: «Рабфак в тайге».

Вначале школа для ребят помещалась в одной комнате рабочего барака — здесь занимались первый, второй и третий классы. Легко представить себе удобства такой школы! Теперь у нас уже настоящая школа — просторная, с большими, светлыми классами, крашенными полами.

У нас раньше были такие разговоры, что-де детей в наших краях рожать нельзя — нет витаминов, и ребята будут расти уродами. Чего только не болтали! Какую только напраслину не вводили! А ведь ничего — детей рождаем, и растут они крепышами. Моя дочурка Юля родилась здоровенной девчушкой, — она весила больше четырех кило.

Когда я выступала с речью на Всесоюзном совещании жен командиров РККА и сказала, что детишек у нас очень много, почти столько же, сколько и женщин, мне с места доброжелательно крикнули: «Этого мало!». Но ведь мы только-только начали устраиваться...

Когда я решила поехать на Дальний Восток, я, признаться, больше всего мечтала о романтических приключениях. Я не представляла себе, сколь много житейского опыта я почерпну в таежной дали и что жизнь окажется много богаче и радостнее, чем я могла мечтать.

Конечно, у нас в де-Кастри нет многого такого, что найдешь в большом городе. Но, во-первых, разница в культурных ценностях с каждым днем уменьшается — маленькие, так называемые «глухие» районы становятся все более культурными. Во-вторых, у нас имеются

свои прелести, каких, пожалуй, не найдете в большом городе.

★

У нас шло соревнование женщин всех частей, расположенных в де-Кастри. Мы, женщины части Хетагурова, чтобы показать свои достижения, решили устроить семейный вечер для начальствующего состава и пригласить на него гостей из других частей.

Вечер мы назначили на 31 декабря 1935 года, — это была встреча нового года.

Готовились к вечеру основательно, хотели, чтобы всем было весело.

Столовую, где мы назначили вечер, мы решили украсить и ярко осветить. Живых цветов у нас пока нет, и мы сделали много искусственных цветов из шелковой ткани. Но шелка у нас тоже не было: де-Кастри — это не Москва и не Хабаровск, не пойдешь в магазин за шелком, и мы стали отпаривать рукава от шелковых платяев и кофточек. Красили материал в нужные цвета, а цветной обесцвечивали хлором. Плохо было с зеленой краской, но, к счастью, попались шикарные рукава зеленого шелкового платья жены старшего лейтенанта, из них получились прекрасные листья к цветам.

Столовую всю оплели хвойными гирляндами, для этого, конечно, понадобилась мужская сила, но командиры и бойцы всей душой были с нами и помогали чем нужно.

Составили богатое меню ужина. Были холодные закуски, рыбные заливные, окорока. Селедки разукрасили свеклой и морковкой, а во рты селедкам вставили елочки. Сделали пять тысяч пельменей. Наварили две бочки кваса (вина и пива у нас нет). Напекли торты, пирожное.

Накрыли столы широкими белоснежными простынями (прекрасно сошли за скатерти!), расставили графины с квасом и стаканы, перед каждым стулом разложили приборы — ножи, вилки. Во всех домах собрали самую красивую посуду. Чистота, блеск, нарядность. Пригласительные билеты,

красиво написанные на ватмане, подчеркивали праздничность и торжественность встречи.

Наконец, стали приходиться и съезжаться гости. К столовой подъезжала одна машина за другой. Приезжали командиры с женами. Пришли и лучшие бойцы, приглашенные на вечер. Гостей встречал духовой оркестр.

Можете себе представить, как волновались хозяйки! Но вечер вышел на славу. Гости были изумлены всем увиденным, да и мы сами поразились тому, чего достигли на месте, где еще недавно теснились в грязных землянках и не помышляли об удобствах, какие у нас сейчас есть.

Вечер превратился в какой-то своеобразный митинг.

Начальник гарнизона взял слово и растроганно говорил о прекрасных результатах общественного движения среди жен командиров.

— Чем вы, наши женщины, не Мари Демченки? — сказал начальник гарнизона, обращаясь к хозяйкам вечера. — Чем вы не стахановцы?

А начальник политотдела сказал:

— Теперь мы ничего не пожалеем для наших женщин! Всем поможем застрельщицам большого общественного движения женщин.

В двенадцать часов ночи наполнили бокалы квасом и стали кричать «ура».

После ужина начались танцы. Нас приглашали на танцы командиры и бойцы, свои и гости. Никогда так не было весело. Разошлись в шесть часов утра.

Женщины, соревновавшиеся с нами, убедились, что мы их значительно опередили. Они увидели, что нельзя ограничиваться только тем, чтобы шить бойцам воротнички.

После вечера двенадцать женщин получили премии. Мне подарили отрез шелка.

★

В декабре 1936 года я была делегирована от Особой Краснознаменной Дальневосточной Армии в Москву на Всесоюзное совещание жен командного и начальствующего состава РККА. О моей организаторской работе в де-

Кастри уже писали в газетах — дальневосточных и московских.

Совещание началось 20 декабря в Большом зале Кремлевского дворца. Обстановка совещания была изумительной, я бы сказала, феерической. Мы пришли в Кремль. Кремль! Сердце нашей родины, сердце мировой пролетарской революции! Мы скоро увидим своих дорогих и родных вождей, увидим Сталина...

Три тысячи делегатов и гостей. Лица светятся внутренней радостью. Многие пришли с цветами — кругом масса цветов. Атмосфера большого праздника.

Возбужденно поглядываем на часы. Скоро ли?..

В шесть часов десять минут в президиуме появились товарищ Сталин и товарищи Молотов, Ворошилов, Каганович, Орджоникидзе, Калинин, Андреев, Микоян, Ежов, Буденный, Блюхер, Димитров.

Восторженный гул. Овации. Крики «ура». Я себя не помнила от счастья...

Начали выбирать президиум. И вдруг произнесли мое имя:

— Хетагурова...

В президиуме со мной говорил Климент Ефремович Ворошилов. Он меня познакомил с товарищем Сталиным и покойным товарищем Серго Орджоникидзе. Товарищ Сталин меня запомнил. Когда он снимался с делегацией дальневосточниц, меня снова хотели с ним познакомиться. Товарищ Сталин улыбнулся и сказал:

— Знаю, знаю, — Валя Хетагурова из де-Кастри.

Вечером 22 декабря я выступала на совещании, рассказала о нашей работе. Я и не предполагала, что моя скромная инициатива и работа будет так отмечена. 26 декабря в газетах было напечатано постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР о награждении орденами жен командного и начальствующего состава РККА, и первой в списке награжденных значилась я. Правительство наградило меня орденом Трудового Красного Знамени.

После совещания я уехала в Ленинград, к маме. Приехала к своим с дочуркой, собиралась провести у них всю

зиму, но меня так потянуло обратно на Дальний Восток, такой родной и близкий, что я решила на крайность: оставила дочку у бабушки, а сама уехала в Хабаровск, чтобы оттуда добраться до бухты на самолете.

В Хабаровске пришлось прожить сравнительно долго, пока пришло разрешение вылететь военным самолетом (в это время года в де-Кастри пока можно попасть только воздушным путем). Чтобы лететь в де-Кастри, мне пришлось добиваться разрешения сесть в самолет вместо летчика-наблюдателя.

На меня надели электрокомбинезон¹, а затем стали советоваться: надеть сверху меховой комбинезон или нет? Решили все-таки надеть. В самолет я еле-еле влезла, ведь поверх всего привязали еще парашют.

Когда поднялись в воздух, летчик стал вставлять в штепсель вилку моего электрокомбинезона. И — о, ужас! — шнур оказался коротким, вилка не доставала до штепселя.

— Ничего, — успокоила я летчика, — летим дальше, мне не холодно.

Мне, действительно, не было холодно. Хорошо, что на меня напялили меховой костюм.

На аэродроме мне участливо советовали:

— Возьмите с собой лимон. Вас будет тошнить.

Ничего подобного! Чувствовала себя прекрасно. Над сопками образуются воздушные ямы. И вот летишь-летишь, все спокойно, потом самолет пролетает над сопкой, и вдруг — р-раз и ухнешь вниз, словно на качелях. Сердце замрет — тоже, как на качелях, и не успеешь притти в себя, как самолет уже плавно выровнялся.

Путь до нашей бухты занял четыре часа. Все бы хорошо, да вот беда — часа через полтора-два стало холодно.

Летчик кричит:

— Не мерзнете?

Я честно призналась:

— Холодно.

Тогда он взял мою руку, сунул к себе в карман и знаком показал, что сей-

¹ Обогревается при помощи электричества.

час будет тепло. Он сильнее включил ток в свой комбинезон, и вскоре я почувствовала, как мой электрокомбинезон стал согреваться. Стало тепло.

Когда мы опустились и я увальнем выползла из машины, летчик, улыбаясь, сказал мне:

— Ну, знаете, и пострадал же я из-за вас!

Оказывается, он дал такой сильный ток, что сжег себе ногу. Не могу без краски стыда вспоминать об этом...

По моей просьбе из штаба армии мужу послали телеграмму о том, что я вылетела в де-Кастри. Но где-то порвались провода, и телеграмма во-время домой не пришла. Самолет прибыл, а меня никто не встречает.

Товарищи военные дали мне машину, и я уехала в нашу часть. По дороге думаю: вот сюрприз мужу! Вхожу в дом, а там полно врачей. Георгий серьезно заболел — простудился, и что-то с сердцем случилось. Я сразу переоделась и из «летчика-наблюдателя» превратилась в «сестру-сиделку»...

До меня в де-Кастри приехали две наши женщины — тоже делегатки Всесоюзного совещания в Кремле. С их слов да из газет было известно о совещании. Тем не менее командование, узнав о моем приезде, попросило и меня рассказать о совещании, на котором прославились доселе неизвестное де-Кастри.

Вечер состоялся в нашем Доме Красной Армии. Пришло много бойцов, командиров, женщин. Я поделилась незабываемыми впечатлениями о совещании в Кремле.

Здесь же на вечере женщины брали на себя новые обязательства — кто что будет делать впредь.

★

В де-Кастри после совещания я была назначена заведующей столовой начальствующего состава. На этой работе я пробыла недолго, так как меня вызвали в Хабаровск встречать приезжавших из центральной части Союза девушек, которых у нас в крае стали называть хетагуровками.

История «хетагуровок» такова. Еще будучи в центре, я написала письмо к советским девушкам. Поделившись собственным опытом и рассказав о той благодарной работе, которая выпадает на счастливец, попавшего на Дальний Восток, я призывала девушек поехать в этот далекий, но богатый и чудесный край нашей родины.

Письмо мое 5 февраля 1937 года было напечатано в «Комсомольской правде» под заголовком: «Приезжайте к нам, на Дальний Восток».

«Девушки! — начиналось письмо. — Сестры-комсомолки! К вам от имени молодых дальневосточниц обращаю свой призыв.

Далеко на Востоке, в Приморской и Приамурской тайге, мы, женщины, вместе со своими мужьями и братьями перестраиваем замечательный край. Волей нашей родины, нашей партии, в глуши лесов, где еще недавно бродили одни лишь изюбри, медведи и тигры, создаются сейчас города и поселки, прокладываются дороги, возникают несокрушимые бетонные крепости — форпосты социализма на Тихом океане.

В этом краю, который презренные убийцы и шпионы из антисоветской троцкистской банды пытались продать японской военщине, в этом краю, на который точат зубы наши дальневосточные соседи, мы строим, творим во имя социализма новую жизнь.

Трудно писать о всей этой огромной, волнующей работе. Для этого надо быть поэтом и художником. Но радостно думать и знать, что нашими усилиями, нашими руками дикая и бесплодная в недавнем прошлом окраина передельвается в один из чудеснейших уголков нашей прекраснейшей страны. Миллионы мужественных людей воюют там, на востоке, с непроходимой тайгой. Они покоряют горы, леса и реки. Но у нас мало умелых рук. Каждый человек, каждый специалист на учете. И много еще нужно людей для того, чтобы покорить природу, для того, чтобы все богатства края освоить для социализма».

Далее я писала о роли женщин в этой огромной созидательной работе:

«... Нашим женщинам некогда скучать. Они работают рука об руку со своими мужьями.

... У нас в поселке нет женщины, которая не нашла бы себе применения в случае войны. Если потребуются — найдутся среди нас и медицинские сестры, и связистки, и радистки, и пулеметчицы...

... Мы живем за тысячи километров от нашей столицы, от Москвы. Но и в этом отдалении мы каждый день чувствуем огромную заботу, огромное внимание к нашей работе. Нас согревает сталинская забота о людях, и мы благодарны, бесконечно благодарны великому Сталину за то, что он дал нам, молодым людям Советской страны, возможность жить такой большой, полнокровной и яркой жизнью.

Здесь, в борьбе с природой, открываются самые лучшие качества людей. Здесь умеют по-настоящему помогать товарищу, дружить и в радостях, и в невзгодах. Трудности сближают. Поэтому мы все живем тесной, хорошей семьей.

... И вот, дорогие подруги, вместе со всеми дальневосточницами я зову вас приехать к нам. Я не зову вас на отречение от жизни. Ведь то, что вас ждет, хотя и трудно, но так увлекательно, интересно! Девушки на Дальнем Востоке приносят в суровую и часто огрубевшую жизнь то, что облагораживает, поднимает людей, вдохновляет их на новые героические дела.

Но запомните, на Дальний Восток мы зовем только смелых, решительных, не боящихся трудностей людей. Мы знаем, что нашими юношами и девушками владеет высокая зависть, зависть ко всему героическому, пусть трудному и тяжелому. Все, что трудно, но полезно для нашей родины, то почетно.

Нам нужны слесаря и токари, учительницы и чертежницы, машинистки и счетоводы, конторщицы и артистки. Все в равной степени. Нам нужны просто люди — смелые, решительные, самоотверженные. И вот мне хочется, чтобы вслед за нами, подругами боевых дальневосточных командиров, в наш край поехали тысячи отважных и смелых де-

вушек. Я призываю вас, дорогие подруги, сестры-комсомолки, девушки нашей страны, помочь нам в большом и трудном деле. Бросим клич — на Восток! Вас ждут там замечательная работа, замечательные люди, замечательное будущее. И разве не почетно то, что нам, друзья, придется в первых рядах защищать нашу великую мать-родину, как защищали ее дальневосточные большевики и партизаны в памятные 20-е годы. Мы надолго отобьем охоту у врагов зариться на наш советский социалистический Дальний Восток.

Мы ждем вас, подруги!

Думаю, что найдутся сотни и тысячи из вас, которые захотят приехать работать на Дальний Восток».

Я писала о сотнях и тысячах, а нашлись десятки тысяч девушек, пожелавших поехать на Дальний Восток. В Хабаровск пришло около семидесяти тысяч писем от девушек, желавших навсегда связать свою судьбу с нашим Дальним Востоком.

Письма шли в Хабаровск и в де-Кастри, они шли в адрес разных учреждений, в адрес газет, в мой личный адрес. Писали из Москвы и Ленинграда, с Украины и Ферганы — писали отовсюду.

Писем было так много, что в Хабаровске при краевом исполкоме была образована специальная комиссия. Вот эта-то комиссия и вызвала меня в Хабаровск.

Девушек встречали с большой торжественностью. В первой партии приехало четыреста человек. Как назло, шел проливной дождь. Но он не помешал встрече и не охладил радости приехавших и встречавших. Несмотря на дождь, на вокзале состоялся митинг, девушек горячо и искренно приветствовали представители краевых организаций и жены командиров. Приехавших забросали цветами. А дождь не унимался. Когда кончились приветствия, девушки пустились в пляс — наконец-то они на Дальнем Востоке!

Оркестр играет, дождь идет, девушки весело пляшут и песни поют, — какому художнику приснится сюжет такой картины?

Одна из девушек рассказала, что в Москве перед отъездом в Хабаровск целая компания «хетагуровок» зашла в редакцию «Комсомольской правды» и встретила там с одним французским журналистом. Француз в изумлении спрашивал у девушек:

— Скажите по-честному, зачем вы туда едете? Может быть, у вас дома неприятности? Может быть, вам плохо живется? Почему вы едете так далеко?

Буржуазный журналист никак не мог допустить, что молодые девушки едут на Дальний Восток, движимые исключительно патриотическими чувствами. Такой патриотизм буржуазии действительно неведом...

★

В Хабаровск меня вызвали 15 мая. Выехать еще нельзя было, так как на озере Кизи, сообщаемся с Амуром, стоял лед. 24 мая нам сообщили, что лед тронулся, а 25-го мы с мужем выехали. Доехали до озера — лед стоит. А надо проехать тридцать пять километров. Катер не ходит, ибо лед еще во многих местах стоит сплошным, и, когда пойдет катер, неизвестно.

Решили пуститься в плавание на гилецкой двухвесельной лодке. Местами лодка шла хорошо, местами мы отталкивались веслами о лед, местами тащили лодку на себе.

Путешествие по озеру отняло почти двое суток. Ночевали в рыбацком домике. А назавтра добрались до Амура. Там пароходы шли уже во-всю.

В Хабаровске я стала работать в комиссии по приему и устройству девушек, приезжающих на Дальний Восток. Комиссия ежедневно получала по двести-триста писем. Все письма надо было читать и на все ответить. А ответить не так-то просто—надо ведь было списаться или созвониться по телефону с тем или иным учреждением, с тем или иным городом и узнать, нужны ли люди таких-то специальностей и сколько нужно людей...

Многим мы вынуждены были отка-

зывать. Посудите сами: получили мы семьдесят тысяч писем, а устроили только двенадцать тысяч человек.

Краю нужны люди и, пожалуй, значительно больше, чем семьдесят тысяч, но принять сразу столько людей физически невозможно — нехватает жилья. Кроме того, пока не все профессии могут на Дальнем Востоке найти применение.

Почти все приезжавшие в Хабаровск девушки требовали, чтобы их послали обязательно в тайгу, обязательно далеко. Приходят в комиссию и говорят:

— Пошлите туда, где больше всего трудностей, где тайга, где мало людей.

Одну девушку — я запомнила ее имя: Катя Рыбалка (она украинка) — устроили работать в краевом исполкоме. Катя — машинистка, на груди — значок парашютиста. Узнав о назначении, она примчалась ко мне и, чуть ли не плача, говорит:

— Валя! Пойми меня! Я жила в городе, а вы меня оставляете опять в городе. Я не буду чувствовать себя на Дальнем Востоке. Пошлите меня в тайгу.

Мы ее направили в де-Кастри.

В комиссию стало приходиться все больше и больше писем. Целыми пачками. Это радовало. Приятно сознание, что в наш край стремится столько людей!

А на Дальнем Востоке ценится человек — все равно, специалист ли, или простой работник. До последнего времени людей к нам вербовали. Существовали специальные «вербовщики». Командируемые стройками или учреждениями в Москву, «вербовщики» старались завербовать как можно больше «голов». Они зарабатывали рублем по тридцать с «головы», вот и надо было им больше «голов» набрать. А что это за «голова», кто скрывается за ней, до этого большинству вербовщиков нет дела. И выходило так, что «вербовалось» на Дальний Восток немало всяческой дряни. Ведь и завербованному таким путем человеку поездка тоже была выгодна: он получал много денег—подъемные, суточные и еще какие-то. В Ком-

сомольске-на-Амуре, рассказывают, был один парень, который «вербовался» несколько раз—учуял, дьявол, выгоду! Получит от одной организации суточные и под'емные, придет, немного поработает и начнет жаловаться на зрение (у него что-то с глазами было):

— Теряю зрение!

Сердобольные хозяйственники отпускают проходимца на все четыре стороны, а он снова «вербует» в тот же Комсомольск, но уже другой организацией. И так несколько раз.

К нам в комиссию приезжали и приезжают люди, проверенные и отобранные комсомольскими организациями. К нам едут добровольно, и это во сто крат увеличивает ценность человека как работника и гражданина.

В основном едут молодые девушки — восемнадцатилетние, двадцатилетние. Но мы получали письма и от тридцати-тридцатипятилетних женщин; они резонно спрашивали: почему только молодежь зовете на Дальний Восток?

Я все время говорю о девушках потому, что к ним было обращено письмо, напечатанное «Комсомольской правдой». Но среди «хетагуровок» становится все больше... парней.

Письмом моим — мне писали об этом откровенно — остались недовольны ребята.

— Почему, — спрашивали они, — Хетагурова обратилась только к девушкам? Разве мы не такие же советские патриоты?

За первой партией девушек приехала вторая, за ней третья, четвертая...

Приезжают девушки самых различных специальностей, начиная от простых уборщиц и кончая инженерами. Едут машинистки, счетоводы, слесаря, электросварщики, техники, делопроизводители, врачи, — все они нужны, всех их ласково принимают в Хабаровске, в Комсомольске, во Владивостоке, на Камчатке и во многих-многих других местах.

Мы не могли отказать ребятам, особенно демобилизованным красноармейцам. В последнее время приехало много ребят.

Расскажу об одном смешном эпизоде.

В Сучан пришла телеграмма: едут хетагуровки, встречайте. И вот сучанские ребята купили цветов, надели праздничные костюмы и поехали встречать девушек. На самом же деле в Сучан ехала группа слесарей-ребят. Приходит поезд, открываются двери вагона... Дальше рассказывать не стоит, читатель сам может представить себе физиономии встречавших. Скоро громкий хохот разрядил конфузливое положение.

Летом я поехала в де-Кастри. Муж мой был тоже переведен в Хабаровск. Надо было уложить вещи, распрощаться с друзьями, милыми, родными местами.

В комиссии я работала до октября, когда меня перевели в политуправление Особой Краснознаменной Дальневосточной Армии. Я—инструктор политуправления по работе среди семей начальствующего состава. Работа живая, разносторонняя, интересная.

★

Общественные организации Комсомольска-на-Амуре выдвинули мою кандидатуру в депутаты Верховного Совета СССР. В Комсомольск только через нашу комиссию было направлено пятьсот девушек; многие приехали помимо комиссии. Обилие «хетагуровок» и сделало, видимо, мое имя известным избирателям юного города Комсомольска.

Я стала получать много телеграмм и писем — собрания выставляли и поддерживали мою кандидатуру.

Когда моя фамилия была зарегистрирована окружной избирательной комиссией, я поехала по округу. Округ огромный — от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре.

Приехала на собрание рабочих лесопильного завода ст. Хор (недалеко от Хабаровска). С трогательной речью выступил местный старожил. Он рассказал, что было раньше в тайге, как при советской власти сказочно изменилась жизнь на Дальнем Востоке. Затем старик подошел ко мне и говорит:

— Если б ты была моей дочкой, я тебя расцеловал бы.

И вот я в Комсомольске. Пять лет тому назад, когда я добиралась в де-Кастри, я проезжала мимо будущего города. Наш пароход, помню, остановился здесь у берега. Мы зашли на причту — захудалая избушка в селе Пермском. Нам говорили, что вот-де это место скоро станет неузнаваемым, здесь город заложен, большой индустриальный город.

Прошло пять лет. И нет уже далекого, заброшенного села, отступила тайга и бездорожье,—большевики построили город.

Идешь по Комсомольску, и тебя не покидает впечатление огромного созидательного труда. Много зданий еще в лесах, многое только начинают строить, много еще хаотичного, а город есть, и большой город новых советских людей.



Англо-Германская война

С. ФУЛЛЕР-РАЙТ

★

ОТ РЕДАКЦИИ

Советский читатель уже знаком с одним романом английского писателя Фаулера Райта — «Война 1938 г.»¹, где автор нарисовал картину будущего нападения фашистской Германии на Чехословакию. Печатаемый ниже в отрывках новый роман того же автора — «Четырехдневная война» — служит продолжением первой книги и посвящен описанию перипетий будущего англо-германского вооруженного столкновения.

Подобно очень многим буржуазным писателям, Ф. Райт представляет себе будущую империалистическую войну как грандиозное столкновение военно-воздушных сил обеих сторон. Исходя из пресловутой концепции внезапного нападения, Райт определяет длительность англо-германской войны — 4 дня!

Но наряду с этой нелепой идеей молниеносной «4-дневной войны» Райт отобразил в известной мере антифашистские настроения широких трудящихся масс Англии. В романе показано, что опасность фашистской агрессии нависла не только над малыми государствами капиталистического мира, но и над так называемыми великими державами, в первую очередь — над островной Англией; разбойничье нападение германских фашистских агрессоров на Чехословакию, изображенное Райтом в его первой книге, служит лишь прелюдией к нападению на Англию.

Началом «четырёхдневной войны» Германии с Англией автор романа избрал 5 февраля 1938 года. В феврале этого года трусливая политика компромисса с фашистскими агрессорами, осуществляемая некоторыми государствами Западной Европы, принесла в жертву фашистской Германии — Австрию. Этот факт, а также начало новых англо-германских и англо-итальянских переговоров значительно увеличивают ценность книги Райта в той части, где он пытается предостеречь своих соотечественников от рокового для них компромисса с германскими и итальянскими фашистами.

1

Была суббота, 5 февраля 1938 года. Часы показывали 4 часа 57 минут дня.

Минувшей ночью Германия ошеломила весь мир разрушением Праги и декларацией о том, что отныне о Чехословакии следует говорить лишь в прошедшем времени.

Шло заседание английского кабинета. За пятнадцать минут перед тем министр иностранных дел Гэнстон вошел в комнату, где заседал кабинет. Он при-

нес ультиматум от германского посла. Посол заявил, что Германия войны не хочет и не просит Англию принять ее сторону, если какой-нибудь блок иностранных держав нападет на Германию в результате акта агрессии, совершенного ею под покровом прошлой ночи и завершеного в течение дня. Германия ждет от Англии лишь немедленного заверения в том, что в подобном случае она сохранит нейтралитет. В качестве гарантий Германия требует, чтобы Гибралтарская крепость и контроль над Суэцким каналом были переданы ей.

¹ «Знамя», № 8, 1937 г.

Впрочем, она еще надеется избежать или преодолеть кризис. В награду она обещала, что Германия не потребует возвращения колоний, когда-то принадлежавших ей, а теперь находящихся под властью Англии.

Отказ от этого ультиматума, истощивший ответ на который ожидается не позднее пяти часов дня, послужит сигналом для немедленной войны.

Передавая ультиматум, барон Кронин подчеркнул, что самый факт ультиматума достаточно ясно свидетельствует о реальности предлагаемой им дружбы, ибо разве тем самым Германия не отказалась от преимущества внезапного нападения? Разве не было в ее власти завершить смертоносную работу еще до наступления утра? Во всяком случае мистер Гэнстон без труда мог убедиться, что если Англия заупрямится перед лицом своей судьбы, то достаточно будет и двух часов, чтобы боевой флот ее противника затмил лунный небосвод.

Что же касается требуемых гарантий, то барон Кронин выразил удивление по поводу выражений протеста и возмущения со стороны мистера Гэнстона, ибо разве не миновали уже те дни, когда естественны были чувства протеста и возмущения для империи, ныне разваливавшейся на куски? Чем была она теперь, кроме как воспоминанием о былом могуществе, ключом от пустого сундука, опекуном наследства, ускользнувшего в руки наследников?

Потратив некоторое время на споры и укоры, мистер Гэнстон понял, что получил окончательный ультиматум, и поспешил на заседание кабинета. При этом оставалось всего каких-нибудь четверть часа для того, чтобы принять решение, от которого, в конечном счете, зависели миллионы человеческих жизней, рожденных и нерожденных, решалась судьба Англии, а может быть, и всей империи...

Последние десять минут английский премьер-министр, мистер Мармадюк Бюдли, сидел молча; голоса споривших людей доносились до него, подобно шуму далекого прибоя. Он понимал, что ему не удастся достигнуть единства в кабинете, которым он руководил почти

только номинально... В конце-концов решать должен он, а он слишком чужден, чтобы пытаться переложить ответственность на ту или другую из спорящих сторон.

Именно его слова должны продлить мир или в ближайшие часы обрушить ужасы войны на безмятежный город и дальше, на всю страну...

Сожалеть теперь было слишком поздно.

Сквозь шум голосов до него донесся бой часов. Чей-то голос сказал:

— Они на три минуты спешат. Время еще есть.

Так оно и было. Оставалось еще три минуты.

Мистер Бюдли поднялся:

— Я сам повидеюсь с Кронином, я полагаю, он меня дождется. Я буду действовать сообразно тому, что узнаю сам, но я не дам Германии того, что она требует. Даже если мы станем объектом нападения, которое, как я полагаю, заставит весь мир осознать опасность всеобщей гибели.

Он оглядел смущенных и возмущенных министров, которые с трудом сохраняли спокойствие и самообладание перед лицом обрушившейся на них чудовищной угрозы.

— Джентльмены, всеми доступными средствами я буду добиваться мира, но, как вы слышали, нам угрожают немедленной войной, и дорога каждая секунда. Нет смысла дольше оставаться здесь... Но прошу вас ничего не предпринимать, пока я не сообщу вам о дальнейшем.

Проходя мимо министра иностранных дел, он взглянул на него и почувствовал, что по крайней мере этот не поддавался замешательству. Он спросил:

— Вы информируете Францию?

— Я дам знать, когда пробьет пять. Об этом я уже распорядился.

В это время раздался раздраженный и нетерпеливый голос министра транспорта, мистера Денвера:

— Я не понимаю, что это значит. Мы ничего не можем предпринять! Но ведь сразу же начнется паника.

Услышав эти слова, мистер Бюдли обернулся и ответил:

— Ведь сегодня суббота, жители Лондона раз'едутся из города с обычной своей быстротой. Никого сюда не впускайте — одно это может спасти тысячи жизней. Паника! Неужели вы такого плохого мнения о ваших соотечественниках? Неужели вы не были готовы к этому часу? — Он отвел глаза от мистера Денвера и продолжал: — Неплохо было бы прекратить передачу всех радиопрограмм и предупредить всех слушателей, чтобы не выключали приемников и ждали информацию важнейшего национального значения... Никого это не удивит после того, что случилось в Центральной Европе сегодня.

Выйдя в соседнюю комнату, он приказал секретарю:

— Сообщите барону Кронину, что через четыре минуты я буду у него. Скажите, что я прошу его не принимать никаких окончательных решений до моего прихода.

В автомобиле он вытащил записную книжку, странички которой были переложены копировальными листками. Он привык записывать сюда всякие распоряжения, копии которых оставлял себе же для справок.

«Воевать мы вовсе не намерены. Всякое нападение на нас будет актом неспровоцированной агрессии».

2

Барон Кронин был маленький, худенький, лысый, холодно учтивый и весьма скупой на слова человек. Ко времени прихода Гитлера к власти он был на дипломатической службе и отнесся к новой власти без малейшего протеста и уже во всяком случае всячески избегал того, чтобы выражать какие бы то ни было мнения, а поскольку он продолжал оставаться на заграничной службе, постольку его не задели периодические меры, которыми «фюрер» запугивал своих противников и избавлялся от неопределенных или потенциально опасных друзей.

Пожалуй, эти отрицательные преимущества и создали барону Кронину репутацию человека осмотрительного и во всех прочих отношениях достойного того поста, который он занимал.

При появлении мистера Бюдли барон встал и пошел ему навстречу с протянутой рукой.

— Вы пришли, — спросил он, — для того, чтобы мы обсудили детали нашего соглашения?

— Я пришел с чувством дружбы и для того, чтобы добиться соглашения, если оно возможно. Я пришел сказать вам, что даже после того, что произошло в Праге, вы можете рассчитывать на наше влияние в министерствах Европы для того, чтобы попытаться найти путь к общему миру.

— Должен ли я понять вас так, что вы отвергаете наше предложение, время которому и в самом деле уже истекло?

— В том виде, в каком оно дошло до меня, оно звучит почти невероятно; с таким предложением ни одно правительство не могло обратиться к дружественной державе, если заранее не решилось спровоцировать войну. А между тем я позволяю себе сказать, — не желая этим никого оскорбить, — что такая война была бы глупостью. В такой час Германии следует искать друзей и помощи тех, кто желает мира.

Барон Кронин не дал прямого ответа, и впервые за все время его дипломатической карьеры голос его звучал менее учтиво, чем обычно, ибо он понял, что учтивость уже не нужна.

— Мы решили, — сказал он, — что наша раса должна занять подобающее ей место в мире, и война будет продолжаться ровно столько, сколько потребуется для достижения этой цели. А требуется для этого, я полагаю, немного.

— Вы добиваетесь такой войны, которая потрясет мир и в которой, вероятнее всего, погибнет ваша собственная страна.

— Мы предлагаем мир, который ваша нация так ценит. Пожалуй, слишком ценит. Мы предлагаем безопасность под сенью германской дружбы. Мы даже не требуем, чтобы вы обнажали меч. став на нашу сторону.

Мистер Бюдли ответил грубо:

— Мы будем в такой же безопасности, как овца на бойне.

Говоря это, он протянул барону Кро-нину приготовленный им листок с надписью.

Барон прочел записку. Какой имело смысл писать это? — думал он. Он знал поговорку, что перо сильнее меча, и был с этим согласен, когда меч лежал в ножнах. Но только так. Ему стало ясно, что дальнейшие разговоры беспредельны. Он уронил листок на стол, сделав при этом такое движение, будто бросил его в пылающий камин.

— Что ж, — сказал он, — если вас это может утешить!.. Вы разрешите мне получить мои бумаги, с тем, чтобы я мог оставить вашу страну в ближайшие часы?

— Сегодня уже поздно, а завтра утром, надеюсь...

— Я предпочел бы отбыть несколько раньше.

Мистер Бюдли ответил с иронией:

— Тот, кто совершает неспровоцированное нападение... Мы должны надеяться, что на такой короткий срок наши воздушные силы, все-таки, смогут вас защитить.

С этими словами мистер Бюдли повернулся и решительными шагами вышел.

Он знал, что дал единственно возможный ответ на наглый ультиматум, которым его страну хотели превратить в вассала германской державы. Он размышлял: уже однажды Германия допустила ошибку, не оценив в достаточной мере сил своих противников. Неужели же она допустит эту ошибку еще раз?

3

Мосье Бонье размышлял над положением Франции и приходил к неутешительным выводам. Он размышлял над своим собственным положением и приходил к выводам тоже неутешительным.

Свой пост он занимал уже семь месяцев, что для французского кабинета было очень долгим сроком. С одной стороны ему грозила аграрная партия, с другой — роялисты, которые стали называться так с тех пор, как фашизм перестал привлекать сторонников. Беспорядки в Сирии и Алжире не прекращались, а тут еще начался этот кризис в Европе, который, казалось, предоставлял одинаково плохой выбор между катастрофической войной и германским господством в Центральной Европе. Характер этого господства был нестерпим для чести его страны и для ее будущей безопасности. Выбор последнего означал бы немедленное падение его кабинета.

Сопротивляться ли? Ответить на такой вопрос положительно сама Франция не могла. Что скажет Англия?

В кабинет вошел секретарь.

— У провода ждет сэр Чарлз Доффилд. Он говорит, что дело чрезвычайной важности и хочет говорить только с вами.

Мосье Бонье сказал:

— Немедленно соедините меня с ним.

От английского посла он узнал об ультиматуме, полученном его правительством. В первое мгновение его словно охватил столбняк. Но тут же он услышал, что Германия не получит требуемых ею гарантий. Затем наступило очень естественное человеческое чувство облегчения, когда он понял, что первый шквал германского нападения будет направлен не на границы Франции, и именно Англия будет воевать с тем, кто был врагом его страны. Еще одна мысль промелькнула у него — немецкий и английский воздушные флоты первыми встретятся во взаимной истребительной схватке, между тем как флот Франции останется нетронутым до более позднего часа.

Он собрался с мыслями и ответил:

— Можете передать вашему правительству, что Франция не замедлит действовать, ибо ясно, что час настал. Но это такой вопрос, который, как вы сами понимаете, должен быть поставлен и перед моими коллегами. Через полчаса я дам вам официальный ответ.

Сэр Чарлз Доффилд именно такого ответа и ожидал и поэтому не стал задерживать мосье Бонье. Он знал, что Франция с неохотой пойдет на войну, вспыхнувшую в самое неудобное для

нее время; ее армии были посланы за моря, а с ними сотни лучших боевых самолетов. Впрочем, он не сомневался, что Франция поймет положение: либо война обратится против нее, либо она должна будет пасть ниц перед сапогом фюрера. Если Германия просила Англию оставаться в стороне, то только для того, чтобы иметь невозбранную возможность растоптать Францию. Если же Англия, отказавшаяся от такого унижительного нейтралитета, подверглась бы ночному нападению, то Франция была обязана без малейшего промедления нанести удар с тем, чтобы либо оказать помощь союзнику, который еще сможет пригодиться для ее собственной защиты, либо же разить врага в то время, когда подавляющая часть его воздушных сил будет находиться вне пределов Германии.

В знак дружбы Франции мосье Бонье поделился с англичанином новейшими сведениями, полученными им. Нейтралитет Голландии уже погран с ее собственным, если так можно выразиться, согласия; но ей не оставалось ничего другого, как подчиниться.

Около часа назад Германия уведомила правительство Голландии о том, что она намерена перебросить свой воздушный флот через территорию Голландии, при чем Германия сама определила численность этого флота в четыре тысячи самолетов. Они не сбросят ни одной бомбы и не повредят голландских городов, если им предоставят беспрепятственный путь. Всякое сопротивление поведет к тому, что судьба, постигшая Чехословакию вчера, постигнет сегодня Голландию... Что оставалось ей другого, как не подчиниться?

Последние сведения, — сообщал мосье Бонье, — гласят, что эти воздушные силы пересекли голландское побережье в строю, фронт которого тянется на пять-шесть километров. Направление позволяет предполагать, что они летят к северу от устья Темзы.

4

45 минут дня. Надо было не терять ни минуты, чтобы поспеть к поезду, отходящему на Бромзгрэув в 5 часов 15 минут. Он должен поспеть, хотя бы разверзлись небеса, вернее, хотя бы с неба свалились немцы. Вещь возможная, но, вообще говоря, маловероятная.

День прошел в волнующих событиях. Проснувшись, Юстэс сразу вспомнил, что предстояло ему вечером. И этого было достаточно, чтобы полностью занять его мысли. Но вскоре пришли вести о разрушении Праги; об ужасах этого события не переставали говорить все вокруг. Было совершенно очевидно, что на Европу легла тень войны. Вопрос заключался лишь в том: станет ли Франция воевать, или же она заявит протест, а потом сдастся, как это было тогда, когда Австрия была брошена в объятия «Третьей империи»? Если же Франция использует эту ситуацию как повод к войне, то сможет ли Англия остаться в стороне? Мнения расходились. Одни говорили, что Англии глупо вмешиваться в проблемы Центральной Европы. Англия за последние двадцать лет молилась за мир, и если она его сохранит, то кто ее в этом посмеет винить? Чем больше поступало достоверных сведений и чем больше догадок строили люди о мощности германских вооружений, тайных и явных, тем очевиднее становилось, что мудрость повелевает Англии укрыться от бури. К тому же за последние четыре года Германия не раз давала понять, что только к этому она и стремится. Пускай же звери в клетке передерутся, если не могут поладить! Англии достаточно взирать на них. Быть может, в конечном счете, когда они прольют столько крови, сколько сами захотят, она сумеет привести их в чувство!

Другим все представлялось более простым; многие из них вовсе не были против войны, которая — а в этом они почти не сомневались — принесет им богатство... Рассказывали случай с фабрикантом, который во время прошлой войны оклеил стены своей столовой фунтовыми ассигнациями, демонстрируя этим, какое огромное богатство внезапно

свалилось на него... Нашелся чистильщик сапог, вспомнивший, что в течение почти двух лет он зарабатывал по шести фунтов в неделю за такой простой труд, как увязывание сена для воинских поставок.

Юстэс прислушивался к этим разговорам, но мысли его были заняты главным образом личными делами. Около полудня пришла телеграмма из военного министерства: «Приступите к производству противогазов до полной мощности тчк сообщите вечерней почтой максимальную производственную мощность тчк подтвердите получение тчк письмом следует».

Что ж, мир или война, но для него наступал период финансовой обеспеченности, наступало процветание, которого он так ждал и в котором двадцать четыре часа назад он еще так сомневался.

Он немедленно выполнил требование: приостановил исполнение всех прочих заказов, перевел все станки на производство противогазов, а фабрику — на круглосуточную работу; военному министерству сообщил максимальную цифру производительности; у биржи труда затребовал добавочную рабочую силу для ночной смены. Он предусмотрел все до последней мелочи, чтобы к понедельнику фабрика была пущена полным ходом... Но сегодня он должен поспеть на бромзгроувский поезд, хотя бы разверзлись небеса.

Всего только три месяца назад Юстэса Эшфилда, студента третьего курса в Оксфорде, внезапно оторвала от занятий смерть дяди, после чего ему уже не пришлось возвратиться в университет.

При жизни дядя оказывал ему материальную поддержку и, умирая, оставил в наследство все свое имущество. Беседы с адвокатами и бухгалтерами убедили Юстэса в том, что если фабрику закрыть, то пропадет вложенный капитал и исчезнет источник постоянного дохода. Дело можно было сравнить с лошадью, худой и слабой, на которой еще кое-как можно ездить, если же прикончить ее, то не много мяса удастся соскрести с ее древнего скелета.

Он стоял перед выбором — ликви-

ровать фабрику и выручку положить в карман либо занять дядино место; он выбрал более рискованный путь, в разумности которого, впрочем, можно было сомневаться, так как под его темпераментным, но неопытным руководством оборот фабрики показывал тенденцию к снижению, расходы — к повышению.

Среди прочих сомнительных приобретений фабрики оказался патент на усовершенствованную конструкцию противогАЗа, зарегистрированную еще более двух лет назад. По этому поводу с военным министерством велась долгая переписка. Министерство колебалось, критиковало, проводило испытания, требовало изменений конструкции, но противогАЗа не приобрело.

Теперь казалось, что богатство свалилось вместе с бомбами, разрушившими Прагу. Юстэс Эшфилд не был равнодушен к чужим страданиям и не забывал о том, какая тень легла на весь мир, но это не помешало ему с легким сердцем захлопнуть свое бюро и сбегать по узкой винтовой лестнице на улицу.

Прошло уже два месяца с тех пор, как накануне рождества он увидел ее впервые. (Разумеется, он еще раньше слышал о ней и видел ее фотографии в газетах.) Мысль об Аймоген Листер нарушила его сон и не покидала его в рабочие часы. Но познакомиться с нею, при отсутствии общих друзей, да еще в такое время, когда новых друзей она не искала и отправилась погостить к тетке в Бромзгроув именно для того, чтобы избежать созданной вокруг нее шумихи, оказалось делом трудным даже для настойчивого влюбленного. И только на прошлой неделе ему это удалось. Воспользовавшись с похвальной легкостью представившейся возможностью, он как бы вскользь заговорил о предстоящей постановке пьесы «Конец странствия», которую ставил местный драматический кружок любителей. Когда же она сказала, что ей ни разу не пришлось видеть эту, когда-то популярную, пьесу, он с готовностью сообщил, что запасся двумя билетами на спектакль и один из них может предоставить ей.

Итак, дело было решено.

Впервые он узнал об Аймоген Листер шесть месяцев назад. Это одно из имен, о которых в один прекрасный день начинает говорить весь мир, а затем так же легко забывает. Свою известность она завоевала гораздо менее приятным путем, чем можно вообразить. Аймоген Листер совершила одиозный беспосадочный перелет из Тасмании через Антарктику на Фальклендские острова.

5

Поезд, в котором ехал Юстэс Эшфилд, был наполнен преуспевающими бирмингемскими деловыми людьми, которые проживали в загородных местностях и могли позволить себе покидать свои конторы сравнительно рано. Окружавшие его люди почти все были знакомы между собою. В предчувствии надвигающейся страшной минуты они были охвачены возбуждением. Когда поезд уже тронулся, в купе неожиданно вскочил молодой человек, оказавшийся биржевым маклером.

— К утру будет война! — заявил он, не переводя дыхания. Он стоял у двери, так как все места уже были заняты. В ответ раздались голоса других пассажиров:

— Многие это говорят.

— Что ж, это неплохо, если только у нас хватит умения не влезать в это дело.

— Да, это неизбежно должно было случиться, и, чем скорее дело кончится, тем лучше.

— Надо полагать, между Францией и Германией...

— Об этом негрудно догадаться.

— Какие были последние известия?

Отдышавшись, биржевой маклер ответил на последний вопрос:

— Известий еще никаких нет, но они прекратили всякие радиопередачи, велели всем не выключать приемников и ждать чего-то нового. Я бы не пропустил эту передачу, но обещал быть дома пораньше.

Кто-то скептически отнесся к информации биржевого маклера:

— Я не вижу в этом ничего особенного, в эти часы никаких особых радио-

передач не бывает. Пожалуй, никто и слушать не станет.

— Я бы этого не сказал, — послышался голос из угла, где сидел уравновешенный пожилой человек с усталым, изможденным лицом, — насколько я помню, сейчас время детской радиопередачи.

С этим согласились все. Если будет мало взрослых слушателей, то все же множество детей приготовятся слушать обычную программу. И вот они-то и услышат необычные слова. Что они услышат? Нечто такое, что они всегда будут помнить, как начало великих событий. Они будут помнить о внезапном ужасе, всколыхнувшем безопасность миллионов домашних очагов... Если только дети останутся в живых.

Человек в углу давно уже переступил призывной возраст, но дома у него были дети, у него был сын, который может быть призван; у него был брат, числившийся в запасе военного флота, которого, несомненно, призовут.

Юстэс Эшфилд слушал, сам не высказывая никакого мнения. Он был слишком молод, чтобы быть обремененным воспоминаниями о прошлой войне.

Разумеется, если противогаз окажется не хуже, чем предполагал его дядя, то он может потребоваться в количествах, намного превосходящих производственную мощность его фабрики, и т. д., и т. д. Но, конечно, все это было только делом конъюнктуры. Может быть, война и не вспыхнет, или же война будет, но Англия останется в стороне. Практически же дело обстояло так, что ему дали неограниченный заказ на поставку противогазов, и по цене, назначенной им самим. Фактом было и то, что сегодня вечером ему предстояло провести время с Аймоген Листер. Вот почему он не сознавал беды, нависшей над миром, хотя кругом носились слухи о наступающей войне и хотя в морозном воздухе поднимался дым от пражского пожара.

Поезд подошел к станции Барнт Грин, где сходил около половины пассажиров, пересаживавшихся на боковую ветку. Станционная платформа была запружена толпой людей, высадивших-

ся из встречного поезда. Им сказали, что отправляться в дальнейший путь позволено будет лишь тому, кто сможет доказать неотложность своей поездки в Лондон. Немногие пожелали продолжать путь на Лондон, с изумлением поняв смысл этого распоряжения. Двери встречного поезда, запертые было после того, как все пассажиры сошли, снова открылись, чтобы принять их обратно; расписание было отменено, и поезд был отправлен безостановочно обратно в Реддич, согласно переданному по радио приказу о том, чтобы все населенные пункты были в эту ночь эвакуированы, с использованием для этого всех транспортных средств. Прислушавшись к вавилонскому смешению языков на станционной платформе, Юстэс достаточно ясно понял, что война, которой так боялись и в которую почти не верили, война, казавшаяся ужасным и невероятным сном, свалилась на страну.

— Вы говорите, Германия объявила войну?

— Должно быть, вы ошиблись.

— Да, но так заявили по радио.

— Но зачем ей это? Я вам говорю, что это сумасшествие! Мы ничего ей не сделали.

— Разве, что она совершенно обезумела...

— Ну, на этом она далеко не уедет.

— Послушайте, я не могу этому поверить.

— Но ведь до завтра весь мир успеет ввязаться.

— Ну что ж, ее уже давно ждали.

— Но ведь есть и другие страны, в которых это скорее могло случиться.

— Они говорят, чтобы мы отдали Суэцкий канал, иначе они нападут на нас в ближайшие же полчаса.

Поезд тронулся, и шум голосов стал отдаляться. Оставшиеся в купе пассажиры, в том числе биржевой маклер, смогли предаться обсуждению свершившегося факта, о котором раньше они едва помышляли. Их тотчас же охватила мысль о себе самих и о своих близких. Они все еще не переставали думать о войне, как о деле более или менее далекого будущего, и никак не

могли смириться с мыслью, что война уже стучалась в их двери.

6

На станции Бромзгроув Юстэс сошел с поезда, и сразу же мысль о войне с Германией покинула его, так как он увидел, всего в нескольких шагах от себя, Аймоген Листер, сходящую с того же поезда.

В самом деле, ведь она говорила ему, что будет сегодня в городе! Какую непроходимую глупость он допустил! Но ему некогда было предаваться угрызениям совести, так как она обернулась и увидела его. Она тоже производила впечатление человека, забывшего о войне.

— Надеюсь, вы не откажетесь пройти пешком, тут так близко.

Он охотно согласился на прогулку, это устраивало его как нельзя лучше. Они протиснулись сквозь возбужденную торопливую толпу, шум которой внезапно пререзал истерический женский крик:

— Говорю вам, я должна быть там! Там остались мои дети!

Затем послышался увещающий голос начальника станции и снова крик женщины.

— Но мне-то что! Они насмерть испугаются, услышав ночью какой-то шум...

Юстэс и Аймоген быстро шагали по дороге, освещенной редкими фонарями и всходящей луной, дорога искрилась от только-что выпавшего снежка. Они больше чувствовали присутствие друг друга, чем беду, начавшую потрясать мир. Но все же и они не могли избежать этой темы.

— Я едва поспел к поезду, — начал Юстэс, желая подвести спутницу к разговору о грядущем процветании его дела.

— Да, я вас видела, вы прошли мимо моего вагона как-раз после свистка.

— Я вас не видел, иначе...

— Все равно у нас в вагоне было битком набито.

— Мне было не легко выбраться, я получил сегодня большой заказ от во-

енного министерства на новые противогазы, которые мы запатентовали два года назад, но министерство только теперь приняло решение... Они велели выпускать их как можно больше.

Аймоген не поддержала его, как он надеялся, и не похоже было, чтобы она догадывалась о скрытом смысле его слов.

— Я не уверена, что противогазы пригодятся. Капитан Маллинз сказал, что они не защищают от некоторых наиболее смертоносных веществ.

— Надо полагать, капитан Маллинз служит в авиации?

— Нет, иначе он бы так не говорил. Он утверждает, что немцам как следует зададут. Он служит в танковых частях. Он считает, что война будет только в воздухе, и, когда один из флотов будет разгромлен, война кончится. Победившая же сторона будет сыпать бомбами до тех пор, пока побежденная не будет лежать перед ней распластавшись и не скажет, что с нее довольно.

— Не думаю, — ответил Юстэс, — чтобы дело обошлось так просто.

Его не столько интересовал военно-теоретический вопрос, сколько тот факт, что слова Аймоген звучали, как пересказ чьего-то мнения. Очевидно, мнение капитана Маллинза весьма ценилось. Юстэс чувствовал, что если бы утверждение, что земля кругла, приписывали капитану-танкисту, то он, Юстэс, стал бы опровергать это с враждебным скептицизмом. Но нельзя все-таки позволить бессмысленной ревности заставить его говорить глупости! Нельзя, наконец, даром терять время.

— Да, — ответил он, — похоже на то. — Но, помолчав, прибавил, что все это не может произойти так просто, особенно с большой страной. Во всяком случае — с великой державой. Во всяком случае — с Англией.

Не так уж все просто. Даже гипотеза, что земля кругла. Говорят ведь, что на полюсах она сплющена.

7

— Я вернусь через пять минут, — сказала Аймоген. — Клара, проводите

мистера Эшфилда в его комнату. Когда будете готовы, мистер Эшфилд, спуститесь, пожалуйста, в гостиную.

Юстэс вошел в гостиную, комната была пуста. В углу стояло радио. Юстэс расслышал заключительную фразу радиопередачи:

«... к которому мы отнесемся спокойно и мужественно, в твердой уверенности, что право восторжествует».

По окончании передачи этого краткого воззвания премьер-министра наступила минутная пауза, и послышался другой, резкий голос:

«Вниманию всех радиослушателей! Приказ об эвакуации восточных угольных районов распространяется на северную и центральную территории от Ньюкэстля и Карлейля на севере до Нортхэмптона и Ковентри на юге. Операция должна быть проведена в указанных районах с крайней быстротой, а через пятнадцать минут должна быть начата эвакуация Ланкашира и всех районов на запад от Пеннинской горной цепи».

Последовала новая короткая пауза, во время которой в комнату вошла Аймоген. Ее глаза сверкали от возбуждения.

— Мы массу пропустили, пока были в поезде. Началась война с Германией, и говорят, что они уже летят на нас, они...

Она умолкла при звуке нового голоса, раздавшегося из рупора. На сей раз говорил один из обычных дикторов, своим приятным голосом желавший как бы подбодрить слушателей:

«Говорит Британская радиовещательная корпорация. Передаем последние известия. Использовать их рекомендуем всей прессе и всем радиослушателям. Крупный германский воздушный флот, который, по предположениям, состоит из трех-четырёх тысяч истребительных и бомбардировочных самолетов, нарушил голландский нейтралитет и, перелетев над Голландией, направляется на запад через Северное море, имея своим очевидным назначением промышленные районы на севере и в центре нашей страны. Это неспровоцированное нападение, которое можно сравнить с нашествием на Бельгию двадцать четы-

ре года назад, последовало за требованием германского правительства о том, чтобы Англия сдала ему Гибралтар и контроль над Суэцким каналом в качестве гарантий английского нейтралитета на случай европейской войны, как следствия оккупации Чехословакии, совершенной сегодня утром. Это требование последовало менее двух часов назад. Совершенно очевидно, что приготовления к нападению были сделаны заранее, в предвидении нашего отказа.

Принимаются надлежащие военные и прочие меры, необходимые в условиях чрезвычайной угрозы. Мы обращаемся ко всем сознательным и патриотически настроенным гражданам с настоятельной просьбой следовать указаниям местных властей об эвакуации районов городских поселений, насколько это позволяют транспортные возможности. В особенности следует избегать зажигания огней, что может повлечь опасность и для тех, кто зажигает, и для других людей. Воздушное ночное нападение, какие бы средства при этом ни были применены, не сможет явиться серьезной угрозой для гражданского населения, если последнее будет достаточно рассредоточено».

— Я хотела познакомить вас с моим шурином, капитаном Маллинзом, — сказала Аймоген, когда радио снова умолкло, — но ему пришлось отбыть. По радио передали призыв ко всем офицерам, находящимся в отпуску, чтобы они немедленно вернулись в свои части. Надо полагать, — добавила она, улыбаясь, — теперь он выяснит, прав ли он был насчет танков.

— Я и не знал, что у вас есть сестра, — сказал Юстэс. (Да и откуда ему было знать? Об Аймоген он знал только то, что сообщалось в прессе.) Его ободрила мысль о том, что никакого соперника не оказалось, но это радостное чувство снова померкло, когда она мрачно ответила:

— Теперь ее нет. Этель умерла два года назад. — С этими словами она подошла к окну и задернула тяжелые портьеры.

— Сквозь них никакой свет не проникнет... Надо полагать, спектакль те-

перь не состоится. А может быть, они и будут играть? Я пошла бы посмотреть... Во всяком случае от чая нам отказываться незначем.

Юстэсу казалось, что она искусственно сохраняла обыденный спокойный тон, как и полагается англичанам в таких случаях. Но он думал и о тех трех-четыре тысячи самолетов, которые уже в ближайшие часы могли очутиться над головой, роняя свой смертоносный груз. Не легко было забыть и о том, что случилось минувшей ночью в Праге.

Если спектакль будет отложен, в чем можно было почти не сомневаться, то у Юстэса почти не было оснований оставаться здесь. В такое время не особенно приятно иметь в доме незнакомца. Может быть, сказать, что он собирается уходить? Или же лучше воспользоваться случаем и предложить свою помощь, в которой, несомненно, могли нуждаться эти женщины?

— Не могу ли я чем-нибудь помочь?..

— Помочь? — удивленно переспросила она. — Проверьте, чтобы снаружи не было видно огня. Но я полагаю, что Клара справится с этим лучше, в темноте она, по крайней мере, ни обо что не споткнется. Не думаю, чтобы вы могли оказать более существенную помощь.

Он убедился, что она решила вести себя так, как подобает англичанам при подобных обстоятельствах.

Снова заговорило радио:

«Внимание! всех радиослушателей! Всем летчикам и летчицам, имеющим пилотское свидетельство серии «А», надлежит немедленно явиться на ближайший аэродром и предоставить себя в распоряжение командования военно-воздушного флота для выполнения любых заданий. Надлежит немедленно связаться с ближайшим аэродромом по телефону, как только будут получены дальнейшие инструкции».

Она тихо рассмеялась, услышав этот неожиданный призыв.

— Что ж, этот призыв попал по назначению. Выходит, что чай мы так и не сможем выпить.

Он услышал, как она назвала номер телефона ближайшего аэродрома, с ко-

торым ее соединили без малейшего промедления. Она дважды назвала свое имя, а затем, после паузы, с горячностью воскликнула:

— Боже мой, конечно, нет! Я не буду знать, что делать. Никогда в жизни не видела. — Снова последовала пауза, затем: — О, да, это я могу, думаю, что смогу. — Снова пауза. — Да, я прибуду, в этом можете не сомневаться... — Повесив трубку, она сказала: — Это заняло меньше времени, чем я думала. В общем, чай все-таки будет выпит. — И пошла в столовую.

Здесь он познакомился с ее теткой.

— Они спросили меня, — пояснила Аймоген, — умею ли я обращаться с пулеметами. Я сказала им, что никогда не пробовала. Тогда они спросили, смогу ли я управлять бипланом одной старой модели. Я ответила, что вероятно смогу.

В это время раздался резкий телефонный звонок.

8

— Говорят из бромзгроувского полицейского участка. Советуем вам эвакуировать ваш дом в ближайшие десять минут, а если можно, то и быстрее. Все огни просим вас оставить зажженными.

— Зажженными? Вы хотите сказать, выключенными?

— Нет, зажженными. Вы находитесь в местности, которая подлежит маскировке, чтобы отвлечь нападающие силы. Следует включить абсолютно все огни в доме.

— А куда нам отправляться?

— У вас, кажется, есть машина, не так ли?

— Да.

— А смогут ли поместиться в ней все обитатели вашего дома?

— Да, смогут.

— Тогда лучше всего провести ночь в машине. Но не загорайте дорогу. Выберите в открытую местность и сверните в поле. Это самое разумное, что можно сделать. А теперь не теряйте времени...

Голос внезапно оборвался. Видно было, что ему предстояло еще много раз

повторять эти советы. Аймоген передала свой разговор тетке и Юстэсу.

Затем они услышали голос из радиорупора:

— «...южная эскадра которого приблизилась к Норфолькскому побережью, идя на большой высоте и перестроившись в воздухе так, чтобы над сушей сосредоточиться узким фронтом. Эскадра столкнулась с восточно-английским патрульным воздушным флотом, усиленным южной и мидлэндской эскадрами; сейчас происходит ожесточенное сражение».

Наступила пауза, затем снова раздался голос диктора:

— «Поступило сообщение о нападении германской подводной лодки на военно-морские суда, стоявшие на рейде в Ферт оф Форт, в результате которого слегка поврежден дредноут «Битти» и потоплено шведское фрахтовое судно «Тронгейм», в которое, вероятно, случайно попала торпеда, выпущенная по другой цели. По имеющимся сведениям, эта подводная лодка вошла в порт, по видимому, еще до объявления войны, но удалось сетями блокировать ей путь к отступлению, и убежать она не сможет».

9

В двухстах метрах от ворот горел какой-то дом, освещавший путь перед ними. Они направили машину в сторону пожарища. Нельзя было понять, был ли пожар следствием несчастного случая, или умысла. Если же так, то маскировка местности была проведена талантливо.

Выйдя из полосы дыма, стлавшегося от горевшего дома, они направили машину по боковой дороге, которая была совершенно пустынна, ибо они получили приказ об эвакуации одни из последних.

Они лишь смутно представляли себе, каков был в целом план маскировки местности, но все же видели, что район освещен не сплошь, а отдельными очагами. Избегая того, чтобы оказаться на одной из главных дорог, они вехали на узкую проселочную дорогу, извивающуюся между холмами. Внезапно они

убедились, что небо над ними стало совсем черно: они очутились под покровом широкой дымовой завесы.

Они слышали над головами шум авиационных моторов, но бесцельно было гадать, были то враги или друзья. Сверху не доносились ни взрывы бомб, ни какие-либо иные звуки, хотя ночь была наполнена глухими отдаленными раскатами грома, говорившими о том ужасе, какой совершался на востоке, во тьме.

10

Они подехали к недавно проложенной проселочной дороге, где уже не было дымовой завесы над головой. Они уменьшили скорость, так как очутились в потоке автомобилей, направлявшемся в одну сторону и залившем дорогу во всю ширину. В это время самолеты, шум которых они перед тем слышали, стали, наконец, видны. Их было семь штук, образовавших в полете фигуру законечника стрелы. Затем еще семь. И наконец третья семерка. Они летели с востока, не слишком низко, но достаточно низко, чтобы почти прозрачные тучи, плывшие по залитому лунным светом небосклону, оставались над самолетами.

— Это германские самолеты, — сказала Аймоген. — Что они намерены делать?

— А вы уверены, что это германские?

— Это не английские. В этом я уверена. Я знаю все марки машин.

В эту минуту самолеты оказались почти прямо над их головами. Неподалеку раздался взрыв бомбы. Уже через мгновение вокруг них сверкали вспышки пламени и раздавался страшный грохот. Бомбы падали со всех сторон. Служанка Клара истерически визжала.

Еще через несколько секунд этот ужас кончился. Быстро летя, германская эскадрилья ушла дальше, рассыпая непрерывным градом свои бомбы на прикрытую дымовой завесой местность.

Крики и вопли слышались впереди них на дороге. Падение бомбы привело там к трагическому результату: автомо-

биль, по которому ударила первая бомба, оказался погребенным под десятком других машин, налетевших на него, прежде чем удалось остановить поток автомобилей, двигавшихся с выключенными фарами. Аймоген взялась за ручку дверцы.

— Надо пойти туда, оказать помощь.

— Оставайтесь на месте! — вскричал Юстэс. — Неужели вы не понимаете, что может произойти дальше?! Я хочу выбраться обратно, если только смогу.

Аймоген не оценила значения этого «если», так как с той стороны, где сидела она, не видно было, что из радиатора их машины осколком бомбы вырвало целый кусок.

Впереди дорога была безнадежно блокирована потоком автомобилей. На проселочной дороге, где стояли они и где едва могли уместиться в ряд две машины, уже тоже становилось тесно. С каждой минутой все увеличивалась угроза того, что им будет отрезан и путь к отступлению. Все попытки Юстэса повернуть машину обратно, чтобы проникнуть на уединенную непроезжую дорогу, которую он заметил по пути сюда, окончились ничем. Сзади стеною стояли десятки и десятки все прибывавших автомобилей, оглашавших воздух чудовищным концертом сигнальных рожков.

Оставив тетку и горничную в машине, Юстэс и Аймоген пешком отправились на ближайший аэродром, куда Аймоген было приказано явиться.

Придорожные фонари были выключены, но ночь была не темная. Последние тучи уплыли за горизонт, и луна заливала местность ровным, мертвенным светом. Холод становился все сильнее. Они проходили мимо темных домов, в которых еще могли быть люди, а быть может, уже не было никого. Во всяком случае, спящих людей в этих домах быть не могло.

На расстоянии километра путь освещало пламя горевшей сосенки, от которой сыпались снопы искр. Время от времени все еще слышались взрывы бомб и виднелись необыкновенные зарницы. Несколько дальше они слышали над головами треск пулеметной стрельбы.

На мгновение пулемет перестал строчить, затем, несколько дальше, его треск возобновился. Где-то, вне пределов видимости, совершалась драматическая погоня и бегство.

На востоке небо было темное и лишь изредка озарялось беспорядочными вспышками. Бирмингем, против обыкновения, не излучал огромного столба света, и стало ясно, что нападающим германским силам не удалось разыскать этот город, погруженный во мрак.

Подойдя к воротам аэродрома, они были остановлены резким голосом начальника патруля, охранявшего вход. Офицер сразу переменял тон, когда увидел перед собою человека, одетого в авиационный костюм, и когда этот человек назвал свое имя, которое офицеру было хорошо известно.

— О, мисс Листер? — спросил он. — Вы явились до срока, но не слишком рано. Вам сразу придется взяться за дело. — Он повел ее за собою, лишь мельком посмотрев на Юстэса, притом таким взглядом, который говорил, что в этот час ни одна его мысль не может принадлежать земным существам. Все это произошло так быстро, что на прощание она не успела сказать ни слова, и на минуту Юстэс нерешительно застыл перед воротами, доступ в которые ему был закрыт.

В тени возле ограды он увидел неясные очертания не то большой собаки, не то брошенного наземь мешка. Один из часовых, проследив взгляд Юстэса, не мог удержаться от того, чтобы не поделиться с Юстэсом событием, свершившимся всего десять минут назад.

— Застрелил его наш капитан, — проронил он, — застрелил его, как собаку. Собакою он и был.

Он пояснил, что человек, лежавший на земле, эта куча, переставшая шевелиться, проживал в маленьком домике близ ворот аэродрома и уже раньше был заподозрен в шпионаже. Подозревали также, что он немец, но дальше подозрений дело не шло, улики не было. Все же сегодня ночью бдительный часовой поймал его, когда он перебирался через забор с целью, о которой теперь можно лишь догадываться, а за-

тем револьвер капитана Джибсона положил делу конец..

Некоторое время Юстэс продолжал стоять на покрытой изморозью дороге, не зная, что дальше предпринять, опустошенный событиями минувшего дня. Утром он проснулся с единой мыслью о вечернем свидании. Кто бы мог подумать, что день закончится так странно, так внезапно, так страшно?.. Он услышал рев поднимавшегося в воздух самолета. Один за другим двадцать два больших биплана, ночных бомбардировщика, поднялись с темных полей аэродрома. Вслед за ними взлетел небольшой разведывательный самолет, более быстроходный. Он кружил вокруг бипланов, пока они не выстроились в два ряда, а затем метнулся вперед, чтобы разведать темный путь, по которому им предстояло лететь. Юстэс не сомневался, что одною из этих медлительных, неповоротливых и устарелых машин управляла девушка, которую он любит. Он знал, что если она столкнется с германскими самолетами, то машина окажется слишком неуклюжей и для боя, и для бегства.

Вернется ли она, будет ли она еще жива, когда наступит утро? Он живо представил себе, как эта эскадрилья будет окружена флотилией более скоростных, смертоносных и многочисленных врагов. Эскадрилья очутится под градом рвущихся снарядов, под дождем пулеметов... Он ясно видел, как Аймоген падает со своим самолетом, об'ятый пламенем. Он видел ее мертвой, или еще живой, но изуродованной, раненым пленником в чужой, ныне ненавистной стране... А всего несколько часов назад радовался тому, что надвигающаяся война сулила ему богатство! «Боже милостивый! Боже, поими меня и прости!..». Какую же низкую роль предстояло играть ему! Изготавливать противогазы в то время, как другие люди умирают! Противогазы — ради прибыли, когда другие люди умирают!

Утром он услышал передававшееся западной радиостанцией сообщение:

«Настоящий бюллетень издан министерством авиации в 10 час. 17 мин. утра.

Эскадрилья в составе двадцати двух ночных бомбардировщиков под командованием Ч. А. Уидерза была отправлена вчера в 10 час. 28 мин. вечера с аэродрома в Нортфилде с заданием уничтожить военно-морские склады и казармы в Куксгафене и суда в порту.

Операция проведена успешно. Куксгафен подвергнут усиленной бомбардировке зажигательными бомбами и охвачен пожаром. Повидимому, судам на рейде тоже причинен значительный ущерб. К сожалению, на обратном пути, проходя над Северным морем, эскадрилья встретилась с германскими воздушными силами, значительно превосходившими ее по численности, и была уничтожена после оказанного ею мужественного сопротивления, в результате которого нанесен значительный ущерб флоту противника. Точных сведений о результатах боя еще не поступало».

11

Можно не сомневаться, что Германия желала обеспечить нейтралитет Британской империи и рассчитывала, что Англия примет выставленные Германией требования.

Несомненно, германское высшее командование стремилось избежать повторения ошибки 1914 года, и соображения как военной, так и политической стратегии предопределяли желательность обеспечения английского нейтралитета на то время, пока Германия будет завоевывать континентальную Европу. Более того, весьма вероятно, что немцы постарались бы заключить с Англией активный союз, если бы не такое неблагоприятное развитие событий. Союз этот не осуществился не из-за враждебности англичан германскому народу, — чего на самом деле не было, — а из-за политики сознательной агрессии, грубого язычества и тиранических и кровавых методов внутреннего управления германского правительства, что глубоко враждебно английским понятиям социальной и частной жизни.

Германская стратегия осуществленно-го ею ныне воздушного нападения име-

ла под собою определенное основание. Германский маневр принудил импровизированный военный совет Англии ожидать в первые часы ночного нападения на Лондон, каковое не произошло, и с наименьшим напряжением ожидать донесений о том, что французские воздушные силы двинуты на помощь англичанам.

Во второй половине дня немцы сформировали воздушный флот в составе 1 200 истребителей и 3 000 ночных бомбардировщиков новейшего типа. Этот флот поднялся в воздух с наступлением февральских сумерок, пересек в едином строю Голландию и, летя уже над морем, разделился на две части. Меньшая эскадра полетела к северу для нападения на промышленные и портовые районы близ реки Тайн, между тем как главные силы проследовали к Норфолькскому побережью.

Известно было, что эта часть побережья, которую английские военные авторитеты считали наиболее уязвимой и для нападения с воздуха, и для десанта вражеской армии, была крепко защищена зенитной артиллерией. Поэтому командующий германской эскадрой получил приказ приблизиться растянутым в глубину фронтом к месту назначения и подвергнуть его интенсивной бомбардировке с тем, чтобы подавить в заданной полосе все очаги противовоздушной обороны, обеспечив этим беспрепятственный путь для эскадры, когда она будет возвращаться, уже освобожденная от своего смертоносного груза.

Эскадра находилась уже на расстоянии около 30 километров от Норфолькского побережья, когда английский крейсер «Кампасп» открыл по ней огонь.

«Кампасп» принадлежал к новейшему типу бронированных крейсеров и предназначался именно для противовоздушной обороны. Его палубы были покрыты тяжелой броней; вертикальный угол обстрела его орудий позволял бить по воздушным силам противника почти на 90°.

Корабль крейсировал с потушенными огнями и обнаружил свое присутствие

лишь тогда, когда из всех его орудий вырвались столбы пламени и первый залп ударил по германской эскадре. Никогда в прошлом и, вероятно, никогда в будущем орудиям английского корабля не представится такая мишень, какая была у крейсера «Кампасп». Подобно тому, как охотник из дробового ружья стреляет по огромной, летящей над головой стае, батареи «Кампаспа» послали ввысь весь свой заряд шрапнели. И семнадцать германских самолетов низверглись, объяты пламенем, в холодную морскую пучину.

12

Германский флот проследовал дальше к своей конечной цели, которая заключалась, во-первых, в том, чтобы уничтожить любые воздушные силы, какие преградят ей путь, а затем, чтобы приступить к бомбардировке промышленных районов центра страны.

Германское командование рассчитывало, что к этому времени значительная часть английского воздушного флота будет сосредоточена для защиты Лондона, а тем самым будут ослаблены силы, посланные навстречу германской эскадре. Но германское командование не рассчитывало, что такое положение затянется надолго. Оно думало, что, как только в Лондоне станет известно о бомбардировке германскими воздушными силами центральных районов страны при одновременном отсутствии признаков непосредственной угрозы для Лондона, расположенные там английские воздушные силы будут отправлены к северу, на поиски вражеского флота. Вот почему на левом фланге германской эскадры было поставлено 700 истребителей как для защиты самой эскадры, так и для отвлечения английских воздушных сил из Лондонского района. Германской эскадре было приказано не продвигаться в южном направлении, ибо германская стратегия стремилась к оголению Лондона от флота обороны, с тем, чтобы суметь еще до наступления утра основательно разрушить Лондон силами авиации, следовавшими за первой германской эскадрой.

13

Нападение на центральные районы Англии отвлекло оборонительные флоты из Лондонского района, как того и ожидало германское командование, и тогда вторая германская воздушная эскадра двинулась на Лондон. Все же два обстоятельства не совсем понравились германским стратегам. Нападение на центральные районы Англии дало лишь сугубо частичный успех, при чем огромное количество взрывчатых веществ было сброшено на болота и пустынные поля, а потери в самолетах и в личном составе германской эскадры во время ночной операции оказались гораздо более тяжелыми, чем предполагалось.

Это было результатом стратегии и тактики английской обороны, которая была подготовлена людьми, пошедшими на риск, недоступный для английских политических деятелей, — возможность столкновения с численно превосходящими силами противника.

Характер местности центральных районов, в частности отсутствие реки с заметными очертаниями, создал исключительно трудные условия для действия авиации на большой высоте, ибо не оказалось необходимых ориентиров, которые позволили бы вражеской авиации действовать с требуемой точностью.

Германский флот, гораздо лучше оборудованный точными приборами, но летевший с большей скоростью и на большей высоте, был дезориентирован и дезорганизован тщательно продуманной системой маскировки и разрозненных участков затемнения. Такой простой прием, как создание дымовой завесы над площадью в десять квадратных километров, наряду с оставлением в отдельных местностях полного освещения, привел к тому, что основная масса взрывчатых веществ была сброшена над эвакуированными участками, при чем возникший от зажигательных бомб лесной пожар убедил командование нападающего флота в том, будто он причинил существенный ущерб.

Разумеется, население было эвакуировано из районов, предназначенных для привлечения неприятельского флота. Со-

бытия этой ночи показали, что при любых условиях бомбардировка фугасными бомбами с большой высоты не представляет серьезной угрозы для гражданского, достаточно рассредоточенного населения, будь то при ночном или дневном нападении.

Жертвы были, но, как бы печально это ни было для близких им людей, число их было ничтожно по сравнению с количеством и мощностью взрывчатых веществ, сброшенных в ту ночь. Эффективность бомбардировочного самолета, как оружия, при использовании зажигательных и фугасных бомб заключалась не только в угрозе человеческим жизням, — ибо достаточно было своевременно расстрелоточить гражданское население, чтобы создать для него условия безопасности, — сколько в угрозе уничтожения недвижимого имущества. Военные заводы, железнодорожные узлы, склады военного снаряжения, нефтяные резервуары, избегшие опасности при ночном нападении, становились крайне уязвимыми с наступлением утра.

Помимо того обстоятельства, что разрушения, произведенные ночью в центральных районах, не соответствовали огромному расходу военного снаряжения, ночные операции показали, что в ближнем воздушном бою потери в материальной части и личном составе чрезвычайно высоки...

В этом смысле схватка, имевшая место над восточными территориями Англии, превзошла всякие ожидания. В этом сражении численно меньший английский флот маневрировал так, чтобы сохранять все время необходимую дистанцию и отступать при наступлении немцев; при этом англичане старались всячески избежать окружения, которое позволило бы противнику провести уничтожающую атаку. Английский флот старался нанести максимальный ущерб плотным фалангам противника, отступая затем в таком направлении, чтобы отвлекать германский флот от поставленных перед ним целей. Вся операция была быстрой и короткой, как это и должно быть в воздухе, но относительно она все же затянулась.

В боях над Темзой, происшедших несколько часов спустя, участвовало около 200 — 300 английских самолетов, подкрепленных многочисленными зенитными батареями, полусотней новых, еще неиспытанных самолетов, управляемых по радио, и орудиями кораблей, стоявших на рейде в устье Темзы. Этим силам был дан приказ сопротивляться до крайних пределов, хотя в конце-концов они были подавлены жестокой атакой немцев и английские самолеты, объятые пламенем, стали падать на крыши города, который они не смогли защитить. Все же они нанесли противнику такой ущерб, не говоря уже о потерях, понесенных немцами от английской зенитной артиллерии, которую гораздо труднее было подавить, чем воздушные силы обороны, что, когда немецкие ночные бомбардировщики вернулись к своим базам для пополнения запаса смертоносного груза, германское высшее командование с удивлением убедилось, как дорого досталась эта победа. Командованию пришлось заняться расчетом возможных дальнейших потерь. Даже при условии выполнения такой задачи, как уничтожение городов, вставала реальная угроза истощения материальных ресурсов Германии, прежде чем она добьется главной цели. Но Лондон был уничтожен, — если верить донесению командования вернувшейся эскадры. Это должно было внушить миру, кто его подлинный хозяин... Если же в мире еще оставались кое-какие упрямыцы, то оставались и другие формы нападения, еще неиспробованные. Прямой обязанностью Германии было пустить эти средства в ход, ибо ничто не могло заставить Германию свернуть с избранного ею пути.

Занималась заря, навстречу которой поднималось красное свирепое пламя, преследовавшее уходящий ночной мрак. И в самом деле — этой ночью Лондон горел. Вдоль набережных Темзы, расширяясь к северу и к югу вместе с расходящимися вширь улицами города, пылало такое пожарище, какого мир еще, пожалуй, не видел никогда. Гигантский столб дыма высылал в неподвижном воздухе и медленно распро-

странялся на юг, покрывая Саррейские горы и кентские поля такой широкой и густой завесой, какую не могла бы придумать самая изобретательная мысль.

Город горел. Усеянные десятками зажигательных бомб, его верфи и склады, битком набитые воспламеняющимися товарами, горели так, что никакие силы не могли бы затушить пожарище. В радиусе двух километров от места пожара стояла нестерпимая жара, приблизиться туда не смел никто.

Далее, на западе, горели лишь отдельные дома. Вокруг них героически действовали люди, пытаясь ликвидировать пожар.

Когда пришло утро, собор св. Панкратия представлял обгоревшие развалины, засыпанные серым пеплом. Все же на Юстонском вокзале еще сохранились годная для посадок платформа и железнодорожная линия, по которой медленно отходил поезд, в то время как пожарные ожесточенно сражались с огнем, охватившим путевые склады.

Война, это высшее испытание, выявила все, что есть героического, и все, что есть подлого в человеке. Были люди, которые заботились только о спасении собственной жизни и награбленной ими добычи; другие покидали на произвол судьбы слабых и умирающих раненых, хотя бы то были даже самые близкие им люди. Но были и такие, которые погибали, стараясь спасти больных из-под обломков рухнувших стен больницы...

Примерно в это время по радио было передано следующее сообщение:

«Вниманию всех слушателей! Британское правительство, которое перенесло свою резиденцию из Лондона в более безопасное место, обращается к собственному народу и ко всему миру с декларацией о том, что наша страна подверглась внезапному и неспровоцированному нападению, повлекшему за собой потери жизней и имущества, еще не поддающиеся учету.

Британское правительство исполнено непреклонной решимости сопротивляться до самого конца за свободу британ-

ского народа и за будущий мир во всем мире.

Объявляя об этом своем решении, ваше правительство уверено, что оно говорит от имени всех людей британской крови, находящихся как здесь, так и за морями. Попытки подорвать нашу мощь и ослабить сопротивление враждебной пропагандой несомненно будут иметь место, и ваш король и ваше правительство вполне уверены, что в подобных случаях вражеские агенты получат по заслугам.

С момента опубликования этой декларации в Англии объявляется осадное положение. Всем гражданам надлежит подчиняться любым приказам и реквизициям военных и морских властей.

Все граждане призывного возраста, а также все прочие граждане, независимо от возраста и пола, которые носят нарукавный знак белого полотняного креста, с опубликованием настоящей декларации считаются включенными в состав вооруженных сил короны и тем самым на них возлагаются права и обязанности, предусмотренные обычаями современной войны.

Всем офицерам сухопутных, морских и воздушных военных сил его величества, которые в силу трудностей и масштабов настоящей войны не сумеют установить непосредственный контакт со своими начальниками, надлежит действовать в соответствии с общими приказами и причинять по собственному усмотрению максимально возможный ущерб нападшему на нас врагу.

Частная собственность на предметы потребления, а также на военное снаряжение полностью отменяется. Всем патриотическим гражданам надлежит производить и сохранять эти товары в возможно большем количестве, а также пускать их в ход или отдавать их, как этого потребует общее благо. Все патриотические граждане должны считать себя единой семьей, сопротивляющейся нападению общего врага».

Затем прокламация была повторена медленно и в несколько сокращенном виде с просьбой ко всем типографам Англии опубликовать ее в виде листовок и афиш.

Зимняя заря еще была затянута дымкой, когда Юстэс Эшфилд в целости и сохранности доставил м-сс Раунтри к ее неповрежденному дому и отправился на фабрику, куда призывал его долг. Там он услышал прокламацию английского правительства.

Из газеты «Бирмингем пост», которая, кстати сказать, сохранила полную невозмутимость, не только не увеличив размеров заголовочных шрифтов, но и не проявив никаких других признаков журналистской истерики по поводу событий последней ночи, он уже знал, что Лондон в значительной мере уничтожен и что спасение еще нетронутых частей города от заливавшего его моря пламени едва ли возможно. Прочие газеты тоже старались своим внешним видом демонстрировать непоколебимость и уравновешенность, свойственные английскому характеру.

Движимый тем же чувством упорства и хладнокровия, Юстэс Эшфилд распорядился пустить в ход все станки и приступить к изготовлению противогазов новой конструкции.

Все же в «Бирмингем пост», между прочими сообщениями, скромно затесались две строчки:

«В 11 часов 15 минут вечера по нью-йоркскому времени правительство Соединенных Штатов издало приказ о всеобщей мобилизации».

Почти сразу же вслед за общей прокламацией английского правительства по радио был опубликован бюллетень, сообщавший об уничтожении эскадрильи бомбардировочных самолетов, в составе которой летала Аймоген. Для Юстэса Эшфилда эта новость означала, что почти никакой надежды нет.

Отупелый, он снова принялся за работу, но почувствовал, что для него война кончилась.

Следующее извещение, поразившее сердца прочих слушателей, он уже слушал, едва понимая его смысл.

Речь шла об одной механизированной наземной военной части, полностью оборудованной новейшими техническими средствами обороны, включая моторизи-

ванную зенитную группу в пять скорострельных пушек и двенадцать новых противосамолетных винтовок типа Ли-Энфилд с 425-сантиметровыми стволами, обладавших дальностью боя на 7.000 метров. Под командованием майора Эйткена эта часть получила приказ двинуться в южном направлении к Данстэйблу; в пути их настиг новый приказ — двигаться на север, затем последовал приказ двинуться на защиту Лондона. Часть майора Эйткена провела ночь, подобно кошке, гонящейся за своим хвостом, ни разу не увидя германских воздушных сил и лишь издали слыша грохот взрывов.

Наконец, когда майор Эйткен вполне убедился, что не успеет попасть в Лондон во-время, чтобы перехватить возвращавшиеся германские самолеты, он услышал общий приказ, предоставлявший всем противовоздушным вооруженным силам право по своему усмотрению действовать прогив врага, причиняя ему максимальный ущерб.

Получив, таким образом, свободу действий, майор Эйткен решил, что, продвинувшись до рассвета на восток, он, вероятно, сумеет перехватить какую-нибудь часть возвращающихся германских воздушных сил, а может быть, и германские самолеты, повторно прилетевшие со смертоносным грузом. Далее он правильно рассудил, что для своего полета они изберут маршрут, где им меньше всего угрожает наличие непредвиденных противовоздушных средств обороны, и поэтому майор Эйткен резко свернул на восток, рассчитывая укрыться в болотистом районе еще до наступления утра. Едва стало светать, когда майор Эйткен достиг небольшого холма. На вершине его стояла группа прямых сосен, достаточная для прикрытия его части, в то же время лесок был не настолько густой, чтобы ограничить видимость.

Как только были расставлены орудия и майор распорядился о тщательном наблюдении, раздался гул моторов огромного флота, приближавшегося с запада. Эскадра шла фронтом, развернутым километром на пятнадцать. Это была флотилия ночных бомбардировщи-

ков, минувшей ночью сеявшая разрушение над центральными районами страны. Сама флотилия пострадала мало, так как в основном потери понесли первые отряды нападающего флота и эскадрильи, защищавшие фланги. Ныне она возвращалась, предшествуемая несколькими сотнями истребителей и имея еще по несколько сотен истребителей на флангах. Их бомбодержатели были пусты, в бензиновых баках оставались последние литры горючего. Они летели быстро, на изрядной высоте, но не настолько высоко, как того требовало бы благоразумие. Они полагали, что территория, над которой они пролетали, совершенно лишена средств обороны, и потому стремились главным образом как можно скорее вернуться на базы, чтобы возобновить свой запас бомб и горючего.

Майор Эйткен наблюдал их приближение. Приказав людям стать по местам, он велел им не открывать огня до его сигнального выстрела.

Люди молча ждали, пока пролетел мимо авангард истребителей, они подождали еще, пока все небо над ними с запада и до востока не потемнело, словно по нему летела бесчисленная стая дичи.

Хотя крейсер «Кампасп», погружаясь в холодную могилу зимнего моря, не мог пожаловаться, что имел плохую мишень, все же стрельба шла тогда с качающейся палубы, по далеким теням в ночном небе. Стрелки батареи майора Эйткена спокойно лежали на маленьких платформах своих пушек, наблюдали свою добычу при благоприятном освещении и — промаха не было.

Их внезапные смертоносные залпы врезались в строгий порядок самолетов, откуда стали падать подбитые машины. Падая, гигантские бомбардировщики казались подстреленными хищными птицами. Ни один из них не упал на перелесок, где скрывалась батарея майора Эйткена, зато поля вокруг холма были усеяны обломками горевших самолетов. Правильный строй летевшей флотилии был сломан, задние ряды, несшиеся со скоростью пятисот километров, налетали на передние. Лишенные своего

смертоносного груза, они были бессильны отвечать зенитчикам. Только быстрота могла их спасти, но лишь спустя две минуты после начала действия зенитной батареи германской флотилии удалось вырваться из семикилометровой полосы обстрела. К этому времени батарея выпустила около пятисот шрапнельных снарядов по сгрудившимся в полете самолетам врага, и около шестидесяти бомбардировщиков валялись разбитыми на площади в двадцать квадратных километров.

Приказав своим людям наскоро подкрепиться, майор Эйткен стал раздумывать о дальнейших шагах. Нетрудно было понять, что после нападения на германскую флотилию его позиция уже перестала быть безопасной. Он хладнокровно взвесил, какие потери он может понести, если над ним снова пролетит германская эскадра, но уже насыщенная смертоносным грузом.

После этого он двинулся к своей исходной базе, рассчитав, что, хотя его амуниция еще не израсходована, все же не мешает пополнить запас, употребленный с такой пользой. В случае повторного германского нападения он сумеет причинить им гораздо больший ущерб, применив соответствующую военную хитрость, чем оставаясь на открытой местности.

Это был очень храбрый человек, но он понимал, что успешно вести войну значит убивать, а не быть убитым. К сожалению, не все храбрецы это понимают.

Поэтому майор Эйткен постарался убраться поскорее. Вглядываясь в небо, не столько в поисках новой добычи, сколько опасаясь погони новых вражеских сил, майор Эйткен только раз увидел на очень большой высоте одинокий разведывательный самолет, пронесшийся с такой скоростью, что его люди не успели выпустить по самолету ни одного заряда.

Майора Эйткена это тем более огорчило, что, подехав к деревне, над которой пролетел неприятельский разведчик, майор Эйткен убедился, что тот сбросил листовки на английском языке, главшие следующие:

«Английский народ! Взгляните на факты трезво и примите мир, который еще может вам принадлежать. Если же будете предаваться иллюзиям, то примите смерть!

Подчинитесь — и живите, сопротивляйтесь — и тогда ваш конец неизбежен».

Прочтя листовку, майор Эйткен подумал, что ее авторы обнаруживают слабое знакомство с характером англичан. По существу, листовка была признаком преждевременной похвальбы. «Моей батарее, — подумал майор, — тоже принадлежало кое-какое слово в решении спора».

— Дела, — сказал он, — а не слова помогут выиграть эту войну. Соберите все листовки, — приказал майор, — и сожгите их. Все это глупая ложь. Тот, кто в себе уверен, не станет так поспешно хвалиться.

Он остановил колонну там, где валялось особенно много листовок. Зенитчиков тотчас же окружила толпа поселян, не столько заинтересовавшихся содержанием листовок, сколько необычным видом орудий, которыми командовал майор Эйткен. Его солдаты соскочили со своих платформ и смешались с гражданским населением. Собирая листовки, они попутно рассказывали о том, сколько германских самолетов они подстрелили. Рассказы солдат послужили хорошим ответом на германские угрозы, хотя некоторая часть поселян думала, что солдаты хвастливо привирают, и слушала их, словно любителей охотничьих рассказов.

15

Заря двигалась дальше, пересекая Ирландское море. Она проникла в одну из комнат в городе Дублине, обширную и высокую комнату, где глава Ирландского государства сидел в кресле после проведенной страшной ночи и где, хотя уже наступил свет, никому не пришлось в голову выключить огни люстры.

Доктор Баумер, германский посол, который, так же не раздеваясь, провел эту ночь, как и президент Ирландии, пришел по собственной инициативе, что-

бы услышать поздравления по поводу успехов германского оружия и подать совет главе этого освобожденного государства, чего, несомненно, требовала создавшаяся ситуация. Президент был напуган. Он чувствовал себя слабоумным стариком из басни, который, моля судьбу о ниспослании ему смерти, внезапно убедился, что возле него стоит его худший враг, уже занесший над его головой топор, готовясь исполнить его мольбу.

Сперва он намеревался молча выслушать доктора Баумера. Он услышал, что наконец-то с них будет снято пятивековое ярмо угнетения и что впредь Ирландия будет в безопасности пребывать под сенью германской державы. За это наивысшее проявление свободы предстояло заплатить, как и следовало ожидать.

Ирландия должна в кратчайший срок покончить с господствовавшей в ней религией, недостойной северной расы, к которой Германия великодушно соглашалась отнестись народ Южной Ирландии. Надо полагать, президент захочет предпринять этот очистительный процесс немедленно, так, чтобы было очевидно, что Ирландия действует по собственной воле в первые же мгновения пришествия свободы, а не под давлением Германии, как это придется сделать в противном случае.

Германский посол также требовал, чтобы ирландская армия оказала помощь в захвате морских баз, находившихся еще в руках Англии, и в завоевании Северной Ирландии, если та будет сопротивляться германской оккупации. Посол предложил, чтобы по всей Южной Ирландии были организованы вербовочные пункты, где люди смогут быть зачислены в состав германской армии. При этом те, кто вступит в ряды армии первыми, удостоятся привилегий по сравнению с теми, кого придется насильно вербовать спустя несколько дней.

Для того, чтобы помочь президенту в эту трудную минуту, — любезно сообщил посол, — он уже заготовил приказ, который президенту остается лишь подписать. Говоря это, он вытащил из

кармана заготовленные им документы и заранее благодарил президента за подпись:

— Мы оценили преданность, проявленную вами, — сказал он в заключение, — на протяжении всех тех лет, пока мы еще не могли оказать желательную вам помощь. В настоящее время мы не намерены что-либо предпринимать не от вашего имени, пока вы сохраните лояльность к нам, в чем мы, впрочем, не сомневаемся.

Президент был на-редкость лишен подвижности ума. Его настроение можно было уподобить чувству боксера, привязавшего ноги к полу ринга. Он не может нагнуться ни назад, ни вперед, ни в сторону. Но он может нанести свирепый удар всякому, кто подвернется под руку.

Но каким бы тупым и неповоротливым ни был президент, его раздражала самоуверенность человека, стоявшего перед ним и обращавшегося к нему с вкрадчивыми словами, означавшими, что Южной Ирландии предлагалось сбросить британское господство ради того, чтобы превратиться в лакея германской державы.

Южная Ирландия исповедывала католическую религию. Она не сочувствовала грубому язычеству, зловещему и наивному, которое Германия являла миру, частью удивленному, частью равнодушно. Трудно было допустить, чтобы Южная Ирландия переменяла свою веру по велению Германии. Она не сочувствовала германской «культуре», она не была родственна Германии по крови.

Доктор Баумер сформулировал предложения, которые ему было приказано сделать, но президент не спешил с ответом. С возраставшим мужеством он вспомнил о всеобщей мобилизации, прошлой ночью поднявшей на ноги Соединенные Штаты, о чем ему сообщили час назад. Пока — он мог лишь догадаться обо всем значении этого факта, но все же он знал, что огромная часть американских граждан происходит из Ирландии и что их политическое влияние еще более велико, чем можно было предполагать, судя по их численности.

Если Соединенные Штаты и наблю-

дали борьбу со стороны, обнажив при этом свой меч, то вполне возможно, что угроза Дублину заставит Америку ринуться в бой. Возможно и то, что она откликнется на призыв, увидев сорвавшуюся с цепи бешеную собаку, начавшую свой безумный бег по земному шару. Так или иначе, было очевидно, что Германии туго придется в той схватке, в которую она хотела вовлечь весь мир. Оставались еще сотни городов, над которыми нависла еще большая угроза, чем над Дублином.

Увидев, в какой молчаливости пребывает президент, доктор Баумер сделал для себя выводы, в основном верные. Он решил нажать еще немного, но сделал это учтиво и улыбаясь.

— Так как мы не знаем, какое сопротивление может последовать со стороны Шотландии и поскольку может возникнуть необходимость высадить воздушный или морской десант германских войск, я полагаю, что вам следует назначить офицера в соответствующем чине, имя которого я могу назвать вам в течение ближайшего же часа, который взял бы на себя общее руководство операциями. Вы должны согласиться, что при подобных операциях нельзя допустить двойственность руководства.

Президент удержался от слов, готовых сорваться с его уст, и ответил лишь на последнюю фразу:

— Вы хотите сказать, что ирландские войска должны быть поставлены под германское командование?

— Это пункт, — твердо ответил полковник, но все еще вежливым тоном, — на котором я вынужден настаивать. Ибо у нас есть офицеры, лучше подготовленные к методам современной войны.

— Понимаете ли вы, что вы требуете многого, а претендуете на еще большее?

— Я ни на что не претендую. Я наблюдаю очевидные факты и верю, что от вашего взора они тоже не ускользнут. Для тех же, кто этого не видит, падение может наступить в ближайшие дни, это вам должно быть совершенно ясно.

— Должен ли я понять это, как угрозу?

— Нисколько. Вы окажете нам помощь, если увидите факты такими, как они есть.

Президент не ответил на эти слова, но, обернувшись к вошедшему в комнату секретарю, сказал:

— Давитт, перед тем, как вы вошли, его превосходительство сообщил мне, что Лондон горит и что за это мы должны благодарить его страну. Я хотел бы знать ваше мнение по этому поводу.

Мистер Давитт изумленно взглянул на германского посланника. Южный ирландец, может быть, и бесхитростен и с трудом поддается уговорам, но ни друг, ни враг не скажут о нем, что у него нехватает ума. Про себя мистер Давитт подумал: «Неужели этот боров тяжелодум...» Вслух он сказал:

— Может быть, вслед за этим они сожгут Ливерпуль и потребуют, чтобы мы благодарили еще больше?

Доктор Баумер понял его буквально. Он вспомнил, что Ливерпуль стоит очень близко от Дублина и когда ирландец вспоминает о ненавистном саксонском иге, — рассудил германский посланник, — то Ливерпуль первым из английских городов придет ему на ум.

— Если Англия сдастся и не сразу, — сказал посланник, — то, полагаю, это случится завтра к полудню. — Но, говоря это, посланник почувствовал враждебность во взглядах этих двух людей, что несколько удивило его.

Президент заметил это удивление, и чувство отвращения придало ему силы для сопротивления угрозе, скрывавшейся за вежливо сформулированными наглыми требованиями.

— Скажите ему, Давитт... — сказал он. — Забудьте о моем присутствии. Скажите все, что думаете.

Это все, что нужно было мистеру Давитту. И вот, остолбеневший немец услышал, как относятся к нему и к его стране все порядочные люди.

На шестой день февраля 1938 года нормы дипломатического языка уже были забыты в правительственных учреждениях и дипломатических резиденциях Европы. Но в Дублине с ними вообще мало считались, вот почему в данном

случае ничто не связывало Тима Давитта. И он сказал все, что думал.

Доктор Баумер услышал, что планета воняет от преступлений, совершенных его страной, что тупость последней соперничает с ее гнусностью. Англия не избежала теперь опасности только потому, что, когда Германия лежала на обеих лопатках, англичане — эти непроходимые дураки! — «помогли вам подняться и обчистить пыль с костюма». Из-за такой глупости сейчас горел Лондон, там погибли тысячи ирландцев и масса ирландского имущества на много миллионов фунтов стерлингов, а страховые премии получить за все это будет дьявольски трудно. И после этого благодарить их за предательское, неспровоцированное нападение в ночном мраке! К тому же его собственный брат служил в Лондонской пехотной бригаде и, быть может, в этот час лежал убитый!

Наконец, мистер Давитт кончил, сказав гораздо больше, чем стоит здесь воспроизводить. Доктор Баумер ответил на это, что передаст своему правительству услышанные здесь суждения. Он поднялся, чтобы уйти.

Президент остался сидеть, не замечая протянутой руки. Он лишь сказал:

— Обещаю вам в ближайшие полчаса не сообщать народу о вашем предложении, а теперь можете убираться, если только сами найдете безопасное место. Через полчаса я уже не смогу отвечать за вашу жизнь в этом городе, ибо, когда кровь закипает, ирландское ружье стреляет быстро.

Доктор Баумер промолчал. Он пробормотал: «свинячьи собаки», когда спустился по лестнице. Улица была запружена возбужденной шумной толпой, при чем до его слуха долетали выражения не очень приятные. Он решил, что на море он не будет в достаточной безопасности (поскольку море еще могло оставаться в английских руках) и что благоразумнее всего выбраться из города и укрыться в каком-нибудь тихом месте, пока Германия не продемонстрирует миру всю свою мощь.

Больше никогда никто ничего о нем не слышал; впрочем, такая же судьба

постигла миллионы более достойных людей.

16

Зимний рассвет разгорался. Утро началось в Европе, содрогавшейся в объятиях катастрофической войны. Рассвет прогнал ночь с серого атлантического неба. Солнце осветило мечущиеся торговые суда, вспугнутые событиями в европейских морях. С судов неслись отчаянные призывы к берегам, откуда не отвечали.

Утро застало трансатлантический гигант «Куин Мэри» остановившимся на полпути, несколько пассажиров перебирались с него на борт парохода «Америкен Бэнкер». Это были люди, решившие во что бы то ни стало добраться до берега Англии, между тем как остальная масса пассажиров предпочитала вернуться в более безопасные страны. «Америкен Бэнкер», со своим грузом пишущих машинок, жевательной резины, хирургических инструментов и калифорнийских фруктов, держал путь к английским берегам, уклонившись от своего курса лишь настолько, чтобы войти не в устье Темзы, а в устье реки Мэрсис, как того требовало элементарное благоразумие.

Этим утром английский эсминец, в дымке тумана, двигался обратно к Дэвонпорту, откуда два дня назад он взял курс на Вест-Индские острова. Его машины вздрагивали, когда нос судна зарывался во вздувшуюся волну. Эсминец шел, обгоняя даже попутный ветер, отчего его вымпел развевался на запад.

Быстро мчались часы в бешеном хаосе войны. Наконец, заря занялась над длинными низкими берегами Нового Света. Заря проникла в комнату, где за столом, после бессонной ночи, сидел президент великой республики.

Вот уже в течение двенадцати часов перед ним росли с каждой минутой груды донесений, рассказывавших о содрогавшемся мире. Он склонился над картой Старого Света. Рядом с ним стоял сенатор Рэмзден, советам которого он доверял. Сенатор сказал:

— Это может превратить Европу в единую державу, против которой мы не устоим и года. Африка склонится к их ногам. Она превратится в резервуар для новых полчищ завоевателя.

— И все же нас эта война не касается; во всяком случае, против нас она, как будто, не направлена. Они могут выдохнуться, а мы сбережем наши силы и сможем охранять цивилизацию, которая полетит в пропасть, если в войну окажется вовлеченным весь мир.

— Так говорили мы и раньше, но в конце-концов нас втянули, а тогда события имели меньшие масштабы, чем они могут приобрести ныне.

— В то время наш народ не был единодушен, но в большинстве своем он не желал быть втянутым в европейские войны.

— Но тогда вы не были президентом.

— А вы полагаете, что я смогу повести их по лучшему пути?

— Вы не предадите брата своего.

Президент встал, с шумом отодвинув кресло; он зашагал по комнате.

— Рэмзден, — сказал он, — я понимаю, чего вы хотите, и я не говорю, что вы неправы. Я не стану принимать решение более поспешно, чем это будет нужно. А поскольку мобилизация идет, то время не потеряно, даже если бы нам пришлось применить силу очень скоро... Но выиграем ли мы от такой спешки? Не следует ли нам сперва поговорить, и, быть может, удастся привести народы земли к лучшему миру, чем тот, который наступит после всеобщей войны? Разве не сможем мы в любую минуту вступить в войну, если не будет другого выхода? Не лучше ли остаться в стороне, чтобы в конце-концов использовать нашу силу для всеобщего блага?

— Такие вопросы, — ответил Рэмзден, — легче задавать, чем отвечать на них. Я думаю, что война кончится не в два дня, и не в десять дней, даже если бы мы отстранились. Но если угроза такого быстрого и полного краха существует, то я считаю, что в нашей власти его предотвратить. В ближайшие

три дня нам для этого не пришлось бы сделать ни одного выстрела и не пришлось бы сбросить ни одной бомбы; если станет известно, что мы выступаем на подмогу, это лишь продолжит и укрепит сопротивление всех стран.

17

Раздался телефонный звонок. Сенатор замолк на полуслове и поднял трубку.

Президент резко промолвил:

— Я ясно сказал, чтобы меня не беспокоили. Скажите Поттеру...

Но сенатор Рэмзден напряженно слушал своего невидимого собеседника. Президент замолчал, когда услышал ответ сенатора:

— Да. Совершенно верно. Так, так...

Через секунду, с телефонной трубкой в руке, он повернулся и объяснил президенту:

— Вас вызывают из Оттавы. Генерал-губернатор хочет говорить с вами, у него есть для вас сообщение, важность которого оправдывает его настойчивость. Английское правительство предполагает перенести свою резиденцию в Галифакс. Лорд Твидсмиюр спрашивает, может ли он рассчитывать на нашу помощь в защите его правительства на море и в воздухе. Если нет, то они перенесут свою резиденцию дальше, вглубь страны. Он считает, что Англия сможет сохранить господство на море, но не уверен, что ей удастся сохранить господство в воздухе.

— Я сам буду говорить с ним.

Президент быстро подошел к телефону. Он понял, что настал час решений.

— Это вы, Твидсмиюр? Можете сообщить правительству его величества, что любой пункт на этом континенте, какой оно изберет для своей резиденции, мы будем защищать полностью.

Затем еще несколько секунд продолжалась беседа в духе сердечности, но времени терять было нельзя.

Президент обернулся к своему коллеге:

— Выходит, что англичане исполнены решимости продолжать войну до победного конца. А война уже на пороге Нового Света. Мы ее не искали, она к нам сама пришла.

— Что ж, полагаю, что слишком пугаться этого нам не приходится.

— Вы сообщите Харкрофту? Я верю, что вы примете все меры, необходимые в данной ситуации. Я должен немного поспать. Скажите Поттеру, что я назначил заседание кабинета на час дня. Пусть также вызовет генерала Витта и, пожалуй, Симмонса.

Вскоре над Таймс-сквером зажглась движущаяся световая надпись, которая сообщала о ходе мировых событий нью-йоркцам. Светившиеся слова вызвали бурю криков на тротуарах Бродвея:

ПРЕЗИДЕНТ ОБЪЯВИЛ ВОЙНУ

★

Радио передавало всему миру очередное сообщение:

«Сегодня на рассвете была сделана попытка высадить на нашей территории десант высокомеханизированных германских вооруженных сил, переброшенных по воздуху.

Германская транспортная эскадра фактически уничтожена в бою с нашими силами над Южным Линкольнширом.

Приняты необходимые военные меры для отражения подобных попыток».

Затем последовало новое сообщение: «В Вашингтоне состоялась конференция послов и посланников всех нейтральных государств для рассмотрения создавшегося положения.

Председательствовавший на конференции президент Соединенных Штатов выпустил декларацию, в которой выражает сочувствие тем нациям, которые первыми испытали яростную атаку, и обещает им быструю поддержку».

„Большая Волга“

Проф. А. В. ЧАПЛЫГИН

★

1

Между Балтийским морем и Ледовитым океаном на севере и Черным и Каспийским морями на юге простирается великая равнина европейской части СССР. Постепенно повышаясь от морских берегов внутрь страны, она достигает высоты около 150 метров над уровнем океана на возвышенностях, тянущихся от Ленинграда и Ладожского озера на восток к Уралу и к верховьям Камы и Печоры. На этом лесистом водоразделе длиной свыше 1.000 километров делится между севером и югом сток вод равнины. Здесь на южном склоне водораздела берут начало притоки Волги и Камы, двух главнейших водных артерий Волжского бассейна. С высот, расположенных к западу от линии Калинин — Орел и к югу от линии Орел — Пенза, стекают воды Оки. Так, с площади около 1.300.000 кв. километров собираются воды основных артерий Волжского бассейна, образующие ниже слияния Волги и Камы мощную многоводную Нижнюю Волгу, несущую в среднем 8.000 куб. метров воды в секунду, или 250 миллиардов куб. метров в год. Москвичам можно пояснить, что это в 150 раз больше, чем несет Москва-река у Кремля.

На протяжении от устья Камы до Каспийского моря количество воды в Волге увеличивается сравнительно немного. В Каспийское море Волга прино-

сит в среднем 260 миллиардов куб. метров в год.

Волга—величайшая река европейской части СССР. Она в 10 раз больше Дона, в 5 раз с лишним больше Днепра, в 3,5 раза больше Невы. Из европейских рек лишь Дунай по своей величине близок к Волге. Его сток составляет около 80 проц. стока Волги.

Однако сибирские наши реки, Обь, Енисей, несколько больше Волги. Индийские реки Ганг и Брахмапутра, китайский Янцзыкианг, североамериканская Миссисипи вдвое больше Волги. Много больше воды несут мировые гиганты — Лаплата, Конго и величайшая река мира Амазонка. Она несет воды примерно в 12 раз больше, чем Волга.

По величине стока Волга занимает в мире 12-е место. Но по народнохозяйственному значению она стоит на одном из первых мест, а по завершении начатого на ней грандиозного строительства станет, несомненно, на первое место в мире.

На территории Волжского бассейна, равной 1,5 млн. кв. км., живет около 50 млн. человек. Здесь сосредоточены громадные природные богатства. Свыше 75 проц. горючих сланцев, около 52 проц. торфа, около 23 проц. железа, около 35 проц. никеля, 85 проц. фосфоритов, 40 проц. известняков находится в Волжском бассейне. На Самарской луке в последнее время открыты нефтяные месторождения. В Волж-

ском бассейне громадные пространства пашни, исчисляемые цифрой 64 млн. га, огромная площадь кормовых угодий — почти 9 млн. га сенокосов, и около 67 млн. га лесных площадей. Рыбные богатства Волго-Каспия дают ежегодно на 100 миллионов рублей продукции и составляют свыше $\frac{1}{3}$ всей рыбной продукции СССР.

Громадный и богатый Приволжский край прорезан сетью волжских водных артерий. На протяжении 40 тысяч километров они пригодны для сплава, на протяжении 20 тысяч километров они судоходны, а на протяжении 14 тысяч километров происходит пароходное движение.

По всему Волжско-Камскому бассейну в настоящее время перевозится свыше 30 млн. тонн грузов в год — почти половина всех перевозок по нашим внутренним водным путям. Это значит, что транспортная работа Волги больше работы всех рек Германии.

Однако перевозки по Волге составляют лишь $\frac{1}{10}$ часть железнодорожных перевозок европейской части СССР. Мы еще мало используем Волгу как путь сообщения.

На протяжении нескольких веков своей народнохозяйственной жизни и до последнего времени Волга имела в основном транспортное и рыбохозяйственное значение. Лишь после революции возникли, оформились и получили широкое признание новые представления о Волге как о мощном источнике энергии и могучем средстве борьбы с засухой на нашем юго-востоке.

Комплексный подход к решению проблемы реконструкции Волги, признание ведущей роли энергетики в этой реконструкции, возможность решения вопросов затопления земель высокими плотинами в условиях отсутствия частной собственности на землю, на промышленные и на городские ценности, подход к проблемам ирригации Заволжья как к государственной, общенародной задаче — вот то основное новое, что отличает послереволюционные взгляды на Волгу и на волжские работы от прежних узких «путейских» подходов к проблемам этой великой реки.

2

Волга — река равнинная. Величаво несут свои воды она и сестра ее Кама на протяжении почти 3.000 км. Незаметно для человеческого глаза падают огромные массы их вод с высоты 100 метров над уровнем океана — такова «отметка» уровня Волги у Рыбинска и Камы у Перми — до уровня Каспийского моря, находящегося на 27 метров ниже горизонта океана.

Но в этих спокойных на вид водах таится огромная энергия. Извлеченная из водных недр средствами современной гидротехники, эта энергия выразится в грандиозных цифрах — свыше 10 млн. квт. мощности и 50 миллиардов квтч. электроэнергии в год. Это равноценно по энергетическому эффекту добыче в год 25 млн. тонн угля лучшего качества, или 50 — 60 млн. тонн торфа, или сланцев, или бурого подмосковного угля. Это равноценно работе 260 млн. человек.

Эти огромные запасы энергии расположены в районах, где своего топлива недостаточно и приходится для нужд промышленности ввозить значительное количество его издалека, из Донецкого и Кузнецкого угольных бассейнов.

Запасы волжской энергии неисчерпаемы, так как ежегодно природа восстанавливает их полностью. Воздушные течения несут через Балтийское море на склоны Северно-Русской возвышенности, образующей водораздел Волжского бассейна, водяные пары, испаряемые Атлантическим океаном. Здесь происходит конденсация этих паров и образование облаков, дающих обильное выпадение осадков в виде дождя или снега. Весной и в начале лета основная масса вод Волжского бассейна сливается в Каспийское море. В течение лета и осени море их испаряет. Так осуществляется ежегодный процесс расходования и восстановления волжских вод и их энергии.

Это огромное количество энергии, ежегодно возобновляющееся, лежало до сих пор втуне, и лишь социалистическое строительство вводит ее в оборот народнохозяйственной жизни.

В 1936 г. наша страна выработала на всех своих электростанциях 32,8 миллиарда квтч. электроэнергии. Это в 17,3 раза больше того, что выработала Россия в 1913 г. Однако из 32,8 миллиарда квтч. всей выработки лишь 3,7 миллиарда приходится на гидроэнергию.

Царская Россия совсем не знала гидроустановок, так что по сравнению с тем, что было, гидроэнергетика в нашей стране сделала большой шаг вперед. Но сравнительно с другими странами удельный вес гидроэнергии в общей электрической продукции СССР еще невелик. Наши природные условия не вынуждают нас идти в этом отношении до пределов, которых достигли такие специфические страны, как Норвегия, Швеция, Швейцария, Италия, Канада. В этих странах вырабатывается, можно сказать, одна гидроэнергия. Но догнать Францию, где выработка гидроэнергии составляет 50 проц. всей энергетической продукции, или США, где выработка гидроэнергии равна 40 проц., — об этом нам придется позаботиться, тем более, что наши гидроэнергетические ресурсы много больше.

Опыт последних двадцати лет показывает, что в мировом энергетическом балансе сокращается потребление угля и дров за счет увеличения потребления нефти и гидроэнергии. В 1913 г. угольный эквивалент гидроэнергии составлял 40 млн. тонн. В 1935 г. этот угольный эквивалент составлял уже 130 млн. тонн, то-есть был в 3 с лишним раза выше. Гидроэлектрические установки дают в настоящее время около трети всей энергии, вырабатываемой в мире.

Нам придется в ближайшие годы ликвидировать это отставание нашей энергетики. Волжское гидростроительство в этом отношении будет иметь особое значение.

3

Другая крупнейшая народнохозяйственная задача стоит в Нижнем Поволжье, где Волга вступает в пределы засушливого юго-востока.

Здесь сельское хозяйство периодически, примерно через каждые 5 лет, ис-

пытывает удары засухи, влекущие за собой неурожаем хлебов и трав, глубоко отражающийся как на районах, непосредственно затронутых засухой, так и на хозяйстве всей страны.

Неурожаем в истории русского народного хозяйства — явление глубокой давности. С XI века имеются сведения о его катастрофическом воздействии на хозяйство и жизнь района, охваченного бедствием, и на хозяйство страны в целом. Уже со времени Бориса Годунова начали практиковаться «борьба с голодом», посылка в районы засух хлеба и денег, организация работ и т. д. Со времени Петра Первого правительство пыталось от мер борьбы с последствиями неурожая перейти к мерам предупреждения неурожая, для чего в неурожайные области указом 1723 года были посланы в качестве инструкторов крестьяне прибалтийских губерний.

Однако бедствия неурожая все росли. Если взять имеющиеся данные об острых неурожаях, то для XIX и XX веков мы имеем:

для первой четверти	XIX	века	2	неурожая
» второй	—	»	4	»
» третьей	—	»	4	»
» четвертой	—	»	4	»
» первой	XX	»	7	неурожаяв

Таким образом, повторяемость явления острого неурожая возросла на протяжении столетия почти в четыре раза.

Бедствия неурожая обусловлены прежде всего естественно-историческими причинами, создающими явление засухи. Этими причинами являются недостаточное выпадение осадков и «суховей» — ветер, возникающий в пустынях Средней Азии и приносящий в Заволжье их жаркий и сухой воздух. С другой стороны, это естественно-историческое явление воспринимается сельским хозяйством с той или иной степенью остроты в зависимости от структуры самого хозяйства, обусловленной процессом его развития и видоизменения.

Засухи в пустыне экономически народным хозяйством не ощущаются. В Заволжье, являющемся форпостом, выдвинутым русской сельскохозяйствен-

ной культурой в сторону жгучих песков Азии, засухи, по мере развития земледельческого хозяйства, воспринимались, как грозные народнохозяйственные явления, все больше и чаще. Здесь наиболее остро русское крестьянское хозяйство чувствовало губительное дыхание раскаленной пустыни, язык которой из-за Каспийского моря глубоко врезается в волжскую долину.

Мелкое крестьянское хозяйство эпохи царизма и первых лет после революции, когда оно еще не было реорганизовано, не могло противостоять ударам засухи. Засуха влекла за собой катастрофу. Так было в 1920/21 и 1924 гг. Так было и в 1917, 1911/12, 1905/6, 1901, 1898 гг. и т. д. вглубь веков.

В настоящее время, после социалистического преобразования заволжского сельского хозяйства в крупные колхозы и совхозы, удары засухи не влекут за собой таких катастроф, как раньше. Но засухи все же периодически поражают Заволжье, резко снижая урожай хлебов и трав и нарушая нормальную хозяйственную жизнь. В социалистической стране недопустим участок народнохозяйственного фронта, где разумное плановое хозяйствование нарушается стихийными силами природы. Коренная борьба с засухой в Заволжье поставлена в порядок дня, и основным оружием этой борьбы является вода — искусственное орошение.

Засушливая зона составляет около 25 проц. территории СССР — 550 млн. га. Из этого количества около 60 млн. га приходится на резко засушливый юго-восток. Население этой зоны составляет 31 проц. населения СССР, а засушливая площадь — 28 проц. посевной площади. Фронт засухи огромен. Иметь успех сразу на всех участках этого фронта нет возможности. Надо выбрать наиболее опасные участки и здесь одержать решительную победу.

В совершенно сухих районах Средней Азии и Закавказья осуществлены уже крупные ирригационные мероприятия. В полузасушливых районах наиболее остро засуха проявляет себя в Заволжье, примерно между параллелями г. Куйбышева и г. Камышина. Здесь в первую оче-

редь должна быть сосредоточена решительная борьба с засухой. На этой территории, по известному постановлению правительства, должны быть осуществлены широкие ирригационные мероприятия.

Несколько цифр иллюстрируют вышесказанное: среднее годовое количество осадков в северной части этого района составляет 350 миллим., в южной — 300 миллим., в то время как для нормального произрастания растений требуется не менее 500 миллим. Годовая испаряемость района — 700—900 миллим. Следовательно, влага здесь остро дефицитна.

Район этот сельскохозяйственно освоен. Плотность населения равна около 20 человек на 1 кв. км. в северной его части и около 8 чел. в южной.

Сбор пшеницы — основной культуры района — в среднем составлял 12 млн. центн., при чем около 9—10 млн. центн. собиралось в северной его части. Искусственное орошение повышает урожай многократно и гарантирует его устойчивость.

Искусственное орошение является здесь основным оружием в борьбе с засухой. До последнего времени широкое развитие ирригации встречало существенные технические трудности. Дело в том, что сток местных рек весьма невелик и происходит почти целиком в весенние месяцы. Поэтому осуществление широкой ирригации требует использования других источников орошения. Наиболее близким и мощным является Волга. Однако здесь возникает другое затруднение. Большая часть земель Заволжья расположена на 80—100 метров выше уровня воды в Волге. Вывести воду из Волги на такую высоту самотечным способом невозможно. Приходится применить подъем воды насосами. Речь идет об огромных количествах воды и энергии, нужной для ее подъема. Для орошения 2,3 млн. га земель нужно будет ежегодно поднимать насосами около 13 куб. км. воды. Это количество воды в 8 раз больше того, что протекает в год в Москва-реке. Для подъема этого огромного количества воды понадобится до 4 миллиардов квтч. энергии в год,

при чем энергия эта должна быть дешевой.

Перспективы ирригации на Нижней Волге не ограничиваются только 2,3 млн. га, о которых сказано выше. Это площадь земель первой очереди в районе, наиболее остро испытывающем удары засухи. В дальнейшем ирригация охватит и полупустыни Арало-Каспийского и Калмыцкого районов, и потребует еще большее количество воды и энергии. Эту энергию должны дать мощные волжские гидростанции. Волга сама поднимет свои воды в засушливые степи Нижнего Поволжья.

4

Выше уже было сказано о современном транспортном значении Волги. Оно велико, но перспективы его развития еще более грандиозны.

Громадное транспортное значение современной Волги лишь в незначительной степени отражает будущую роль этого водного пути. Волга станет крупнейшей народнохозяйственной и оборонной артерией, связывающей два северных моря с двумя южными и самые разнообразные по природным возможностям и по продукции районы СССР. «Нефтяной» и «рыбный» Каспий, «лесной» Север, «угольный» Донбасс, промышленные Московский, Ивановский и Горьковский районы и Урал, вновь создающиеся промышленные районы Заволжья будут являться крупнейшими грузоотправителями и получателями, широко использующими транспортные возможности этого величайшего водного пути. Основные грузы, составляющие грузооборот Волги, — нефть вверх и лес вниз, — несомненно, с каждым годом будут сильно возрастать. Развитие промышленности и устройство соединений Волги с морями добавят новые грузы. Можно думать, что уже через пять лет волжский грузооборот почти удвоится против современного, а через десять лет достигнет цифры 100 — 110 млн. тонн.

5

Проект «Большой Волги», пока намеченный лишь в основных чертах,

дал техническое оформление новым представлениям о Волге. Этот проект предусматривает создание на Волге, на Каме и на их основных притоках системы сооружений — так называемых гидроузлов, вырабатывающих громадное количество энергии, создающих глубоководный путь и позволяющих осуществить орошение засушливых территорий Заволжья. Каждый такой гидроузел состоит из плотины с водосливом для пропуска паводка, гидростанции, в турбинах которой вырабатывается гидроэнергия, и судоходных шлюзов.

Система сооружений «Большой Волги» разрешает поставленные ей задачи комплексно, то-есть так, чтобы в одном узле гидротехнических и энергетических сооружений решались сразу и энергетические, и транспортные, и ирригационные задачи. При этом ведущей задачей является энергетическая. Ее решение дает наибольший народнохозяйственный эффект и в основном оправдывает затраты на переустройство Волги. Транспортные задачи решаются попутно; поэтому осуществление коренного переустройства Волги в транспортных целях, в изолированном виде непосильное по капиталовложениям для водного транспорта, в данном случае оказывается вполне выгодным. Ирригационные задачи в засушливом Заволжье также разрешаются в комплексе с энергетическими сооружениями на Нижней Волге, обеспечивающими и дешевое энергоснабжение ирригационных насосных станций, и меньшую высоту подема воды на орошение вследствие подпора Волги энергетическими плотинами.

Ведущая роль при переустройстве Волги, как сказано, принадлежит энергетике. Поэтому переустройство реки осуществляется плотинами значительной высоты, дающими большой напор для турбин гидростанций. Этот принцип является новым для равнинных рек, на которых обычно строились судоходные плотины небольшой высоты. Его применение в данном случае вызывается требованиями энергетике, так как на низких плотинах, затопляемых паводком, высококачественной энергии получить нельзя.

Таким образом, высота плотин «Большой Волги», которую желательно по энергетическим соображениям довести до максимума, ограничивается лишь условиями затопления и геологическими.

Очень важно обеспечить на гидростанциях «Большой Волги» возможность круглый год вести так называемое суточное регулирование мощностей в обслуживаемых ими электросистемах. Дело в том, что потребность электросистемы в мощности меняется в течение суток. Ночью потребление энергии меньше, днем больше. Потребность в мощности может сильно меняться в течение короткого срока. К этим переменам потребности в мощности должен приспособляться и источник энергии для того, чтобы не отпускать энергии впустую — без надобности. На тепловых электростанциях такое приспособление отпуска мощности и энергии к потребностям электросистемы затруднено тем, что пуск в ход и остановка парового котла являются процессом длительным. На гидростанции пуск в ход и остановка турбины производятся почти мгновенно. Поэтому именно на гидростанциях удобно вести суточное регулирование мощности.

Однако дело осложняется тем, что при открывании или закрывании в короткий срок нескольких турбин происходит большое увеличение или уменьшение тока воды ниже плотины и, следовательно, резкие колебания уровня воды. По произведенным расчетам, оно может на Волге достигнуть 1,5—2,0 метров. Когда нет судоходства, в этом нет и особой беды. Но в навигационный период такое резкое колебание уровня воды и возникающие в связи с этим скорости течения будут мешать судоходству. Ясно, что, чем глубже река, тем меньше будут ощущаться эти неудобства суточного регулирования на гидростанции. Вместе с тем некоторое подтопление гидростанции ниже лежащей плотины выгодно еще и потому, что при этом увеличивается общая выработка энергии на гидростанциях, так как в большей степени используется падение реки.

Волгу образуют две основных реки: собственно Волга и Кама. По размерам они одинаковы. По мощности Кама несколько выше, чем Волга выше устья Камы. Однако в первую очередь надо переустроить Волгу от канала Москва—Волга до Астрахани, так как здесь проходит основной волжский путь и здесь ожидается наибольшая потребность в энергетических ресурсах.

Переустройство Волги следует начинать сверху, создавая здесь по возможности крупные водохранилища, которые захватили бы почти весь сток и выпускали бы его вниз выравненным в соответствии с интересами энергетики и транспорта. С другой стороны, по Нижней Волге течет огромная масса воды, собирающаяся со всего Волжского бассейна. Здесь можно создать самые мощные гидростанции, с огромным количеством дешевой энергии. Таким образом, намечая очередность Волжского строительства, приходится считаться с этими двумя противоречащими друг другу положениями.

В соответствии с изложенными общими принципами переустройства Волги технический замысел «Большой Волги» заключается в следующем. На всем протяжении Волги и Камы и других крупных притоков создаются в подходящих по условиям рельефа и геологии местах плотины высотой 20—30 метров на расстоянии 400—600 километров друг от друга. Эти плотины образуют на всем протяжении реки цепь глубоководных, озеробразных водоемов с замедленным течением воды. При плотинах устраиваются мощные гидростанции и шлюзы для пропуска судов.

На Волге такие узлы сооружений намечены: первый — возле Рыбинска, второй — выше г. Горького у с. Василева, третий — в районе г. Чебоксар, четвертый — на Самарской луке в 25 км выше г. Куйбышева, пятый — близ г. Камышина и шестой — ниже г. Сталинграда. Кроме того, между Ивановским гидроузлом, дающим начало каналу Москва — Волга, и Рыбинской плотинной — около г. Углича намечен Угличский гидроузел, обеспечивающий необходимые судоходные глубины меж-

ду Рыбинским водохранилищем и каналом Москва — Волга. Таким образом, на основной Волге между Рыбинским и Астраханью предположено построить шесть гидроузлов с общей установленной мощностью гидростанций около 8 миллионов квт. и с годовой выработкой энергии около 40 миллиардов квтч.

Гидроузлы на р. Кама могут дать около 2 млн. квт. мощности и около 11 миллиардов квтч. энергии.

Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону, с востока — Уральский хребет, с севера — Беломорско-Балтийский водораздел, с юга — линия Ростов — Астрахань.

Этот обширный район недостаточно обеспечен энергетическими ресурсами, особенно в северной его части — в старых промышленных районах — Центральном Промышленном, Поволжском и Уральском. Эти районы уже в настоя-



В общем основные гидроузлы «Большой Волги» дадут свыше 10 млн. квт. мощности и около 50 миллиардов квтч. энергии.

Это количество энергии превосходит современную выработку любой страны мира, кроме США. Это больше, чем выработка в 1936 г. Германии — 41 миллиард квтч., Англии — 29 миллиардов квтч., Канады — 25,5 миллиарда квтч., Франции — 16 миллиардов квтч., Италии — 14,5 миллиарда квтч.

При современной технике электропередач использование энергии волжских гидростанций окажется возможным в пределах огромной территории площадью около 2,5 млн. кв. км. с населением в 70 млн. человек. Примерные границы этой территории: с запада — линия

еще время приходится снабжать в значительных количествах дальнепривозным топливом. Нет основания рассчитывать, что в будущем положение с топливом в них смягчится. Поэтому необходимость использования здесь волжской гидроэнергии будет все более настоятельной.

Параллельно с развитием гидростановок «Большой Волги» на ее территории будут создаваться мощные теплоэлектроцентрали, работающие на местных тепловых энергетических ресурсах, выгодно комбинирующие производство пара для теплоснабжения и для выработки электроэнергии. Системы этих теплоэлектроцентралей и волжских гидростановок будут объединены линиями высоковольтных электропередач. Таким

образом возникнет грандиозный волжский энергетический комплекс. Его общая мощность будет порядка 30 млн. квт. и годовая выработка — около 150 миллиардов квтч. Эта грандиозная электросистема, объединенная в одно целое регулирующими ее режим волжскими гидроустановками, являющимися как бы мощным ее стеновым хребтом, по своим размерам оставит далеко позади себя существующие в мире отдельные электросистемы, самая крупная из которых, Ниагара—Гудзон, выработала в 1935 г. около 6 миллиардов квтч. Будущий волжский энергетический комплекс явится невиданным по размерам электрическим объединением.

Мощные волжские гидростанции явятся опорными центрами, регулирующими работу в электросистемах этого комплекса. Они будут электрическим сердцем этих систем, посылающим потоки энергии во все части этого громадного электрического организма. Электросистемы Центрального Промышленного, Поволжского, Уральского, Центрально-Черноземного, Заволжского и Сталинградского районов при помощи линий высоковольтных электропередач, опирающихся на волжские гидростанции, будут объединены в единую энергосистему Волжского бассейна, соединяющуюся на западе с энергосистемой «Большого Днепра» и на юге — с энергосистемой Северного Кавказа и Донбасса. Так осуществится мощное энергетическое кольцо европейской части СССР.

Вместе с тем на всем основном Волжско-Камском водном пути создадутся 6—7-метровые глубины. Этот глубоководный путь, пропускающий морские суда, в северной своей части будет иметь выход к столице СССР — Москве — через канал Москва—Волга и к Балтийскому и Белому морям через переустроенный коренным образом водный путь по Шексне и Вытегре (Мариинская система).

На юге судоходные каналы соединят Волгу с Черным морем.

В нижнем течении Волга вступает в засушливую область. Здесь ее воды будут использованы для орошения миллионов гектаров земли, в первую очередь,

в соответствии с решением партии и правительства, в Сыртовом Заволжье, а затем и в полупустынных пространствах Арало-Каспийской низменности и Калмыцкой области.

Мощные электронасосные станции, получающие электроэнергию от волжских гидростанций, будут в течение круглого года поднимать по подводным каналам волжскую воду на высоту 80—100 метров в огромные водохранилища, устроенные в степях Заволжья. Для постройки этих водохранилищ будут использованы верховья местных рек, имеющие обычно чашеобразную форму. Высокая земляная плотина преградит выход из этой чаши и образует громадный водоем, в котором подаваемая насосами волжская вода будет храниться до весны и лета, когда начинается полив. В поливной период, продолжающийся в Заволжье около 3 месяцев, вода из водохранилищ по системе каналов, сначала более крупных, порой грандиозных, а потом по все более мелким будет подаваться на поля Заволжья и здесь использоваться для полива культур либо самотеком, как это практикуется в Средней Азии и Закавказье, либо особыми приборами — насадками, через которые вода разбрызгивается по полю наподобие дождя.

6

Осуществление проекта «Большой Волги» выдвигает еще одну грандиозную проблему — проблему Каспийского моря.

Каспийское море является наиболее пониженной частью поверхности европейской части СССР. Его уровень в среднем почти на 27 метров ниже уровня океана. Этот уровень поддерживается стоком в море ряда рек — Волги, Куры, Урала, Терека и других, более мелких. Главная роль в питании Каспийского моря принадлежит Волге, по которой стекает в море около 260 кубических километров, или 260 миллиардов кубических метров, воды в год. Остальные реки ежегодно приносят еще 70 куб. км. Атмосферные осадки, выпадающие на поверхность моря, дают

около 80 куб. клм. Наконец, подземный сток приносит в море еще около 50 куб. клм. в год. В итоге море ежегодно получает около 460 куб. клм. воды и все это количество испаряет с своей поверхности, равной около 420.000 кв. километров.

Приведенные цифры приблизительны, так как современная изученность Каспийского моря недостаточна для точного определения его водного баланса. В общем, они все же достаточно характеризуют значение основных факторов, слагающих этот баланс.

Стабилизовавшийся уровень Каспийского моря определяет условия народнохозяйственной деятельности на его берегах и водах. В северной мелководной части моря, со средней глубиной около 6 метров, расположены наиболее ценные наши рыбные угодья. Годовой улов рыбы достигает здесь 37 центн. с квадратного километра. Это значительно выше чрезвычайно продуктивных вод Немецкого моря, улов в которых характеризуется цифрой около 20 центн. с квадратного километра.

Залив моря — Карабугаз, являющийся мощной естественной фабрикой химического сырья, имеет глубину в среднем около 2,5 метра.

По побережью моря расположены порты и прорези в устьях судоходных рек. Их глубина незначительна.

Понижение современного уровня Каспийского моря, если бы оно произошло, отразилось бы прежде всего на интересах волжско-каспийского рыбного хозяйства, дающего почти половину всей продукции рыбного хозяйства СССР.

При снижении уровня моря сократилась бы его площадь. По приблизительным подсчетам, при снижении уровня моря на 1 метр потери рыбного хозяйства составили бы 200—300 тыс. центнеров в год, а при снижении на 2 метра они достигли бы 800—1.000 тыс. центн. в год. Кроме того, при снижении уровня моря ухудшились бы условия прохода рыб из моря в мелководье дельты Волги, где большинство рыб в настоящее время находит необходимые условия для размножения и выкорма молоди. Поэтому, с точки зрения интересов рыб-

ного хозяйства, недопустимо понижение уровня моря более чем на 0,5 метра.

Водный транспорт заинтересован в сохранении имеющихся глубин в портах и морских каналах. Понижение уровня моря повело бы к уменьшению этих глубин и к необходимости соответственно переустроить порты и углублять каналы.

Понижение уровня моря в Карабугазском заливе, повышая в нем концентрацию солевых растворов, изменит условия их осаднения и может свести на-нет его промысловую ценность.

Таким образом, на всех этих отраслях народного хозяйства понижение уровня моря отразится неблагоприятно. Положительное влияние окажет понижение уровня моря лишь на нефтедобычу. Море, отступив, обнажит находящиеся сейчас под водой нефтяные площади.

Однако использование этих находящихся под водой нефтеносных земель возможно и без снижения уровня моря, путем применения тех или иных технических мероприятий, как, например, обвалования соответствующих частей прибрежного морского дна, устройства морских буровых вышек и т. д.

Так, в общих чертах, рисуется связь народнохозяйственных интересов с уровнем Каспийского моря. Отсюда ясно, что вопрос о режиме моря имеет исключительное значение.

Что же угрожает режиму Каспийского моря? Так ли велик размах наших работ в его бассейне, что мы заметно вмешаемся в вековую жизнь моря и нарушим создавшееся равновесие в притоке и убыли вод целого моря? Приходится констатировать, что это так, что недалеко то время, когда проблема Каспийского моря встанет во всей своей реальности и неотложности.

Уже в результате работ третьего пятилетия на Волге создадутся водохранилища с общей водной поверхностью около 10.000 кв. клм. Годовое испарение с этой водной поверхности дополнительно к существующему составит 2,5 — 3,0 куб. клм. Изъятие воды на ирригацию, если будет орошено около 1 млн. га, выразится в цифре около 6,0

куб. клм. Учитывая, что часть воды, взятой из Волги на орошение, вернется в нее, общее уменьшение притока воды в Каспийское море можно считать в цифре около 7 куб. клм. Изъятие такого количества воды уже отразится на снижении уровня моря, впрочем, в пределах, в особенности в первые годы, народным хозяйством не ощутимых.

Дальнейшее волжское строительство и вообще гидростроительство в бассейне Каспийского моря будет все больше и быстрее снижать уровень моря. Интересы народного хозяйства будут заметно нарушены, если не принять мер к поддержанию уровня моря.

Постройка всех водохранилищ «Большой Волги» и осуществление ирригации Заволжья в полном объеме весьма значительно уменьшат сток Волги в Каспийское море. Общая площадь всех водохранилищ «Большой Волги» ориентировочно определяется свыше 40.000 кв. клм. Эта площадь в 3 раза больше площади Ладожского озера. Дополнительная к современной потеря воды из этих водохранилищ выразится в цифре около 12 куб. клм. в год. Изъятие воды на ирригацию Заволжья в полном ее объеме выразится в цифре около 20 куб. клм. Каспийское море будет получать из Волги примерно на 30 куб. клм. воды в год меньше.

Но гидротехническое строительство в бассейне Каспийского моря не ограничится только Волгой.

Оросительные и другие водохозяйственные мероприятия в бассейнах Кумы, Урала, Терека, Сулака и других рек, впадающих в Каспийское море, уменьшат его сток примерно еще на 15 куб. клм.

Таким образом, следует ожидать, что в течение ближайших 15 лет водохозяйственные мероприятия в бассейне Каспийского моря могут уменьшить его сток на 40—45 куб. клм. в год.

Уменьшение стока в Каспийское море на 45 куб. клм. в год уже через 4—5 лет снизит его уровень на 0,5 метра, через 8—10 лет — на 1 метр, а через 15 лет — на 1,5 метра.

В пятом пятилетии уже будет чувствоваться снижение уровня моря, если

в четвертом пятилетии мы не начнем мероприятий по поддержанию его водного баланса.

Эти мероприятия можно разбить на две основные группы:

1) мероприятия по увеличению стока в море и

2) мероприятия по уменьшению убыли из него воды.

Увеличение стока в море может быть достигнуто путем направления в бассейн Волги вод смежных с ним бассейнов. В этом отношении особый интерес представляют реки Беломорского бассейна, где налицо избыток воды, который можно перебросить в Волгу. По приблизительным подсчетам, можно направить из Беломорского бассейна в Волжский, а следовательно, и в Каспийское море, 20—25 куб. клм. воды в год.

В известной части возможно также направить в Каспийское море воды р. Дона и Кубани.

Мероприятия по уменьшению убыли воды из моря заключаются в том, что путем отделения от моря тех частей его, где это удобно сделать, уменьшается поверхность его испарения. Наиболее удобно такое отделение части моря можно произвести, соединив дамбой косы, образующие Карабугазский залив. Отделение Карабугаза от моря уменьшило бы потери моря от испарения на 20 куб. клм. в год. Однако ущерб, который при этом может понести химическая промышленность Карабугаза, ставит это мероприятие под сомнение. Более народнохозяйственно целесообразно отделение другого залива моря—Мертвый Култук, что сэкономит около 15 куб. клм. потерь в год.

Более углубленное изучение проблемы Каспийского моря приведет, вероятно, к установлению еще других возможностей ее решения. Во всяком случае уже сейчас можно констатировать, что техника располагает приемами, позволяющими существенно влиять на водный баланс и режим моря в желательном для народного хозяйства направлении.

В условиях социалистического строительства творческая техническая мысль получила исключительно широкие возможности. Мы переустроили уже вод-

ное хозяйство ряда рек. Мы переустраиваем водное хозяйство нашей величайшей реки—Волги. Мы подходим к проблеме урегулирования водного хозяйства целого моря и, несомненно, разрешим и эту грандиозную проблему.

Так, проблему «Большой Волги» завершает проблема Каспийского моря.

7

Лет семьдесят-восемьдесят тому назад наш знаменитый поэт Некрасов так мечтал о будущей Волге:

Иных времен, иных картин
Првижу я начало
В случайной жизни берегов
Моей реки любимой:
Освобожденный от оков
Народ неутомимый
Созреет; густо заселит
Прибрежные пустыни;
Наука воды углубит:
По гладкой их равнине
Суда-гиганты побегут
Несчетною толпою;
И будет вечен бодрый труд
Над вечною рекою...

Эти чудесные стихи, с точки зрения «Большой Волги», имеют тот недостаток, что в них говорится лишь о судоходных перспективах Волги. Некрасов, конечно, не мог тогда представить себе, что Волга будет мощным источником энергии, что ее воды поведут борьбу с засухой, что внешний облик ее коренным образом изменится.

Современным поэтам и писателям «Большая Волга» может и должна дать много больше увлекательных и вдохновляющих тем, чем это было во времена Некрасова и других дореволюционных писателей.

Великие строительные работы ныне охватывают исполнинскую реку. Создается новое, разумное хозяйствование водами Волги, создается новая ее красота — красота еще больших просторов, грандиозных сооружений, красота могучей силы ее вод, скованных на службу освобожденному человечеству. Новая «Большая Волга» — это Волга, паводок которой стабилизирован человеческой волей. Величественными и захватывающими будут преграждающие Волгу плотины, использующие ее энергию огромные

гидростанции, раскинувшиеся по всему Заволжью системы степных водохранилищ и каналов, оживляющие засушливый край, огромные промышленные комбинаты, новые, разумно устроенные города на берегах реки.

Все это сосредоточится в отдельных грандиозных узлах, а между ними на десятки километров вширь и на сотни километров в длину разольется Волга с еще большим пространством водных просторов.

Над новой Волгой работает огромный коллектив строителей. Изыскатели и проектировщики изучают и прорабатывают различные возможности решения чрезвычайно сложных технических и экономических вопросов, связанных с осуществлением нового водного хозяйства на Волге. Рождаются идеи, идут страстные споры, технические замыслы проверяются исследованиями и оформляются в расчеты и конструкции.

За авангардом изыскателей и проектировщиков движется армия строителей. Покой вечной реки тревожат взрывы ее берегов, могучие машины переделывают русло реки, заковывают реку в бетон и направляют ее воды в турбины, водосливы и шлюзы.

Бодрый труд кипит над вечной рекой. Дать картину этого огромного труда, сосредоточенного на великой проблеме, описать работу, чувства, страсти, борьбу, удачи и неудачи людей новой Волги, ее завоевателей, — какая увлекательная, великолепная тема!

8

Грандиозная проблема «Большой Волги» является поистине центральной проблемой генерального плана нашего народного хозяйства. Она преобразует всю экономику нашей страны.

Осуществление огромного комплекса сооружений «Большой Волги» должно быть увязано с ростом энергетических, ирригационных и транспортных потребностей СССР.

Энергетические вопросы являются ведущими в переустройстве Волги. Энергетические потребности определяют сроки осуществления «Большой Волги». Как уже упоминалось, система гидро-

станций «Большой Волги» найдет свое место в системе общего энергетического комплекса теплоэлектроцентралей и гидроцентралей с общей установленной мощностью около 30 млн. квт., что соответствует выработке энергии около 150 миллиардов квтч. Этого уровня электропотребления в районе волжских гидроустановок и электропередач можно ожидать примерно через 15 — 20 лет.

В ближайшие 10 лет в Центральном Промышленном, Поволжском и Уральском районах тяжелая и легкая промышленность, электрификация транспорта, бытовые нужды, а также ирригация Заволжья потребуют, по предварительным расчетам, до 54 миллиардов квтч. электроэнергии и до 10 млн. квт. мощности.

Если бы эту потребность в электроэнергии покрывать тепловыми установками и учесть, кроме того, потребности в топливе на технологические, транспортные и бытовые нужды, то годовой расход топлива в этих районах достиг бы громадной цифры в 130 млн. тонн. Местные топливные базы, уже и сейчас недостаточные, будут все в меньшей степени покрывать потребность в топливе. Нужда в привозном топливе будет все возрастать.

Постройка в этих районах теплоэлектроцентралей с дешевой энергией, получаемой благодаря комбинированному использованию пара для централизованного теплоснабжения и выработки электроэнергии, возможна лишь в пределах не свыше 50 проц. всей необходимой мощности.

Таким образом, необходимость постройки в ближайшие годы крупной волжской гидростанции для покрытия ожидаемого здесь спроса на электроэнергию вне сомнения. Эта гидростанция должна находиться возможно ближе к дефицитным по топливу северным районам Поволжья и к району ирригации Заволжья, так чтобы система линий электропередач была технически осуществима и экономически оправдана.

Она должна обладать возможностями широкого суточного регулирования без помехи судоходству. Ее энергия должна быть дешевой, в особенности в районе

ирригации Заволжья. Этим требованиям в наибольшей степени удовлетворит грандиозный гидроузел на Самарской луке.

Поэтому решено, кроме строящихся уже верхневолжских гидроузлов — Рыбинского и Угличского, теперь же начать строительство гидроузла на Самарской луке.

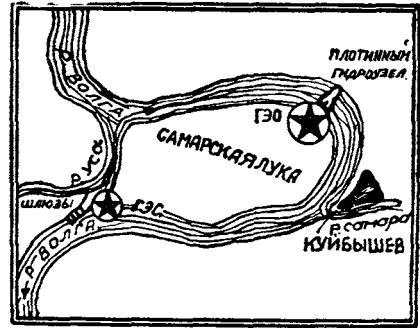


Схема Куйбышевского гидроузла на Самарской луке

9

По составленному схематическому проекту этого гидроузла предполагается возвести в северо-восточной части луки, в 25 километрах выше г. Куйбышева, плотину длиной около 3 километров, которая поднимет волжские воды на 30 метров выше их современного уровня. Созданный таким образом напор волжских вод используется в двух гидростанциях: при плотине и на деривационном канале, проложенном по основанию луки и выходящем на Волгу в 70 км. ниже г. Куйбышева.

Рядом с деривационным силовым каналом расположится судоходный канал с двумя нитями шлюзов.

Гидростанции Самарской луки будут связаны с потребителями энергии системой высоковольтных электропередач. Наиболее мощные и длинные электропередачи пойдут на северо-запад — в районы Москвы и г. Горького и на северо-восток — к Уфе и Уралу. Линия электропередач на юг, в район ирригации Заволжья, соединится в дальнейшем, через Камышинскую гидростанцию, с электросистемами Сталинграда и Донбасса.

Гидроузел на Самарской луке доводит до исключительных размеров раз-

витие гидроэлектростроительства в нашей стране. Наша первая гидростанция, Волховская, строившаяся еще в период гражданской войны, имеет мощность около 65.000 квт. и годовую выработку — около 350 млн. квтч.

Свирская гидростанция при мощности около 120.000 квт. вырабатывает около 550 млн. квтч.

Днепровская гидростанция им. Ленина в полном развитии будет иметь мощность около 560.000 квт. и выработку в год — около 3,0 миллиардов квтч.

Гидростанция на Самарской луке при мощности 2,5—3,0 млн. квт. будет вырабатывать в год до 14 миллиардов квтч. Это будет самая мощная гидростанция в мире. Строящаяся в настоящее время в Канаде гидростанция «Бокарнау» будет иметь мощность в 1,5 млн. квт. Строящаяся в США на реке Колумбия гидростанция «Грандукули» будет иметь мощность 1,9 млн. квт. Мощность известных ниагарских гидроустановок значительно меньше.

Природные условия, в которых будут строиться и работать сооружения гидроузла на Самарской луке, сложны и трудны.

Здесь приходится иметь дело с потоком вод, в пять раз превосходящим Днепр у Днепровской гидростанции. В среднем на створе плотины протекает около 8.000 куб. метров воды в секунду, но весной в паводок расход реки увеличивается до 30.000 — 40.000 куб. метров в сек., а в 1926 г. наблюдался расход до 63.000 куб. метров в секунду. В проекте приходится рассчитывать на худшее. По теории вероятности это худшее исчисляется в 80.000 куб. метров в секунду. Такой расход воды в паводок вероятен один раз в 10.000 лет.

Грозит сооружениям не только вода. Мощный волжский ледоход несет со скоростью около 1 метра в секунду льдины в среднем 150 метров длины, 100 метров ширины и 0,7 метра толщины. Придется хорошо позаботиться о безопасном пропуске его при производстве работ.

В давние времена Самарская лука была местом проявления мощных тектонических процессов, в результате кото-

рых были выдвинуты на земную поверхность глубинные скальные породы. Таким образом, здесь создалась привлекательная для инженера возможность обосновать тяжелые бетонные сооружения гидроузла на скале. Однако произведенные исследования скальных пород показали, что скала в ее естественном состоянии не является достаточно надежным основанием для сооружений, работающих под большим напором волжских вод. Придется средствами современной техники привести ее в состояние необходимой водонепроницаемости и монолитности.

Произведенные исследования Самарской луки показали, что слагающие ее известняковые скальные породы выходят на земную поверхность лишь у берегов реки, около которых на небольшой глубине под уровнем реки расположены и скальные площадки. В середине реки на глубоко внизу лежащих скальных породах лежат намытые рекой мощные толщи песков.

Часть плотины, располагающуюся на этом основании, предположено создать из того же материала — волжского песка. Эта часть плотины будет «глухой», то-есть настолько возвышающейся над уровнем воды в будущем водохранилище, что перелив ее через плотину невозможен.

Таким образом, плотина строится по принципу: «На скале бетон, на песке песок». Те части сооружений, в которых вода будет работать, развивая большие скорости и большую энергию, то-есть водослив плотины, гидростанция, шлюзы, будут построены из бетона и основаны на скале. На песке расположится земляная часть плотины, задача которой ограничивается лишь удержанием 30-метрового напора водохранилища.

Постройка земляной части плотины в условиях мощного тока волжских вод является сложной задачей. Сначала при помощи перемычек особой конструкции старое русло Волги преграждается и река направляется в новое бетонное русло на скале, где потом будет сооружен водослив. В старом песчаном русле Волги, прегражденном перемычкой, образуется спокойный, без всякого

течения, водоем. Здесь предстоит задача — насыпать в относительно короткий срок земляную плотину объемом около 15 млн. куб. метров. Эта задача решается так же, как решили ее в США при постройке громадной земляной плотины Форт-Пек на р. Миссури. Плотина «намывается» мощными электрическими машинами — землесосами-рефулерами. Землесос — это судно, имеющее на себе электрический насос большой мощности. Металлический сосун насоса опускается на дно реки и захватывает разжиженный в воде песок. Насос проталкивает жидкую песчаную массу в трубопровод, по которому эта масса течет до местоположения плотины. Такая машина может выбросить в месяц в тело плотины свыше полмиллиона куб. метров грунта.

Место для плотины выбрано в северо-восточной части луки. Здесь на участке длиной около 7 километров между Царев-Курганом и сел. Кр. Глинки найдены у левого и правого берегов скальные площадки наибольшей протяженности. Задача выделения из 150 километров общего протяжения луки этих 7 километров, наиболее подходящих для постройки плотины, осложнялась тем, что, как правило, скальные площадки луки погребены под слоем песка мощностью 10—20 метров.

Для исследования подземного рельефа скалы был применен новый метод, так называемая сейсморазведка. Этот метод заключается в том, что на исследуемом участке в различных его точках в поверхностной части грунта закладывается взрывчатое вещество. Электрическим запалом производится взрыв и создается искусственное землетрясение, глубоко проникающее в глубь грунтов и различно воспринимаемое ими, в зависимости от их плотности. Особыми приборами и приемами фиксируется результат землетрясения и устанавливается приблизительно глубина залегания скалы под прикрывающими ее мягкими грунтами. Таким способом были найдены на луке участки с подземными скальными площадками.

Существенной частью проекта является система высоковольтных электропере-

дач. Основная идея использования энергии гидроэлектростанции на Самарской луке заключается в том, что эта энергия потребляется не только на месте, в районе гидроузла, но и в районах, отдаленных на сотни и даже почти на тысячу километров. Подсчеты показали, что при таком использовании энергии гидроэлектростанции мощностью в 2,5 млн. квт. в ее электросистеме будет сэкономлено не менее 3,3 млн. квт. тепловых мощностей, причем в основном это вытеснение тепловых электростанций произойдет в районах, дефицитных по топливу: Московско-Горьковском, Поволжском и Уральском.

Этот принцип использования энергии гидроэлектростанции привел к необходимости проработать вопрос о линиях дальних высоковольтных электропередач. Мировой опыт в этом отношении ограничен.

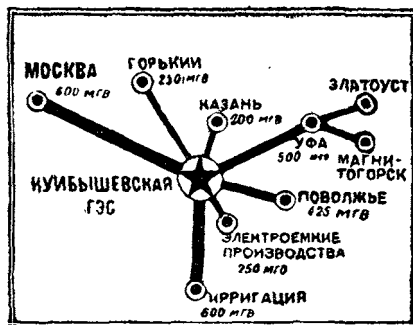


Схема энергопогоков Куйбышевской гидроэлектростанции

Наиболее интересным является проект, уже осуществленный, линий высоковольтной передачи от гидроэлектростанции Болдер-Дем до г. Лос-Анжелос в США длиной около 450 км. Произведенная, по данным этого проекта, проработка вопроса о технической возможности и экономической целесообразности передачи энергии гидроэлектростанции на Самарской луке в Москву, Горький и на Урал показали, что это вполне возможно и что стоимость волжской гидроэнергии, переданной по линиям электропередач, будет много дешевле местной тепловой электроэнергии.

Объем работ по сооружениям на Самарской луке будет весьма велик; придется уложить 5,5 млн. куб. метров бе-

тона против 3 млн. куб. метров, уложенных на канале Москва — Волга, и около 1,5 млн. куб. метров, уложенных на Днепровской гидроэлектростанции. Объем скальных работ составит 25 — 30 млн. куб. метров, но на Панамском канале вынули 60 млн. куб. метров, а на Флоридском — 100 млн. куб. метров скалы. Весьма велик объем рефулерных работ по расчистке водосливного русла и намыву земляной плотины.

Проработка плана производства работ по сооружениям гидроузла на Самарской луке привела к выводу, что их можно осуществить в шестилетний срок.

Капиталовложения в грандиозные сооружения гидроузла исчислены, по предварительным расчетам, в сумме около 3,5 миллиардов рублей. Стоимость одного установленного квт. гидроэлектростанции составит около 1.300 руб., что примерно соответствует стоимости установленного квт. тепловой электростанции, считая и капиталовложения в добычу и транспорт топлива. Стоимость энергии на гидроэлектростанции составит 0,5 коп. за 1 квтч. Это в восемь раз дешевле тепловой энергии. Стоимость гидроэнергии у потребителя, то-есть с учетом расходов по линиям электропередач, определены в 1,3 коп. за 1 квтч., то-есть в три раза дешевле тепловой электроэнергии.

10

Постройка гидроузла на Самарской луке создаст в центре Поволжья мощный источник дешевой энергии. Годовая выработка на нем гидроэнергии равноценна добыче около 7 млн. тонн лучшего угля, или около 14 миллионов тонн местного топлива (торфа, сланцев).

Гидроэлектростанции Самарской луки будут ежегодно экономить народному хозяйству около 350 млн. руб., являющихся разницей между стоимостью производства энергии на гидроэлектростанции с доставкой ее к потребителю и стоимостью получения ее на местных тепловых электростанциях. Это значит, что, осуществив строительство гидроузла и линий электропередач и сократив соответствующее строительство тепловых электростан-

ций, мы окупим излишек капиталовложений в гидростроительство в течение трех лет, то-есть в срок весьма короткий. Энергетический эффект гидроузла, таким образом, исключительно велик и уже сам по себе оправдывает капиталовложения во все сооружения гидроузла.

Транспортный эффект гидроузла выразится в том, что на участке Волги от Косьмодемьянска до Астрахани, самым бойком по грузообороту, на протяжении 2.000 км. водный путь получит глубины не менее 3,5 метра вместо существующих 1,8—2,3 метра. Вместе с тем длина транзитного пути сократится на 200 км. вследствие спрямления Самарской луки и фарватера в водохранилище.

Исключительно значение гидроузла для ирригации Заволжья. Он обеспечит дешевой энергией и мощностью площадь орошения до 3 млн. га. Энергия будет для ирригации весьма дешевой, так как благодаря линиям электропередач в дефицитные по топливу районы будет иметься возможность отдавать энергию ирригации в периоды времени, когда уменьшается спрос промышленности.

Таковы в общих чертах основные идеи проекта гидроузла на Самарской луке. Это строительство будет ведущим строительством третьей пятилетки.

По известному плану ГОЭЛРО, плану электрификации России, выдвинутому в 1921 г. Лениным, предполагалось в течение 10—15 лет создать во всей нашей стране электростанции мощностью в 1,5 млн. квт. На одной только Самарской луке будет создана гидроэлектростанция, мощность которой почти в 2 раза, на 70 проц., превышает задание ГОЭЛРО. Электрогигант на Самарской луке будет давать столько энергии, сколько вся наша страна имела в конце первой пятилетки. Его продукция составит примерно третью часть всего производства электроэнергии у нас в конце второй пятилетки. Гидроэлектростанции Самарской луки будут вырабатывать электроэнергию в большем количестве, чем вырабатывают все электростанции Италии, и примерно столько, сколько вырабатывают все электростанции Франции.

Через шесть лет по проекту предполагено осуществить первую очередь строительства. Будут построены плотинный узел сооружений, судоходные деривационные устройства, первые линии электропередач, первые ирригационные системы для полива одного миллиона гектаров.

В течение шести лет люди и машины создадут в северо-восточном углу Самарской луки высокие, как десятиэтажный дом, бетонные и земляные громады плотины, которая будет держать за собой свыше 60 миллиардов куб. метров воды.

Переволоцкий водораздел прорежет глубокая выемка, заканчивающаяся двухкамерными бетонными шлюзами. Шлюзные камеры длиной около 300 метров и шириной 30 метров позволят волжскому судоходству преодолевать сосредоточенное на луке падение свыше 30 метров.

Прегражденный этими грандиозными сооружениями ток волжских вод направится в мощные турбины гидростанции. Здесь свергающиеся с высоты 30 метров волжские воды превратят свой напор в энергию. Миллионы квт. мощности и миллиарды квтч. энергии, вырабатываемые гидростанцией, потекут под высоким напряжением по линиям электропередач в электросистемы промышленного волжско-камского севера, в заводы электроемкого промышленного комбината близ гидростанции, в моторы электронасосных установок ирригационных систем Заволжья.

Территория ирригации Заволжья покрывается сетью каналов, огромных водохранилищ, раскинувших в степи зеркало своих вод, мощных электронасосных установок, подающих на поля Заволжья сотни куб. метров воды в секунду.

Волга, подпертая плотиной, резко

уменьшит скорость своих вод и разольется на десятки километров вширь и на сотни километров в длину. У Казани Волга подойдет к самому городу, затопив болотистую, малярийную пойму, отделяющую сейчас город от реки. Казань станет портовым городом. С древнего кремля города откроется широкий вид на водные просторы реки, противоположный берег которой уйдет на 20 километров вдаль.

Между пристанями судоходная трасса пойдет, как в озере, по прямой линии. На случай чрезмерного ветра и волны на наиболее широких и длинных участках Новой Волги будут устроены небольшие порты — убежища.

Это будет четвертое волжское «море». Первое уже существует за волжской плотиной канала Москва — Волга. Скоро создадутся такие же «моря» за строящимися Рыбинской и Угличской плотинами. «Мэре» за Куйбышевской плотиной будет самым большим. Его поверхность составит около 7 тысяч кв. км. Это близко к площади Онежского озера.

Так рисуется в общих чертах грандиозный комплекс энергетических, транспортных и ирригационных сооружений на Волге, создаваемый в основном в течение третьей пятилетки.

«Большая Волга» уже не только увлекательная мечта инженера. В ближайшие годы она из области расчетов, чертежей воплотится в бетон, металл, выемки и насыпи, в миллионы киловатт, в миллиарды киловаттчасов, в сотни тысяч полей, орошаемых волжской водой, в миллионы центнеров первосортной пшеницы. В условиях нашего государственного строя это реальность, проводимая в жизнь твердой рукой великого вождя Советской страны — товарища Сталина.

Наблюдательность, внимание и память

Проф. Ю. ФРОЛОВ

★

На фронтоне здания биологической станции Колтуши (ныне село Павлово) начертано: «Наблюдательность и наблюдательность». Это был девиз И. П. Павлова.

Когда Ньютона однажды спросили, каким образом пришел он к открытию своих замечательных законов движения, Ньютон ответил:

«Очень просто: я всегда думал о них».

Но это лишь кажущаяся простота: в основе ее лежит огромная и глубокая деятельность мозга, подготовленная специальной тренировкой. В чем же она выражается?

Давние опыты по изучению внимания, как специальной способности, чрезвычайно облегчающей сложную умственную деятельность человека, показали, что усиление внимания к тому или иному предмету сопровождается тончайшими изменениями в области мускулатуры, управляющей деятельностью наших органов чувств (Ч. Дарвин).

Простые наблюдения над животными показывают, что внимательное прислушивание сопровождается настораживанием, т.е. соответствующей установкой ушей в направлении, откуда исходит звук; пристальное вглядывание сопровождается точной установкой зрительных осей на рассматриваемом предмете; повышенное внимание к запахам выражается в усиленном втягивании возду-

ха ноздрями и в других мускульных движениях.

Доказано также, что усиленное размышление о каком-либо важном предмете, отсутствующем в поле нашего зрения, сопровождается некоторыми мускульными движениями, например наморщиванием лба, и т. д.

Кровообращение в мозгу, а следовательно, и химизм мозговых процессов, при возбуждении внимания усиливается. Все это отражается на четкости и продуктивности работы мозговых центров, необходимой для данного мозгового акта, и на скорости внешних реакций.

Некоторые ученые, например Гербарт, Маудсли, Рибо, стремившиеся изучить различные проявления умственной деятельности, пришли к заключению, что существует два вида внимания: произвольное (активное) и непроизвольное (пассивное). Другие ученые (Карпентер, Н. Ланге) называли эти два вида внимания — волевым и автоматическим. Ясно, что внимание Ньютона, с которым он подходил к вопросам механики, было произвольным, активным, т.е. целевым, вниманием.

Развитие учения о внимании тесно связано с появлением в науке о мозге специального физиологического метода исследования, а именно метода условных рефлексов И. П. Павлова.

Что нового внес Павлов и его школа в анализ этого явления, знакомого каждому по его собственному опыту?

Возьмем обыденный случай из нашей лабораторной практики. «Вы находитесь с животным в экспериментальной комнате, где вся обстановка некоторое время остается без колебаний, а затем вдруг происходит какое-нибудь изменение ее: проник посторонний звук, изменилось быстро освещение, проникла из-за двери струя воздуха, да еще с каким-то новым запахом. Все это ведет к большему или меньшему ослаблению или к совершенному уничтожению условного рефлекса»¹, т.-е. выработанной ассоциации в мозгу, к нарушению установившейся привычки.

Далее, Павловым в его работах на животных, у которых проявления внимания наблюдаются в их простейшем виде, было доказано, что мускульные движения, служащие наиболее благоприятной установке органов внешних чувств, неся характер рефлекса, т.-е. своеобразного физиологического акта, имеющего в мозгу свои собственные центры. Последние, в случае возбуждения внимания, могут вступать в конкуренцию с другими действующими центрами и задерживать, тормозить их.

Итак, внимание может на первых порах не только усиливать деятельность центров, но и тормозить их. Это явление носит в обиходе название отвлечения, торможения, путем воздействия посторонних раздражителей. По мере повторения раздражитель, вызвавший внимание, постепенно лишается своего главного качества — новизны, и тогда выванный им «ориентировочный рефлекс» исчезает. Существует, следовательно, какая-то средняя наиболее благоприятная степень внимания, когда наш мозг проявляет наивысшую степень работоспособности, или, как иногда говорят, — наибольшую остроту внимания, наряду с его достаточной глубиной. Наконец, было установлено, что новые, недавно образовавшиеся рефле-

ксы тормозятся быстрее, чем старые, прочно закрепленные.

Павлов очень тонко и остроумно квалифицирует, с этой точки зрения, внимание пожилых людей и стариков. Известно, что в этом возрасте бывает иногда очень трудно сосредоточить внимание на двух объектах или на двух видах деятельности одновременно, — один предмет обязательно пострадает. Не отсюда ли берет свое начало и рассеянность некоторых ученых? Разумеется, и старики не лишены способности глубокого сосредоточения. Но торможение, происходящее от «ориентировочного рефлекса», бывает при этом настолько значительным, что всякая параллельная деятельность становится чрезвычайно затруднительной.

Павлов сравнивает сосредоточенное внимание с прожектором, который, хотя и обладает лучами весьма значительной силы, основательно освещающими предмет, но совершенно лишен полутени. С другой стороны, нормальное, расчлененное и вместе с тем глубокое внимание можно было бы сравнить с солнечным светом, который, освещая одинаково ярко окружающие предметы, образует не только тень, но и бесконечное количество полутеней, обеспечивающих возможность видеть выпуклости, рельеф предметов, иными словами, воспринимать их во всей их совокупности.

Последнее, на что указывает Павлов, развивая свою замечательную теорию внимания, с точки зрения своеобразных ориентировочных рефлексов, — это характеристика того, что находится в данный момент «вне поля нашего внимания».

Всем известно, какую крупную роль играет в физиологии сон. Раньше никто из физиологов не задавался вопросом, каковы процессы, происходящие в клетках мозга, за минуту до нашего наблюдения работавших активно, а затем выключенных из того «светлого пятна», которое соответствует активной, деятельной части мозга. Заметим, что человеческого мозг, как и мозг высших животных, никогда или очень редко работает одновременно всеми своими частями. Только в со-

¹ И. П. Павлов. Лекции о работе больших полушарий. 1927, стр. 49.

стоянии сильного эмоционального возбуждения мозг работает со столь полным напряжением.

Павлов впервые доказал в ряде замечательных экспериментов, что все неактивные, временно выключенные из работы клетки коры больших полушарий погружаются в состояние внутреннего торможения или сна.

А так как сонный процесс, по Павлову, обладает способностью распространяться по всей поверхности, по всей массе коры больших полушарий мозга, то и получается, что возбуждение внимания в одном каком-либо пункте, даже у нормальных, вполне бодрых и здоровых людей, сопровождается развитием особого тормозного или сонного состояния в ряде других, соседних пунктов. Поэтому вполне понятно утверждение Павлова, что сон, как выражение особого состояния мозга, помогающий наиболее реактивным корковым клеткам восстанавливать истраченные ими запасы, всегда «подкарауливает» человека. Не даром же в обиходе существует характерное выражение: «проспал» данное явление, когда хотят сказать — не сумел во-время мобилизовать на нем свое внимание, не сумел немедля исправить ошибку.

★

Из детального изучения всех явлений, связанных со вниманием, следует, как основной вывод, что внимание можно направлять, что его можно дозировать, упражнять, а, зная основные условия его возникновения и исчезновения, уметь находить путь к устранению его ошибок.

Читателю не раз приходилось, открывая новую, только-что изданную книгу, видеть прикрепленный впереди заголовка листок под названием «замеченные опечатки, вкравшиеся в текст при печатании книги».

Причина появления в книге технических опечаток заключается в невнимательном чтении как рукописи, так и типографских корректур. При этом ослабление внимания автора дает одну группу опечаток, ошибки набора — другую.

Правда, много опечаток, благодаря повторному чтению книги при проверке текста, устраняется. Но есть такие, которые как бы маскируются, обманывают внимание проверяющих, и поэтому небольшая часть ошибок иногда остается невыправленной.

Одной из наиболее общих причин для всех ошибок внимания является то, что мы не прочитываем в отдельности каждую букву, из которых слова составлены, а фиксируем лишь большую или меньшую часть их, так сказать, скелет слова. Об остальной же части мы только догадываемся и, экономя время, дополняем недостающие буквы своим воображением.

Вспомним, как мы учились читать. Однажды мой сын, 9 лет, читал одну интересную книгу. Вот как он прочел один из ее заголовков: «Волга течет в степь». В то время как в книге черным по белому было написано: «Волга течет вспять». Очевидно, он учел лишь число букв (в обоих случаях равное шести), а на порядок и отличие одной из них. (В первом слове «п», а во втором «т») он просто не обратил внимания. К тому же «вспять» это не современное русское, а более старое славянское слово. К нему дети не привыкли.

Другой пример касается уже не детей, а взрослых, к тому же очень занятых, а потому весьма спешащих людей. Спешка же плохое условие для правильного восприятия деталей текста. На одном из зданий так называемого Электрогородка в Москве, недалеко от входной будки, красовалась надпись:

СВАРОЧНОЕ БЮРО

Все посетители, нуждавшиеся в получении справок, тотчас отправлялись в это бюро... и получали массу неприятных упреков со стороны сидевших там сотрудников, так как бюро было не справочное, а сварочное. В данном случае люди находились в плену выработанной годами привычки видеть в конторах, учреждениях связи, на улицах города сочетание букв определенно-то прилагательного «справочное» с существительным «бюро». Увидев слово бюро, все невольно стремятся к окошеч-

ку, за которым, как представляется воображению, сидит человек, дающий нужные справки. И вдруг бюро, но совсем другое! Вот яркий пример того, как сильный раздражитель тормозит действие слабых — и получается ошибка!

Технические опечатки наблюдаются вследствие взаимодействия определенных нервных процессов в нашем мозгу, и выяснить характер таких опечаток представляет большой интерес, так как это поможет нам в дальнейшем понять более сложные случаи ошибок внимания.

Обычно рукопись появляется первоначально в писанном от руки виде. Но, чтобы облегчить труд наборщика, рукопись сдают для переписки на пишущей машинке. С этого момента неизбежно возникает возможность новых ошибок технического характера. Рукопись, переписанная стандартными буквами, с ровными полями на одной стороне листка, подшитая в папке, имеет как будто совсем другой, новый для автора вид. Автор начинает читать ее, перечитывает не один, а несколько раз, снова и снова, стараясь проверить правильность хода своей мысли и ее изображения.

Но он вникает при этом главным образом в смысл целых слов и выражений, в литературные обороты. И именно вследствие этого направления внимания он пропускает иногда искажения букв, сделанные машинисткой. «Сварочное» или «справочное»? Опечаток в этой стадии работы обычно бывает много: хорошая машинистка работает, не глядя на клавиши, а лишь на рукопись. Она производит свою работу по так называемому слепому методу и вместо «вспять» часто пишет «в степь». Автором рукописи вносятся в текст еще некоторые дополнения, и вот, наконец, аккуратная стопка бумаги, с ровными рядами букв, попадает в типографию.

Теперь начинается новый период подготовки рукописи для печати — процесс набора.

Здесь происходит новое испытание внимания, в данном случае внимания лица, набирающего книгу. Опытный на-

борщик — важное звено в процессе изготовления книги. Его внимание должно бодрствовать и всегда быть на высоте.

Еще недавно эта работа производилась вручную: в особые ящики, находившиеся в «наборной кассе», высыпались заранее отлитые из металла выпуклые буквы — так называемые литеры. Наборщик, глядя на текст рукописи автора, брал буквы одну за другой и вставлял их по очереди в так называемую верстатку, имевшую форму линейки с двумя согнутыми краями. Часто при этом способе набора литеры попадали при разборке шрифтов не в свою клетку, и тогда в первом отпечатке набора, в гранках, оказывалось много опечаток. Они устранялись обычно еще до выхода гранок из типографии, при чем наборщик, увидев корректорские условные знаки в тексте и на полях, вынимал из набора соответствующие буквы, согласно указаниям, сделанным ему на полях, — каждое под своим условным знаком, — и заменял их правильными.

Следующий отпечаток («верстка») является обычно уже в более чистом виде и форматом своим больше напоминает будущую книгу или газету.

Легко себе представить, каким огромным вниманием нужно обладать, чтобы разобраться во всех этих исправлениях и указаниях, сделанных автором наборщику. А таких страниц перед глазами наборщика проходит в день несколько десятков! Теперь процесс набора значительно механизирован. Но зато он и усложнился технически и предъявляет новые требования к вниманию работающего.

Буквы теперь, как известно, не берутся готовыми из касс, а изготавливаются, отливаются машиной по мере надобности и сразу же спаиваются в целую строку. Набор, следовательно, производится не отдельными буквами, а отливается целыми строками.

Скромную верстатку давно заменила сложная машина «линотип», или «типиграф».

Современный линотипист работает не двумя только пальцами правой руки, а всеми десятью пальцами, пользуясь клавиатурой обычной пишущей машинки,

только большего размера. Каждый наш палец соответствует при этом набору одной буквы, которая тотчас же выплавляется из горячего металла, падает сверху по особым каналам и тут же выстраивается в ряд с другими буквами. Немедленно вслед за тем происходит спаивание букв в строку.

Если в работу «вкралась» опечатка, то переливать нужно всю строку. Поэтому линотипист не должен допускать никаких ошибок. Для того, чтобы быть хорошим линотипистом, чтобы, печатая тысячи букв, одновременно следить, как идет варка металла, как работают все винтики сложной машины линотипа, как идет спайка строки, нужно иметь хорошо распределенное и неослабевающее внимание. Только хорошая школа, достаточная практика и добросовестное отношение к делу обеспечивают чистоту механического набора.

★

Кроме упомянутых выше форм, видов внимания, можно назвать еще несколько форм внимания по их содержанию. Так, у автора книги, читающего корректуру, преобладает внимание к смыслу текста; как мы сказали выше, он часто не видит отдельных букв, а только целые слова. У наборщика же при чтении того же самого текста преобладает внимание к буквам, и тогда для него выпадает общий смысл фразы. Бывает, наборщик, «сделав» книгу, иногда даже не может ничего рассказать о ней.

Особенное зло составляют еще ошибки в иностранном тексте, особенно если наборщик копирует текст чисто механически. Значительная часть технических опечаток зависит от того, что из двух рядом расположенных типографских ошибок проверяющий отмечает и исправляет одну, но зато вторая остается неисправленной. Внимание наше, ярко «вспыхнув» в одном месте строки, где найдена та или иная опечатка, оставляет другие, близко стоящие буквы как бы в тени того «проектора», о котором говорилось выше. Понятно, что имеются и другие причины

появления технических опечаток, но анализ их не входит в задачу настоящего изложения.

Важно лишь установить, что внимание человека, его устойчивость и гибкость, поддается воспитанию. Учиться быть внимательным так же важно, как и учиться вообще.

★

Ясно, что нельзя рассматривать внимание как какую-то изолированную функцию мозга. В нервной системе все функции тесно связаны друг с другом. В частности, внимание тесно связано с памятью, поскольку путем обращения внимания можно усиливать не только существующее в данный момент ощущение, но и прежнее, сохраняемое памятью.

Иметь хорошую память, обладать способностью быстрого и прочного запоминания очень важно для человека. Четкая память необходима нам для того, чтобы и другим передавать полученные знания, изучать иностранные языки, ориентироваться в мало знакомой местности, и т. д.

Память нужна историку для того, чтобы держать в голове имена исторических лиц и даты событий. Она нужна математику, чтобы запечатлеть формулы, врачу, чтобы не упустить при диагнозе ни одной из известных болезней и написать рецепт, указав необходимые дозы лекарства. Память необходима и шахматисту для того, чтобы иметь перед собою все дебюты и варианты когда-то иггранных партий. Инженеру память, наряду с другими способностями, нужна для того, чтобы не лазать за каждой цифрой в справочник, географу и путешественнику — для того, чтобы воспроизводить в любой момент названия стран, городов и селений, поэту — для того, чтобы, например, декламировать свои стихи.

Память каждого из этих людей отличается несомненно многими особенностями. Но все же можно говорить о некоторой единой способности человека запечатлеть в своем мозгу однажды испытанные ощущения и воспроизво-

дить их по мере необходимости. Память связана с исправной и продуктивной деятельностью нашего мозга, точнее выражаясь, с деятельностью высшего отдела нашей нервной системы — серой коры больших полушарий.

Кроме того, и деятельность воспринимающих органов — глаза, уха, кожи — в целях хорошей фиксации воспринятый должен также стоять на достаточной высоте. Итак, память есть прежде всего деятельность, функция, а не какое-то пассивное состояние нервной системы. Следовательно, те сложные явления, которые связаны с воспроизведением когда-то испытанных нами впечатлений, можно изучать вполне объективно, как изучают и другие проявления деятельности мозга.

Современная физиология считает, что память связана с появлением в самом веществе мозга следов физико-химического происхождения, которые остаются после каждого испытанного нами раздражения, например, вспышки света, сочетания звуков, созерцания какой-нибудь картины или прикосновения нашей руки к тому или иному предмету. Эти следы невозможно установить никаким, даже самым сильным, микроскопом и невозможно выявить даже самым чувствительным химическим реактивом. Тем не менее они существуют, при чем удается выяснить даже степень их значительности, в зависимости от времени, которое прошло после испытанного раздражения.

Не надо думать, что те следы, на которых основана наша память, хоть сколько-нибудь похожи на сравнительно грубые и раз навсегда зафиксированные изменения, которые, например, голос певца оставляет на поверхности патефонной пластинки или свет оставляет на ленте кино. Ведь эти следы, изменения чисто технического характера, будучи раз закреплены, не могут сами менять своей формы. Память же человеческая обладает замечательным свойством — высокой пластичностью, приспособляемостью к изменениям окружающих условий; мозговые следы обнаруживают свойство восстановления по мере необходимости.

Всем, вероятно, приходилось, пристально вглядываясь в изображение черного квадрата и переводя затем взор на какую-нибудь нейтрально окрашенную поверхность, увидеть здесь изображение того же квадрата, но только белого цвета. Это явление носит в физиологии название последовательного образа и представляет собой простейшее проявление памяти наших органов чувств, в данном случае — сетчатки глаза. Последняя способна не только запечатлеть данный образ, но и производить над ним определенную работу, например, превращать черный квадрат в белый по закону контраста.

Внешнее впечатление по зрительным нервам направляется, как известно, в головной мозг, в его затылочную долю. В сущности, здесь происходит (что касается дальнейшей судьбы возникшего в мозгу следа) нечто подобное тому, что наблюдается на периферии, в сетчатке, т.е. ряд превращений в зависимости от истекшего времени.

Однако различие между двумя формами следов (в глазу и в мозгу) принципиально очень большое. В то время как следы в глазу сохраняются, видоизменяясь в течение нескольких секунд, наш мозг способен сохранять память о событиях, происшедших несколько месяцев, лет и даже десятилетий тому назад. Есть такие впечатления, которые сохраняются людьми на всю жизнь. При этом, однажды достигнув какого-то минимального порога, следы эти способны снова усиливаться. Достигнув же известной ясности, они могут постепенно блекнуть, они могут вовсе угаснуть или, наоборот, проявиться еще несколько раз, в зависимости от обстоятельств.

На этой волнообразности «затухания» следов реальных впечатлений в нашем мозгу основано между прочим периодическое появление некоторых сновидений, например, когда видишь себя ребенком на экзамене и не можешь ответить на трудный вопрос. Эти воспоминания сродни не только сновидениям, но и фантазии. Последняя есть ведь в значительной мере также не что иное, как творческая, видоизмененная память.

Иногда говорят, что память свойственна не одному мозгу и не одним органам чувств, что она свойственна также и мышцам — и на этом стараются обосновать понимание всякого рода привычек и автоматизмов, например, когда человек работает всю жизнь на одном и том же станке или с одним и тем же инструментом и достигает высокого совершенства. Другие исследователи идут еще дальше и говорят, что память, под именем «мнемы», является наиболее общим свойством всей организованной материи и что дети похожи на родителей потому, что их органы обладают какой-то особой «памятью вида» (!). Этим же стараются объяснить и так называемые инстинктивные действия животных.

Наше современное естествознание совершенно отчетливо отличает такие врожденные акты, или безусловные рефлексы, как, например, витье гнезд у птиц, являющиеся результатом не памяти, а наследственной организации их нервной системы, от фактов индивидуального совершенствования, например, обучения различным новым привычкам, которое совершается благодаря установлению так называемых ассоциаций, временных связей, своего рода контактов в коре головного мозга, упомянутых выше условных рефлексов (И. Павлов, 1902). Последние необходимо отличать и от ориентировочных рефлексов, о которых мы говорили также и которые, по Павлову, лежат в основе нашего внимания.

Замечательное свойство коры головного мозга — не только устанавливать связи с окружающим миром, не только запоминать внешние предметы и явления, но и забывать их, устранив их из памяти по мере надобности — достигает своего наивысшего развития у человекообразных обезьян и в особенности у человека.

И. П. Павлов очень простым и изящным способом показал возможность изучения особенностей функций памяти одного из наиболее известных домашних животных — собаки. Сопровождая всегда действие какого-либо внешнего раздражителя, например звонка, подачею

пищи и получая всегда в ответ на действие звонка выделение определенного количества слюны из так называемой фистулы слюнной железы (обыкновенный условный рефлекс), он постепенно начинал растягивать действие звонка, воздерживаясь в то же время от подкрепления пищей, а иногда и вовсе прекращал звучание звонка. Таким образом, он воздействовал на собаку лишь следами бывшего физического раздражителя, которые могли сохраняться в памяти собаки, в функциях ее мозга. При этом слюноотделение постепенно начало запаздывать, а спустя известное количество проб приурочивалось довольно точно к концу введенной «пустой» паузы. Самая длительная пауза, доступная в данных условиях мозгу собаки, оказалась равной трем минутам.

Кривая постепенного и волнообразного затухания следа от бывшего звукового раздражителя оказалась настолько характерной и по форме настолько похожей на известную синусоидную кривую (наши опыты¹, 1923), что теперь можно с уверенностью утверждать: память есть функция коры мозга. Следы любого внешнего раздражения сохраняются в мозгу не как какие-то мертвые отпечатки, но каждый из них носит в себе определенный, временный знак, благодаря которому мы отмечаем прошедшее время от настоящего и «локализуем», закрепляем во времени все события жизни.

Наконец, было доказано, что мышцы, от которых зависят все наши движения, также способны служить для запоминания различных раздражений, но только совсем не таким способом, как это думали раньше, говоря об образовании так называемых двигательных навыков или мышечных автоматизмов. Сама мышца не имеет «самостоятельной» памяти. Каждая мышца при помощи чувствующего нерва соединена с мозгом. Она имеет своего представителя, нервную клетку в коре больших полушарий. Поэтому любое сделанное нами движе-

¹ «Архив биологических наук», т. 25, вып. 4—5.

ние отражается в той или иной степени на деятельности коры головного мозга и запоминается, т.-е. фиксируется здесь указанным физиологическим путем, на равных правах со звуковыми, световыми и иными раздражителями.

Все эти физиологические наблюдения, котормыи, разумеется, не исчерпывается разнообразие явлений, связанных со сложнейшими видами и формами памяти человека, подчеркивают, однако, важность и необходимость значительного числа повторений, совпадений во времени двух или более внешних раздражителей. для того, чтобы они могли лучше запомниться, т.-е. вступить между собою в связь, образовать ассоциацию.

С другой стороны, существует убеждение, что слишком частое повторение с целью закрепления в памяти или автоматизирования двигательного или словесного навыка является бесполезным и не достигает цели. Здесь мы опять-таки сталкиваемся с различным пониманием слова «автоматизация». Даже животное, испытанное по методу рефлексов, при многократном повторении условного раздражителя, не просто воспроизводит первоначальный эффект, но постепенно, вместе с повторением, очищает условный рефлекс от всевозможных сопутствующих раздражителей. Таким образом, повторение позволяет ему находить в самом раздражителе все новые и новые детали, анализировать этот раздражитель.

Что же сказать о человеке, у которого путем систематического и сознательного упражнения в заучивании разнообразных материалов с установкой на разные сроки их использования можно получить выдающиеся результаты!

Человек, в особенности учащийся, который упражняет свою память в процессе систематической работы, никогда не заучивает свой материал чисто механически. Это было бы простой и бессмысленной зубрежкой. Он всегда различает то главное и основное, что хочет запомнить. «Нам не нужно зубрежки, — писал Ленин, — но нам нужно развить и усовершенствовать память каждого

обучающегося знанием основных фактов...»¹.

Наша учебная работа отличается тем, что учеба имеет характер труда. Процесс обучения совершается при помощи всевозможных орудий труда и в определенной, в частности, социальной, обстановке. Учение — это труд, в котором память играет выдающуюся роль, но в котором участвует не только она одна. Успех запоминания зависит от того внимания, которое мы уделяем данному предмету, от полезности самого предмета, от устойчивости нашего интереса к нему и т. д.

Уже давнишние эксперименты психолога Эббингауса показали, что бессмысленные слова запоминаются в 20 — 25 раз хуже, чем осмысленный текст.

Возьмем самый общераспространенный пример — обучение ребенка пифагоровой таблице умножения. Конечно, она должна быть выучена наизусть, и, чем тверже, тем лучше. Обратимся к собственным школьным воспоминаниям. Легче всего нам давалась та колонка, которая содержит числа, кратные двум. В этом отношении сказывается особенная склонность наша к запоминаниям чередующихся явлений. Чет и нечет представляют собой наиболее простую систему для запоминания числа. Несколькo труднее давались нам числа, кратные трем и кратные четырем, хотя в таблице их по счету было меньше, чем при умножении на два. Что же касается чисел, кратных пяти, то тут вдруг наступало чрезвычайное облегчение запоминания: 5×5 , 5×6 , 5×7 — запоминались нами легко, как стихи. Это зависит от того, что 5 есть половина от 10, а 10 есть основа нашего счета. Пять — это количество пальцев на одной руке. И хотя мы теперь больше не считаем по пальцам, а пользуемся счетами или даже бухгалтерскими машинами, тем не менее число пять представляет собой определенный комплекс или определенную систему, и эта система чрезвычайно облегчает процесс ассоциа-

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. XXX, стр. 407, изд. 3-е.

ции, процесс запоминания, при изучении таблицы умножения.

Самыми трудными для запоминания являются, по данным авторов, работавших по этому вопросу, такие сочетания, как 7×8 , 6×9 . Для своего укрепления они требуют значительно большего числа повторений.

Другой пример: всякая ритмическая организация словесного материала, как и всякая симметрия в архитектуре, значительно облегчает процесс запоминания.

Это особенно резко сказывается при сравнении заучивания прозы с заучиванием стихов. Мы не хотим взять здесь для примера какие-либо пушкинские стихи, запоминаемые особенно легко благодаря их глубоко народному характеру, покоряющей силе художественных образов и музыкальной пленительности стиха.

Возьмем какое-либо место из произведений Байрона в русском переводе и попытаемся запомнить следующее четверостишие:

... Они идут. Готова им помочь,
Во тьме звездой путь озаряет ночь.
Уже ложится луч как будто спящий
На гладь реки, границею служащей.

Прежде всего, мы заметим, что запоминаются лучше не слова, а смысл и в особенности размер, ритм стихов. Прочтем эти стихи десять раз. Вот что примерно останется у нас в памяти (говорим это по собственному опыту):

Они идут. Готова им помочь
..... ночь
..... как будто спящий
На гладь реки служащей

Отметим, что начало и конец строфы запоминаются лучше других слов. Как видно, окончания строк — рифма — также помогают нам запомнить словесный материал.

Но и после того, когда стихотворение выучено целиком, лишь пройдет достаточно времени, и некоторые выражения и слова данного стихотворения начнут исчезать из памяти, заменяясь другими, равноценными, но не принад-

лежащими автору, и текст этого стиха придется возобновлять вновь.

Таким образом, наша память при всей ее точности никогда не работает механически. Все физиологические особенности в структуре нашего мозга, вся сложная динамика высших психических процессов принимает участие в запечатлении и в воспроизведении усваиваемого материала. Поэтому совершенно естественно, что для облегчения работы памяти человек уже давно придумывал ряд приемов, облегчающих сохранение все расширяющегося круга знаний, которые накапливаются в ходе развития нашей культуры. Самым поразительным в этом отношении примером является изобретение письменности и переход от так называемого китайского письма, где каждому слову и понятию соответствует специальный значок, к слоговому и, наконец, к буквенному письму, которым пользуемся мы с вами. Последнее облегчает нашу память в такой мере, что приобретение знаний становится массовым явлением, выводит науку из кастового состояния, когда она была достоянием одних только жрецов и авгуров.

Но прежде, чем перейти к вопросам технического облегчения нашей памяти, скажем несколько слов о возрастных изменениях силы памяти и о некоторых исключительных примерах способности запоминания. Известный интерес представляют также и различные виды или типы памяти, о которых имеется большая литература.

Начало воспоминаний относится обычно к четвертому — шестому году нашей жизни. Из 250 человек, детально опрошенных одним исследователем, только 28 человек могли указать единичные воспоминания, касающиеся второго года их жизни. Столь ранняя память представляет исключительное явление. Между прочим, такой именно блестящей памятью обладал И. П. Павлов, который, по его словам, помнил себя сидящим на руках у няньки. В это время ему не было еще двух лет!

Память человека развивается не сразу, а постепенно, притом толчкообразно, задерживаясь в одни годы и бы-

стрее развертываясь в другие. В этом отношении особенно характерен период полового созревания (14—16 лет).

Своего высшего расцвета, т.е. наибольшей продуктивности, память достигает к 20—25 годам, когда заканчивается и физический рост человека. К 40—45 годам память обычно начинает слабеть. По крайней мере первое, на что жалуются люди, приходящие в этом возрасте к врачу-невропатологу, — это ослабление способности запоминания. Однако этим явлением не следует смущаться и преувеличивать его значение. Упражнения самой памяти являются далеко не безрезультатными и в этом возрасте, когда формальная академическая учеба считается уже давно законченной.

Возможно ли укрепить память упражнением?

Можно ли, систематически занимаясь заучиванием наизусть определенных материалов, возобновляемым через определенные сроки, добиться общего улучшения памяти? Опыты, произведенные некоторыми учеными, и наши собственные наблюдения, охватывающие различные виды памяти, о которых ниже идет речь, показывают, что улучшение памяти вполне возможно в зрелом возрасте, как и в молодом.

Человек, посвящающий ежедневно, хотя и небольшое, но вполне определенное время упражнению памяти, добивается, в сущности, двойного эффекта. С одной стороны, он овладевает данным материалом, обогащая свой язык новыми литературными формами, а с другой стороны — он добивается улучшения функции памяти.

Сравнительно еще недавно большое внимание обращалось на характеристику различных видов или типов памяти, которые и в самом деле имеют большое, хотя и не решающее, значение в технике нашего запоминания.

Известно, что одни люди имеют зрительный тип памяти: таким людям особенно легко запоминается то, что им пришлось видеть, хотя бы однажды в жизни. Они, например, отлично запоминают лица знакомых, хорошо представляя себе их внешность. Читая кни-

ги, такие люди точно могут сказать, на какой странице и каким шрифтом написана данная фраза. Этот вид памяти особенно развит у художников. Стоит им закрыть глаза, и предмет со всеми подробностями появится перед ними. Такой способностью часто обладают и дети в возрасте 8 — 12 лет. Позже эта способность, если ее не упражнять, сглаживается, исчезает.

Другие лучше всего запоминают звуки, слова, музыкальные фразы. Для них думать о человеке, значит, в сущности, вспоминать его голос, речь. Этот вид памяти оказывает также существенные услуги.

Человеку со слуховой памятью гораздо легче запомнить музыку из «Евгения Онегина», чем пересказать, какие были декорации и костюмы в первом или во втором действии, о чем всякий другой человек расскажет без труда.

Такие люди очень часто попадают среди музыкантов.

Именно на примере музыкантов и живописцев можно прекрасно проследить развитие специальных видов памяти. Это развитие, в сущности, не прекращается в течение всей жизни. Рисование на память, т.е. упражнение зрительной памяти, считается одной из основ графического образования. Тот музыкант, который играет только с листа, — плохой музыкант. Поэтому и писатель, который имеет дело с организацией еще более сложного материала — материала словесного, логического, связанного иногда с описанием целых исторических эпох, с отображением различных типов человеческой психологии, не может довольствоваться своей естественной памятью, но должен постоянно заботиться о ее расширении и техническом оснащении.

Большое значение приобретает вопрос о различных средствах облегчения творческой памяти, об организации достаточно совершенной технической справки, если угодно, об особой дисциплине — мнемотехнике.

В былое время большое значение придавалось так называемой мнемонике т.е. искусству запоминания. Важную роль играет также и изучение индиви-

дуальных свойств работника (типов памяти), выяснение индивидуальной быстроты и темпов заучивания.

Что касается современных способов организации научной и технической справки, то этим занимаются в настоящее время большие научные институты, книгохранилища и бюро обслуживания людей, занимающихся проблемами науки и техники.

Ежегодно выпускаются целые томы справочников, содержащие тысячи имен работников, проявивших себя в основных областях науки и техники, и перечни научных статей и других материалов, вышедших за данный период.

Можно ли при этих обстоятельствах, в условиях огромного накопления новых знаний, рассчитывать на одну лишь собственную, пусть и весьма совершенную, память? Здесь больше, чем где-либо, встает вопрос о рационализации тех приемов, которыми мы пользуемся при умственном труде. Пользуясь помощью всякого рода реферативных материалов и энциклопедий, необходимо организовать свое собственное рабочее место с таким расчетом, чтобы максимально разгрузить свою память, отдав свои способности не только процессу накопления, но и процессу творчества, которое требует особого напряжения и особой концентрации внимания. В этом отношении огромную услугу может оказать и уже оказывается так называемая десятичная система организации любых материалов, принятая во всемирном масштабе для библиотечного дела.

Десятичная система представляет то огромное удобство, что исходит из наиболее естественного способа исчисления, о котором говорилось в связи с таблицей умножения. Знак «0» в этой системе обозначает всегда вводную часть. Знаками 1—9 обозначают все существующие разделы человеческого знания, разумеется, чисто условно. С каждым из этих знаков у нас ассоциируется определенный раздел знания. Весь многоликий книжный материал укладывается в одну систему, обуславливая значительное облегчение всяких поисков литературы.

Дальнейшее, более детальное определение материала достигается указанием следующих по очереди десятичных знаков.

Десятичная библиотечная система содержит обычно 6 знаков и дальше этого не идет. Но там, где общая система кончается, там индивидуальная система организации собственного материала может только начинаться. Это зависит от нас самих, от любви к систематичной работе.

В той области, где работает данный исследователь, он создает свою собственную классификацию материалов, свою личную систему разгрузки памяти, и весь вопрос заключается лишь в том, насколько эта система целесообразна и экономна.

Даже простая записная книжка, представляющая своеобразную «опору» для памяти, может быть организована плохо или хорошо — в зависимости от степени организованности ее владельца.

★

В заключение скажем несколько слов о так называемой мнемонике — сумме технических приемов, способствующих запоминанию отдельных слов, выражений и формул.

Не будем говорить здесь о том, что некоторые научные сочинения, например XVIII века, в целях лучшего запоминания излагались стихотворным размером. Так, Ломоносов излагал стихами начатки минералогии и геологии. Существует множество способов запоминания отдельных трудных формул и числовых выражений, которые основаны на том, что числа, по возможности, заменяются буквами и из букв складываются слова, образующие логическую структуру.

Сюда же относятся и практикуемые в широких размерах способы запоминания всякого рода условных знаков, употребляемые в технике связи, например, знаков азбуки Морзе.

Последняя, как известно, состоит из длинных и коротких звуков или, в графическом выражении, из черточек и точек.

Чтобы запомнить, сколько и каких знаков входит в обозначение каждой буквы, употребляют ряд вспомогательных мнемонических слов, разбитых на слоги, при чем слоги, содержащие буквы «а», обозначаются точкой, а не содержащие этой буквы изображаются черточкой.

Таким образом, буква «б» запоминается через вспомогательное слово «Бессарабка» (одна черточка и три точки). Буква «в» — через слово «Вавилон», что соответствует одной точке и двум черточкам, и т. д.

Наконец, что касается изучения иностранных языков, заучивания большого количества слов и установления соответствия с их значением в русском языке, то здесь техника памяти — мнemo-

техника — играет огромную роль, особенно на первых порах, когда количество логических связей между словами изучаемого языка еще не очень велико.

Здесь каждый человек создает себе собственную систему облегчения запоминания, улавливая малейшее сходство в начертании или в произношении слов родного и иностранного языка, например, русское «давать», латинское «dare», французское «donner» и т. д.

Разумеется, в дальнейшем, по мере изучения ряда языков и установления общих корней слов, процесс запоминания значительно облегчается, количество соответствующих связей в мозгу оказывается огромным, и мнемонические приемы становятся более ненужными.

Повесть о хлебе

(«ХЛЕБ» Ал. Толстого)

А. ГУРШТЕЙН

★

На карауле у дверей товарища Лени-нина в Смольном стоял двадцатидвухлетний кузнец Путиловского завода Иван Гора. Восьмой сын у своего отца, так называемого «иногороднего» жителя донской станицы Нижнечирской, рабочий прославленного в революции завода, Иван Гора еще недавно сам был мужиком, — живое олицетворение нерушимого союза рабочих и крестьян, на котором покоится победа Великой Октябрьской социалистической революции.

Победившая революция поставила Ивана Гору на часах у дверей Ленина, — со всех сторон суживалось вражеское кольцо, предстояла трудная кровопролитная борьба с оголтелым врагом, не желавшим сдавать своих последних позиций, борьба за утверждение и укрепление победы. В худой бекеше, с винтовкой в руке, стоял на страже революции Иван Гора. А из кармана тянуло печеным запахом хлеба: это был паек — «ломоть ржаного хлеба, сладко пахнувшего жизнью»...

Целые столетия боролись предки Ивана Горы, боролось все угнетенное человечество за хлеб, потому что он пахнет жизнью. Победа нашей революции обеспечивала трудящимся горы хлеба, но это было в перспективе, а в первые дни и годы, годы гражданской войны и доставшейся от прошлого разрухи, хлеба не было. Надо было обеспечить хлебом революцию, — и ярчайшим эпизодом в борьбе за хлеб для

революции была героическая оборона Царицына.

Так исконная мечта трудового человечества о счастливой жизни, о хлебе неразрывно сплетается в нашей революции с задачами борьбы, обороны. Эти две темы — тема хлеба и тема обороны — сплетаются и в новой повести А. Толстого, носящей заглавие «Хлеб» и подзаголовки «Оборона Царицына».

С точки зрения жанра, новая повесть А. Толстого представляет большое своеобразие: художественная ткань повести перемежается с документированным историческим повествованием о событиях того времени. Не даром вслед за обозначением жанра своего нового произведения как повести автор сообщает в сноске, что повесть написана по документам и материалам редакции «Истории гражданской войны». Историческое свое повествование автор ведет то в тоне хроники, то в тоне общающих выводов, то в тоне публицистического раздумья. Рядом с этими «кусками» подлинной истории и с подлинными ее действующими лицами живут образы, созданные художественной фантазией, — они дополняют и подтверждают друг друга, живут одной жизнью.

Формально повесть А. Толстого «Хлеб» примыкает к его книгам, составляющим трилогию «Хождение по мукам». Но какая огромная разность в общем настроении! Там Толстой еще

искал ответа на вопрос о дальнейших путях своей страны. Эпиграфом для первой книги трилогии («Сестры»), написанной в 1921 году, Толстой взял скорбный возглас из «Слова о полку Игореве»: «О, Русская земля!». А теперь писатель твердо знает, что «Россия итти независимым, никем еще никогда не хоженым путем», потому что незыблемо и навечно утвердился в ней новый строй, о котором мечтали лучшие умы человечества. Проблема родины решена А. Толстым как проблема социалистической родины. Вот почему те нотки сомнения и колебаний, которые звучали ранее в произведениях Толстого, совершенно исчезли, уступив место твердой уверенности в социалистической родине.

Писатель рассказывает, как в трудные дни революции, в ночной холодный час Ивана Гору начинало, как будто, брать сомнение... «Замахнулись на большое дело: такую страницу поднять из невежества, всю власть, всю землю, все заводы, все богатства предоставить трудящимся!..... Длинен путь, хватит ли сил, хватит ли жизни?».

Но вот послышались чьи-то шаги, в коридоре «смутно показался человек в шубе, наброшенной на плечи». Это был Ленин. «При взгляде на этого человека пропадали сомнения». Потому что Ленин видел в своем историческом прогнозе осуществленную мечту человечества: «социализм был для него так же реален и близок, как свет рабочей лампы, падающий на лист бумаги...». И от соприкосновения со словом и делом Ленина и для Ивана Горы становилась «всякая даль близка».

А. Толстой в своей новой повести решился изобразить не только рядового, массового человека революции, рабочего, крестьянина, представителей интеллигенции, но дать образы вождей революции, тех неповторимых людей истории, чьим гением революция направлялась и направляется в своем победоносном движении.

Время действия — трудные и слабые дни 1918 года. Начало года совпало с мирными переговорами в Брест-Литовске, где в поединке с германским

империализмом решалась ближайшая судьба революции и где своим предательским авантюризмом Троцкий поставил эту судьбу ее на карту. Предательской линии Троцкого, выдвигавшего формулу «ни мира, ни войны», и так называемых «левых», требовавших «революционной войны», — Ленин противопоставлял ясное и совершенно четкое требование немедленного мира, потому что мир давал возможность получить «известный период развязанных рук для продолжения и закрепления социалистической революции». Речь шла о спасении революции, которой «на свете сейчас ничего нет важнее». Все помыслы Ленина, все его движения подчинены были одному делу — делу социалистической революции, делу построения социализма.

Скупыми, но четкими чертами набрасывает А. Толстой внешний портрет Ленина.

«Вошел Владимир Ильич, всё в том же поношенном пиджачке, свой, простой... Он сел в конце стола на дубовый стул со спинкой — выше его головы. Быстро оглядел худые, морщинистые, суровые лица рабочих, и по глазам его, желтоватым и чистым, с маленькими, как просинка, зрачками, было заметно, что сделал соответствующий вывод».

Умение сделать все выводы из создавшейся обстановки и всегда наметить ту основную задачу, которая выдвигается положением, тончайший анализ, глубочайший синтез, гениальный прогноз, — вот те черты, которые характерны для Ленина как учителя и вождя революции. А. Толстой дает ряд эпизодов, в которых ярко сказываются эти черты. Вместе с тем Ленин никогда не перестает быть «своим, простым» для рабочего человека, которому он посвятил всю свою жизнь и все свои силы.

Великий вождь воспринимается Иваном Горой, как родной и близкий человек, как друг.

Дверь, которая вела в приемную Ленина, приоткрылась, «вошел человек с темными стоячими волосами и молча сел около Ленина». Это вошел ближай-

ший и лучший ученик Ленина, его сподвижник и соратник, его первый помощник, который всегда, в самые трудные моменты революции, был рядом и вместе с Лениным. «Нижние веки его блестящих темных глаз были приподняты, как у того, кто вглядывается в даль». Он охватывал взором безбрежную даль, — этому провидению он учился у своего великого учителя.

Большое впечатление производят страницы, рисующие беседу Ленина со Сталиным тихим весенним вечером в Кремле. Сталин выдвинул задачу обороны Царицына как основного форпоста революции, как питающей ее артерии. Ленин, чьи мысли были сосредоточены «на вопросе о главном — о хлебе», радостно подхватил план Сталина. Стал ясен и определился центр борьбы. Ленин откинулся в кресле, «лицо его стало оживленным, лукавым». И Сталин со сдержанным восхищением «глядел на этого человека — величайшего оптимиста истории, провидящего в самые тяжелые минуты трудностей то новое, рождаемое этими трудностями, что можно было взять как оружие для борьбы и победы»...

«Основная тема» на ближайший период — «тема» обороны Царицына ради хлеба для революции — была намечена, и Сталин, с обычным для него спокойствием и несокрушимой стальной силой, стал овеществлять эту «основную тему». Автор показывает, каким средоточием событий становится сталинский вагон на путях юго-восточного вокзала в Царицыне, как, очищая армию от вредительского руководства пригретых Троцким, замаскированных белогвардейцев, преодолевая все препятствия, организуя, руководя и воодушевляя, Сталин решает жизненную проблему революции, проблему обороны и хлеба. Речь шла о спасении революции, — революция была спасена.

Всегда следуя указаниям Ленина, который проявлял исключительное внимание к организации вооруженных сил революции, к которому сходились нити со всех фронтов гражданской войны, Сталин всегда появлялся на самых опасных участках фронта, где требовалась

могучая большевистская воля, где решалась судьба революционной борьбы. Сталин был ближайшим соратником и постоянным военным советником Ленина.

Величайший оптимизм Ленина всецело оправдал себя, потому что он построен был на пристальном изучении действительности, на доподлинной жизни: социализм стал благодаря делу Ленина—Сталина объективной реальностью, социализм вошел в наш быт. Ощущение этой социалистической реальности обратным светом освещает трудные годы борьбы, о которых рассказывает повесть А. Толстого, те трудные начальные годы, когда камень за камнем закладывался фундамент могущественного социалистического государства.

«Дворцы будем строить, — потерпи немного» — говорил уверенно Иван Гора бедной вдове Карасевой. Вдова не дождалась этих светлых дней, ее убили белогвардейцы, но дети ее, Алешка и Мишка, — прекрасные детские образы, с внимательной теплотой выписанные А. Толстым, — знают, что не даром было пролито столько рабочей крови в боях за нашу революцию.

Трогательно звучит сейчас, в дни гигантского строительства сталинских пятилеток, рассказ о том, как ворошиловские отряды почти с пустыми руками, не имея нужных материалов, со сказочной быстротой восстановили пролет взорванного белогвардейцами моста. Деревянные устои — двенадцать тридцатисаженных клетчатых башен — скрипели и пружинились под тяжестью поезда, но тяжесть поезда выдерживали отлично. А героические безымянные «строители первого советского чуда», стоя на песчаной отмели, махали ветками и сопровождали радостными возгласами медленно и осторожно движущийся поезд. Уже тогда, в первые годы гражданской войны, загорелся героический пафос социалистического строительства!

С особенным вниманием А. Толстой следит за тем, как «начали обозначаться первые очертания костяка Красной армии».

«Всю ночь, — рассказывает писатель, — отходили поезда на Псков и Нарву. Многие из рабочих первый раз держали винтовку в руках. Эти первые отряды Красной армии были еще ничтожны по численности и боевому значению. Но у людей — стиснуты зубы, напряжен каждый нерв, натянут каждый мускул».

Выставшие то здесь, то там, поднимавшиеся против врага с оружием в руках партизанские отряды все более и более сплачивались единой волей революции и переходили от решения локальных задач, ограниченных защитой своей только местности, к решению задач общереволюционного порядка. А. Толстой показывает, как росло революционно-политическое сознание бойцов и какую огромную организующую роль сыграл в этом отношении Климент Ворошилов, сначала комиссар луганского отряда, а потом командующий армией и фронтом. «Мы, — говорил Климент Ефремович, обращаясь к казакам, присоединившимся к красным, — часть нашей создаваемой единой Красной армии, дерущейся за землю и мир всех трудящихся!». Легендарный поход Ворошилова с тысячами вагонов военного имущества на соединение с Царицыном был подчинен единому, тщательно обдуманному плану, — и «такое решение принципиально уже отличалось от партизанских действий красных отрядов». Так в боях гражданской войны рождалась, росла и закалялась наша могучая и славная Красная Армия!

Климент Ворошилов выступает перед нами как полководец, который своим непосредственным участием в гуще военных событий, выдержкой, храбростью и мужеством дает бойцам личный пример. Он зажигает всех бойцов, вселяет уверенность в колеблющихся. Тезис об единой Красной Армии, подчиненной единому революционному командованию, претворяется в живую жизнь. Отдельные разрозненные отряды стягиваются в единую армию, военное действие одушевляется единым сознанием, осмысливается последовательно проводимым планом. Мы видим, как вырастает тот огромный опыт, который впослед-

ствии превратит бывшего комиссара луганского отряда в первого маршала великого Советского Союза, в народного комиссара обороны, в славного руководителя непобедимой Красной Армии.

Одновременно автор зарисовывает сподвижников Ворошилова по гражданской войне: Пархоменко, молодого, рано погибшего Колю Руднева, помощника командира отряда, будущего маршала Семена Буденного...

Батальная живопись занимает большое место в новой повести А. Толстого. Мастера классической литературы оставили нам образцы батальной живописи, и у них А. Толстой научился тому, что война — трудное и кровавое дело. Его батальные сцены весьма далеки от сусальных «ура»-изображений и ложного пафоса. Писатель правдиво изображает борьбу человеческих чувств перед грозным лицом смерти. Но, подчиняясь требованиям той же правдивости, А. Толстой дает картины подлинного героизма и прекрасного мужества Красной Армии, тогда еще молодой, только еще собиравшей свои силы, в труднейших, невероятных условиях пролагавшей себе путь под непрерывным обстрелом врага, хорошо вооруженного и оснащенного на средства объединенной капиталистической интервенции.

С точки зрения художественной полноценности, наиболее удался автору образ Агриппины, прекрасный образ молодой казачки, крестьянской девушки, на наших глазах вырастающей в советскую женщину, беззаветно борющуюся за свободу и счастье народа и страны. Это — молодая, красивая, смелая, независимая девушка, дочь трудового народа, которая органически не может поступиться своей честью, своей любовью, своей правдой. Общепсихологическое содержание образа Агриппины не ново для русской литературы, традиция его идет еще от «Казачков» Л. Н. Толстого. Но А. Толстому удалось художественно воплотить в Агриппине то новое человеческое качество, которое породила наша великая революция.

Агриппина любит обиходной девичьей, женской любовью Ивана Гору, который борется с винтовкой в руках

на фронтах революции, а ей, одинокой девушке, беззащитной, приходится терпеть у себя в станице назойливые приставания станичника-богатея, у которого она батрачит. Она убивает его в тот момент, когда хозяин пытается ее изнасиловать. После убийства она бежит из станицы. Перед ней замыкается круг: «выхода нет», — говорит она сама, когда приходит к красным просить винтовку. Ее привели к революции поиски «выхода», то непреодолимое стремление к жизни и свободе, которое подняло весь трудовой народ против старого, эксплуататорского общества.

Прекрасные простые слова нашел А. Толстой для изображения любви Агриппины и Ивана Горы, для изображения тех простых человеческих чувств, которыми движется жизнь.

«Все-таки была же она девкой, и было ей девятнадцать лет, и теплая звездная ночь, звенящая кузнечиками, пахнущая полынью, казалась ей, — после дневной перестрелки с казаками, целого дня злобных криков и матерщины, — казалась ей прекрасной: Агриппина шла и напевала...».

От встречи с Агриппиной Иван Гора ощутил до тех пор неведомое ему чувство счастья. «В обстановке боя думать было некогда. Но счастье казалось таким широким, что Иван только удивлялся. Никогда бы не поверил — расскажи ему раньше про какого-нибудь серьезного человека, который из-за пустяка, не стоящего и разговора, из-за того только, что побыл с девкой наедине у колодца, почувствовал в груди небывалое мужество...».

Чувство любви переплетается у Ивана Горы и Агриппины с сознанием общей борьбы за общее дело. «Бой, смерть, кровь — это паяет человека с человеком...». Их участие в боях за оборону и счастье родины скрепило их союз на всю жизнь. В этих же боях Агриппина выросла, крестьянская девушка превратилась в советского человека, в гражданина социалистической страны.

Вся книга выдержана в тех простых тонах, которые обычно свойственны

правдивому рассказу о больших человеческих делах и которые вообще характерны для лучших произведений А. Толстого. Сила А. Толстого как художника сказалась и в художественной манере рассказа, в прямом развертывании повествования, без излишних вступлений и отступлений, без обиняков, без груды метафор и перифраз. Это тем более надо отметить, что метафоричность у некоторых наших писателей достигла таких размеров, что это стало отражаться даже на содержании их произведений, которое подчас само стало приобретать метафорический характер, теряя свое прямое и односмысленное значение.

В этом прямом ходе рассказа, без назойливой метафоричности, без переносных значений, чувствуется большая уверенность художника.

Вот Иван Гора после долгой разлуки встретил в походе любимую девушку — Агриппину. «В круглых карих глазах ее было такое изумление, такая радость...». Иван с Агриппиной зашли на опустевший казачий двор, подошли к колодцу.

«Иван Гора сидел около, держа между колен винтовку, глядел, как Агриппина вытягивала на веревке деревянную бадью и, подхватив ее за дужку, откидывалась — сильная, стройная, — выливая воду и снова опускала бадью в колодезь и усмехалась оттого, что ей было приятно — вот Иван сидит около и смотрит на нее».

Ни одной метафоры, ни одного эпитета («сильная», «стройная» — простые определения), ни одного сравнения. А если А. Толстой уж прибегает к сравнениям, то это — сравнения простые, содержательные, которые помогают раскрыть сущность, а не затемняют ее чуждыми или сторонними ассоциациями. «Иван, как подсолнух, поворачивался к ней...». Толстой не боится даже такого, казалось, банального сравнения: «расцвела, как роза». Потому что и «роза» приобретает утерянную свою первичную простоту в соседстве с теми простыми словами, какие художник находит для изображения Агриппины:

«Тогда она вдруг, первый раз, засмеялась, — брови ее по-детски разошлись, лицо стало круглым, милым, открылись ровные зубы, — расцвела, как роза».

Книга написана уверенной рукой большого художника. Но охватываемый автором материал так значителен и обилен, что для его художественного претворения нехватает пределов повести. Автор часто прибегает к фрагментарному, эскизному рисунку. Полноценный художественный образ подменяется часто портретом, а порой даже силуэтом.

Действие автор переносит с места на место — из Петрограда на Дон, в Донбасс, из Москвы в Царицын, и так далее, и так далее. Описание заседания во время брестских переговоров о мире перемежается с беседой белых офицеров в вагоне, с батальными картинками. Из Смольного и Кремля мы попадаем в домишко вдовы Карасевой за Нарвскими воротами, во двор донской станицы. Эта калейдоскопичность в смене людей и местностей не могла, конечно, не от-

разиться на полноте изображения, но, даже торопясь, рассказчик умеет выбрать яркую, характерную черту, которая смогла бы восполнить отсутствующие подробности описания.

Большой художник узнается даже по эскизам и этюдам. Мы знаем А. Толстого, как автора «Петра Первого», мастера большого исторического полотна. И мы уверены, что Толстой еще вернется, не сможет не вернуться к тем событиям и вершителям этих событий, о которых он рассказал в своей новой повести «Хлеб».

Исторический размах этих событий, овеянных дыханием вождей нашей великой революции, требует для своего художественного воплощения эпопеи. У большого советского писателя А. Толстого есть все предпосылки для работы над такой эпопеей. Об этом свидетельствует — в ряду других свидетельств — его повесть «Хлеб», книга, воссоздающая прекрасные картины социалистической обороны, проникнутая подлинным советским патриотизмом.

А. М. Горький

ПИСЬМА И ВСТРЕЧИ

Д. М. СЕМЕНОВСКИЙ

★

Учась в четвертом классе владимирской духовной семинарии, я вступил в подпольный революционный кружок. Члены кружка сходились в архиерейском монастыре, в камерке знакомого певчего, где, распивая чай, читали запретные книги и вели вольнодумные разговоры.

Незадолго до рождественских каникул кружок организовал в семинарии забастовку. Пятьсот рослых, крепких бурсаков, прервав занятия, собрались в актовом зале, помяли бока приехавшему архиерею, выгнали инспектора. Затем, укрепив в дверных ручках швабры, бурсаки устроили митинг.

Семинарское начальство проявило в усмирении забастовщиков чисто жандармскую решительность. В актовом зале были введены солдаты, раздалась отрывистая команда:

— На при-цел!

Испытывая крепость бурсацких нервов, отряд направил на толпу дула винтовок. Стрельбы, однако, не последовало.

Зачинщиков — их начальство насчитало семь человек — по этапу выслали из Владимира. К злополучной семерке был причислен и я. Как и другие, я получил волчий билет. Пути к дальнейшему учению оказались для нас закрытыми.

Зима прошла для меня в скитаниях по родственникам и знакомым и в писании стихов. Товарищи поступали в псаломщики, некоторые мечтали подго-

товиться на аттестат зрелости. Мне тоже нужно было зацепиться за что-то, найти в жизни свое место.

В этот переломный момент моей юности что-то потянуло меня к Горькому. Почему-то верилось, что он не только может дать оценку моим стихам, но и вообще посоветует, как мне быть.

И вот я послал Горькому через журнал «Просвещение» несколько стихотворений. В короткой приписке к ним я спрашивал Алексея Максимовича: есть ли у меня талант и где можно учиться девятнадцатилетнему человеку, лишенному права поступления в средние учебные заведения России?

Я писал это 1 мая 1913 года, под пение птиц и лепет колыхавшихся за окном ветвей. В конце мая старичок-рассылный принес в наш сельский дом пакет. Бросился в глаза почтовый штемпель: «Капри». Сильно забилося сердце. Я нетерпеливо вскрыл конверт.

«Стихи ваши оказались мне недурными, — писал Алексей Максимович, — я послал их «Просвещению», где они, наверное, будут напечатаны. Присылайте еще...

Искра божья у вас, чуется, есть. Раздувайте ее в хороший огонь. Русь нуждается в большом поэте. Талантливых — немало, вон даже Игорь Северянин даровит! А нужен поэт большой, как Пушкин, как Мицкевич, как Шиллер, нужен поэт — демократ и романтик, ибо мы, Русь, — страна демократическая и молодая.

Ищите себя. Всех слушайте, всех читайте, — никому не верьте и везде учитесь. Сим и можете победить. Куда вам поступить учиться? Ну, в этом я вам не советчик, не знаю куда. Но — пишите мне почаще, что-нибудь надумаем...».

Трудно передать, каким праздником было для меня это письмо. Гордый вниманием Горького, я поверил в свои силы и способности. Будущее теперь не казалось мне таким смутным и неопределенным, как раньше.

Я продолжал писать Алексею Максимовичу, посылая ему новые стихи. В ответ приходили его строки, написанные прямым, круглым, будто клящимся, почерком, всегда на плотной — в удлиненную клеточку — бумаге. Тем же почерком по-итальянски и по-русски был исписан и конверт. В итальянской части адреса Горький прибавлял к фамилиям своих корреспондентов слово «сеньор», что весьма повышало самоуважение людей вроде меня — с волчьими билетами.

Много радости принесла мне книжка «Просвещения» с напечатанными стихами, а первый, четырехрублевый гонорар вызвал приятное ощущение относительной независимости.

В ту пору московский меценат Шахов отправил одного из семинаристов, исключенного вместе со мною, доучиваться в Швейцарию. Другие изгои, обратившиеся за помощью к Шахову, успеха не имели. Я рассказал об этом Горькому.

Он отвечал:

«... Жаль, что вы не попали за границу, она многому и хорошо учит.

Велика ли стипендия нужна вам и на какой срок? Сообщите».

А в следующем письме Алексей Максимович извещал меня:

«... Учиться необходимо, избежать солдатчины надо.

Стипендию вам — р. по 300 в год — я найду, недостаток доработаете сами. Изнурять себя непосильным трудом и голодовками в юности — вреднейшая вещь, от этого большая часть нашей интеллигенции и худосочна, и нетрудоспособна.

Я написал знакомой моей***, чтобы она выслала вам р. 50 на тот случай, если б вам понадобилось съездить в Москву хлопотать о поступлении в университет или институт. Вероятно, в скорости вы получите деньги эти. Затем мы с вами точно договоримся о самой стипендии, — как, в какие сроки, откуда вы будете получать ее.

Об участии моем в делах ваших никому не байте, это может дурно отозваться на полицейской благонадежности вашей...».

Следуя совету Горького, я не разглашал своих отношений с ним. Но «шила в мешке не утаишь», — моя переписка с Алексеем Максимовичем не осталась тайной для жандармов. После революции копии писем были найдены во владимирском охранном отделении.

Скоро я узнал, что необходимые мне деньги будет давать сам Алексей Максимович.

Мне сообщили адрес недавно приехавших с Капри писателей: Б. А. Тимофеева и А. С. Новикова-Прибоя.

Тимофеев и Новиков жили на Таганке в общей квартире.

От них я много узнал о Горьком, о его внимательном отношении к талантливым людям. Новиков своим тамбовским говорком рассказывал о писательской взыскательности Горького, о его строгости в оценках работы и роста литераторов.

Горьковскую строгость пришлось испытать в те дни и мне. В моих литературных вкусах и суждениях было много незрелого, наносного, взятого напрокат. Не умея уважать свое, индивидуальное, я рядился в платье с чужого плеча.

Такой маскарад вызвал со стороны Горького резкую критику:

«... Вы еще молоды, но у вас есть кое-что свое, это вы и должны беречь, развивать, говорить же, что «я решил быть поэтом прекрасной дали, грядущего Эдема, града невидимого и влюблен сейчас в слово «Рай», — все это вам не нужно. Все это — дрянь, модная ветошь, утрированный лубок и даже языкоблудие... Вообще же учиться нужно по Пушкину, а от того, кто

скажет вам, что Пушкин устарел, — идите прочь!..

Вы пишете: «исключительно гражданским поэтом быть нельзя», — а разве вас кто-то приглашает именно на эту роль? Я не знаю, что такое гражданский поэт и военный, я знаю только хороших поэтов и плохих. Нужно стремиться быть именно хорошим, серьезным поэтом, а для сего необходимо выкинуть вон из головы всю современную бутафорию и театральщину, все эти «дали», «Эдемы», «фиалы», дохлых «Прекрасных дам» и прочую дребедень. И чем скорее это будет сделано, тем лучше для того, кто это сделает. «Гражданственность» же доступна только таким великим поэтам, как Гюго, Верхарн, — о ней вы подождите думать. Пишите просто, искренно о своей душе и от своей души, никому не поддаваясь, никого не слушая — ни меня, ни ... овых, никого! У всех учиться, никого не слушать, — вот что хорошо для вас, как и для всякого, начинающего говорить с миром.

На сердитое письмо не обижайтесь. Это слова сердитые, а не мысли...».

Сердитое письмо, конечно, не обидело меня, так как я понимал, что строгость Горького идет от великой любви к литературе и от искреннего желания помочь мне.

За «сердитыми» строчками я чувствовал заботу и внимание.

Тысячи километров отделяли Москву от Капри, но благодаря письмам, встречам с друзьями Горького, разговорам о нем я ощущал Алексея Максимовича где-то совсем рядом. Атмосфера, которой я дышал, была проникнута обаянием его личности.

Среди духовного опустошения кануна мировой войны имя Горького было символом жизни, надежды, бодрости. К его голосу прислушивалась вся передовая часть народа.

★

Выделив стипендию на мое образование, Горький и сам воспитывал меня, как других, начинавших «говорить с миром».

Никакой учебник литературы не мог дать того, что я находил в горьковских письмах.

Алексей Максимович внушал, что труд писателя — это подвиг. Напутствуя меня на работу поэта, писал:

«Не забывайте, что литература у нас, на Руси, дело священное, дело величайшее».

Напоминал о связи слова с жизнью, о требованиях, которые предъявляет писателю действительность:

«Русь нуждается в бодрых песнях, довольно минорничали».

Убеждал расширять круг чувств и настроений:

«Лирик вы. Это — хорошо. Но — иногда человек должен схватить сам себя за сердце, нет ли там, в сердце, кроме тихой грусти, — горькой усмешки, гневной искорки, иронического яда? Уж если вы выходите на люди — показывайте себя богаче, всего себя развертывайте...».

И повторил эту мысль в другом месте:

«Не настраивайте своей души на один тон, а старайтесь, чтоб она говорила всеми глаголами, чтоб ничто не было чуждо ей. Не обижайте себя».

Заметив, что вас особенно усиленно тянет к чистой лирике, попытайтесь поискать, нет ли рядом с этим тяготением чего-либо иного, противоречивого ему? Развертывайте себя шире, раскрывайте глубже...».

Иногда Горький давал и темы. Когда я уехал на лето в родное село, он советовал:

«Вот теперь, живя в деревне, вспомните город, сопоставьте его с деревней, может быть, хорошо будет?».

Алексей Максимович звал всматриваться в людей, вдумываться в жизнь и быт. Заставлял говорить о том, что пред глазами, а пред глазами у меня была деревня с ее мелкособственническим укладом, с притупляющим трудом в будни, с пьяными драками по праздникам.

Горький подсказывал:

«О сенокосе писали?»

О лесных пожарах хорошо можно написать...».

Спрашивая, не пробовал ли я писать прозой, предлагал:

«Напишите прозой праздник в деревне, как вы его видите, и будни? Попробуйте!»

Коротко, просто и так, будто вы все это сердечно любимой вами девице пишете или рассказываете матери, которую тоже любите глубоко, страстно и бережно».

Стремление к простоте, к сжатости, к искренности Горький считал обязательной предпосылкой удачной работы.

Осуждая современных «книжников и спортсменов слова» за увлечение звуковыми эффектами, он утверждал:

«Что будет с ними дальше, не знаю, но пока — они все еще музыкантствуют. Я не отрицаю музыку слова, но хорошая музыка всегда проста, все хорошее просто, а «косицы» и «косит-ся» — и не просто и не хорошо».

И настаивал на том, чтобы я учился у Пушкина и других классиков, знакомился с фольклором. Первые же обращенные ко мне строки Горького начались советом:

«Читайте почаще Пушкина, это — основоположник поэзии нашей и всем нам навсегда учитель. Тем, кто кричит, что Пушкин устарел, — не верьте, — стареет форма, дух же поэзии Пушкина нетленен. И в поэзии надо быть хоть немного историком, т. е. человеком, честно и сознательно относящимся к своему историческому вчера...».

Проводя линию от Пушкина к нашим дням, Горький, в противовес новшествам литературной моды, выделял в современной поэзии пушкинскую реалистическую традицию.

На мое решение прочитать Пушкина заново Горький отозвался такими строчками:

«Приятно знать, что вам более не нравится ...ов и что вы читаете Пушкина, — этот испортить вас не может, но может обогатить. Посмотрите, как широк диапазон его интереса к жизни, как много он охватил на земле, ему равно доступны и русская сказка и «Скупой рыцарь», «Борис Годунов» и работник Балда, — вот как нужно брать жизнь!..

Прочитали бы вы после Пушкина-то Шелли и Гейне, почитайте Мицкевича, Сырокомлю, — последний не велик поэт, но — оригинален.

А всего больше читайте русский эпос, былины, сказки, изучайте русский язык по народным песням...».

Одобрив мои новые стихи, Алексей Максимович прибавлял:

«Но будьте строже к себе, не многословьте, нужно, чтобы в стихах не было бородавок. Не всякий цветок краше от лишнего лепестка...».

А по поводу другого стихотворения замечал:

«Гармошка» — длинно, эти вещи надобно писать короче и не столь скучно. Надобно писать, «чтобы словам было тесно, мыслям и чувству просторно...».

Иногда мои рукописи возвращались от Горького с его пометками и приписками. Карандаш Алексея Максимовича подчеркивал неблагозвучные сочетания согласных, отмечал слова с неправильными ударениями, искусственные или небрежные рифмы.

«Поле ли» — «пролили», «ветерком оне» — «гомоне», — писал Горький, — «это напрасно считается «изысканностью». Это более удобно для юмористической поэзии, это то же самое, что:

Станция Куокала
Сердце мне раскокала

и приличествует старикам Минаеву, Курочкину. Рядом с такой «виртуозностью» вы рифмуете: «дымные» — «переливные». Не годится, сударь! Конечно 19 лет многое объясняют, но, взявшись за серьезное дело, растите скорей...».

«Писать «крылышки» — «мокры лужки» стыдно! Это не поэзия, а фокусничество, и ему нет места в поэзии. Дм. Минаев все равно останется непревзойденным современными словотерами, все фокусы сделаны им.

Зазвонил к обеду колокол,
Кот в то время моложо лакал, —

это искуснее «крылышки» — «мокры лужки»...

На полях стихотворения о величественной поступи пролетарских батальонов Горький приписал:

«Следовало дать больше гулких тяжелых слов».

Зачеркнув заключительную строфу другого стихотворения, пояснил:

«Конец сладок, излишен... Это можно бы написать короче, ладнее».

Но, предлагая советы и указания, главное условие успеха Горький видел в самостоятельности автора, в его внутренней независимости. Он учил искать свое, индивидуальное и оберегать эту драгоценную творческую первооснову от посторонних воздействий.

★

Летом Горький, живший в то время в Финляндии, пригласил меня в гости: «Вам, сударь, нужно приехать ко мне, у меня недурная библиотека по фольклору, вот бы вы и почитали хорошенько, да и по истории я не беден книгами».

Приезжайте? Буде нужно денег, — вышлю. Но приезжайте в сентябре, не раньше, а то я до августа буду занят очень и не в себе...».

Через несколько дней вспыхнула мировая война. Полагая, что Алексею Максимовичу не до гостей, приглашением я не воспользовался.

★

Вскоре после этого я узнал, что Горький опять собирается в Москву. Я решил не возвращаться в село, пока не увижу Алексея Максимовича.

Он приехал в апреле. Я пошел в Машков переулок. Горького не застал, но мне сказали, что он скоро будет дома, знает о том, что я приду, и просил подождать.

Через некоторое время в прихожей раздался низкий голос. В дверях показался Горький, очень высокий, слегка сутулый, одетый в черное. Его небольшие голубые глаза приветливо смотрели из-под косматых бровей, под прокуренными усами светилась мягкая улыбка.

— Так вот вы какой, — вглядываясь в меня, сказал он густым окующим басом: — Ну, здравствуйте, здравствуйте!..

Он сразу заговорил о том, что мои стихи пора издать отдельной книжкой, что мне надо поездить, посмотреть Русь, народ.

Алексей Максимович находил у меня серьезный недостаток — отсутствие жанра.

— Вы, сударь, ходите по земле и как будто не замечаете, что на ней, кроме цветов, деревьев, птиц, живут также люди. Вам необходимо полюбить людей, — их труд, радости, заботы...

Алексей Максимович спросил, есть ли у меня темы? Я рассказал содержание поэмы, которую хотелось мне написать.

Алексей Максимович одобрил сюжет поэмы и посоветовал:

— Только пишите ее разными размерами. Когда большая вещь написана одним размером, трудно читать. Напишите — присылайте мне...

Позднее я видал Алексея Максимовича «не в себе», — занятым, озабоченным, но впечатление первой встречи было самым прочным. Перед моими глазами стоял человек, увиденный мной в апреле 1915 года. Человек этот всюду, во всех страстно искал ту способность к творчеству, которой в величайшей степени был одарен сам. Творческое начало, талант он ставил выше всего.

«Будьте здоровы и берегите свой талант, — так заканчивалось одно из его писем.— На свете немало хорошего, а талант самое лучшее».

Он и сам берег нас, молодых безвестных литераторов, боялся за наши неокрепшие силы. Его любовное внимание к начинающим писателям, в которых ему чудились проблески одаренности, выражалось в самых разнообразных формах — от переписки до включения фамилии автора в перечень сотрудников журнала. Горьковские письма глубоко западали в сердце его адресата, ибо тоже шли от сердца, от горячего желания помочь, вразумить, поддержать.

★

Месяца через три после моей первой встречи с Горьким он снова позвал меня к себе:

«Дмитрий Николаевич, не хотите ли приехать ко мне в Финляндию? Поживете другими впечатлениями, я предложу вам подстрочные переводы армянских, латышских и других поэтов, а вы попробуйте придать им форму. Поговорим...».

И прислал через И. П. Ладжжикова денег на дорогу.

Я поехал осенью.

На станции Мустамяки я вышел из вагона и, узнав, что до деревни Нейволы, в которой жил Горький, недалеко, — бодро двинулся в сумерки октябрьского вечера.

Из моих вопросов насчет дороги встречные финны понимали только одно слово: «Горький», но этого оказалось вполне достаточно, — слово довело меня до самой дачи Алексея Максимовича.

Было, видимо, уже поздно, но в доме еще не спали. Я вошел в переднюю и спросил прислугу: дома ли Алексей Максимович? Он был дома, вышел на зов и в первый момент не узнал меня — потому ли, что я, страдая зубной болью, обвязал щеку носовым платком, или оттого, что мое появление в такой поздний час было неожиданным. В следующую минуту лицо Горького потеплело, он спросил озабоченно:

— Что с вами? Вы больны?..

Удивился, что я на станции не нанял подводы, и повел меня за собой. Уже на ходу, обернувшись ко мне, он спросил:

— Ну, что? Много написали стихов?

И, узнав, что в потертом саквояже, который я оставил у вешалки, кроме всего прочего лежит большая поэма, оживленно сказал:

— Ладно, почитаем!..

Идя за Горьким, я очутился в просторной, уютной комнате. На столе мягко светила затененная абажуром лампа. За столом, рассматривая гравюры, сидели три человека: молодой смуглый брюнет, армянский поэт Терьян, рядом — плотный, похожий на актера А. Н. Тихонов и юная женщина, его жена.

После того, как Горький познакомил меня с гостями, возобновился прерванный моим приходом разговор.

С сердитой иронией Алексей Максимович говорил о духовной неразборчивости читателя-мещанина:

— Он не читает, а глотает книгу, как крокодил — бревно. Проглотит Толстого — начнет пожирать Аверченко, покончит с Аверченком — набросится на Диккенса. Книга не вызывает в нем никакой работы мозга, не оставляет никакого следа...

Горький покашливал, выбрасывал из-под густых усов струйки табачного дыма.

Терьян спросил:

— Почему вы, Алексей Максимович, не пишете стихов?

— Я пишу их, только никому не читаю, — ответил Горький, улыбаясь так, что трудно было понять: шутит он или говорит серьезно.

Ваган Сукиасович Терьян учился в каком-то петроградском институте. Имя его было уже известно в литературе Армении. Стихи Терьяна переводили на русский язык Брюсов и Бальмонт. Вскоре после революции поэт умер. Из скупых строк некролога я узнал то, чего не сказал Алексей Максимович, знакомя меня с Терьяном: еще тогда, в пятнадцатом году, Терьян был большевиком и видным борцом за освобождение армянского народа.

А. Н. Тихонов помогал Горькому в его издательских начинаниях.

Обращаясь к Тихонову и Терьяну, Алексей Максимович заговорил об издании сборника армянской литературы. На столе лежали бумага и карандаш. Терьян называл фамилии армянских литературоведов и русских поэтов-переводчиков, которых можно привлечь к работе над сборником. Горький записывал.

★

Горький подошел к шкафу и достал из него небольшой ящик. В ящике были монеты и медали.

Алексей Максимович сел и, склонившись над ящиком, захватил пригоршню

металлических кружков, белых, желтых, темных.

Пересыпая их в ладонях, он сказал с легким оттенком гордости в голосе:

— Недурная коллекция! Все сам собрал.

В коллекции оказалась и серебряная медаль, изготовленная царским правительством в русско-японскую войну на случай победы над врагом. На медали были выбиты торжественно-нелепые слова: «Да вознесет вас господь в свое время!».

Усмехаясь, Алексей Максимович рассказал ее историю. Проект медали с надписью: «Да вознесет вас господь» — был представлен на «высочайшее утверждение». Как ни скудоумен был Николай Второй, однако, после Цусимы даже он чувствовал, что такая медаль не по времени. Поэтому он написал на проекте: «в свое время». Резолюция оказалась под словами изречения и была сочтена министрами за добавление к нему.

Памятник самодержавной глупости со звоном лег в ящик...

Летом в нижегородском художественном музее я видел подаренные Горьким картины. Так же, как монеты, Алексей Максимович собирал гравюры, старинные миниатюры, книги, фарфор, а собрав, отдавал свои коллекции в музеи, библиотеки, картинные галереи...

Гости ушли поздно.

Когда в доме наступила тишина, я из своей комнаты долго слышал раздававшиеся наверху размеренные шаги. Горький не спал, — думал, работал.

Прислушиваясь к его шагам, я вспоминал слова письма: «Литература у нас, на Руси, дело священное, дело величайшее...».

В Финляндии я увидел Горького великим тружеником.

Он сходил к завтраку и обеду, молчаливый и рассеянный, светлоголубые глаза его были устремлены куда-то вдаль. Я видел Алексея Максимовича в том состоянии, которое он определил кратким выражением: «не в себе», — сосредоточенным, углубленным в свои мысли. Он молча пил кефир; развернув газету, читал, курил; барабанил по

столу пальцами, думал о чем-то своем и снова уходил в кабинет. Снова наверху раздавались глухие, мерные шаги.

Иногда после обеда Горький приглашал меня на прогулку.

Почти все разговоры Горького со мной носили такой же воспитательный характер, как и письма.

После бесед с ним всегда было, над чем подумать. «Взявшись за серьезное дело, растите скорей» — сказал он в письме, а «расти» означало: учиться, упорно работать над собой.

Вскоре после своего приезда я показал Алексею Максимовичу свою большую поэму.

Положив рукопись на стол, Горький закурил папиросу и начал читать. С первой же страницы он нахмурился. Стало ясно, что стихи ему не нравятся. Прикасаясь к рукописи толстым двухцветным карандашом, он говорил:

— Стиля не выдерживаете, сударь. Нет, словарь ваш для такой работы еще беден, недостаточен...

Чем дальше читал Горький, тем строже становилось его лицо, взгляд — отчужденнее, голос — суше.

С болью сердечной слушал я его слова, — с болью и за свою неудачу, и за то, как тяжело переживает ее Алексей Максимович. Мне хотелось взять злополучную рукопись, спрятать ее подале, но на ней лежала рука Горького, пальцы руки выстукивали дробь, под аккомпанемент этой дроби он сказал с досадой:

— Жаль, что вы потратили труд и время так непроизводительно!

Зажег новую папиросу и, все еще будто сердясь, заговорил о том, что поэту необходимо писать не только стихи, но и прозу.

★

Его отношение к Пушкину и Лермонтову было неизменно восторженным.

— Вы послушайте, как это просто и прекрасно, — сказал он однажды и прочел:

На холмах Грузии лежит ночная мгла,
Шумит Арагва предо мною...

Алексей Максимович читал медленно, отделяя каждое слово и прислушиваясь к музыке стихов. По его лицу, просветленному и растроганному, по голосу, звучавшему мягко и глуховато, было видно, что, показывая мне эту жемчужину пушкинской лирики, он и сам любит ее благородной красотой.

И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может, —

повторил Горький. И вздохнул:
— Хорошо!..

А в другой раз, посмотрев раздумчиво на меня, спросил:

— Помните «Утес» Лермонтова?
И тоже прочел стихи:

Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана.
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя...

Он дочитал стихотворение до конца и сказал, поясняя свою мысль:

— Какой поэтический образ нашел Лермонтов для передачи своего настроения!.. Чудесно!..

★

Я знал, что у Горького — своя работа, и какая работа! Несомненно, она давала ему огромное удовлетворение. Но в Горьком совершенно не чувствовалось эгоистического стремления оградить свой творческий мир от посторонних тревог и забот. Нет, он сам искал их, сам шел им навстречу. Как и всегда, он читал чужие рукописи, отвечал на письма молодых авторов, думал о них. Его глубоко серьезное желание помочь мне я ощущал непрерывно, каждый день.

Раз после вечернего чая Горький подарил мне небольшую книжку в голубой обложке — изданный под его редакцией «Пролетарский сборник».

— Тут есть неплохие стихи, — говорил Алексей Максимович. — Вот хотя бы эти...

Он наклонился над столом и отыскал нужную страницу.

Грачи по снегу, как монахи,
Гуляют чинно и галдят, —

прочел он и, весь как-то светясь, спросил:

— Правда, похоже?

Снова сел напротив меня и вкратце рассказал биографии некоторых участников сборника. Один из них, рабочий, писал особенно талантливо, но почему-то лишь яббом.

— Вероятно, не знает о существовании других стихотворных размеров. Нужно будет познакомить его с теорией поэзии, послать ему книг о стихосложении...

Светлые глаза Горького лучились улыбкой, низкий голос звучал тепло, слова дышали гордостью за рабочих поэтов, способных писать так хорошо.

В некрасовском «Современнике» мне встретилась поэма Шевченко «Гайдамаки». Узнав, что я прочел ее в неудачном русском переводе, Горький сказал: — Шевченко нужно читать в подлиннике.

— А вы, Алексей Максимович, знаете украинский язык?

— Ну, еще бы! — чуть снисходительно воскликнул он. Сообщил, что знаком и с польским, что овладеть славянскими языками нетрудно, и настоятельно заговорил о том, что писатель должен быть образованным. Знать языки других народов необходимо, это — ключ к мировой литературе.

Вспоминаю вечер, вой ветра в трубе, облитые дождем темные окна, мягкий свет лампы, синие волны табачного дыма, песенку самовара, к которому мы, за отсутствием хозяйки, сами подходили со стаканами. Вспоминаю глухой кашель Горького, его устремленный на меня взгляд, полный серьезной думы.

Однажды, когда пришли Тихоновы, Горький вынес из своей комнаты тетрадку, изрисованную его характерным почерком. В ней были новые рассказы.

Алексей Максимович сел к столу, опустил глаза на рукопись и приступил к чтению:

«... В ту пору я чувствовал себя очень шатко и ненадежно. Земля подо мною

вставала горбом, как бы стряхивая меня куда-то прочь...

А все-таки хотелось жить, видеть чистое, красивое: оно существует, как говорили книги лучших писателей мира, — оно существует, и я должен найти его...».

Горький читал просто, очень внятно и по-своему выразительно. Рассказ о неудачной попытке молодого романтика найти «человека, похожего на тех, о которых рассказывали хорошие книги», брал за сердце силой своих образов и своеобразным, несколько грустным юмором.

Другая вещь называлась: «Как сложили песню».

Слушая Алексея Максимовича, я вспомнил недавний разговор с ним о фольклоре.

Я сказал тогда, что книга, письменность вытесняют устное народное творчество — былинку, песню.

Горький возразил:

— А стихи, напечатанные в книге, разве не народное творчество?

Он утверждал, что творчество народа продолжается непрерывно и никогда не иссякнет.

Рассказ был о том, как две прислуги сложили песню, и явился для меня как бы художественным подтверждением мысли, высказанной Горьким в разговоре.

Дочитав последнюю страницу, Алексей Максимович обвел слушателей взглядом и спросил:

— Ну, что?

Тихонов сказал:

— Тут у вас сидит на заборе ворона. Я бы вычеркнул ее, — слишком уж она горьковская и, пожалуй, не в первый раз косится бусиной глаза.

Горький промолчал, но с замечанием, видимо, не согласился. Ворона в рассказе осталась.

Жена Тихонова перевела прозой стихи из книги Ж. Тьерсо «Празднества и песни французской революции», подготовлявшейся к изданию на русском языке. Этим подстрочным переводам я должен был придать стихотворную форму.

Наклонившись над тетрадкой с переводами, Горький прочел вслух: «Слава тому, кто выделяет селитру», — и заметил:

— Нелегко уложить в стихи такую фразу.

Под усами пробежала легкая усмешка:

— Маяковский, наверно, перевел бы: «слава селитроделателю».

Собиравший вокруг себя писателей, Горький знал не только имя, но и поэтический стиль молодого Маяковского. Поэт был у него на счету, — через несколько месяцев в «Летописи» начала печататься поэма «Война и мир».

Горький страстно желал умножить число хороших, нужных книг и стремился уменьшить действие книг вредных, отравляющих.

★

Горький сказал мне:

— Я должен уехать отсюда на некоторое время. Вы поживите здесь без меня, с книгами. Я скоро вернусь.

Перспектива остаться одному испугала меня. Я решил тоже проехать с Алексеем Максимовичем.

В утро отъезда в мою комнату вошел русобородый человек в фартуке, стельщик, — промазать на зиму окна. Привычно действуя стамеской, он вдруг обернулся ко мне.

— Трудится Алексей Максимович, — сказал он тепло и уважительно, кивнув на потолок: — Из нашего брата вышел...

В стекла брызгал дождь. В столовой я встретился с Горьким. Мы сели завтракать.

— Пишите для нового нашего журнала, — говорил Алексей Максимович. — Французские переводы постарайтесь сделать поскорее. Когда закончите, я пришлю вам финские и шведские подстрочники. Подберу для вас книг...

Очень хорош был он в то утро. Надо сказать, что в предшествующие дни, видя Горького занятым, я, из опасения помешать, старался обращаться к нему поменьше, пореже. К тому же мне

было известно, что таких, как я, много у Алексея Максимовича. «Прозу еще не успел прочитать, за месяц мне прислали 47 рукописей» — писал он с Капри.

Но сейчас Горький как-то раскрылся, — заговорил о Финляндии, о жизни и быте финских рабочих, видимо, желая дать на прощанье мне, молодому, как можно больше материала для размышлений и сопоставлений.

Горький, засунув руки в карманы, прошелся по комнате. Заметив, что я кашляю, он спросил с тревогой в голосе:

— Что это у вас?..

... Вошла горничная и сказала, что можно ехать.

Мы надели непромокаемые плащи, вышли на улицу и сели в тарантас. Кучер-финн тронул вожжами лошадь. Горький молча смотрел из-под резинового капюшона на красную ленту шоссе, на мокрый лес. Дождь то затихал, то снова усиливался.

Случилось так, что, когда подошел поезд, мы сели в разные вагоны.

В густой толпе пассажиров, наполнивших большой вокзал в Петрограде, я не увидел Горького.

Было обидно, что не удалось проститься с ним.

Купив открытку, я написал в ней все, что должен был сказать Алексею Максимовичу, и, успокоенный, поехал домой.

★

Переводы финских стихов предназначались для «Сборника финляндской литературы», который входил в серию затейных Горьким сборников художественной литературы народов России.

Помня совет Горького писать прозой, я и сам сочинил рассказ. Отправляя его Алексею Максимовичу, я привел в письме несколько услышанных в деревнях частушек о войне. В них уже чуялся гром надвигавшейся народной грозы.

Горький отвечал:

«Рассказик вышел у вас весьма недурно, будет напечатан. Попробуйте написать еще.

Спасибо за частушки, это интересно».

В конце восемнадцатого года Алексей Максимович предложил мне работу для серии задуманных им сборников. Работа заключалась в переложении старинных поэтических текстов на современный язык.

«... Надо взять из прошлого все лучшее, все прекрасное, что там есть, и пустить это в широкий оборот, так?

Отвечайте скорее, берете ли на себя эту работу?».

★

Я решил отправиться в Москву, чтобы лично поговорить с Горьким о переложениях.

С караваем в руках я втиснулся в набитую народом, темную теплушку. Через сутки поезд подошел к Москве.

Был морозный вечер. Я доехал до Чистых Прудов и через несколько минут входил в под'езд того дома, где впервые увидел Горького.

Швейцар с серебряными галунами на ливрее стоял при дверях, как и четыре года назад. Но лифт не работал.

Вид у меня был самый деревенский: заячья шапка, башлык, короткая ватная тужурка да еще обернутый пестрым ситцевым платком каравай подмышкой.

Оказалось, что Алексей Максимович еще не приехал. Его ждали завтра.

Я вышел на улицу. Ночлега у меня не было... Начал спрашивать встречных, не знают ли они, где гостиницы? Ответы были неутешительные. Какой-то добрый человек посоветовал мне попроситься на ночлег в милицию.

В участке жарко топилась печка, бросая красные отблески на истертые половицы. За столом сидел дежурный. Он просмотрел мои документы. Потом меня вежливо проводили за невысокую перегородку — в «холодную», которая была холодной скорее по названию, чем по температуре. В полумраке я различил нары и на них чью-то фигуру.

— Товарищ, вас за что забрали? — услышал я сиплый мужской голос.

Мы поговорили.

Положив голову на каравай, под шопот соседа, который рассказывал о своей жизни, я заснул.

Утром нас выпустили. Малорослый и невзрачный, мой товарищ был одет очень легко. Он повел меня в «столовку». Несмотря на ранний час, там былолюдно и шумно. Мы сели за стол и напились кипятку.

★

— Алексей Максимович дома?

— Дома, раздевайтесь.

Стуча по светлому паркету подмороженными валенками, я прошел в столовую-гостиную и сел на диван.

За дверью слышалось знакомое, густое покашливание, дверь отворилась. Быстрыми шагами в комнату вошел Горький.

Алексей Максимович был почти такой же, как в Финляндии, разве только морщины углубились да сильнее засеребрилась щетка волос.

Сказав несколько приветственных слов, он присел к столу и с ласковой серьезностью повел речь о предстоящей мне работе:

— Постарайтесь, сударь мой, отнестись к ней внимательно, полюбите ее. Я верю, что это выйдет у вас. Вы сделаете хорошее, нужное дело...

Беседу прервал приход поэта Георгия Чулкова. Немного позднее явился престарелый детский писатель, очутившийся без работы. Пока мы с Чулковым сидели в столовой, Алексей Максимович в соседней комнате говорил с детским писателем. Старик уходил радостно-взволнованный.

Этих писателей сменили новые.

Пришел давний приятель Горького, рабочий, коммунист. Не видавшие несколько лет хозяин и гость расцеловались.

Гость сказал:

— Ну, Алексей Максимович, я у вас хлеб отбиваю, — сделался редактором нашей губернской газеты...

Горький усадил редактора в кресло и сам сел напротив. Начались расспросы, воспоминания о знакомых, — о людях, которые прошли через тюрьму, через ссылку и теперь строили новую жизнь.

Лицо Алексея Максимовича светилось гордостью за советскую страну.

Потом сидели в той маленькой комнате, где час назад Горький принимал детского писателя. Алексей Максимович просматривал газету своего друга. Статьи, написанные самим редактором, были отчеркнуты красным карандашом.

— Пишем еще плоховато, — говорил редактор: — Ну, научимся!..

К обеду должен был приехать В. И. Ленин, но время шло, а его все не было.

Максим, сын Горького, позвонил в Кремль. Ответили, что Владимир Ильич уже выехал.

Разговор не вязался.

После выяснилось, что В. И. Ленин, под'ехав к дому, вошел в под'езд, но подняться на четвертый этаж не мог: помешала незажившая рана. Узнав, что лифт испорчен, он сел в автомобиль и уехал.

Январский день смеркся. Включили свет. Молодой музыкант, о котором раньше одобрительно отозвался Алексей Максимович, сел за пианино.

В этой комнате однажды слушал любимые сонаты Бетховена В. И. Ленин.

Теперь здесь тоже звучал Бетховен. Горький сидел, опираясь на ручки кресел и немного подавшись вперед, в ту сторону, откуда шли звуки. По его лицу катились слезинки. Когда последний аккорд замер, он произнес взволнованно:

— Ах, какая это дивная вещь!..

★

До революции Иваново-Вознесенск, несмотря на свое промышленное значение, считался, как административная единица, даже не уездным, а безуездным городом; поражал неблагоустроенностью и культурной отсталостью.

Грозные годы гражданской войны пробудили в Иванове небывалую волну культурного под'ема. В дни, когда, казалось, было не до литературы, когда истощенные ткачи с красными знаменами шли навстречу боям, когда от захваченного мятежниками Ярославля доносился гул артиллерийской канонады, — в эти дни в Иванове выросла группа своих, советских писателей.

На ивановском Парнасе встретились деревенские парни, кухаркины дети, бывшие солдаты, старые и молодые рабочи.

Собираясь в нетопленной комнате, поэты грелись кипятком с сахарином, читали стихи. В стихах было немало сора, но попадались и крупинки золота.

Об ивановских поэтах писали Лучначарский, Ольминский и др. Но первым, кто заинтересовался ивановскими литераторами, был Горький.

Непоколебимо веря в духовные силы народа, он страстно ждал: вот распустятся первые цветы творческой весны! Отсюда—внимание Алексея Максимовича к ивановским поэтам, о которых я рассказывал ему в Москве и после—в письмах.

Через два месяца после своей поездки я получил от Горького такую записку:

«Пришлите мне стихов Сер. Семина.

Крепко жму руку, спасибо за поздравление, писать некогда...».

Бывший пастух Сергей Семин удивлял своей одаренностью. В империалистическую войну, сидя в окопах, он научился грамоте, прочитал Пушкина и начал сочинять сам. Его стихи, написанные каракулями малограмотного, были певучи, просты и свежи. Семину хотелось учиться, но его силы были надорваны. В двадцать с чем-то лет он казался стариком, через два года умер от сыпного тифа.

По письму Горького от 16/V 1919 г. видно, что стихи Семина и другого ивановского поэта, Жижина, он нашел талантливыми:

«Зачинаю здесь журнал «Завтра»...

Очень прошу Вас — пришлите стихов своих, Жижина и Семина. Стихи Жижина свидетельствуют о его таланте, Семин — жиже.

И пришлите №№ «Рабоч. края», в которых напечатаны частушки.

Действуйте скорей...».

Иван Жижин был сыном прислуги-вдовы. Как и Семин, он не получил никакого образования и своим развитием был обязан исключительно личным усилиям.

В следующем письме Горький упоминал фамилии еще двоих ивановцев:

«...Скажите Жижину, Барковой и Дмитриеву — стихи получил, но еще не читал...».

Главным организатором ивановских литературных начинаний был старый правдист Мих. Артамонов. Его стихи были известны Алексею Максимовичу и раньше. Артамонов участвовал в одном из «сборников пролетарской литературы». Он усердно снабжал «Рабочий край» своими песенками деревенского гармониста.

В 1922 году Горький — за границей, он болен, но попрежнему помнит ивановских поэтов. В эти дни в Иваново пришло письмо секретаря берлинского «Книгоиздательства писателей»: ссылаясь на указание Горького, он предлагал ивановцам присылать в издательство свои вещи. Предложением поэты не воспользовались, так как можно было печататься и дома, но Алексею Максимовичу за память остались благодарны.

Прошло несколько лет. Некоторые ивановские писатели стали известны за пределами области. Ефим Вихрев написал интересную книгу о Палехе, Николай Колоколов — роман «Мед и кровь». Горький прислал обоим авторам хорошие письма.

В Иванове подрастали новые литераторы. Они также посылали Горькому свои работы. Иногда это были полудетские стихи, скорее говорившие о юном возрасте автора, чем о его достижениях. Но Алексей Максимович умел отнестись серьезно и внимательно к каждому.

«Говоря откровенно, — писал он в 1928 году Мих. Маркову, — стишки ваши «так себе», т. е. не хороши. Такие «образы», как «стая оврагов», «окунутые в поте» и проч. — это плохо. Еще хуже то, что Есенина вы ставите выше Пушкина и Лермонтова, — это уже совсем скандал! Но мало ли какую чепуху может сказать человек 18 лет от роду! Я тоже, вероятно, такие же оглобли гнул в вашем возрасте, как вы гнете. В эти годы печататься не

следует, а надобно учиться во всю силу, вот что, сударь мой! А таких стихов, как ваши, теперь печатают версты. Однако, «В глуши» не так уж плохо, если выкинуть «стаю оврагов».

Поэтому очень рекомендую вам: учиться, детушка!..».

Прямое, сурово-откровенное письмо Алексея Максимовича принесло Маркову пользу: юный автор начал учиться, поступил в вуз. К слову он стал относиться строже, особенно после второго горьковского письма:

«В стихах, присланных вами, хороши только две строчки, подчеркнутые мною. Все остальное не оригинально и плохо. У вас нехватает слов, и вы для «соблюдения размера» удваиваете одно и то же слово. Это — странно, потому что слух у вас, кажется, неплохой, да и вкус к слову, к образу как будто есть...».

Горький поддержал и молодого ивановского беллетриста Мих. Шошина.

Прочитав рассказы Шошина, Алексей Максимович написал ему:

«Записки плохого поэта» и «По заволжским просторам» вполне определенно говорят о вашей даровитости. Говорят о том, что вам доступно чувство дружбы к людям, чувство доверия к жизни, — это чувство не часто встречается выраженным так просто, искренно. Вы хорошо видите жизнь и знаете, о чем надобно писать. Изобразительные средства у вас — неплохи, но могут и должны быть лучше, богаче. В приемах работы чувствуется влияние М. М. Пришвина. Это — весьма крупный художник, и у него есть чему поучиться, но не забывайте, что одно дело — учиться, другое — подражать. Я думаю, что вы человек достаточно своеобразный, вижу, что у вас есть свой — и не малый — опыт, он требует вашей, а не чужой окраски, и потому повторяю: учитесь, но не подчиняйтесь. Вам следует заняться языком. Не хочу сказать, что он плох, но еще беден, требуется, чтобы вы обогатили его. Читайте Лескова, Чехова, Бунина, Пришвина — все это люди очень богатого лексикона и превосходные знатоки русской речи и «описательного» языка...».

Не ограничиваясь перепиской, Горький разослал рассказы молодого автора в разные издания, привлек его к сотрудничеству в журнале «Наши достижения». Как всегда, Алексей Максимович радовался появлению нового талантливого писателя и старался облегчить ему продвижение в большую литературу.

★

Приехав в 1921 году в Москву, я снова встретился с Алексеем Максимовичем.

Между прочим, я спросил о судьбе своих переложений.

Алексей Максимович ответил, что надеется напечатать их. И, немного помолчав, неожиданно прибавил:

— Вы не совсем правильно поняли меня. Нужно было дать образ женщины, матери всего прекрасного, что есть на земле...

В ответе было столько горьковского!

Прославив чудесными словами матерей, «сеющих в человеке все, чем он славен», Горький хотел, чтобы и другие слагали —

Песнь о сердце мира, о волшебном сердце
Той, кого мы, люди, матерью зовем.

Неожиданно он закашлялся.

Приступ кашля был сильный, лицо Алексея Максимовича покраснело от напряжения, на глазах навернулись слезы. Он прижал худые руки к груди и, большой, костлявый, горбясь, сидел на стуле, а сам все кашлял — глухо, как в бочку.

В эту минуту я с острой болью вдруг увидел, что Горький физически не тот, каким был прежде. Затяжной, надсадный кашель, впалые щеки, острые скулы, толстые валы морщин говорили о том, что Алексей Максимович очень нездоров. Как-то виновато улыбнувшись, он встал и вышел в соседнюю комнату.

Больной, нуждавшийся в лечении и отдыхе, Горький продолжал думать, заботиться о других.

Я спросил, кто из молодых писателей кажется ему наиболее талантливым.

Алексей Максимович оживился и начал перечислять фамилии. Он горячо верил в будущее нарождающейся советской литературы.

— Через несколько лет у нас появится ряд прекрасных писателей, — памятно, сказал Алексей Максимович. — Это для меня несомненно. У нас будет большая, новая, советская литература!..

★

Непоколебимой уверенностью звучали его слова.

В 1922 году, посылая за границу Горькому изданную в Иванове книжку своих стихов, я пожаловался на мучительное чувство недовольства собой, качеством своей работы. Ответ Алексея Максимовича своим сердечным и бодрящим тоном напомнил мне первую встречу:

«... Послушайте: известная доля неудовлетворенности собою, своей работой — всегда и обязательно должна быть присуща каждому искреннему писателю; эта неудовлетворенность, являясь источником его мук, является в то же время залогом непрерывности его роста. Так. Но — у Вас неудовлетворенность собою принимает болезненный характер, и я боюсь, что это обессилит Вас. Поэтому Вы, сударь, должны бороться и умерить это чувство недовольства собою. Вы — поэт и больше ничего! Вы прежде всего — поэт. С этим Вы ложитесь спать, с этим встречаете восход солнца, суету дня, людей, собак, комаров, огорчения, радости, — все, чем наполнен день Ваш и ночь...».

★

Безуездное Иваново после революции стало центром большой области.

В состав Ивановской области входит и приволжский городок Плес. Недалеко от Плеса, в красивом доме, глядящем окнами фасада на Волгу, отдыхают ивановские ткачи. Раньше дом принадлежал Федору Шалапину. Однажды здесь побывал и Горький. В то время хозяевами города Иванова были жадные, невежественные фабриканты.

Иваново 1928 года резко отличалось от старого, дореволюционного. В городе шло кипучее строительство: появились фабрики-дворцы, новые рабочие поселки, театры, клубы, школы. Повысился культурный уровень текстильщиков. Кружок поэтов был только одним из признаков этого процесса роста.

Вернувшийся в этом году на родину, Горький, готовясь к летней поездке по Советскому Союзу, собирался побывать не только в Иванове, но и в соседнем Палехе, селе художников-самоучек.

Но ни в Иваново, ни в Палех он не попал.

Осенью, пред отъездом Горького в Сорренто, с ним выделся один из ивановских писателей.

Содержание разговора с Алексеем Максимовичем он опубликовал в «Рабочем крае». Горький объяснил ему, почему не мог собраться в Иваново, и обещал приехать в будущем году. Просил очерков об интересовавшем его Меланжевом комбинате, замечательном достижении ивановских рабочих.

★

Слова Горького: «у нас будет новая большая литература» — я вспомнил на открытии Первого всесоюзного съезда писателей. Тринадцать лет прошло с того дня, когда Алексей Максимович произнес эти памятные слова, — и вот его предсказание сбылось полностью.

Морщась от резкого света прожекторов, высокий, массивный, в очках, Горький стоял на трибуне, а на него сотнями глаз смотрели новые писатели.

Алексей Максимович читал доклад о советской литературе. Его ровный голос, время от времени прерываемый басистым кашлем, раздавался в тишине огромного, жарко дышащего зала. Когда чтение закончилось, тишина разрядилась грохотом рукоплесканий. Горький смущенно удалялся вглубь сцены.

★

На тему: «Великие маленькие люди» я написал поэму «Сад».

Жил в г. Иваново садовод-опытник Ф. А. Самцов, в прошлом фабричный

фельдшер. В годы гражданской войны, когда каждый свободный клочок земли вскапывался под картошку, Самцов начал огородничать. Понемногу его маленький огород превратился в удивительный сад. В этом саду вызревал виноград, росли скороспелые томаты, баклажаны, распускались невиданные на севере цветы. Кроме того, Самцов изобрел несколько земледельческих машин.

За чертами скромного ивановского садовода мне виделся образ Человека с большой буквы — обновителя земли и преобразователя природы.

Поэма о Самцове вышла у меня не сразу. Сначала она была просто длинной биографией в стихах. В таком виде я предложил ее, незадолго до съезда писателей, редакции нового горьковского журнала «Колхозник». В дни съезда Горький не мог прочесть ее, а после съезда прислал следующее письмо:

«Дорогой Семеновский, мы не можем напечатать в «Колхознике» 43 страницы стихов, однообразных и тяжелых, не можем потому, что уверены: наш читатель не одолеет такую массу рифмованных слов.

Но я Вас очень прошу сделать вот что: дайте биографию Самцова и очерк его опытов в прозе, перебивая ее — там и тут — строфами Ваших стихов. Биографические сведения о Самцове Вам легко собрать, — в газетах края, наверно, был напечатан его некролог. Опыты его продолжает кто-то, кажется — проф. Шуйский. Вы написали более тысячи строк, дайте нам 200—250, разместив их между прозой.

Убедительно прошу Вас взяться за эту работу. Впоследствии возможно будет издать всю поэму целиком.

Было бы большой заслугой, если бы мы научились писать о наших героях так хорошо, как они заслуживают этого...».

Очерк, внушенный Горьким, я писал чуть не целый год. Написанное не удовлетворяло, но пора было кончить работу, и я отослал рукопись Алексею Максимовичу, далеко не уверенный в успехе.

Ответ Горького был настоящим сурпризом:

«Искренно поздравляю Вас, Дмитрий Николаевич, — очерк сделан весьма удачно и — я надеюсь — положит основание новой форме литературы.

Очерк пойдет в «Колхознике» в 6-й книге...».

★

Весть о смерти Горького застала меня в Палехе.

Вспоминается поздний вечер, полная мглы комната, неурочный стук в дверь. Вошел художник Иван Иванович Голиков. Извинившись за позднее посещение, сказал:

— Алексей Максимович умер, по радио передавали.

Не хотелось верить в страшную новость.

Но на фасаде художественной мастерской уже появился портрет в черной раме. В артельной столовой мастера устроили собрание. На возвышении, осененный траурным знаменем, стоял бюст Горького. Художники один за другим выходили на сцену и вспоминали о своих встречах с Алексеем Максимовичем.

Первая встреча произошла в нижегородской иконописной мастерской пятьдесят слишком лет назад. В то время палешане писали иконы, а подросток Алеша Пешков растирал для них краски. В свободное время он читал иконописцам стихи русских поэтов. Прочел поэму Лермонтова «Демон» и взбундился в одном из лучших мастеров, Жихареве, желание написать Демона красками. Это желание оказалось неосуществимым для подневольного ремесленника-иконописца.

Нынешние народные художники, сменившие иконописное ремесло на искусство советской миниатюры, написали не только лермонтовского «Демона». Горький, через которого Палех впервые прикоснулся к русской литературе, стал и любимым писателем палешан. Образы его произведений художники особенно охотно одевают в краски и золото миниатюр.

Автор композиции «Смелый Данко», палеховский живописец Д. Н. Буторин написал в своей биографии:

«Я избрал двух великих художников слова — Пушкина и Горького. Как-то у них художнику проще найти тему. Когда читаешь, чувствуешь картину...».

Полюбив книги Горького, нынешние народные художники скоро встретились и с самим автором.

Горький, собиравший, как жемчужины, талантливых людей страны, объединявший их вокруг себя, не мог безучастно пройти мимо Палеха — гнезда талантливых художников, работы которых говорили о буйном расцвете творческих сил народа.

Он горячо приветствовал новое искусство художников-самоучек, помог палешанам устроить мастерскую и музей, прислал в Палех библиотеку по истории искусств.

В 1932 году издательство «Академия» приступило к переизданию «Слова о полку Игореве», поручив художественное оформление книги Палеху.

О живописном украшении «Слова» Алексей Максимович высказался в письме той поры так:

«Мысль о привлечении палеховских мастеров к работе по оформлению издания «Слова» — отличная мысль! Но я не за «мастеров», а за лучшего, талантливейшего из них, Ивана Голикова, в каком смысле и написал Мих. Порфирьевичу Сокольникову. Привлекая к этой работе одного Голикова, «Академия» обеспечит украшению книги художественное единство стиля, чего нельзя будет достичь работой нескольких мастеров различных степеней дарования...».

Весной палешане, в том числе и Голиков, приехали в Москву и побывали у Горького.

Идя к нему, они порядочно волновались, ожидая увидеть сурового и строгого старика. Но оказалось, что он, несмотря на свои 64 года, полон сил и ненасытного интереса к жизни.

В разговоре Алексей Максимович вспомнил друзей своего отрочества, палеховских иконописцев: Виктора Салаутина, Павла Одинцова, Евгения Ситанова. Потом заговорил о новой живописи палешан, — о том, каким успехом пользуются их лаки за границей и на

сколько молодое советское искусство ярче, полнокровнее, чем вырождающееся буржуазное искусство Запада.

В дни, когда страна праздновала сорокалетие литературной и революционно-общественной деятельности Горького, лучшие палеховские мастера снова увиделись с ним. Голиков принес Алексею Максимовичу эскизы иллюстраций к «Слову» — десять удивительных композиций.

Надев очки, Горький начал рассматривать голиковские работы: «Затмение солнца», «Пленение Игоря», «Плач Ярославны» и другие.

Он был очарован мастерством художника. Встал, пожал руку Голикова, выразив этим свое восхищение. И спросил:

— Но как же это у вас получилось?

Голиков, худощавый и маленький в сравнении с высоким Горьким, стоял около стола и, запинаясь, говорил, что он старался выполнить работу по-новому и как можно лучше.

Взволнованный одобрением Алексея Максимовича, художник выражался невнятно и бессвязно, но зато сильно и выразительно звучали краски его эскизов...

После этого мастера не раз встречались с Горьким на выставках, на съездах.

В 1935 году палешане Вакуров, Котухин и Маркичев получили творческую командировку в Армению. Летом, возвращаясь домой, они заехали к Горькому.

Алексей Максимович жил в это время на даче в Горках. Он встретил художников радушно, познакомил их с Ромэн Ролланом и его женой, которые гостили у него тогда. Все сидели за большим столом. Живописцы разложили альбомы с рисунками, сделанными в Армении. Рассматривая рисунки, Горький расспрашивал палешан о дорожных впечатлениях, о творческих планах. И советовал:

— Берите чаще антирелигиозные сюжеты. Вы творчески особенно были порождены церковью и потому кровно заинтересованы в борьбе с религиозными предрассудками...

Писатели и художники сфотографировались вместе на память о встрече.

Мастера собирались уезжать.

Горький сказал:

— Подождите, я покажу вам комнатушку, в которой пишу.

И повел их в свой рабочий кабинет.

Мастера увидели простой стол. На нем — несколько книг и палеховская расписная коробочка. Переливам ярких красок радовались глаза Алексея Максимовича во время работы. Это наполнило живописцев гордостью за свое искусство.

Садись в автомобиль.

Горький, провожая, говорил:

— Кланяйтесь Голикову и всему Палеху. Пишите, не нужно ли чего?..

... Вот что вспомнили мастера на траурном заседании...

Вечером они поехали в Москву на похороны Алексея Максимовича.

Палешане, ивановские писатели, ивановские ткачи стояли у его гроба в почетном карауле.

★

Я не видал Горького в гробу, и он остался в моей памяти живым.

Для людей моего поколения имя Горького, его образ связаны с весенними зорями юности, с радостью сбывшихся надежд.

Нам выпало счастье узнать его не только как бессмертного писателя, но и как человека, воспоминание о котором пробуждает в сердцах любовь и гордость.

БИБЛИОГРАФИЯ

А. ПОЛЕЖАЕВ. Стихотворения. Вступительная статья, редакция и примечания Н. Бельчикова, «Советский писатель», 1937, стр. 264. Цена 3 руб.

★

Недавно минуло сто лет со дня смерти Александра Ивановича Полежаева, талантливого революционного поэта, затравленного самодержавием и трагически погибшего в солдатском госпитале от чахотки, в молодом возрасте, 33 лет от роду. В его судьбе нашла типическое выражение судьба всех тех, кто в глухую пору крепостнической реакции поднимал смелый голос протеста, кто страстно ненавидел полицейский режим, созданный угнетателями народа.

Поэзия Полежаева была воспитана идеями декабризма, питавшими политическую лирику Пушкина, разбудившими революционную проповедь Герцена и Огарева. Первое крупное его произведение — поэма «Сашка» — появилось в год наивысшего подъема декабристского движения — в 1825 году. Этой поэме суждено было сыграть роковую роль в жизни ее автора.

Описания веселых походов московского студента, жаждущего «вольности строптивой», перемежаются в этой поэме с проповедью атеизма, с политическими выпадами против порядков николаевской России. Обращаясь к своей отчизне, поэт восклицает:

Когда тебе настанет время
Очнуться в дикости своей,
Когда ты свергнешь с себя бремя
Своих презренных палачей?

Нет ничего удивительного в том, что жандармы скоро обратили внимание на Полежаева. В III отделение поступил

донос, где сообщалось, что поэма «Сашка» наполнена «самыми пагубными для юношества мыслями». Прошло всего две недели после казни декабристов, когда царь, одержимый страхом перед «остатками вольномыслия», нашел нужным лично об'ясниться с автором «Сашки». В герценовской эпопее «Былое и думы» сохранился красочный рассказ о том, как студент Московского университета Полежаев ночью был привезен во дворец и в присутствии министра просвещения принят Николаем:

«— Ты ли, — спросил он, — сочинил эти стихи?»

— Я! — отвечал Полежаев...

— ...Читай эту тетрадь вслух...

Волнение Полежаева было так сильно, что он не мог читать. Взгляд Николая неподвижно остановился на нем. Я знаю этот взгляд, — пишет Герцен, — и ни одного не знаю страшнее, безнадежнее этого серо-бесцветного, холодного, оловянного взгляда.

— Я не могу! — сказал Полежаев.

— Читай! — закричал высочайший фельдфебель.

Этот крик воротил силу Полежаеву. Он развернул тетрадь... Сначала ему было трудно читать, потом, одушевляясь более и более, он громко и живо дочитал поэму до конца. В местах особенно резких государь делал знак рукой министру. Министр закрывал глаза от ужаса.

— Что скажете? — спросил Николай по окончании чтения. — Я положу пре-

дел этому разврату! Это все еще следы, последние остатки: я их искореню!..».

Вслед за тем царь предложил Полежаеву искупить свой «грех» военной службой; сказав: «От тебя зависит твоя судьба», он «поцеловал его в лоб». «Я десять раз, — добавляет Герцен, записавший эту сцену со слов самого поэта, — заставлял Полежаева повторять рассказ о поцелуе — так он мне казался невероятным. Полежаев клялся, что это правда».

Так автор «Сашки» был отдан в солдаты. Разумеется, нелегко было свободному, привыкшему к независимости поэту перенести тяжкую муштру николаевской солдатчины. С этого времени начались все его злоключения. Барабанный бой и окрики фельдфебелей; тяжелые переходы и казарменный быт; побег и год заключения в сырой и вонючей тюрьме; служба рядовым на Кавказе; полуголодное, нищенское существование; еще один побег и жестокое наказание розгами; нравственные страдания; полное одиночество, чахотка, — таковы жизненные условия, в которых развертывалось поэтическое творчество Полежаева. Скорбь и отчаяние нередко наполняют стихи Полежаева, очень точно отражающие мрачные события его безрадостной жизни. Страшный образ «живого мертвеца», осужденного на казнь поэта, возникает во многих его произведениях.

Но зачем же вы убиты,
Силы мощные души? —

воскликает поэт, сознавая бесплодную гибель своих сил, своего таланта.

И вот, несмотря на весь ужас этой жизни, поэт нашел в себе силы до конца остаться верным духу борьбы и протеста. Он до конца жизни сохранил свою ненависть к самодержавию. Этой благородной ненавистью насыщены его лучшие строки. Полежаев страдал и боролся в мрачное время, когда виднейшие участники передового движения той эпохи были либо повешены, либо томились на каторге. Полежаев чувствовал себя борцом-одиночкой. Он не видел сил, которые могли бы пойти на штурм

самодержавия. Не верил и в свое освобождение:

Стремлюсь в жару ожесточенья
Мои окопы раздробить
И жажду сладостного мщенья
Живую кровью утолить!..
Готов!.. Но цепь порабошенья
Гремит на скованных ногах,
И замирает сталь отмщенья
В холодных трепетных руках!

И все-таки в его стихах звучит не столько отчаяние и бессилие, сколько озлобление и протест. Он не смирился, подобно некоторым из сосланных декабристов. Его ненависть к самодержавию и ожесточение росли вместе с ростом испытываемых притеснений, питали огненным пафосом его поэзию. «Солдатская шинель» помогла Полежаеву стать ближе к народу, лучше узнать народные нужды, народный характер. Вот почему Полежаеву, выступившему после разгрома декабристов, удалось расширить круг идей и тем декабристской поэзии, сделать ее более демократической.

Стихи Полежаева носят обличительный характер. Царь — главный враг, и острие сатиры поэта поражает прежде всего царя:

Православный наш царь,
Николай государь,
В тебе мало добра!
Обманул, погубил
Ты миллионы голов...
Так умри же теперь,
Православный наш царь,
Николай государь...

Для агитационных стихов Полежаева характерны песенные интонации, взволнованность автора сообщает им ораторский, декламационный пафос, приводит к короткой, энергичной строке. «Крепость и мощь стиха» Полежаева высоко ценил Белинский. Полежаев писал своему другу:

Ты не найдешь в моих стихах
Волшебных звуков песнопенья:
Они родятся на устах
Певцов любви и наслажденья...

Полежаеву было не до «волшебных звуков». Певец борьбы, ненависти и страданий, он не заботился о красоте своих стихов. Он писал их так, как они выливались из сердца. Глубокая искрен-

ность, полнота чувств, волнующих поэта, определяли исключительную напряженность его стиля. Отсюда энергия, сила и страстность полежаевских стихов, отсюда и их формальная недоработанность, резкость, иногда переходящая в грубость.

Обличительный пафос полежаевской лирики имеет реалистическую основу. С потрясающей правдивостью описывает он свою жизнь в тюрьме («Арестант»). В кавказских поэмах Полежаева простой солдатский быт (поэма «Эрпели»), жизнь разоряемых аулов, стонущих под пятой захватчиков (поэма «Чир-Юрт»), описаны правдивыми и яркими штрихами. Его известные песни («У меня ль, молодца», «Сарафанчик» и др.) написаны простым народным языком, сближающим их с песнями Кольцова.

Поэзия Полежаева является важным звеном в развитии русской гражданской политической поэзии.

Революционное значение поэзии Полежаева прекрасно понимали великие революционные демократы. Отмечая силу, страстность и стремительность его таланта, Добролюбов указывал, что «при другой жизненной обстановке не погиб бы этот энергический талант жертвою неравной и бесплодной борьбы». Не имея возможности открыто указать прямые причины гибели поэта, Добролюбов писал: «Пострадал ли Полежаев от судьбы, странно враждебной всем лучшим поэтам нашим, можно видеть при внимательном взгляде на его портрет, который приложен к нынешнему изданию его сочинений». На портрете же был изображен человек с грустным взглядом и в солдатской шинели...

По выражению Огарева, Полежаев оставил своими стихами «жгучий след» в русской литературе. Он укрепил традиции политической лирики, создал прекрасные образцы агитационной песни. Мастерству политической сатиры, острого и запоминающегося куплета можно и теперь учиться у Полежаева:

В России чтут
Царя и кнут;
В ней царь с кнутом,
Как поп с крестом...

★

Накануне столетия со дня смерти Полежаева в «малой серии» «Библиотеки поэта» вышел небольшой сборник его избранных стихотворений. К сожалению, полное собрание стихов Полежаева, подготовленное в основной серии той же «Библиотеки», издательство не сумело выпустить к юбилейной дате.

Книга избранных стихов Полежаева составлена из произведений, наиболее ярко характеризующих его «буйную и страдающую музу» (Белинский). В нее включены произведения разных жанров, относящиеся к разным годам жизни поэта: большие поэмы («Сашка», «Эрпели», «Чир-Юрт»), агитационные песни, политические стихи. Повидимому, ограниченный объем книги не позволил достаточно полно представить прекрасные лирические стихи Полежаева. Его переводы (из Байрона, Гюго и др.) вообще не нашли отражения в книге.

Характер обработки текстов в рецензируемом издании вызывает некоторые возражения. Известно, что Полежаев тщательно зашифровывал наиболее острые места в своих стихотворениях. Смелые обличения царя и самодержавного режима, осторожности ради, он нередко заменял многоточиями, иногда оставляя лишь начальные буквы отдельных слов. В одних случаях эти многоточия и буквы-намеки прочитываются без особого труда, в других — они только дразнят любопытство, оставляя почву для различных толкований и споров. Разумеется, эти толкования всегда будут гадательны, поскольку мы не знаем подлинного авторского текста.

В стихотворении «Арестант», которое Полежаев написал, сидя в тюрьме, есть резкая, направленная против Николая I филиппика. Она зашифрована точками, которые Н. Бельчиков предлагает читать следующим образом:

Вторый Н[ерон], Ис[карлот],
У[бийца] Б[ратьев] и Н[арода],
Его враждой своей почти
И — лобызая, душил!

(стр. 101).

Полежаев говорит здесь о себе, о своей горькой судьбе и об иудином поступке Николая, с лобызаньем отправившего поэта в солдатскую каторгу. Характеризующие царя эпитеты, от которых рукопись поэта сохранила одни начальные буквы, несомненно, должны быть очень резки. Однако приведенная расшифровка их представляется нам совсем не убедительной. Первая строка, повидимому, не допускает других толкований и, следовательно, прочитана правильно. Но вторая неубедительна прежде всего потому, что ее окончание не рифмуется с окончанием первой строки; между тем на протяжении всего стихотворения выдержан принцип рифмовки двух соседних строк и нет никаких оснований полагать, что этот принцип нарушен только в одном случае, именно в цитированном отрывке (Искарriot—Народа). Помимо этого, определение Николая, как «убийцы братьев и народа», представляется довольно натянутым, лишним внутренней логики.

Убедительнее выглядит толкование данных строк, предлагаемое исследователем творчества Полежаева В. В. Барановым. После долгих поисков последний пришел к решению, которое в окончательном виде выглядит так:

Второй Н[ерон], Ис[карriot],
У[дав] Б[разильский] и Н[емврод],
Его враждой своей почтил
И — лобызая, удушил...

Это правдоподобнее не только потому, что здесь рифмуются все строки, но и потому, что представление об удаве связывается с представлением об удушении, так же, как имя Искарriot напоминает об иудином поцелуе царя. Библейское имя Немврод является символом гонителя, преследователя и поэтому удачно передает отношение Полежаева к Николаю.

Разумеется, каждый исследователь, восстанавливая полежаевский текст, может строить свои гипотезы; все они останутся в области домыслов и предположений, более или менее удачных. Но выдвигать версию менее удачную наряду с существованием более удачной, по нашему мнению, нецелесообразно.

Тем более нецелесообразно категорически предлагать ее читателю как единственную и окончательную, без всяких оговорок и пояснений.

В рецензируемом сборнике встречаются и другие недостатки. Так, в том же стихотворении «Арестант» вместо известных слов: «...Жизнь страшнее ста смертей» — читаем: «... Жизнь страшнее ста чертей» (стр. 96). Происхождение этой замены совершенно непонятно.

Стихотворения Полежаева сопровождаются вступительной статьей, краткими примечаниями и библиографическим перечнем основных изданий Полежаева и литературы о нем. Вступительная статья Н. Бельчикова содержит общую характеристику жизни и творчества Полежаева. Автор рассматривает его поэзию как одно из тех звеньев русской политической поэзии, которые подготавливали выступление великого народного певца — Некрасова.

Вызывает недоумение библиографическая справка, приложенная в конце книги. Справка пышно озаглавлена: «Важнейшая литература о творчестве и жизни А. И. Полежаева». Список «важнейшей литературы» ограничен всего шестью названиями, выбранными по какому-то случайному признаку из обширной биографической и мемуарной литературы. Все эти работы носят узко биографический характер, ни одна из них не касается творчества Полежаева. Творчеству Полежаева посвящена, впрочем, статья Н. Ф. Бельчикова в «Литературной учебе», упомянутая в конце списка. Но наряду с этой статьей, нам кажется, следовало назвать хотя бы статьи о Полежаеве, писанные Белинским, а также замечательную статью о нем, принадлежащую перу Добролюбова. Странно, что в перечне «важнейшей литературы» не нашли места эти авторы.

При всех отмеченных недостатках сборник стихотворений Полежаева, вышедший в «малой серии» «Библиотеки поэта», несомненно, полезен. Он дает общее первоначальное представление о главных особенностях полежаевской лирики; он является единственным изданием Полежаева, появившимся за последние годы на книжном рынке.

Отметим в заключение, что рецензируемый сборник вызвал некоторые отклики в нашей печати. На страницах журнала «Литературное обозрение» (1937, № 24) недавно появилась рецензия М. Пархоменко, которая заслуживает упоминания, только как пример, которому не следует подражать. Автор рецензии утверждает, что «первым из опубликованных произведений Полежаева была его поэма «Сашка». Разумеется, это абсурд. Еще Лермонтов, говоря о поэме Полежаева, писал: «Но «Сашка» тот печати не видал». Первые лири-

ческие стихотворения Полежаева печатались в «Вестнике Европы» и других журналах 20-х годов, а «крамольная» поэма «Сашка», распространявшаяся в списках, появилась в печати через много лет после смерти поэта, в 1861 году, в заграничном издании.

Приходится пожалеть о том, что иные авторы берутся писать о хороших русских поэтах, не вооружившись знанием элементарных исторических и литературных фактов.

В. Жданов

★

В. В. СТАСОВ — Обзоры. Выставки. Полемика. Т. I. Стр. XVI + 861.
Гос. изд-во «Искусство», 1937 год. Тираж 5 000 экз. Цена 18 р.

★

Имя В. В. Стасова (1824—1906) неразрывно связано с передовыми демократическими течениями в русском искусстве 60—70-х гг. прошлого столетия. Этот виднейший художественный критик вошел в историю нашего изобразительного искусства как боец за реалистическое прогрессивное национальное искусство в России, как выдающийся публицист и патриот своего народа, возвышавший голос против бесчеловечия и варварства царских порядков в России.

Стасов один из первых приветствовал бичующие полотна В. Перова. Он бережно и любовно взрастил великое дарование Репина. Он был страстным защитником и популяризатором «передвижников» в живописи и «Могучей кучки» русских композиторов в музыке.

Предреволюционные декадентские течения стремились развенчать Стасова, равно как и всю реалистическую школу в живописи второй половины XIX столетия. Представители этих течений стремились опорочить огромное прогрессивное значение реалистической живописной школы в истории русского искусства.

Лишь в нашу эпоху, в свете идей социалистического реализма, могут быть по достоинству оценены громадные положительные моменты в художественной

деятельности И. Е. Репина, В. Г. Перова, И. Н. Крамского, В. И. Сурикова и др. Их несомненной заслугой является то, что при всей исторической ограниченности своего творчества они подняли знамя и повели борьбу за народность и реализм в русском национальном искусстве. Они оставили нам наследство огромной художественной ценности, которым по праву гордятся искусство и культура нашей великой родины.

Миросозерцание Стасова сложилось в эпоху, когда русский рабочий класс еще не выступил во всеоружии на арену классовых боев, и это не могло не отразиться на воззрениях Стасова. В своей критике старых общественных порядков и академического идеализма в искусстве Стасов, подобно многим передовым людям своего времени, пользовался оружием фейербаховской философии.

Понятие «человеческой природы» являлось исходным пунктом общественной и художественной критики Стасова. Он рассматривал крепостническую действительность как главное препятствие для всестороннего развития человека и требовал уничтожения остатков средневековья в России.

Академизм в искусстве, с его обязательными догматическими законами, рас-

ценивался Стасовым как бездушное подражание старым образцам, чуждое народным запросам и потребностям, фальшивое «казенное» искусство. Наоборот, в реалистическом искусстве передвижников и их предшественников Стасов видел подлинное проявление «натуры художника», его реальных жизненных интересов. Он обвинял старых русских академистов в риторизме и бездушии, в забвении своей природы и индивидуальности.

«Казалось бы, много прекрасного и даровитого лежало у них в натуре; казалось бы, они богато были наделены средствами, имели перед собой великодушное призвание и потом ничего не осуществляли из ожидаемого, и гибли для нашего искусства, ничего не оставляя, кроме следов полного искажения своей природы на который-нибудь иностранный лад» — писал он.

Являясь продолжателем лучших публицистических традиций Белинского, Чернышевского и Добролюбова, Стасов сумел подвергнуть широкой критике академическую идеалистическую систему в искусстве. Он страстно и убедительно пропагандировал реализм и народность в русской живописи.

Вместе с тем, находясь в плену фейербахианства, Стасов иногда видел проявление «натуры художника», его непосредственных житейских интересов и в произведениях мешанского, обывательского содержания.

Знаменитый критик восторженно приветствовал обличительные полотна живописцев-реалистов 60—70-х гг. Описывая содержание этих полотен, он возвышал свой голос до негодующего гражданского пафоса. Вот его описание «Неравного брака» Пукирева: «Старый генерал, полуразрушенная мумия, с звездами на груди и, вероятно, мешками золота в шкатулках, венчается с молодой девочкой, у которой глаза опухли и покраснели от слез, — это проданная заботливой матушкой или тетушкой жертва. Здесь не один общий мотив превосходно схвачен, — это мотив, чуть не всякий день везде повторяющийся... Кажется, так и видишь в самой действительности этого старого жениха, с

горчащими последними волосами, раскомаженными и раздушенными, видишь его трясущуюся голову, которую он, однако же, старается держать совсем прямо, будто это ничего ему не стоит, а от усилия рот у него раскрывается и предательски выдает наружу уединенные уцелевшие зубы; кажется, слышишь, что думает эта несчастная проданная девочка, которая уже подает руку священнику, а сама, с поникшею головою и опущенными глазами, чуть не отвертывается от противного старого жениха, искося на нее поглядывающего...».

Но наряду с этим Стасов в восторженных тонах приветствовал картины с изображением мешанских идиллий. Вот его оценка картины Владимира Маковского — «Поздравление с ангелом»: «Это старушка, в воскресном чепце и платье, воротилась от обедни и подносит просвирку дорогому имениннику, старичку мужу или родственнику, в халате, но уже в панталонах и жилете и с белым галстуком на шее. Самовар уже кипит на столе, чашки ждут, и Филемон с Бавкидой тотчас займутся делом. А между тем как эти седые приятели наклонились друг к другу, как они кротко и любовно глядят друг другу в глаза, какая тихая, незлобивая, удаленная от всей Европы, жизнь сказывается в этом уголке. Кажется, на стариковский именинный дуэт радуются, из-за своих лампадок, сами образа, развешенные щедрой рукой в переднем углу».

Такого рода несоответствия и противоречия нетрудно обнаружить у Стасова на всем протяжении его критической деятельности.

Рассматривая вопросы русского искусства исключительно с точки зрения борьбы старого официального академизма с «натуральным», «естественным», реалистическим началом, Стасов растерялся при появлении декадентов. Указывая справедливо на признаки вырождения и упадочности модернистских и импрессионистских течений, Стасов совершенно не понял подлинной буржуазной природы этого искусства и исторической обусловленности его возникнове-

ния в России. Он оказался не в состоянии предвидеть и объяснить неизбежность деградации русского искусства при капитализме и уверял читателей в отсутствии надлежащих предпосылок для декадентства на русской почве. Он усматривал в произведениях декадентов только «художественное обезьянничество», подражание Западу.

Но и в наше время критика Стасова остается живой, действенной, в ней продолжают звучать негодование и протест против декадентства, его непримиримость с ложью, формализмом и мракобесием, которыми так насыщено «искусство» современного Запада.

Все это обеспечивает сочинениям Стасова большой интерес и признание со стороны советского читателя. Много полезного найдет для себя и молодая художественная критика в статьях Стасова, проникнутых горячей любовью к родине и своему народу, неподдельным оптимизмом и любовью к жизни, верой в творческую энергию людей.

Имя Стасова находилось в забвении со времени упадка передвижничества и распространения новейшего идеализма и формализма в искусстве. Интересно отметить, что «Малая советская энциклопедия», например, не нашла ничего другого в многочисленных работах Ста-

сова, как попытку «объединять элементы народничества и славянофильства».

С изданием работ Стасова имя его и сочинения становятся достоянием советской общественности.

Первый том включает обзоры выставок, критические и полемические статьи, касающиеся вопросов русского изобразительного искусства второй половины XIX столетия. Впервые собрано воедино значительное количество работ, опубликованных в свое время в различных периодических изданиях и относящихся к борьбе Стасова с декадентством.

Книга издана совершенно неудовлетворительно. Все без исключения примечания и сопровождающие тексты отнесены почему-то в отдельный том, который предполагается издать впоследствии. В настоящей книге не указаны даже даты статей и место их опубликования автором. Это обстоятельство дезорганизует читателя.

Небольшой формат книги, насчитывающей около 900 страниц, делает ее неудобной для чтения.

Цена книги высока. Небольшой тираж свидетельствует о том, что издатель не рассчитывает на широкое распространение книги, а это неправильно.

С. Севастьянов

ОТ РЕДАКЦИИ

★

В редакцию поступило письмо группы артистов, бывших участников театра В. Ф. Комиссаржевской, на имя Ан. Волкова по поводу его статьи «Александр Блок», напечатанной в «Новом мире» (№ 10, 1936 г.). Авторы письма (народный артист Ю. Юрьев, Б. Горин-Горайнов, нар. арт. орденоносец В. Мичурина-Самойлова, нар. артистка СССР Е. Корчагина-Александровская, артист Гос. Ленинградск. Академ. Театра Драмы им. Пушкина Анатолий Нелидов, нар. артист Республики А. Любош, артист Драматического театра им. В. Ф. Комиссаржевской А. Ставрогин) указывают на ошибочность одной фразы в статье Ан. Волкова, утверждающей, что вторжение в поэзию Блока кабацкой, пьяной стихии «хронологически совпадает с его вхождением в богемскую среду театра Комиссаржевской».

Редакция «Нового мира» полностью согласна с авторами письма, заявляющими, что такая формулировка искажает факты, что в действительности связь А. Блока с театром В. Ф. Комиссаржевской была творчески плодотворной для обеих сторон. «Она расширила кругозор поэта, — говорится в письме, — живым знанием законов театра, она дала волнующие статьи и высказывания А. А. Блока, наконец, постановкой «Балаганчика» она принесла одну из самых блестящих побед «Драматическому театру» на путях нового театра». Формулировка Ан. Волкова неправильно ориентирует читателя.

Ан. Волков в ответном письме в редакцию признает допущенную им ошибку, «дающую основание неправильно рассматривать роль театра Комиссаржевской, являвшегося наиболее идейным и прогрессивным театром дореволюционной России».

★

Редколлегия: **Ф. В. Гладков.**
Л. М. Леонов.
А. Г. Малышкин.
В. П. Ставский.

Ответственный редактор **В. П. Ставский.**

Редакция: Москва, 6, Пушкинская площадь, 5.
Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».

ЛУЧШИЙ ОТДЫХ ПУТЕШЕСТВИЕ по СССР

ТУРИСТСКО-ЭККУРСИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ВЦСПС

в 1938 году

ОТКРЫТЫ ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ:

По: Кавказу	Заполярье	Оз. Сельгёр
Крым	Алтаю	Мицуринску
Черноморскому побережью	Волге	Москве
Украине	Каме	Ленинграду

ОТКРЫТА ПРОДАЖА ПУТЕВОК

в учебные альпинистские лагеря на Кавказе и Алтае

Продажа путевок отдельным гражданам и заключение договоров с организациями производится управлениями уполномоченных ТЭУ ВЦСПС:

В Москве — Арбат, 57, дом Туриста, в Ленинграде — Ул. Великого, 13, в Киеве — Ул. Коминтерна, 2, в Тбилиси — Ул. Зафедерации, 12, в Ялте — Виноградная ул., 8, в Н.-Сибирске — Дворец Труда к. 28, в Горьком — Краснофлотская 52, в Ереване — Кнувяк 23, в Баку — Дворец Труда, ком 27, в Ташкенте — Дворец Труда в Алма-Ате — Саркандская ул., 10, в Казани — ул. Комлева, 7, в Иваново — Дворец Труда ком 13, в Ярославле — Волжская набережная, Дом туриста в Курске — ул. Ленина, 8, в Куйбышеве — Куйбышевская ул., 38, в Свердловске — Пушкинская, 10, в Ростове-на-Дону — ул. Энгельса, 83, в Минске — ул. Урицкого и ул. К. Маркса 11/18 в Харькове — Армянский пер., 3, в Мариуполе — ул. III Интернационала, 48.

По первому требованию высылаются проспекты.



„НОТЫ - ПОЧТОМ“ МОГИЗ'а

МОСКВА, Неглинная, 14/НМ,

ВЫСЫЛАЕТ НАЛЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ БЕЗ ЗАДАТКА

РЕПЕРТУАР ХОРОВОГО КРУЖКА

ПЕСНИ О СТАЛИНЕ — муз. Блантера, Коваля, Покрасса, Воган-Умр-Шата, Александрова, Ержанова, Старокадомского и др.
Цена каждой от 25 к. до 1 р

«ЛЕНИН—СТАЛИН»—20 песен советских композиторов. Ц. 2 р 60 к.

ПЕСНИ КРАСНОЗНАМЕННОГО АНСАМБЛЯ КРАСНОАРМЕЙСКОЙ

ПЕСНИ И ПЛЯСКИ СОЮЗА ССР. — Сборник 98 песен Ц. 15 р.

240 РУССКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН. Изд. НКО Вып. 8. Ц. 25 р.

ХОРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО НАРОДОВ СССР. Сборник 68 русских, украинских, белорусских, грузинских, армянских, и др. песен.
Ц. 8 р. 25 к.

КЛАВИРЫ ПОЛНЫХ ОПЕР С ПЕНИЕМ И Ф-НО

В ПЕРЕПЛЕТАХ

ФАУСТ, муз. Гуно. Ц. 22 р. 50 к.

РУСАЛКА, муз. Даргомыжского. Ц. 19 р.

ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК, муз. Римского-Корсакова Ц. 13 р.

МАЙСКАЯ НОЧЬ, муз. Римского-Корсакова Ц. 17 р.

МОЦАРТ И САЛЬЕРИ, муз. Римского-Корсакова Ц. 6 р 50 к.

СНЕГУРОЧКА, муз. Римского-Корсакова Ц. 25 р

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН, муз. Чайковского Ц. 15 р 50 к

ПИКОВАЯ ДАМА, муз. Чайковского Ц. 20 р. 50 к.